

Герберт Спенсер

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ
И ГОСУДАРСТВО

I
ТОМ

СОЦИАЛЬНАЯ
СТАТИКА

II
ТОМ

ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

III
ТОМ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОПЫТЫ

IV
ТОМ

ЭТИКА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ

V
ТОМ



Герберт
СПЕНСЕР

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИКА

Изложение социальных законов,
обуславливающих счастье человечества



Москва • Челябинск

УДК 316.244+30

ББК 60.5

C71

Спенсер, Герберт

C71 Политические сочинения : в 5 т. / Г. Спенсер. — Москва ; Челябинск : Социум, 2014.

ISBN 978-5-906401-14-4

Т. II : Социальная статика : изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. — 527 с.

ISBN 978-5-906401-16-8

«Социальная статика» — первое политическое сочинение Г. Спенсера. В нем автор описывает «условия равновесия в совершенном обществе» (статическое состояние). Спорадически в книге затрагиваются и вопросы социальной динамики — обсуждаются силы, посредством которых общество приближается к совершенству. Спенсер считал, что развитие человеческого общества происходит на основе неизменных естественных законов, а действия правительства должны быть ограничены проведением в жизнь этих естественных законов. В «Социальной статике» Спенсер впервые сформулировал свой знаменитый принцип равной свободы, согласно которому «свобода каждого должна быть ограничена свободой всех». Автор пытается показать, что «путем строго сообразования с законом равной свободы лучше достигается в обществе не только стройность сотрудничества, но и производительность сотрудничества».

УДК 316.244+30

ББК 60.5

ISBN 978-5-906401-14-4

ISBN 978-5-906401-16-8 (Т. II)

© ООО «ИД «Социум», 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Марк Салливан. Предисловие	VII
Предисловие автора к американскому изданию	IX
Предисловие	XI
ВВЕДЕНИЕ	
Утилитарная философия	1
Учение о нравственном чувстве	17
Лемма первая	33
Лемма вторая	41

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Определение нравственности	57
II. Исчезновение зла	61
III. Божественная идея и условия ее осуществления	69

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

IV. Первоначальный источник основного начала.	79
V. Второстепенный источник основного начала.	95
VI. Основное начало	108
VII. Применение основного начала	114
VIII. Права на жизнь и на личную свободу	116
IX. Право пользования землей	118
X. Право собственности	130
XI. Право собственности на идею	140
XII. Право собственности на репутацию.	147
XIII. Право мены	150
XIV. Право свободного слова	152
XV. Дальнейшие права.	158
XVI. Права женщин	159
XVII. Права детей	177

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XVIII. Политические права	201
XIX. Право игнорировать государство	213
XX. Устройство государства	225
XXI. Обязанности государства	261
XXII. Пределы обязанностей государства	287
XXIII. Регламентация торговли и промышленности	311
XXIV. Религиозные учреждения.	320
XXV. Законы о бедных	326
XXVI. Народное образование.	345

XXVII. Правительственная колонизация	372
XXVIII. Санитарная полиция	387
XXIX. Монетная система, почтовые учреждения и т.д.	412

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XXX. Общие соображения.	427
XXXI. Общий итог	475
XXXII. Заключение.	481
КОММЕНТАРИИ.	495
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	505
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	510

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце XX в. может показаться странным, что интерес к политической философии и дискуссиям века XIX-го до сих пор не угасает. Тем не менее это так. Все интересующиеся социальными науками продолжают изучать идеи Герберта Спенсера как в стенах академических учреждений, так и за их пределами.

Нельзя назвать однозначно положительным явлением то, что после краха марксистского государственного социализма в странах Европы и в России поиск социальных, политических и экономических идеалов стал восприниматься как чистый утопизм. Нам осталось обсуждать альтернативы — но не наилучшие из возможных, а «устраивающие большинство». Столетие тому назад ярлык «анархиста» автоматически исключал человека из поля публичных дискуссий, и жертвами этой стигматизации вольно или невольно стали многие последователи Спенсера. Затем для подавления свободы дискуссий и усиления конформности сознания использовали эпитет «коммунист». Сегодня эстафета изгойства перешла к «либералам». Надеюсь, мы все же не вернемся ко временам истерии по поводу «красной угрозы», которую сегодня, видимо, следует назвать «либеральной угрозой».

«Социальная статика» является безусловно либеральным сочинением, причем сочинением в духе классического либерализма. Она посвящена рассмотрению качества свободы и равенства в свободе. В 1850 г., когда «Социальная статика» была издана впервые, Спенсер был восходящей звездой классического либерализма, продолжателем традиций Джона Локка, Адама Смита, Томаса Пейна и Мэри Уоллстоункрафт, и достиг пика своего творчества в одно время с деятельностью Джона Стюарта Милля и Генри Джорджа. В течение XX в. эта традиция постепенно приходила в упадок, поддерживаясь лишь трудами узкого круга «джорджистов», и стала вновь набирать силу благодаря творчеству современных либертарианцев.

Поскольку социальный идеализм ныне признан «утопичным», труды либеральных философов в традиции естественного права часто называют старомодными и приличествующими лишь XIX в. Мы, впрочем, не станем поддаваться под влияние этой моды и вспомним слова, произнесенные Генри Джорджем в его речи перед студентами Калифорнийского университета в 1877 г.: «Маколей был прав — если бы

в отрицании закона всемирного тяготения можно было отыскать денежный интерес, сегодня даже самые очевидные аксиомы физики нашли бы немало оппонентов».

Книга, которую вы прочтете, не о тяготении; она о других естественных законах, которые занимают умы человечества не одну тысячу лет, — поскольку принятие их существования в любом обществе низвергнет всемогущих, вернет достоинство униженным и «распространит дело свободы по всей земле».

*Марк Салливан,
июнь 1995 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

Автор желает, чтобы новое издание «Социальной статики», которое выпускается теперь в свет для американской публики, не принималось за вполне точное выражение его настоящих взглядов на вещи. Учение, изложенное в этом сочинении четырнадцать лет тому назад, при первоначальном его обнародовании значительно развилось в сознании автора в течение этого времени и в некоторых отношениях даже видоизменилось. Автор и в настоящее время считает справедливыми руководящие начала, развитые на страницах этой книги, но он не во всех случаях разделяет применение этих начал в частностях.

Основные начала нравственности, изложенные в первой части и в начальных главах второй, он считает только предварительным очерком того, что, по его мнению, составляет сущность и истинный смысл нравственных принципов. Во всех тех отношениях, в которых выводы развиты, они по существу верны, но разработаны слишком недостаточно и составляют только часть тех оснований, на которых должна быть построена научная система этики.

Выводы, сделанные во второй части, почти во всех отношениях вполне согласны с современными взглядами автора; но если бы ему пришлось в настоящее время излагать свои мысли по этим предметам, то он в некоторых случаях выразил бы их совершенно иначе. В особенности главы «О правах женщин» и «О правах детей» подверглись бы таким изменениям, которые, сохраняя положения и выводы в прежней их силе, придали бы другой вид их логическому построению.

То же можно сказать и о выводах, сделанных в третьей части. Автор разделяет и до настоящего времени выраженные в ней общие взгляды на политические права, на государственные отправления и на пределы, в которых должна вращаться государственная деятельность. Но если бы ему пришлось излагать все это вновь, он обратил бы несравненно больше внимания на то, что все политические учреждения имеют только временное

значение и что вследствие этого некоторые из подобных установлений если и имеют *относительные* достоинства, то не могут иметь никаких притязаний на *абсолютное* совершенство.

Если спросят автора, почему он не изменил своего сочинения так, чтобы оно вполне выражало его современные мнения, ему останется ответить, что он не мог бы исполнить этого удовлетворительно, не приложив к нему такого количества труда, которое заставило бы его прекратить на время свои работы над «Системой философии». Если ему удастся достигнуть заключительных томов этой системы, он разовьет в них выводы, относительно которых «Социальная статика» будет только общим очерком.

Лондон

16 ноября 1864 года

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тон и способ изложения, принятый местами на последующих страницах, может быть, вызовет замечания критики, потому что он в некоторых отношениях не похож на предшествовавшие ему работы по тому же предмету. Исход дела покажет, благоразумно ли поступил автор, внося нововведения в сферу установленного прежними приемами. Он не отступал от старого без достаточных причин; и если он это делал, то делал именно в том убеждении, что книга предназначена иметь влияние на деятельность людей и что, следовательно, самый лучший способ для ее сочинений — тот, которым всего более достигается такая цель.

Проявления чувства, допущенные местами в этом сочинении, могут неприятно поразить и показаться неуместными при чисто научном изложении; не следует, однако же, упускать из виду, что на той ступени развития, на которой мы находимся, люди редко руководствуются исключительно логическими соображениями. Соображения эти для того, чтобы произвести впечатление, должны быть подкреплены явными или скрытыми обращениями к чувству. Если обращения к чувству *дополняют*, но не *заменяют* логических выводов, то против них нельзя сделать никакого основательного возражения. Читатель увидит, что различные выводы, предложенные на его обсуждение в этом сочинении, имеют в своем основании исключительно общее и безличное мышление, и *только* с этой точки зрения они могут быть рассматриваемы. Если для усиления их впечатления на большинство делаются здесь посредственные обращения к симпатиям, то этим не только не ослабляется, но скорее увеличивается сила аргументов.

Может быть, легкое изложение, допущенное в некоторых случаях, будет признано несоответствующим важности предмета. В оправдание такого приема можно сказать, что сухая сжатость и точность, принятая, по обычаю, в философских сочинениях, порождает в них монотонность, неодолимую для большинства читателей. Автор согласен, что строгое изложение имеет свои преимущества, но он предпочел пожертвовать отчасти этими достоинствами в надежде сделать сочинение интересным для большего числа читателей.

Лондон
декабрь 1850 года

ВВЕДЕНИЕ

Утилитарная философия

§ 1. «Дайте нам руководителя, — кричат люди философу, — мы хотим вырваться из этой жалкой обстановки, среди которой мы погрязаем. В нашем воображении постоянно зарождаются образы лучшего, и мы скорбим о них, но все наши усилия обработать их в действительность остаются бесплодными. Нас утомляют эти постоянные ошибки; укажите нам пути, которыми мы можем достигнуть исполнения наших желаний».

«Что полезно, то справедливо», — вот один из последних, в числе многих, ответов на этот призыв.

«Совершенно верно, — возражают вопросители, — для божества *справедливость* и *польза*, без сомнения, однозначные выражения; но для нас остается неразрешенным вопрос: которое из них предшествует и которое должно служить выводом. Если согласиться с вашим предположением, что справедливость составляет неизвестную величину, а польза — известную и данную, то предложение ваше может послужить делу. Но в том-то и беда, что горький опыт убедил нас, что обе эти величины одинаково неизвестны и неопределенны. Наконец, в нас зарождается подозрение, что определение справедливости даже легче, чем определение пользы, и что удобнее было бы ваше предложение преобразить в противоположное и выразить так: что справедливо, то полезно».

«Держитесь правила наибольшего счастья для наибольшего числа людей», — так разрешает сомнение другой авторитет.

Ему отвечают, что это точно так же, как и предыдущее, нельзя даже вовсе и называть руководящим правилом: это скорее выражение задачи, подлежащей разрешению. Ваше «наибольшее счастье» — это именно и есть то, что мы так долго и так бесплодно разыскиваем; мы только не давали этого названия предмету наших желаний. Вы не говорите нам ничего нового, вы только придумываете слова, чтобы выразить нашу потребность. То, что вы называете ответом, это наш вопрос, выраженный

в обратной форме. Если такова ваша философия, то она, без сомнения, одно суетное и ничтожное разглагольствование; она не более как эхо, повторяющее вопросы.

«Имейте же немного терпения, — возражает моралист, — дайте мне высказать мое мнение о том, каким образом можно обеспечить наибольшее счастье за наибольшим числом из живущих».

«Опять-таки вы не понимаете нашего требования, — восклицают возражающие, — нам нужны не личные мнения, а что-нибудь другое. Этими мнениями мы уже пресытились. Вся масса пустого прожектерства касательно общего блага была основана на личных мнениях; у нас нет ни малейшей гарантии, что ваш план не прибавит нового звена к перечню прежних ошибок. Придумали ли вы способ для составления безошибочного суждения? Если нет, то мы видим одно: что вы настолько же пребываете во тьме, насколько и мы. Совершенно справедливо, что вы приобрели более ясный взгляд на цель, к которой мы должны стремиться; что же касается до пути, которым мы должны идти, то ваше предложение высказать *мнение* показывает уже, что вы в этом отношении не знаете ничего более определенного, чем мы. Мы сомневаемся в вашем положении, потому что оно не включает в себе того, в чем мы нуждаемся, т.е. руководителя; мы сомневаемся в нем потому, что оно не указывает ни одного верного способа для обеспечения за нами предмета наших стремлений; мы сомневаемся потому, что оно не создает *вето* по отношению к ложной политике; оно настолько же допускает хороший, насколько и дурной образ действия, если только действующие признают его ведущим к достижению предписанной цели. Ваши учения о пользе, об общем благе, о наибольшем счастье наибольшего числа людей не заключают в себе единообразного предписания, удобного для применения в практической жизни. Пусть правители будут убеждены (или сумеют подать вид, что они убеждены), что их меры послужат благу общества, и ваша философия останется немой ввиду самого крайнего безрассудства и самых мрачных преступлений. Это не может нас удовлетворить. Мы ищем учения, которое бы нам давало положительный ответ, когда мы спросим его о проступке: «Хорошо это или нет?» Нам не нужно мировоззрения, которое отвечало подобно вам: «Да, это хорошо, если оно способно вас облагодетельствовать». Мы вам будем благодарны, когда вы для нас создадите именно то, чего мы

ищем, когда вы нам дадите аксиомы, из которых мы в состоянии будем выводить ряд заключений до тех пор, пока с математической точностью не разрешим все наши затруднения. Если вы не в состоянии дать нам такого мировоззрения, мы должны будем искать его в другом месте».

В свою защиту философы говорят, что такое требование неблагоприятно. Они подвергают сомнению возможность наудачных правил нравственности. Независимо от этого они утверждают, что их система достаточна для практических целей. Они ясно определили цель, к которой следует стремиться. Они изучили пространство, которое лежит между этой целью и нами. Они полагают, что отыскивали лучшую дорогу. Наконец, они добровольно приняли на себя роль пионеров. После этого они думают, что ими сделано все, что можно от них требовать, что критику оппозиции они могут считать придирчивой и возражения ее пустыми. Вникнем внимательно в этот спор.

§ 2. Правило, принцип или аксиома имеют значение только тогда, когда слова, которыми они выражены, заключают в себе точно определенную мысль. Это справедливо даже и тогда, когда подобное правило или аксиома будут удовлетворительны в других отношениях. Выражения, употребленные в этом случае, должны иметь в языке точный и притом один и тот же всеми признанный смысл. В противном случае предложение будет подвержено стольким разнообразным толкованиям, что оно утратит всякое право называться правилом. Таким образом, когда философ провозглашал правило «наибольшего счастья для наибольшего числа живущих» и признавал его руководителем общественной нравственности, то он должен был предполагать, что понятие «наибольшего счастья» определяется всем человечеством единообразно и точно.

Такое предложение, однако же, заключало в себе одну из самых злополучных ошибок; мерка, которой люди меряют счастье, бесконечно разнообразна — это факт, доказанный самым осязательным образом. Во все времена, между всеми народами и у каждого класса людей на этот предмет существовали свои особые взгляды. Для странствующего цыгана домашний очаг оседлого человека скучен и отвратителен; швейцарец был бы несчастлив без такого очага. Прогресс необходим для

благополучия англосакса; эскимос доволен своей грязной бедностью, не имеет никаких дальнейших желаний и остается тем же, чем он был во времена Тацита. Ирландец находит удовольствие в строю; китайцу нужны процессии и церемонии; вялый и апатичный житель Явы приходит в шумный восторг при виде петушиного боя. Рай еврея — это «град, наполненный золотом и драгоценными камнями, обладающий сверхъестественным изобилием в хлебе и вине»; рай турка — это гарем, обитаемый гуриями; рай краснокожего Америки — это «благодатная для охоты местность»; в скандинавском раю каждый день сражение и раны излечиваются чудотворной силой; австралиец надеется, что после смерти он «обгонит белого и будет иметь множество мелкой монеты». Если мы от народов перейдем к отдельным личностям, то увидим, что Людовик XVI признавал «высшим счастьем» размышлять за механическим занятием; а его преемник* считал таким счастьем — читать, создавая империи. Ликург находил, что для человеческого счастья более всего необходимо полнейшее физическое развитие; Плотин, напротив, был до того идеален в своих стремлениях, что стыдился своего тела. Множество противоречащих ответов, данных греческими мыслителями на вопрос о том, в чем заключается счастье, подавало повод к устаревшим и опошлившимся ныне сравнениям. Но и теперь мы не находим между нами в этом отношении большего единомыслия. Для скупого Эльва копить деньги составляло единственную радость жизни; Дей, человеколюбивый автор «Сандофора и Мертона», находил в раздаче денег единственное приятное из них употребление. Сельское уединение, книги и друг составляют пожелания поэта; хлыщ стремится, напротив, к обширному кругу знатных знакомых, к ложе в опере. Стремления купца и артиста менее всего похожи друг на друга; если бы мы сравнили воздушные замки философа и земледельца, мы бы нашли большую разницу в их архитектуре.

Обобщая эти факты, мы найдем, что личная мера «наибольшего счастья» имеет так же мало определенного, как и другие проявления человеческой природы. Несходство во мнениях по этому предмету между различными нациями достаточно очевидно. Сравнивая современных евреев с евреями времен патриархов, можно убедиться, что идеал благополучия изменяется и в среде той же самой расы. Люди одного общества

не согласны между собой по этому вопросу. Наконец, если мы сравним желание жадного школьника со стремлениями презирающего земные блага трансценденталиста, в которого он впоследствии превратится, то не найдем в этом отношении и тени постоянства в одном и том же индивидууме. Можно сказать, что не только каждая эпоха и каждый народ имеют свои понятия о счастье, но едва ли возможно найти двух человек, которые имели бы на этот предмет тождественные взгляды; далее можно утверждать, что понятия об этом предмете различны у одного и того же человека в различные периоды жизни.

Вывод из всего этого довольно прост. Счастье состоит в удовлетворенном состоянии всех способностей. Удовлетворение способности заключается в ее упражнении. Чтобы это упражнение было приятно, необходимо, чтобы оно соответствовало силе способности; недостаточное упражнение производит неудовольствие, чрезмерное — порождает утомление. Итак, для полного счастья необходимо, чтобы все способности упражнялись соразмерно со степенью их развития; идеально совершенное расположение обстоятельств таким образом, чтобы обеспечить именно такое упражнение всех способностей, и порождает меру «наибольшего счастья»; нет, однако же, двух людей, умы которых представляли бы для этого тождественную комбинацию элементов. Двойников нет на свете. У каждого человека желания имеют свой собственный вес. Условия, приспособленные к тому, чтобы породить наибольшее благополучие одного, не могут дать вполне тот же результат по отношению к другому. Следовательно, и понятие о счастье должно изменяться сообразно с характером и расположением людей; ясно, что оно должно изменяться до бесконечности.

Все это приводит нас к неизбежному заключению, что истинное понятие о том, в чем должна заключаться человеческая жизнь, возможно только для идеального человека. Мы можем делать об этом предмете только приблизительно верные заключения; для полного понимания, в чем должны заключаться истинные человеческие стремления, необходимо, чтобы человек, составляющий себе это понятие, имел в своей душе все чувства и способности в совершенно нормальных пропорциях. Поэтому немудрено, если Палеи и Бентамы делали бесплодные попытки создать в этом отношении правильное определение.

Вопрос этот заключает в себе одну из тех загадок, в смысл которых люди постоянно стремятся проникнуть, но где они постоянно обрываются. Это та неразрешимая задача, которую создданное воображением древних сфинксоподобное существо задает каждому новому пришельцу для того, чтобы пожрать его, не получив ответа. Тут до сих пор еще не появлялось Эдипа, и нет даже и признаков его будущего появления.

Конечно, можно утверждать, что все это слишком большие тонкости и что для практических целей мы достаточно хорошо понимаем, что значит «наибольшее счастье». Такое мнение, однако, легко, хотя и бесполезно, опровергнуть, потому что спорщикам, высказывающимся подобным образом, нетрудно указать множество вопросов, где людьми менее всего обнаруживается это предполагаемое в них единомыслие. Например:

— Каким образом нужно определить удовлетворение между душевными и телесными потребностями для того, чтобы достигнуть «наибольшего счастья»? Есть предел, до которого счастье увеличивается возвышением душевной деятельности; за этим пределом такая деятельность производит более страданий, чем удовольствия. Где же этот предел? Есть люди, которые, кажется, полагают, что развитие интеллектуальных сил и удовольствия, которые от этого происходят, едва ли могут быть поведены слишком далеко. Другие же утверждают, что в среде образованных классов общества душевное возбуждение зашло уже слишком далеко и что можно было бы достигнуть большей меры удовольствия, если бы больше времени посвящалось удовлетворению животных отправления. Если придерживаться правила достижения «наибольшего счастья», то необходимо решить, которое из этих мнений заключает в себе истину; затем нужно обозначить точный предел между нормальным употреблением и злоупотреблением каждой способности.

— Что составляет более существенный элемент желаемого счастья — удовлетворение или стремление? Обыкновенно считают несомненным, что счастье заключается в удовлетворении. Удовлетворение считается наиболее существенным для благосостояния. Есть, однако же, люди, которые утверждают, что, не существуй неудовлетворения, мы были бы до сих пор дикими. По их мнению, неудовлетворение — величайший стимул для прогресса. Они утверждают даже, что если бы удовольствие было

общим правилом, то общество тотчас же начало бы приходить в упадок. Необходимо согласиться с этими противоречиями.

— Затем, что следует понимать под словом «польза», этим синонимом выражения «наибольшее счастье»? Миллионы отнесут это слово к тем предметам, которые посредственно или непосредственно удовлетворяют телесным потребностям, они заключат его в пределы народной поговорки «помогите наполнить горшок для пищи» («help to get something to put in the pot»). Другие полагают, что умственное развитие носит цель в самом себе, независимо от так называемых практических результатов; они стремятся преподавать астрономию, сравнительную анатомию, этнографию и подобные науки наряду с логикой и метафизикой. Некоторые из римских писателей считали художества положительно вредными, теперь же многие находят полезным занятие поэзией, живописью, скульптурой, декоративным искусством и вообще всем тем, что развивает вкус и делает его утонченным. Существует крайняя партия, которая утверждает, что на одну степень с ними следует поставить музыку, танцы, драматическое искусство и все то, что называется обыкновенно развлечениями. Вместо всей этой разногласицы мы должны бы иметь единогласие.

— Следует ли нам держаться учения людей, которые находят счастье в том, чтобы в возможно больших размерах пользоваться благами и удовольствиями этой жизни, или мы должны примкнуть к людям, которые ищут его в том, чтобы предвкусить блаженство будущей жизни? Если мы захотим примирить эти два направления и скажем, что нужно стремиться и к тому, и к другому, то в каких же размерах нужно сообразовать свою деятельность с каждым из этих направлений?

— Что должны мы думать о нашем веке, жадном до богатства? Как должны мы смотреть на то, что у нас все время и вся энергия поглощаются деловой жизнью, что ум наш делается рабом для удовлетворения потребностей тела, что мы растрачиваем всю жизнь лишь для того, чтобы приобрести средства жить? Следует ли все это считать наибольшим счастьем и действовать сообразно с таким мнением? Или мы должны руководствоваться предположением, что на все это следует смотреть как на прожорливость куколки, уподобляющей материал для развития насекомого?

Подобных неразрешенных вопросов можно задавать бесконечное множество. Следовательно, с теоретической точки зрения не только невозможно достигнуть согласия относительно средств для доставления людям «наибольшего счастья», но ясно также, что во всех тех случаях, которые требуют определенных понятий об этом наибольшем счастье, люди друг с другом вполне расходятся.

Таким образом, наш кормчий, направляя наш путь к этому так называемому «наибольшему счастью наибольшего числа живущих», не допускает до нашего слуха обетованное слово и не исполняет возбужденных им надежд. То, что он показывает в свой телескоп, это *fata morgana**, а не обетованная земля. Истинная пристань, к которой мы стремимся, лежит далеко за горизонтом, и никто еще не видел ее. Она за пределом зрения всякого наблюдателя, как бы он ни был дальнзорок. Не зрение, а вера должна быть нашим руководителем. Мы не можем остаться без компаса.

§ 3. Основные положения философии пользы даже и тогда имели бы слабые стороны, если бы они не уничтожались неопределенностью их выражений. Если даже предположить, что цель пожеланий, т.е. «наибольшее счастье», правильно понимается, что все одинаково разумеют и его сущность, и его природу, что направление, в котором она находится, удовлетворительно определено, даже и в таком случае остается неразрешенным вопрос, возможно ли человеческому уму, предоставленному самому себе, определить, какими путями он может достигнуть этой цели, и возможна ли для такого определения хоть сколько-нибудь удовлетворительная точность. Ежедневный опыт показывает, что та же самая неопределенность существует как относительно цели, которая должна быть достигнута, так и относительно истинно верных приемов, которые должны быть употреблены для этого достижения, если цель известна. Во время своего стремления к постепенному достижению различных частей великого целого, которое называется «наибольшим счастьем», люди менее всего имели «удачу»; меры, которые обещали всего больше хорошего, обыкновенно превращались в величайшие ошибки. Возьмем несколько случаев из действительности.

В Баварии было сделано постановление, что ни один брак не может быть дозволен между лицами, не имеющими капитала, за исключением случаев, когда власти убедятся, что желающие жениться «имеют основательную надежду обеспечить своих детей». Такое правило, безо всякого сомнения, имело в виду общественное благо и хотело положить предел легкомысленным союзам и чрезмерному увеличению населения. Цель эту многие политики признают похвальной, а средство они найдут вполне приспособленным к ее достижению. Это, по-видимому, остроумное средство, однако же, менее всего привело к цели; оказалось, что в главном городе государства, в Мюнхене, наполовину родилось незаконных детей!

Весьма важные причины и вполне достаточные основания побудили наше правительство создать на берегах Африки вооруженную силу для того, чтобы воспрепятствовать торговле невольниками. Можно ли было для «наибольшего счастья» найти что-нибудь более существенно необходимое, чем уничтожение этого возмутительного торга? Можно ли было ожидать, что эта цель не была достигнута вполне или отчасти с помощью сорока военных судов, содержание которых стоило ежегодно 700 000 ф. ст.? Результат оказался, однако же, менее всего удовлетворительным. Когда аболиционисты Англии защищали эту меру, они не полагали, что она не только не предупредит торговлю рабами, но что она увеличит ее ужасы, очень мало способствуя уменьшению ее размеров. Им не приходило в голову, что она породит быстрые суда для перевозки негров с палубами, между которыми расстояние — один фут и шесть дюймов*, что люди будут умирать от задушения в таких помещениях, что они произведут ужасные болезни и что из ста человек будет умирать тридцать пять. Им не могло и присниться, что подобное судно, лишившись надежды избежать преследования, могло выбросить в море груз из пятисот негров. Могли ли они себе представить, что начальники близ берега, находящегося в блокаде, разочарованные в своих надеждах, велят убить двести мужчин и женщин, насадить их головы на копья и расставить в виде судов, вдоль берега?¹ Одним

¹ См. «Anti-slavery's society's report for 1847» («Отчет общества для противодействия распространению рабства за 1847 г.») и «Evidence before parliamentary Committee», 1848 («Показания, данные в комитете парламента»).

словом, они никогда не предполагали, что им придется говорить за отмену принудительных мер, как они это делают теперь.

Как велики и как очевидны были для работников обещанные им выгоды от ремесленных союзов — это было средство для устранения хозяев! Работники соединялись в промышленное товарищество, выбирали директоров, секретарей, казначеев, нарядчиков и т.д., одним словом, всех лиц, нужных для управления делом; они составляли организацию, приспособленную к справедливому распределению прибылей между членами товарищества. После этого было ясно, что огромные суммы, попадавшие в карманы хозяев, будут распределены между работниками и значительно увеличат их благосостояние. Однако же все попытки применить к делу эту весьма благовидную теорию приводили, так или иначе, к самым жалким ошибкам.

Другой пример представляет собой судьба благотельного плана, предложенного Бабедем в его книге «Экономия фабрик». План этот казался и благотельным для работников, и выгодным для хозяев. По плану этому надлежало составить из фабричных рабочих товарищество, иметь агента для приобретения оптом товаров, которые более всего употреблялись, как-то: чая, сахара, свиного сала и т.д., и продавать их в розницу по тем же ценам, по которым они были приобретены, прикидывая к ним лишь столько, сколько необходимо для вознаграждения агента. После четырнадцатилетнего опыта дело, основанное для осуществления этой мысли, было оставлено с общего согласия всех участвующих; г. Бабедед сознался, что мнение, которое он высказал относительно пользы таких ассоциаций, значительно изменилось после сделанного им опыта; ряд неудач привел к постепенному упадку ассоциацию, сначала быстро развившуюся.

Спитафильдские ткачи представляют нам другой пример подобного рода. Не подлежит сомнению, что им трудно было не поддаться сильному соблазну, который понуждал их добиваться закона 1773 года, назначавшего минимум заработной платы; всем было ясно, что такой закон должен был привести к увеличению благосостояния этих рабочих. К несчастью, ткачи не сообразили, что вследствие этого закона им нельзя было работать по пониженным ценам; они не ожидали, что еще до наступления 1793 года более четырех тысяч станков будет

остановлено вследствие того, что промышленность найдет для себя другие пути.

Чтобы оказать нужде помощь, явно необходимую для достижения «наибольшего счастья», английский народ издал более сотни парламентских постановлений, имевших в виду эту цель, и каждый из этих законов был последствием ошибок и неполноты предыдущих. Несмотря на это, и до настоящего времени все недовольны законами о бедных, и, по-видимому, мы более чем когда-либо далеки от приведения их в удовлетворительное положение.

К чему приводить отдельные случаи? Разве опыт всех народов не показывает тщетность эмпирических попыток для приобретения счастья? Разве собрание наших статуты (законов) включает в себе что-либо иное, кроме перечня подобных несчастных покушений, сделанных наугад? Разве история не есть рассказ о неудачном исходе всех этих мер? Далеко ли мы ушли на этом пути в настоящее время? Разве наше правительство не завалено и в настоящее время работой до того, что можно было бы подумать, что фабрикация законов началась только со вчерашнего дня? Разве оно сделало какой-нибудь очевидный шаг к окончательному установлению социальных порядков? Разве оно не запутывается с каждым годом все более в сетях им же созданного законодательства, и разве оно не вносит с каждым годом все больший беспорядок в эту разнокалиберную массу постановлений? Можно сказать, что каждое новое действие парламента включает в себе прикрытое признание своей некомпетентности. Нет почти ни одного закона, который бы не был озаглавлен так: «Указ в отмену указа». После слов «так как», которыми эти законы начинаются, следует мотив, который включает в себе ни более ни менее как историю неудачи прежнего законоположения. Изменения, разъяснения и отмены законов — вот занятия каждого парламентского заседания. Все наши великие парламентские агитации имели целью отмену учреждений, создававшихся для общественного блага. Доказательством могут служить агитации для отмены законов, удалявших католиков от должностей, отмены Test and Corporation Acts; движения в пользу эмансипации католиков, для отмены хлебных законов; в настоящее время к ним можно присовокупить агитацию относительно отделения церкви от государства. История всех этих явлений совершенно

единообразна. Сначала затевается закон, потом он испытывается, далее оказывается негодным; тогда в нем делается изменение, и еще раз следует неудача; затем является на свет то бестолковая пачкотня для исправления испорченного дела, то не способные к жизни попытки. Наконец, все отменяется, и является на место старого совершенно новый план, которому предназначено пройти по тому же пути и испытать ту же судьбу.

Философия пользы игнорирует этот мир с его поучительными явлениями. Люди постоянно обманывались при своих попытках обеспечить путем законодательства какую-либо из частей великого целого, называющегося «наибольшим счастьем»; несмотря на это, она продолжает верить беспомощному суждению государственных людей. Она не добивается руководителя; она не имеет эклектического принципа; она не отыскивает узла, чтобы можно было распутать запутанную сеть социального существования и раскрыть его законы. Она предполагает, что правительства, по исследовании явлений, из которых складается народная жизнь, достаточно приготовлены для всяких полезных мероприятий. Ей кажется философское исследование человеческой жизни столь легким; социальная организация представляется ей такой несложной; побудительные причины, которыми руководствуется народ в своих действиях, по ее мнению, так очевидны, что для представителей так называемой «общественной мудрости» общее исследование этих предметов достаточно, чтобы сделать их способными к изданию законов. Она считает человеческий интеллект компетентным в этом деле. Она считает его способным к точному и верному исследованию проявлений человеческой природы в общественной жизни людей; она полагает, что он может сделать верную оценку свойств общества и отдельных личностей и действия, которое производят на людей религия, обычаи, предрассудки, предубеждения, что он может точно оценить умственное направление века, определить значение случайностей будущего и т.д. Ей кажется, что он может соединить в своем воображении в единое целое все разнообразные явления этого вечно взволнованного, вечно меняющегося моря жизни и почерпнуть из этого целого те познания, те принципы управления, которые сделают его способным решать, какое влияние на людей будет иметь та или другая мера и приведет ли она к «наибольшему счастью наибольшего числа».

Представьте себе, что Ньютон вместо того, чтобы исследовать свойства земли, прямо приступил бы к изучению небесной механики. С телескопом в руках он употребил бы многие годы на определение расстояний небесных тел, их величины, движения, наклонности оси, формы орбиты, возмущения и т.д. Он записал бы эту массу собранных наблюдений и начал бы выводить из них основные законы равновесия планет и звезд. Он копался бы до бесконечности и не пришел бы ни к какому результату.

Не подлежит сомнению, что такой прием исследования не имел бы смысла, но он был бы все-таки гораздо рациональнее попытки раскрыть принципы общественной жизни путем непосредственных наблюдений над этой поражающей своей запутанностью комбинацией, которую называют обществом. Нисколько не удивительно, если законодательство, основанное на теориях, выработанных таким способом, делает ошибки. Скорее можно было бы крайне удивляться, если бы его деятельность оказывалась успешной. Наше понятие о человеке — самое несовершенное, а между тем человек — орудие, которым действует законодательство, и предмет, для которого оно создается. Полное знание отдельно человека было бы, однако же, только первой ступенью для изучения массы людей, называемой обществом. После этого совершенно ясно, что вывод начал истинной философии общественной жизни из бесконечно разветвленных комбинаций всемирного человечества составляет задачу, которая выше способностей ограниченной души, поэтому и составление правил для достижения «наибольшего счастья» на подобном основании недоступно этим способностям.

§ 4. Еще одно возражение, губительное для философии пользы, заключается в том, что она предполагает вечное существование управления. Несомненная ошибка — предполагать, что управление должно существовать всегда. Учреждение это характеризует известное состояние человеческой цивилизации, оно естественно для известного фазиса человеческого развития. Оно принадлежит к разряду явлений случайных, а не неизбежных. У бушменов мы находим состояние, предшествующее гражданскому устройству; возможно и такое положение общества, где гражданское устройство угаснет. Оно уже и теперь потеряло отчасти свое значение. Было время, когда история народа

состояла из истории его правительства. Теперь мы видим совершенно иное. Когда-то общераспространенный деспотизм был проявлением крайней необходимости в стеснениях. Феодальная система, крепостная зависимость, рабство, — все эти деспотические учреждения суть не что иное, как крайне сильные образы правления, которых необходимость вытекала из испорченности человека. Прогресс по отношению к этим учреждениям приводил во всех случаях к одному и тому же — к ослаблению власти правления. К этой цели направлены и конституционные формы, и политическая свобода, и демократия. Общества, ассоциации, товарищества заключают в себе новые формы для достижения целей, которые в более варварские времена и в странах, стоящих на более низкой ступени цивилизации, нуждаются в деятельности правительства. У нас законодательная власть ослабляется более новыми и могущественными силами — она перестает быть господином и делается слугой. Давление извне достигло теперь того, что уже признается окончательным источником правления. Торжество Лиги против хлебных законов* — ни более ни менее, как один из самых видных образцов новых приемов управления; значение общественного мнения берет верх над прежним двигателем, над силой. Все это заставляет предполагать, что зависимость законодателя от мыслителя сделается общепризнанным началом. Число приверженцев власти государства уменьшается день ото дня. Даже «Times» видит, что «общественными переменами, окружающими нас, устанавливаются истины, которые менее всего подают законодательной власти повод возгордиться»; она замечает, что «пути, по которым направляется прогресс, зависят не от биллей, предлагаемых в парламенте, не от законов, которые издаются, не от того, что происходит в области политики или государства, а от непосредственной деятельности общества и от той связи, в которой эта деятельность находится с успехами искусств и наук, от природных влияний и многих других подобных причин, вовсе не политического свойства»¹. Таким образом, государственная власть упадет в той же степени, в какой развивается цивилизация. Власть эта необходима для дурных людей, для хороших она излишняя. Это — стеснение, которое создает для себя народная слабость, и стеснение это прямо

¹ См.: «Times». 12 октября 1846 г.

пропорционально степени слабости. Существование власти доказывает, что еще не пришел конец варварства. Закон для узкого эгоиста — то же, что для дикого зверя клетка. Ограничение необходимо для дикого, для грабителя, для склонного к насилию; для человека справедливого, доброжелательного, великодушного оно излишне. Всякая потребность во внешней силе указывает на болезненное состояние. Тюрьма нужна для преступника, смирительная рубашка — для помешанного, костыли — для хромого, корсет — для страдающего слабостью позвоночного хребта, для бесхарактерного нужен распорядитель, для ограниченного — руководитель; но ничего подобного не нужно для человека, у которого здоровая душа находится в здоровом теле. Тюрьмы были бы излишни, если бы не было воров и убийц. Армии у нас существуют только потому, что тирания господствует теперь на земле. Адвокаты, судьи, присяжные — все орудия закона необходимы только по причине существования плутовства. Судебная власть есть последствие социальной порочности; полиция и преступник — это целое, в котором одна часть служит необходимым дополнением другой. Таким образом, то, что мы называем правительством, есть не что иное, как неизбежное зло.

Каково же должно быть наше мнение о системе нравственности, для которой эти преходящие учреждения служат основанием, которая предполагает их вечными и создает в этом предположении длинный ряд заключений? Материалами для своей постройки она избирает парламентские постановления, а государственных людей обращает в своих зодчих. Таков образ действий философии пользы. Она избирает правительство себе в товарищи, дает ему полное право контроля над своим делом; по мнению этой системы, все должно быть предоставлено суждению правительства; одним словом, она делает из правительства жизненный принцип, существо и душу своего учения. Если Палей утверждает, что интересы всего общества обязательны для каждой его части, то, следовательно, он предполагает существование власти, которая бы определяла, в чем должен заключаться этот интерес всего общества. В другом месте он выражает свою мысль еще яснее: он утверждает, что воля отдельного лица должна уступить, когда дело идет об интересе всей нации; интерес же нации определяется законодательной властью. Бен-там выражается еще решительнее. Он утверждает, что счастье

отдельных личностей, из которых составляется общество, их радости, их спокойствие и их безопасность — вот единственная цель, которую законодательство должно иметь в виду; законодательство в пределах, в которых это от него зависит, должно заставлять отдельные личности сообразовать свое поведение с этим единственным руководящим правилом. Эти места из сочинений упомянутых философов избраны не произвольно, они вытекают из самого основания, на котором построена их система. По их мнению, «польза» должна вести к благу масс, а не к благу отдельного лица; она должна вести к благу как настоящих, так и будущих поколений. Ясно, при таком положении, что кто-нибудь должен же решать, какие пути должны вести к такому благу. Взгляды на пользу той или другой меры до такой степени различны, что они делают управление существенно необходимым. Относительно запретительных тарифов, государственной церкви, смертной казни, законов о бедных существуют прямо противоположные мнения; способствуют ли эти учреждения общему благу или нет — на этот вопрос даются такие различные ответы, что дело не подвинулось бы ни на шаг до конца времен, если бы в этом нельзя было ничего сделать прежде, чем воспоследует единодушное согласие всех. Если бы независимо от государственной власти каждый приводил в исполнение свои взгляды на то, что он считает лучшим обеспечением для «наибольшего счастья наибольшего числа живущих», в обществе очень скоро водворилось бы безысходное замешательство. Если учение о нравственности основано на правилах, которые при практическом применении порождают споры и противоположные взгляды, то понятно, что необходима для его осуществления известная власть, которая имела бы право окончательного решения, т.е. законодательство. Без такой власти нравственное учение должно оставаться недействительным.

Таким образом, дело ставится вот в какое положение. Система нравственной философии должна заключать в себе собрание истин и руководящих правил для определения направлений человеческой деятельности — правил, приспособленных для руководства как наилучших, так и наихудших членов человеческого рода. Если они истинны, то они должны быть способны руководить человечеством и по достижении наибольшего совершенства, какое мы можем себе представить.

Правительство же есть учреждение, порожденное человеческим несовершенством; всеми признано, что учреждение это порождено необходимостью ограждать себя от зла; это — учреждение, от которого можно было бы избавиться, если бы мир был населен несебялюбивыми, добросовестными и доброжелательными людьми; одним словом, это учреждение, несовместимое с упомянутым «крайним пределом человеческого совершенства». После этого можно ли признать систему нравственной философии истинной, если необходимость правительства лежит в основании этой системы?

§ 5. Итак, первое, что можно сказать о философии пользы, — это то, что она не имеет права на научное значение: она не основана на аксиомах, а выражает только задачи, которые подлежат разрешению.

Если даже согласиться, что ее основные положения заключают в себе аксиомы, и в таком случае ими нельзя довольствоваться, потому что они выражены словами, не имеющими единого, всеми признанного смысла.

Если бы философия «пользы» была удовлетворительна во всех других отношениях, то она все-таки будет лишена всякого значения до тех пор, пока для ее практического применения необходимо будет всеведение.

Если мы даже не обратим внимания на все другие возражения, то мы все-таки вынуждены будем отказать в нашем признании учению, которое в одно и то же время стремится создать совершенное и принимает несовершенство себе в основание.

Учение о нравственном чувстве

§ 1. Для того чтобы составить себе правильное понятие об обществе, необходимо исследовать природу индивидуумов, из которых оно состоит. Чтобы понять человечество во всей его сложности, необходимо сначала анализировать отдельные его элементы; для понимания сложного необходимо обратиться к простым составным его частям. Нетрудно понять, что каждое проявление в собрании людей истекает из известного рода свойств отдельного человека. Немного нужно размышления, чтобы понять, что само существование общества доказывает

в отдельных его членах известную естественную наклонность к такому союзу. Ясно, что если бы человечество не обладало способностью управлять и подвергаться управлению, то правительством было бы невозможно. До бесконечности сложная организация человеческих отношений выросла под влиянием известных стремлений, существующих в каждом из нас. Религиозные учреждения вызваны были к жизни известными нашими чувствами, к которым они обращаются.

Рассматривая все это со вниманием, мы найдем, что не можем составить себе об этих предметах другого понятия. Проявления личностей в составе общества не могут происходить от случайностей комбинации, они должны быть последствием известных свойств, прирожденных их существу. Совершенно справедливо, что проявления эти вызываются именно соединением людей в одно общество; при этом обнаруживается то, что прежде оставалось незамеченным: общественная жизнь вызывает деятельность способностей, которые оставались в неразвитом состоянии, но очевидно, что она не создает их. Если в отдельных членах общества не существует способности для произведения известного явления общественной жизни, то явление это вовсе не может иметь места.

Во всей природе мы видим тот же самый факт: свойства массы зависят от особенностей каждой из составных ее частей. Дальтон показал нам, что в химических соединениях нескольких элементов сродство существует между отдельными атомами. Вес тела есть не что иное, как сумма силы тяготения всех отдельных его частичек. Твердость куска металла есть произведение силы сцепления всех отдельных его составных частей. Притягательная сила магнита есть сложный результат притягательного свойства каждого отдельного атома, из которых он состоит. Точно так же каждое социальное явление должно иметь своим источником известные свойства индивидуумов. Сила тяготения и химическое сродство скрыты в отдельных частицах и проявляются только тогда, когда атомы эти сближаются друг с другом; точно так же в отдельных личностях известные силы остаются без проявления до тех пор, пока эти люди не приходят в соприкосновение со своими ближними.

Все эти соображения, по-видимому, совершенно излишние, имеют, однако же, большое значение для нашего предмета. Они

убеждают нас, что нравственный закон общества точно так же, как и другие его законы, имеет своим источником известные свойства человеческой природы. Они не позволяют нам построить наше учение на основании, которое неизбежно предполагает существование общества, как например, основание «наибольшего счастья наибольшего числа людей». Вместе с тем они показывают, что основные нравственные принципы, которыми должно руководствоваться человечество в составе общества, следует отыскивать у человека в качестве отдельной личности — нравственные силы, на которых основывается социальное равновесие, заключаются в каждом социальном атоме, т.е. в каждом отдельном человеке; если мы хотим понять природу социальных сил и законы социального равновесия, мы должны усмотреть их в устройстве отдельного человека.

§ 2. Если бы мы не имели для еды другого побуждения, кроме выгод и удобств, которые могут от этого происходить, то едва ли можно было бы ожидать, чтобы мы о нашем теле заботились так хорошо, как мы заботимся теперь. Не подлежит никакому сомнению, что если бы мы были лишены того настоящего стимула, который называется аппетитом, и если бы мы в этом случае должны были руководствоваться исключительно какими-нибудь разумными правилами, то дело вышло бы гораздо менее удовлетворительным. Самая лучшая философия — вполне ясная очевидность преимуществ насыщения — может только самым неудовлетворительным образом заменить чувство голода. Представим себе, что вместо могущественной привязанности, которая заставляет людей питать и защищать своих детей, существует только отвлеченное убеждение, что полезно и необходимо поддерживать население земного шара. В таком случае весьма легко могло бы быть, что ожидаемая от воспитания детей польза не перевесила бы неприятностей, забот и издержек, сопряженных с воспитанием будущего поколения, и дело кончилось бы быстрым исчезновением рода человеческого. Предположим, что, кроме нужд тела и потребностей расы, все другие требования нашей природы также удовлетворялись бы не иначе, как через посредство и вследствие деятельности нашего интеллекта; предположим, что мы приобретаем собственность, свободу, знания, доброе имя, друзей и пр.

не иначе, как по требованию нашего разума. Что же вышло бы из этого? Наши исследования были бы так бесконечны, наши обсуждения так сложны, решения для нас так затруднительны, что вся наша жизнь проходила бы в собирании доказательств, и мы только бы и делали, что взвешивали вероятности пользы и вреда. При таком положении утилитарная философия имела бы за себя важные доводы в природе вещей; она прямо прилагала бы к обществу ту же самую систему, которой руководствовались бы отдельные люди, — систему расчета для определения окончательного результата действий.

Природа в настоящее время поступает совершенно иначе. Для каждого действия, которое нам нужно совершить, мы находим в нас стимул, который называется желанием; чем существеннее для нас действие, тем могущественнее проявляется побуждение к его исполнению, тем больше удовольствия доставляет нам удовлетворение потребности. Стремления к пище, ко сну, к теплу неотразимы и совершенно независимы от предусмотрительного расчета выгод. Продолжение расы обеспечено другими, не менее сильными потребностями; потребностям этим человек следует не только во имя разума, но часто наперекор здравому рассудку. Существование скарედности доказывает, что человек накапливает средства для своего существования не только потому, что он имеет в виду пользу, от этого происходящую. У скряги любовь к приобретению приводит к пренебрежению целями, которым оно должно служить. Точно такой же образ действий природы мы встречаем и по отношению нашего поведения с себе подобными. Для того чтобы мы вели себя по отношению к обществу самым приятным для него образом, мы обладаем любовью к похвалам. Желательно, чтобы сходились между собой в обществе люди, которые всего более созданы друг для друга, и вот мы имеем чувство дружбы. Уважение, которое человек чувствует к тому, кто его превосходит, создано, чтобы обеспечить преобладание лучшего.

Вследствие этого здравый смысл заставляет нас предполагать, что мы найдем подобные же стимулы, которые бы побуждали нас следовать тем правилам, соблюдение которых обыкновенно называется *нравственностью*. Всякий должен согласиться с тем, что мы для обеспечения нашего телесного благосостояния руководствуемся инстинктами: из инстинктов

исходят те домашние отношения, которые приводят к достижению других важных целей; подобные же деятели определяют и общественное поведение и во многих случаях обеспечивают, таким образом, посредственно наше благополучие. Мы видим, что каждый раз, когда можем сводить наши поступки к их источнику, мы находим источником этим естественный стимул; поэтому весьма вероятно, что тот же самый душевный механизм действует и во всех случаях. Если самые существенные потребности нашего существа удовлетворяются путем инстинктивных побуждений, называемых желаниями, то весьма вероятно, что таким же образом удовлетворяются и менее важные. Честное поведение каждого отдельного человека необходимо для общего счастья, поэтому существует стимул, который побуждает к подобному поведению. Одним словом, мы обладаем «нравственным чувством», которое побуждает нас к прямоте во взаимных отношениях. Вследствие этого честное и искреннее поведение доставляет нам удовольствие, и в нас появляется чувство справедливости.

В опровержение этого вывода замечают, что если бы существовал такой двигатель, которым определялось бы поведение одного человека по отношению к другому, то влияние этого двигателя было бы для нас повсюду заметно. Люди следовали бы предполагаемым внушениям этого нравственного чувства с готовностью, которой мы в них вовсе не замечаем. Между мнениями людей о справедливости и несправедливости действий существовало бы несравненно большее единообразие. Нам не приходилось бы видеть, как мы видим теперь, что один человек или один народ признает добродетелью то, что со стороны другого признается пороком. Малаец хвалится морским разбоем, презираемым всеми цивилизованными племенами. Тут видит исполнение религиозной обязанности в убийстве, перед которым европеец отступает с ужасом; русский находит достоинство в успешном обмане; краснокожий индеец кичится обычаем неумирающей мести — все это дела, которыми среди нас менее всего возможно хвалиться.

Это возражение, по-видимому, весьма сильное; но его ошибочность делается достаточно ясной, если мы взглянем в то положение, в которое мы будем поставлены при последовательном его развитии. Никто не будет отрицать инстинкт, о котором было

говорено выше и который заставляет нас отыскивать пищу, необходимую для поддержания нашей жизни; никто не будет оспаривать, что инстинкт этот крайне благодетелен и, по всей вероятности, существенно необходим для поддержания нашего бытия. Несмотря на это, проявления такого инстинкта приводят к бесчисленным бедствиям и неудобствам. Всем известно, что аппетит вовсе не может служить правильным руководителем в выборе пищи как по отношению к ее качеству, так и по отношению к количеству. Точно так же невозможно утверждать, чтобы инстинкт этот порождал единообразные побуждения. Стоит только вспомнить бесконечное разнообразие, порождаемое им во мнениях относительно вкуса. Одно указание на обжорство и пьянство может убедить всякого, что побуждения, порождаемые аппетитом, не всегда хороши. На каждом шагу мы встречаем уродливые носы, мертвенные лица, вонючее дыхание, сырые тела; страдания головы, желудка и сердца, кошмары и бесчисленные другие припадки, произведенные расстройством пищеварения, возбуждают беспрерывно наше соболезнование. Столько же неправильных отправлений представляет нас и всеми признанное чувство родительской любви. Благодетельное его действие довольно единообразно в нашей среде; но на Востоке детоубийство в таком же ходу, как и было всегда. Во время классической древности мы встречаем обыкновение предоставлять младенцев на съедение диким зверям. В Спарте все новорожденные, не одобренные комитетом стариков, который заседал для определения их достоинств, бросались в предназначенную для этой цели общественную яму. Если отрицать существование в нас чувства, стремящегося установить правильность и справедливость во взаимных наших отношениях, и основываться при этом на отсутствии единообразия во взглядах людей на нравственность и на слабости и недостаточности в проявлениях этого чувства, то следует также утверждать, что не существует аппетита и родительской привязанности, потому что проявления этих чувств обнаруживаются точно так же неправильно в действиях людей по отношению к пище и к своему потомству. Такое заключение было бы неосновательно в последнем случае; следовательно, его нельзя сделать и в первом. Несмотря на все недостатки в проявлениях нравственного чувства, мы должны допустить, что существование такого чувства и возможно, и вероятно.

§ 3. Мы обладаем таким чувством, и это лучше всего доказывается словами тех, которые утверждают, что его не существует. Без сомнения, странно видеть, как Бентам, выводя свои первоначальные положения, невольно прибегает к оракулу, которого существование он отрицает и осмеивает, когда на него ссылаются другие. Говоря о Шафтсбери, он замечает: «Человек утверждает, что в нем есть орудие, которое должно ему указывать, что справедливо и что несправедливо; орудие это он назвал нравственным чувством; и вот он совершенно спокойно приступает к делу и объявляет об одном, что оно справедливо, а о другом, что нет. На чем же, однако, он основывает свое мнение? Ему, видите ли, это сообщено его нравственным чувством». Однако же и Бентам для своих положений не имеет другого авторитета, кроме того же нравственного чувства, и это — довольно неудобное для него обстоятельство. Если мы это положение предоставим на рассмотрение здоровой критики, то скоро раскроем, где тут истина. Сделаем же попытку.

«Итак, вы полагаете, — говорит патриций, — что целью нашего управления должно быть наибольшее счастье наибольшего числа».

«Это наше мнение», — отвечает проситель из плебеев.

«Посмотрим, в чем заключается ваш принцип. Предположим то, что очень часто случается, что люди обнаружили разнородные желания насчет одного и того же предмета; предположим, что посредством известного направления деятельности большинство из них желает получить известную долю счастья; в то же время меньшинство желает получить ту же долю счастья посредством деятельности в совершенно противоположном направлении. Если принцип «наибольшего счастья» должен нами руководить в этом случае, то, следовательно, большинство должно иметь предпочтение?»

«Конечно».

«Итак, если вы, народ, составляете сто, а нас девяносто девять, то предпочтение должно быть для вашего счастья, даже и в том случае, когда наши желания были бы прямо противоположны, когда сумма удовлетворения, полученная каждой личностью той и другой стороны от исполнения ее желания, была бы совершенно одинакова».

«Совершенно так — это вывод из нашей аксиомы».

«Таким образом, вы решаете между двумя партиями на основании численного большинства, а следовательно, вы предполагаете, что счастье каждого члена одной партии столь же важно, как и счастье каждого члена другой».

«Без сомнения».

«Ваше учение в самой простой форме может быть выражено так: «всякий человек имеет одинаковое право на счастье»; применяя это к личностям, я скажу, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я».

«Я имею такое право — это не подлежит сомнению».

«Позвольте вас, однако же, спросить, кто вам сказал, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я?»

«Кто мне это сказал? Я в этом уверен; я это знаю; я это чувствую; я...»

«Это ничего не значит. Укажите мне ваш авторитет. Скажите мне, кто вам это сообщил, как вы в этом убедились, откуда вы это заключили?»

После нескольких попыток рационального объяснения наш проситель вынужден будет сознаться, что у него нет другого авторитета, кроме его собственного чувства — это просто природное его убеждение; другими словами, это сообщено ему его «нравственным чувством».

Правильно ли такое указание нравственного чувства — это не подлежит здесь рассмотрению. Здесь имелось в виду только обнаружить факт, что после внимательного разбора дела даже и ученикам Бентама, при изыскании основания для их системы, останется одно — обратиться к внушениям того же нравственного чувства, которое было ими так осмеяно.

§ 4. Только человек, предубежденный ложной теорией, может не заметить действия подобной способности. Признаки существования этой способности мы находим начиная от самой глубокой древности и до настоящего времени. Признаки эти, по счастью, умножаются, как скоро мы начинаем приближаться к нашим дням. Статьи Великой хартии* выражают протест нравственного чувства против притеснений и его требования по отношению к водворению справедливости. Его инициатива послужила причиной уничтожения рабства. Нравственное чувство придало Виклефу, Гусу, Лютеру и Кноксу мужество в их борьбе против

папства; оно побудило гугенотов, пресвитериан, моравов отстаивать свободу суждения в делах веры*. Оно внушило Мильтону его «опыт о свободе печати»**. Оно направило отцов-пилигримов в Новый Свет. Оно поддерживало последователей Георга Фокса, угрожаемых пенями и тюрьмой. Оно внушало дух сопротивления пресвитерианскому духовенству 1662 г. Оно же в более позднее время породило те чувства, которые подточили и уничтожили политические ограничения по отношению к католикам. Через посредство ораторов, проповедовавших против рабства, оно сломило сопротивление эгоизма, смягчило сердца добрых и способствовало очищению нашей нации. Лучи его теплоты взрастили в нас симпатии к полякам и возбудили в нашей душе негодование против их притеснителей. Долго скапливался в нас возбужденный им жар, шумным взрывом разразился он над старинной несправедливостью и породил кипучую агитацию реформы. Из поднявшегося тогда пламени вылетели искры, которые уничтожили теории протекционистов, и возгорелся свет, который открыл нам истину свободной торговли. Внутренняя сила этого чувства возбудила социальный *электрический ток*, который разделяет людей на партии, который порождает в народе его положительный и отрицательный полюсы — радикальные и консервативные элементы. Теперь то же чувство порождает ассоциации против государственной церкви и обнаруживает свое действие в разнородных обществах, направленных к увеличению власти народа. Оно строит памятники мученикам политической деятельности, оно агитирует за допущение евреев в парламент, оно распространяет книги о правах женщин, подает петиции против сословного законодательства, угрожает восстать против конскрипции ополчения***, отказывается платить приходские (церковные) сборы, отменяет притеснительные законы о должниках, оплакивает печальные судьбы Италии и вызывает симпатии к венграм¹. Из него, как из корня, возрастают наши стремления к социальной правдивости. Оно порождает изречения вроде следующих: «поступай с другими так, как бы ты желал, чтобы поступали с тобой», «честность — лучшая политика»,

¹ Не следует упускать из виду, что все это написано было в сороковых годах; теперь, когда венгр из притесненного обратился в притеснителя, его судьба вовсе не симпатична. — *Прим. перев.*

«сначала справедливость, а потом великодушие». Вот его цвет, а плоды его — справедливость, свобода и безопасность.

§ 5. Меня спросят: каким образом чувство может иметь понятие? Каким образом инстинктивное стремление может породить нравственное чувство, способность нравственного смысла? Не заключается ли тут смешения между интеллектуальной деятельностью и ощущением? Дело чувства — получать впечатления, а не определять образ действий; в то же время дело инстинкта — порождать известный образ действий, но не получать впечатления. Между тем в предыдущем изложении способность побуждения и сила представления сосредоточиваются в одном и том же деятеле.

Это замечание может иметь вид весьма серьезного возражения, и если бы нужно было термины «чувство» или «мысль» понимать в точном их значении, оно могло бы привести к решительному опровержению. Но в настоящем случае термин «чувство» выражает то же, что он означает и во многих других, а именно то чувство, с которым инстинкт смотрит на предметы и действия, входящие в его сферу, или, лучше сказать, то суждение об этих действиях и предметах, к которому он побуждает интеллектуальную силу посредством известного рода рефлексивного влияния. Объяснить это нужно примером: мы выберем страсть к экономии — она даст нам возможность удовлетворительно разъяснить дело.

Мы найдем, что вместе со стремлением к приобретению собственности она составит то, что мы назовем чувством или смыслом цены собственности. Мы найдем, что сила этого чувства изменяется сообразно силе побуждения. Противопоставим скрягу и расточителя. Преследуемый своим постоянным желанием копить, скряга имеет совершенно ненормальный взгляд на цену денег. Самая крайняя экономия кажется ему добродетелью; самые обыкновенные издержки могут представиться ему предосудительными, а щедрость внушает ему полнейшее отвращение. Все, что способствует увеличению его запаса, кажется ему хорошим; все, что его уменьшает, кажется ему дурным. Если минутная вспышка благородного чувства по какому-нибудь случаю заставит его развязать свой кошелек, то он может быть вполне уверен, что впоследствии будет порицать себя за это как за дурной

поступок. С другой стороны, и расточитель не может правильно определять настоящую цену собственности, потому что ему недостает инстинкта приобретения; это не идет к нему, он не имеет для этого надлежащей склонности. Под влиянием совершенно других чувств он смотрит с презрением на привычки экономии: он в расточительности видит благородное свойство. Теперь ясно, что этот противоположный взгляд на достоинства и недостатки известного поведения проистекает не из рассудка, а из чувства, из способностей ощущения. Если бы рассудок действовал у них не под влиянием желаний и инстинктивных стремлений, то он показал бы им, что в образе действий скряги так же мало мудрости, как и в образе действий расточителя. Действуя же под влиянием инстинктивных желаний, рассудок каждому из них представляет другого дураком, в то время как страсть не дает ему возможности заметить собственное дурачество.

Этот самый закон действует во всех случаях. Каждая склонность сопровождается чувством справедливости тех действий, которые способствуют ее удовлетворению; она стремится создать понятие о хороших и дурных поступках, которое бы соответствовало тем удовольствиям или страданиям, которые они для нее производят. Если бы она не встречала оппозиции, ей бы действительно удалось распространить убеждения, согласные с ее стремлениями. Но так как склонности находятся между собой в постоянном противоречии и антагонизм между некоторыми из них продолжается всю жизнь, то из этого выходит прямо соответствующее этим противоречиям противоположное стремление при составлении взглядов на вещи: между этими взглядами является подобное же столкновение и соответствующий ему антагонизм. Вот почему связь, существующую между инстинктом и мнениями, из него вытекающими, можно ясно увидеть только тогда, когда одно инстинктивное стремление окончательно преобладает или когда не существует противоположного побуждения инстинкта.

Примененные к нашему предмету, эти факты показывают, каким образом из инстинктивного побуждения действовать в том направлении, которое мы называем справедливым, может произойти понятие, что так должно действовать, и убеждение, которое заставляет эти действия считать хорошими. Этот инстинкт или чувство, которое удовлетворяется справедливым

поступком и оскорбляется несправедливым, заставляет нас хвалить справедливое и чувствовать отвращение к дурному; отсюда непосредственно вытекает мнение, что один род поступков добродетелен, а другой — порочен. Возвращаясь к приведенному примеру, мы можем сказать, что если страсть к приобретению собственности сопровождается чувством цены собственности, то страсть к справедливому образу действия сопровождается чувством справедливости. Если мы слово «чувство» употребим исключительно для выражения этого явления, то не будет никакой ошибки, если мы тому же деятелю припишем и способность побуждения, и способность производить понятие.

Здесь нужно опровергнуть еще следующее возражение. Выше было объяснено, что каждое чувство стремится породить понятия о справедливом и несправедливом в пределах своей впечатлительности; нравственность же определяет справедливое по отношению ко всем отраслям нашего поведения, поэтому не следует относить термин «нравственное чувство» к способности одного только порядка. Это совершенно справедливо. Несмотря на это, мы должны принять в соображение, что наше поведение по отношению друг к другу составляет самую важную часть всего нашего поведения и, кроме того, ту часть, в которой мы всего легче способны ошибаться. Способность нравственного чувства исключительно и непосредственно нравственна в своих стремлениях. Кроме того, мы скоро увидим, что одни предписания этого чувства способны быть выраженными в точной форме. Вот почему мы можем продолжать не без некоторого основания употреблять этот термин в вышеизъясненном ограниченном его значении.

§ 6. Если мы предположим в человеке существование способности, побуждающей его к справедливым поступкам относительно себе подобных, если мы предположим, что эта способность порождает в нем известные непосредственные¹ взгляды на эти поступки, то должно показаться совершенно правильным, если мы в этих непосредственных внушениях и будем отыскивать

¹ Это слово следует понимать в обыкновенном, а не в метафизическом смысле. — *Авт.* У Спенсера употреблено слово «intuitions», которое и переведено согласно его указанию. — *Перев.*

элементы для нравственного кодекса. Попытки построить на этом основании нравственный кодекс делались уже от времени до времени. Такие попытки сделаны были Шефтсбери и Хатчесоном в сочинении «о здоровом рассудке», Прайсом «о разуме», Кларком в сочинении «о пригодности», Гранвилем Шарпом «о естественной справедливости», «естественном праве», «законах разума», «здоровом разуме» и т.д. Попытки всех этих писателей развить философское учение о нравственности были неудачны; но если только вышеизложенные рассуждения справедливы, то следует сказать, что они обратились к настоящему источнику. Хотя им и не удалось систематически и ясно выразить то, что они могли бы из него почерпнуть, но им может быть поставлено в заслугу то, что они сделали попытку. Анализ того, что следует считать справедливым и несправедливым, сделанный на таком основании, нельзя признать ни окончательным, ни самым глубоким. Но мы увидим, что он согласуется с подобным окончательным анализом как в исходной своей точке, так и по результатам.

Против кодексов подобного происхождения возражают, что они во всяком случае не могут иметь никакой цены, потому что у их основных положений нет твердого основания. «Так называемое «нравственное чувство», — говорят возражающие, — не имеет никакого постоянства, не дает никаких единообразных ответов; оно говорит в Европе одно, а в Азии — другое; оно порождает различные понятия об обязанностях в каждом возрасте, в каждой расе, в каждом индивидууме; каким же образом может оно быть надежным основанием для систематического взгляда на нравственность, — а между тем, все признающие его писатели обращаются к нему или посредственно, или непосредственно? — Что может быть нелепее — искать точных правил справедливости в ответах такого шаткого авторитета?»

Если допустить, что невозможно выйти из этого затруднения, если предположить, что не существует никакого способа для извлечения из этого источника нравственной философии, свободной от такого рокового несовершенства, то из этого, однако же, следовало бы только то, что отыскание истины этим путем сопряжено с теми же затруднениями, которые представляются и при всех других предложенных способах. Если признать этого руководителя несостоятельным, потому что его

предписания изменчивы и непостоянны, то по той же причине следует отвергнуть и утилитаризм. Если Бентам прав, отвергая «нравственное чувство» на том основании, что оно дает «принципы анархические и произвольные, основанные исключительно на внутренних и личных чувствах», в таком случае его собственные учения должны быть признаны вдвое более шаткими. Разве его идея «наибольшего счастья» не есть произвольная идея? Разве она не основана также исключительно «на внутренних и личных чувствах»? (см. с. 23). Оставляя даже в стороне все прочее, не следует ли признать, что его идея «наибольшего счастья» — принцип анархический, потому что он допускает беспредельную разноголосицу по отношению к средствам для его осуществления? Всякая утилитарная философия подвержена обвинению в неопределенности, потому что тут приходится все снова обращаться к старому, неразрешенному вопросу: что такое польза? Из каждой газеты мы можем убедиться, что этот вопрос подает повод к бесконечным спорам, оспаривается полезность каждой поставленной цели, оспаривается годность средств к ее достижению. Во всяком случае, по отношению к научной точности, философия, основанная на «нравственном чувстве», нисколько не хуже всех других известных систем.

§ 7. К счастью, она имеет за себя еще одно решительное обстоятельство. Можно вполне согласиться с силой сделанного выше возражения, и это все-таки ни в каком случае не приведет к падению теории. На основании нравственного чувства можно построить учение о нравственности с чисто синтетическими приемами, хотя, по-видимому, это и кажется невозможным; учение это будет такого рода, что оно будет безопасно от всякой подобной критики.

Упомянутые выше ошибки имели своим основанием не сущность учения, а его применение. Те, которыми сделаны были эти ошибки, исходили не из ложного принципа, но не попали на настоящую дорогу при выводе из этого источника отыскиваемых заключений. Писатели школы Шафтсбери ошиблись не по отношению к оракулу, к которому они обращались, но они вступили на ложный путь при выборе метода для истолкования его изречений. Они смешали отправление чувства и рассудка и требовали от чувства то, что должно быть предоставлено

разуму. Они были правы, предполагая, что в нас существует известный руководящий инстинкт, который заставляет нас одобрять поступки, называемые хорошими, и чувствовать отвращение к тем, которые мы считаем дурными. Но они не имели никакого основания предполагать, что всякая нравственная задача может быть решена этим инстинктом по вдохновению. Чтобы сделать такое предположение, нужно было утверждать, что нравственное чувство может заменить логику.

Чтобы лучше объяснить этот предмет, мы возьмем аналогичный пример из математики или одной из ее частей — из геометрии. В человеческой душе есть способность составлять себе понятие об измеряемых величинах — понятие это мы для нашей аналогии назовем геометрическим чувством. С помощью этого чувства мы определяем длину линий, величину плоскостей, объем тела и составляем себе понятие об их взаимном отношении. Как скоро мы пожелаем придать научное значение всем сведениям, приобретенным таким образом, мы найдем, что нельзя полагаться на решения геометрического чувства, предоставленного самому себе, потому что оно порождает в различных личностях совершенно несогласные между собой суждения. Если мы сравним эти суждения, то найдем, что есть несколько простых истин, относительно которых мы все согласны. Так, например, «две величины, равные третьей, равны между собой», «целое больше своей части»; соглашаясь с этими положениями, мы их называем аксиомами — эти основные истины познаются нашим геометрическим чувством; опираясь на них, мы найдем, что возможно рядом логическим выводам разрешить все спорные пункты и решать с точностью задачи самого сложного свойства¹. Моралисты, которые покусились разрешить все нравственные задачи путем одного нравственного чувства, сделали такую же ошибку, какую бы сделали геометры, если бы они не прибегли к тому методу, о котором сказано выше, и упорно стремились бы разрешить путем

¹ Мы можем принять взгляды Локка или Канта на существо и на природу того, что здесь для целей аналогии названо геометрическим чувством, — вопрос от этого не изменится. Но поддающееся анализу основание точных наук заключается в первоначальных понятиях — вот что нам необходимо сознать в настоящем случае; каково происхождение этих понятий, это для нашей цели безразлично.

геометрического чувства все вопросы, касающиеся линий, углов, четырехугольников, кругов и т.п., если бы они путем одного впечатления старались определить, равны ли три угла треугольника двум прямым или нет, или равняются ли площади подобных многоугольников отношению их сторон, возвышенному в квадратную степень.

Читатель поймет заключение, к которому должна привести эта аналогия; способность составлять себе понятие о первоначальных законах величин имеет то же отношение к математике, какое инстинкт справедливости имеет к системе нравственности. Дело геометрического чувства — создать геометрическую аксиому, из которой логическим путем может быть выведена наука геометрии; точно так же дело нравственного чувства — создать нравственную аксиому, из которой логическим путем можно вывести систему нравственности.

Развивая далее путем сравнения нашу мысль, мы найдем, что в механике создано было множество ложных взглядов, основанных на механическом чувстве, предоставленном самому себе, например, что большие тела падают быстрее, чем малые¹, что вода поднимается в насос путем всасывания, что возможно вечное движение; все эти убеждения были опровергнуты синтетическими выводами, сделанными из первоначальных законов вещества, усмотренных механическим чувством. Мы имеем право надеяться, что множество противоположных взглядов на человеческие обязанности, созданных нравственным чувством, предоставленным самому себе, будет устранено научными выводами из известных первоначальных законов человеческой природы, указанных нравственным чувством.

§ 8. Возвращаясь к основаниям учения о нравственном чувстве, мы находим, что есть априористическая причина для отыскания первоначальных принципов общественной нравственности в известных чувствах, силах и способностях отдельной личности. Вполне соответствует этому убеждение, что инстинктивное желание, по всей вероятности, есть главное побуждение всех наших действий, потому что мы находим его источником всех тех наших действий, мотивы которых легко анализировать;

¹ Учение, признанное Аристотелем и его учениками.

поэтому мы должны предположить, что инстинктивным желанием определяется поведение, которое мы называем нравственным точно так же, как и всякий другой образ действий. Сверх того мы находим, что даже великий принцип утилитарной философии предполагает в человеке известное стремление к справедливым отношениям к себе подобным и соответствующее ему понятие о том, в чем эта справедливость заключается. В прошедшей и в настоящей социальной жизни мы встречаем разные явления, которые вполне показывают существование предполагаемого здесь нравственного чувства, и объяснить их какой-либо другой гипотезой невозможно. Предполагая существование такой способности, мы имеем причину думать, что ее внушения способны предоставить надлежащее основание для системы нравственности. На возражение, что изменчивость этих внушений делает их негодными для этой цели, следует ответить, что против оснований всякой другой системы можно сделать, по меньшей мере, то же возражение. Наконец, мы находим, что это затруднение только кажущееся, что оно вовсе не существенно. Несмотря на то, что решения этого нравственного чувства неточны и противоречивы в предоставленных на его усмотрение сложных случаях, оно может быть все-таки способно к произведению верного основного начала, и начало это может быть логическим путем развито до научного учения о нравственности.

Лемма первая

§ 1. С первого взгляда кажется весьма рациональным проверять правило, предложенное для руководства во время общественной деятельности, задавая вопросы вроде следующих: «Какое действие должно произвести это правило? Какие результаты даст эта теория, примененная к делу, если мы возьмем людей таких, какими мы их знаем, а учреждения — какими мы их встречаем в действительности?» Этот прием исследования, который считается весьма здравым, употребляется в весьма многих случаях, когда люди составляют себе понятия о нравственности и политике. Обсуждая известную систему, люди стараются определить, кажется ли она применимой, согласна ли она с тем или другим общественным учреждением, приспособлена ли она к тому, что им известно о человеческой природе. Они составили

себе известное понятие о том, что такое человек и чем должно быть общество; и их решение по отношению к каждому нравственному учению зависит от того, согласно ли оно или не согласно с вышеупомянутыми понятиями.

Такой способ разрешения нравственных вопросов, конечно, должен подвергаться той же самой критике, которая оказывается губительной для утилитарной философии. Мы не способны руководиться в отдельных наших поступках путем взвешивания и определения всех их последствий, и эта неспособность совершенно последовательно должна делать нас не способными к обсуждению основных начал, если мы будем применять к ним ту же методу. Кроме того, есть еще одна причина отвергать подобного рода исследование и признавать его не имеющим основания: оно могло бы иметь значение только тогда, когда бы свойства человечества не изменялись. Если система нравственности принимается или отвергается только потому, что она согласна или не согласна с тем, что мы знаем о людях и вещах, то, следовательно, предполагается, что люди и вещи всегда будут такими же, какими мы их теперь видим. Нелепо мерить изменяющейся мерой. Если существующее человечество должно быть основной мерой для определения истины, то мера эта — т.е. существующее человечество — должна быть неизменна.

Что в нем нет этой неизменности, это достаточно очевидно без всякого доказательства — это так очевидно, что доказывать это могло бы казаться даже смешным. К несчастью, существует такое множество людей, которые по предрассудку придерживаются иного мнения, что нельзя не привести доказательств. Для опровержения их скептицизма нужно привести факты: насколько бы это ни показалось скучным читателю-философу, но нужно на это решиться.

§ 2. Сначала мы рассмотрим невероятность предполагаемого постоянства человеческой природы. Уже давно было замечено, что изменчивость есть закон всех вещей; это замечание одинаково справедливо по отношению к каждому отдельному предмету и ко всей вселенной. Природа в ее бесконечной сложности постоянно стремится к новому развитию. Каждый последовательный результат порождает нового деятеля для изменения в известной степени всех последующих произведений. Всякая

новая нить, которая входит в состав бесконечной ткани, сотканной на шумном станке времени, изменяет ее рисунок в более или менее значительной степени. Так было с начала времен. Если мы обратимся к страницам первобытной истории земли, если мы будем разбирать иероглифы, в которых сохранились происшествия неизвестного прошедшего, мы найдем ту же самую вечно возобновляющуюся, никогда не прекращающуюся цепь движений и перемен. Мы видим то же самое и в органической, и в неорганической природе, в разложении старых и в появлении новых комбинаций материи и в постоянно меняющихся формах животной и растительной жизни. Старые формации разлагаются, новые — осаждаются. Леса и болота обращаются в каменноугольные копи, и скала ныне огненного происхождения была когда-то осадочною. Атмосфера меняется, температура понижается, и земля, и море постоянно производят новые породы насекомых, растений и животных. Повсюду произошла метаморфоза, раковины инфузорий* превратились в мел и в кремень, песок превратился в камень, камень сделался хрящом. Пласты исковерканы внутренними силами, налились моря, земля то поднималась, то опускалась. Там, где-то когда-то бездонный океан катил свои волны, теперь возвышаются покрытые снегом вершины над обширной роскошной страной, исполненной жизни. Там, где когда-то, широко раскинувшись, высились материки, там теперь лишь несколько пустынных коралловых островов указывают на могилу опустившихся в волны гор. То же самое мы видим среди миров. Орбиты изменили свои формы, оси — свое наклонение, небесные тела — свой свет. Неподвижные только по имени звезды постоянно изменяют свое взаимное отношение. От времени до времени внезапно появляются новые, растут и потухают; солнце, планеты и спутники, входящие в состав туманных пятен, в вечно вращательном движении все вместе летят вперед, в неизведанную даль беспредельного пространства.

Странно было бы, если бы среди этого всеобщего движения один человек оставался постоянным и неизменным. Нет, это не так. Он так же подлежит закону беспредельной перемены. Обстоятельства, его окружающие, постоянно меняются, и он постоянно к ним приспосабливается. Бесчисленные степени различий существуют между нагим бездомным дикарем и Шекспирами

или Ньютонами цивилизованного государства. Различие между расами по их нравственным и интеллектуальным свойствам не менее значительно, чем различие во внешних формах, в цвете кожи и в чертах лица. Превосходство зрения бушмена, который простым глазом может видеть далее, чем европеец в зрительную трубу, вполне уравнивается более совершенным умственным зрением жителя Европы. Калмык превосходит белого человека утонченным обонянием, краснокожий индеец — остротой слуха, но это превосходство далеко не так значительно, как превосходство белого в нравственной чуткости. Каждый возраст, каждый народ, каждый климат показывает нам измененную форму человечества; большие или меньшие перемены происходили во все времена и между всеми народами.

Невозможно найти более поразительного примера упорства, с которым люди способны держаться известного убеждения, несмотря на подавляющую массу доказательств противного; а между тем, мнение о единообразии человеческой природы даже преобладает. По-видимому, человеку невозможно употреблять свое зрение и свой слух, не убеждаясь, что человечество бесконечно разнообразно по своим инстинктам, по своим нравственным свойствам, по мнениям, по вкусам, по умственным силам — одним словом, во всех отношениях. Стоит пройти по ближайшему музеуму, чтобы убедиться в действии известных законов изменения. Обратите внимание на уродливые фрески египтян или на китайские картины без теней. Неужели сравнение этой живописи с произведениями европейских артистов не указывает на различную впечатлительность рас? Сравните ваяние Афин, Индостана и Мексики. Неужели у одних нельзя заметить более развитого чувства прекрасного, чем у других? Перейдем к более знаменательным фактам, которые нам передаются историками и путешественниками; что мы должны подумать, когда прочтем, что у греков и римлян существовало божество, которое освящало и защищало всевозможные несправедливости? Или когда мы узнаем, что в Полинезии есть племена, которые полагают, что их боги питаются душами умерших? Свойства людей, на которые указывают подобные понятия о божестве, без сомнения, несколько отличаются от наших! Без сомнения, мы имеем право на некоторое существенное превосходство по сравнению с татарами, которые оставляли слабых родителей на

произвол голодной смерти в степи, и над островитянами острова Фиджи, где члены одного и того же семейства должны были ограждаться от взаимных обманов. Англичанин не имеет обыкновения насыщаться поджаренным мясом пленного, подобно караибам*; он не будет есть, подобно жителю Абиссинии, трепещущий кусок ляжки живого быка. Он не в состоянии, подобно краснокожему индейцу, наслаждаться корчами жертвы на коостре. Он не способен, подобно жителю Индостана, сжечь свою жену, чтобы она в виде привидения преследовала его врага.

В каком же отношении можно утверждать, что человеческая природа всегда одинакова? Не по отношению ли к рациональности? Почему Анаксагор должен был бежать из своей страны, так как он позволил себе кощунство, утверждая, что солнце не есть колесница божества Гелиоса, тогда как ребенок часто беспокоит старших вопросом, кто сделал Бога? Не по отношению ли к справедливости? Нет. Скверно обращались в наше время с рабами, но никогда, подобно спартамцам, не возбуждали подкарауливать в засаде и убивать илотов** для упражнения. Не по отношению ли к честности? Каким же образом мы считаем, что «морской разбой был упражнением, промыслом, славой и добродетелью юношества Скандинавии», в то время как между нами частное пиратство порицается даже во время войны? Не по отношению ли к милосердию? Нисколько: хотя австрийская бойня и обесславила Европу, но она не может быть сравнима с деяниями Чингисхана, который ознаменовал первую свою победу тем, что бросил семьдесят пленных в котлы с кипящей водой; или с поступками Тимура, который велел умертвить сто тысяч пленных индийцев и построить пирамиду из девяноста тысяч человеческих голов в виду дымившихся развалин Багдада; ее нельзя также приравнять к Аттиле, который окончательно уничтожил и срыл семьдесят городов. Или, может быть, между людьми равенство по отношению к мстительности? Менее всего: с одной стороны, мы имеем Бегум Сумро, которая велела одну из своих танцовщиц замуровать в стене и поставить у этого места свою кровать, чтобы она могла слышать предсмертные вопли своей жертвы, а с другой — нашу королеву, которая просила, чтобы человек, стрелявший в нее, не был наказан телесно. Где же между людьми тождество? Мы видели, что его нет в действиях. Но, может быть, в правах

и во взглядах на вещи? Наверное, нет. В наше время общество очень дурно приняло бы мужчину или женщину, о которых было бы известно, что они отравили своих врагов; в Италии же было время, когда подобные поступки не внушали презрения. Ни одно семейство в настоящее время не последует примеру Висконти и не выберет змею эмблемой своего герба. В девятнадцатом столетии мы не найдем ничего похожего на германского начальника наемников, который надписал у себя серебряными буквами: «Герцог Вернер, начальник великой дружины, враг милосердия, жалости и Бога».

Зачем искать далеко доказательств человеческой изменчивости? Разве мы не имеем достаточно примеров у себя дома? В прежние времена полагали, что для дворянина совершенно достаточно трубить в рог и ловко держать своего сокола, а учение и научное развитие предоставляли детям народа; в то время люди искали безопасности за толстыми стенами и глубокими рвами, тогда женщины носили кинжалы; можно полагать, что в те времена свойства людей были не вполне такие же, как теперь. Между тем как все номинально исповедовали ту же веру, которую исповедуем мы; пограничный житель всего усерднее обращался к своему молитвеннику, когда он отправлялся в набег; имена святых были боевым кличем; епископы благославляли своих последователей на войну, и умерщвление сарацин считалось верхом благочестия. Не следует ли допустить, что наша природа до известной степени изменилась, если мы ту же самую религию обратили в религию мира, религию филантропических усилий всякого рода, религию миссионерских подвигов, в защитницу умеренности, производящую исследования над участью «рабочего и бедного»? Разве агитация в пользу отмены смертной казни не показывает преобразования в человеческих чувствах с того времени, когда тело Кромвеля было вырыто и его голова воткнута перед Темплом? Разве не заметно перемены с того времени, когда людей колесовали, четвертовали и вешали? Разве не заметно перемены с тех пор, когда был в народе ропот, потому что Стаффорду позволили умереть прежде, чем он увидел собственные свои кишки сожженными перед его глазами, — с того времени, когда скрип виселиц был повсеместен в стране, с того времени, когда церковные двери были покрыты кожами людей, совершивших святотатство? Мы читаем, что

Джону Гаукинсу воздавалась *почесть* за то, что он первый начал торговлю рабами — за это в его гербе прибавлено было «полнегра, связанного надлежащим образом веревкой» — не следует ли заключить, что характер народа с того времени изменился, если мы обратим внимание на то, что в наш век из симпатии к неграм 300 000 человек решились отказаться от употребления всяких произведений Вест-Индии?

Наконец, в самом деле, нужно прийти к тому, что нелепо приводить доказательства для убеждения в подобной истине. Те, которые утверждают неизменяемость человеческой природы, беспрерывно сами себя опровергают. Они постоянно доказывают свою непоследовательность, говоря о различии национальных свойств, об отличительных чертах душевного настроения их друзей и об особенностях в их собственных вкусах и чувствах. Подобные признания, сделанные ими невольно и случайно, совершенно уничтожают их учение. Но даже и в таких признаниях нет необходимости. Для этого не нужно сравнения между обычаями разных рас, между человеком, каков он есть и каким он был, между характерами и талантами различных индивидуумов. Человек, обладающий хоть некоторой проницательностью, убедится в бесконечной изменчивости человечества, делая наблюдения только над самим собой; он меняется сообразно обстоятельствам, изо дня в день и из года в год, в нем изменяются и чувства, и способности, и желания.

§ 3. Если человечество неопределенно изменчиво, то оно не может служить мерой для оценки нравственных истин. Мы видим, что учреждения, которые оказывались неприложимыми в известное время, процветали впоследствии; что законы и обычаи, которые оказывались когда-то спасительными, сделались зловередными, и у нас много оснований предполагать, что подобные изменения будут иметь место и впоследствии. Несообразность с состоянием людей и вещей, которая делает известные принципы, по-видимому, неприменимыми, может впоследствии исчезнуть; принципы, которые в настоящее время кажутся вполне приспособленными к нашему социальному положению, могут впоследствии быть с ним в дисгармонии. Если бы мы сделали ничем не оправдываемое предположение, что природа человеческая, которая до сих пор была изменчивой, впредь останется

неизменной, то и в таком случае мы не могли бы опровергать систему этики на том основании, что она несогласна с современным состоянием человечества.

Такое опровержение было бы менее всего основательным; на подобное обнаружившееся несогласие мы не только не можем смотреть с предубеждением, но мы должны его ожидать; мы должны смотреть на него скорее как на доказательство истинности системы, чем как на указание ее ложности. Нелепо ожидать тождественности между абсолютными истинами нравственности и недостатками нравов и характеристических свойств современного состояния! Мы уже сказали выше, что система нравственности заключает в себе собрание правил, способных руководить человечеством в самом совершенном его состоянии, какое мы только можем себе представить. Всеобщее применение его правил предполагает идеальное общество. Каким же образом можно ожидать, чтобы они были в гармонии с идеями, действиями и учреждениями современных людей? Если мы говорим, что люди порочны, слабы, нестойки, то мы просто утверждаем, что они не в состоянии исполнять нравственных правил. «Несовершенство» — это просто другое слово, которое употребляется для обозначения понятия, что поведение не сообразуется с нравственными требованиями. Согласие между истинным учением об обязанностях и несовершенным состоянием человечества невозможно, оно по природе вещей заключает в себе противоречие. Тот, кто в пользу своей системы этики приведет возможность ее полного и немедленного применения, этим самым неизбежно докажет ее ложность. Истинные руководящие принципы для человеческой деятельности делаются применимыми только по мере того, как люди делаются совершенными; выражаясь с более правильной последовательностью мыслей, должно сказать: человек делается тем более совершенным, чем более он способен следовать нравственным правилам.

На последующих страницах мы разовьем учение, которое может быть найдено вполне согласным с учреждениями, среди которых мы живем. Читатель должен приготовиться к тому, что подобное несогласие не только не противоречит их истинности, но делает эту истинность более вероятной.

Лемма вторая

§ 1. Как бы ни была велика неспособность несовершенно человека исполнять совершенный закон, но для него нет другого закона. Перед ним открыта только одна истинная дорога, и он или должен следовать по ней, или переносить последствия своего отступления. Условия существования не переменятся ради его испорченности, не смягчатся ввиду его слабости. Если им нарушены будут эти законы, то для него не сделано будет никакого исключения, и наказание, которое должно следовать, последует неизбежно. «Повинуйся или терпи» — вот вечно снова представляющийся человеку выбор; за отступлением непременно последует кара, тут не бывает помилования.

Между тем мы встречаем любимую поговорку известного рода народной философии, что «нет правила без исключения»; поговорка эта имеет такое же значение, как и все другие поговорки, употребляющиеся наряду с нею. Она окажется довольно справедливой, если ее применить к постановлениям государственной политики, к социальным учреждениям, к правилам карманной мудрости, к законам грамматики, искусств и этикета или к тем общеупотребительным афоризмам, которые в грубой форме выражают опыт ежедневной жизни; но она будет безусловно неверна, если ее применить к основным принципам вещей, общества и людей.

Законы природы, напротив, не имеют исключений. Кажущиеся исключения только кажутся таковыми и не существуют в действительности. Они показывают, что мы или не нашли истинного закона, или не сумели его вполне выразить. Притяжение земли определяется таким образом: «это есть стремление всех свободных тел к центру земли». Против этого делается победоносное возражение: «всех свободных тел, за исключением воздушного шара». Однако же оказывается, что воздушный шар вовсе не составляет исключения. Он поднимается вверх именно вследствие той же силы притяжения, вследствие которой падает камень. Мы не нашли исключения в законе, мы доказали только, что его определение не вполне ему соответствует. Против закона, что упражнение увеличивает силу, мы можем заметить, что если это правило вообще справедливо, то оно несправедливо по отношению к больным и увечным — для

этих упражнение может быть гибельным; правило это применимо только к здоровым, и то в известных пределах. Совершенная правда. Но эти ограничения были бы излишни, если бы закон был вполне правильно выражен. Если бы было сказано, что упражнение увеличивает силу во всех тех случаях, когда восстанавливающая деятельность способна возместить утраты, произведенные этим упражнением, тогда невозможно было бы отыскать никаких ограничений. Так называемые исключения находятся в нас самих, а не в природе вещей. Они показывают, что закон или ускользает от нашего понимания, или недоступен нашему умению его выразить.

При правильном понимании дела мы придем к убеждению, что прогресс от самого грубого невежества до самой высокой степени просвещения есть не что иное, как восхождение от ступени полного игнорирования законов природы до убеждения, что закон всеобщ и неизбежен. Распространяющийся круг сведений и постоянные индукции все более и более ограничивают старые идеи о специальной причинности. Каждое новое открытие в науке, каждое новое разъяснение аномалий утверждает людей в убеждении, что все явления происходят от общих единообразных сил. Наконец, путем постоянно повторяющихся наблюдений они начинают убеждаться, что действие этих сил не прекращается даже и во избежание самых ужасных переворотов. Они видят, что равновесие атмосферы восстанавливается, несмотря на то что вследствие бури целые флоты погружаются на дно морское. Они видят, что земля не ослабит свою притягательную силу, чтобы спасти деревню от лавины, которая ей угрожает. Они видят, что электричество следует по пути наименьшего сопротивления, несмотря на то что при этом разрушена будет церковь или взлетит на воздух судно. Они видят, что химическое сродство действует, не обращая внимания на то, что этим целый город обращен будет в груды пепла; оно подействует и тогда, когда от извержения огнедышащей горы половина страны будет засыпана и затоплена, и тогда, когда через это погибнут сотни тысяч людей вследствие эпидемии. Всякое приращение в наших знаниях показывает, что постоянство есть существенный признак законов природы. Эта неизменность делает возможным определение с совершенной точностью затмения, отстоящего от нас на целое столетие! По причине такой

безусловной неизменности законов природы мы их и находим безусловно хорошими. Сделать мир обитаемым — вот великая задача. Сравнительно малое зло, которое происходит от неизменности действия этих законов, ничтожно, если его сопоставить с бесконечным обеспеченным им благом. Нам нет надобности рассуждать о том, возможно или невозможно было устранить это зло. Для нас довольно знать, что неизменность — это закон, и нам остается только предположить, что это наилучший из всех законов.

§ 2. Такой представляется нам физическая природа, такой же представится и нравственная. Между людьми начинает распространяться убеждение, которое до сих пор оказывалось еще мало установившимся и недостаточно разъясненным; начинают понимать, что и в нравственной жизни существует неразрывная связь между причиной и следствием, неизбежная судьба — «закон, который не изменяется». Сбитые с толку разнообразными и вечно новыми формами человеческой жизни люди, естественно, не могли понять неизменное свойство законов природы. Увеличивающаяся масса сведений постепенно распространяет убеждение, что все, что делается в нравственном мире, в основании своем столь же мало случайно, как и то, что мы видим в мире материальном. Все это идет известным неизбежным путем и под влиянием неизбежных сил. Во все времена эта истина или предчувствовалась, или понималась, и опыт все с большей и большей точностью обрисовывает ее перед нашими глазами. Даже и теперь всякий так или иначе свидетельствует о своем согласии с подобным утверждением. Всякая новая ве-ра служит подтверждением этой истины. Разве нравственные кодексы мусульман, индуистов, буддистов не заключают в себе столько же признаний неизбежной связи между поведением и его результатами? Не говорит ли вам каждый из них: не делайте того или другого, потому что это произведет зло; вам следует делать то-то и то-то, потому что от этого произойдет добро? Признание этого начала очевидно, несмотря на то, что проповедники вышеупомянутых вероучений не сумели от результатов дойти до настоящего их источника и, таким образом, ввели ложь в свое учение нравственности; они ясно обнаружили убеждение, что в человеческих делах существует неизменный закон

причинности, что закон этот люди должны изучать и с ним они должны соотносываться. Самая высшая из известных религий, христианская — разве она не преподает нам то же учение? Разве христианство не учит нас, что известные поступки, на-верное, приведут к известным результатам: злые дела поведут к наказанию, добрые — к награде, и что эти вещи неизбежно и неразрывно связаны? Веру в подобный неизбежный закон мы обнаруживаем в ежедневных наших разговорах, в наших правилах жизни, в наставлениях, которые мы даем, в воспитании наших детей, в советах нашим друзьям. Обсуждая вещи и людей, мы инстинктивно восходим к известным признанным нами принципам. Мы предсказываем, что то или другое правило будет иметь хорошие или дурные последствия, потому что мы в нем видим согласие или противоречие известным понятиям о законах жизни, которые нами составлены. Даже мелкий крючкотвор, несмотря на его поверхностный эмпиризм, несмотря на его проповеди презрения ко всем отвлеченным принципам, и тот имеет тайное сознание известных неизменных последствий, вытекающих из предыдущих происшествий; в сущности, он убежден в неизбежной силе той благодетельной необходимости, которая привязывает к каждому действию неизменно однообразный результат. Если бы это было не так, то в чем заключалась бы мысль предлагаемых им мер, его проектов законов? Он вовсе не считает их азартной игрой, которая может произвести и тот и другой результат. Если бы он был такого мнения, он бы легко соглашался со всяким планом. Ясно, что он понимает, что тут действуют постоянные причины, что из каждого обстоятельства и из каждого столкновения обстоятельств выходят неизбежные последствия, что одинаковые условия порождают всегда одинаковые результаты.

Итак, если все уверены в постоянстве подобных второстепенных законов, то они, безо всякого сомнения, должны быть тем более убеждены в неизменности законов основных, на которых зиждется человеческое существование и из которых должны исходить обыденные, необходимые для нас истины. Признавая ветви, мы не можем отвергать корень. Если таково существо вещей, то мы вынуждены признать эту «благодетельную необходимость». Мы не имеем другого выбора. Социальная жизнь или имеет законы, или не имеет их. Если она их не имеет, то

не может быть ни порядка, ни определенности, ни системы в ее проявлениях. Если она их имеет, то, подобно другим законам вселенной, они должны быть вечно действующими, точными и неизменными, они не могут иметь исключений.

§ 3. Беспредельно важно для нас удостовериться, в чем законы эти заключаются, и, удостоверившись, повиноваться им безусловно! Если они существуют действительно, то успеха в нашей деятельности мы можем ожидать только тогда, когда им подчинимся. Равновесие может иметь место только в той степени, в которое наше поведение будет согласно с правилами нравственности. Мы можем выстроить наше социальное здание со всевозможным старанием и искусством, мы можем крепко связать его хитро придуманными законами, но если у него во взаимных отношениях нет честных намерений, если оно не построено на справедливых принципах, то оно развалится на части. Идти против законов этики — все равно что пытаться льдом зажечь огонь, пасти скот на камнях, повесить свою шляпу на паутину; ее законы столь же непоколебимы, как и законы природы, против которых мы бы погрешили в этих случаях.

«Однако же все-таки есть исключения, — замечаете вы. — Мы не всегда можем строго следовать отвлеченным принципам. Благоразумные соображения должны при этом также иметь свое значение. Необходимо несколько политиковать».

Когда вы защищаете то или другое исключение, ваши причины, без всякого сомнения, весьма благовидны. Но если в предыдущих рассуждениях есть сколько-нибудь правды, то ни одно нарушение закона не может быть сделано безнаказанно. Обманчивы все эти любимые правила, где мы посредством маленьких отступлений, политикуя, стараемся достигнуть известных желанных благ. Если бы кто-нибудь сказал вам, что он изобрел механическую комбинацию, которая удваивает силу, не уменьшая скорости, вы бы ему ответили, что этого не может быть, что это противно законам материи и что невозможность этого доказана. Такой же ответ получил бы от вас человек, который вздумал бы вас уверять, что он нашел квадратуру круга, что он знает рецепт философского камня, что он может продать вам детскую сорочку, которая не позволит вам утонуть. Подобные предложения вполне схожи с вышеупомянутыми милыми правилами.

Будьте уверены, что они заключают в себе такие же невозможности, как и предложенный вам образ действия, что они точно так же противоречат существенным законам жизни.

Для тех, кто мало верит неосозаемому, будет, конечно, трудно неуклонно следовать принципу, несмотря ни на какую угрожающую опасность, — отказаться от того, что им кажется лучшим, ради убеждения, что только то всего лучше, что должно признать справедливым на основании отвлеченных выводов, сказать: «Я хочу повиноваться закону, несмотря на то что, по-видимому, он в этом случае не прав». Несмотря на это, таким образом следует поступать — это поведение, которое должно быть внушаемо всяким нравственным учением, единственное поведение, которым действительно можно удовлетвориться¹.

§ 4. Если мы даже предположим, что известное отдельное действие, несогласное с нравственностью, не только не будет иметь дурных результатов, но даже породит хорошие, то мудрость этого действия все-таки не будет этим доказана. Следует еще обратить внимание на вероятные последствия дурного примера. Палей справедливо замечает, что «дурные последствия действия бывают двоякие: частные и общие», предполагая даже, что в частном случае сделано было добро, зато произведено несравненно большее зло, и открыта дорога к дальнейшему непослушанию. Подобная слабая вера не дает никакой безопасности. Одно нарушение закона оставляет за собой брешь для бесчисленных последующих преступлений. Если первый ложный шаг сделан был, по-видимому, безнаказанно, то неизбежно за ним последуют другие. Не следует верить школьному обещанию: «Я

¹ Кольридж ясно выражает такое убеждение. Он говорит: «Следующее существенно характеризует нравственную систему, которая постоянно проповедовалась «Другом»: ясное предвидение последствий составляет исключительную принадлежность беспредельной мудрости; мудрости, единой со всемогущей волей, от которой зависят все последствия; что касается до человека, то он должен повиноваться простому и безусловному предписанию, повелевающему избегать всякого поступка, в котором бы заключалось противоречие с самим собой, или, другими словами, производить и поддерживать возможно большую гармонию между различными побуждениями и способностями своей природы, включая сюда и действие благоразумия» («The Friend»).

больше так не буду». Сделайте лазейку в принципе, допустив одно исключение, и под разными предлогами столько сквозь нее пройдет исключений, что они сделают самый принцип никуда не годным. Если мы внимательно проследим последствия таких действий, то окажется, что уклонения от нравственности в отдельных случаях под подобными предлогами превратились в источник всех зол, которые нас одолевают. Почти постоянно подобные причины приводятся в оправдание дурных поступков теми, которые их совершили. Сделавший безнравственное дело сознается, что его поступок не согласен с нравственными правилами, которых справедливость он сам признает; он сам разделяет убеждение, что эти нравственные правила в известной степени могут служить лучшим руководителем. Он, однако же, полагает, что его интересы побуждают его от времени до времени делать исключения. Все люди поступают таким образом, и вот результаты.

§ 5. Можем ли мы когда-нибудь быть уверенными, что отступление от нравственности в виде исключения *принесет* ожидаемое добро? Тот, кто таким образом временно отступает от руководителя, признанного им самим законным, тот не должен забывать, что он возвращается к утилитарной гипотезе, которой ложность выше была доказана. Он изъявляет этим претензию на совершенное знакомство с людьми, с обществом, с учреждениями, с обстоятельствами дела, со всеми сложными и вечно меняющимися явлениями человеческого существования; мало этого, он должен предполагать в себе силу души, которая на основании всех этих данных способна знать, что будет в будущем. Одним словом, он претендует на то всеведение, которое, как мы видели выше, необходимо для успешного применения подобной системы. Он не отступает перед такой громадной нескромностью. Посмотрите же, в какие он себя ставит условия. Он отступает от правила, им самим признаваемого вообще верным руководителем для человеческого поведения, и следует такому, которое очень трудно понять, которого направление неопределенно, которого последствия сомнительны.

Если нужны факты для объяснения нелепости подобного поведения, то их можно найти под руками сколько угодно. Уже выше (см. с. 29) были даны примеры постоянных ошибок,

к которым приводят правила, созданные без помощи нравственных принципов. Теперь мы укажем на несколько фактов, специально относящихся до настоящего предмета, мы приведем случаи, где предполагались благотельные последствия от образа действия, прямо противоположного подобным принципам; примеры, где людям казалось неудобным идти по пути, провозглашающему честность лучшей политикой, и где они избрали побочную дорожку несправедливости в надежде легче достичь таким образом своих целей.

Порабощение негров служит для этого хорошим примером. Малосовестливые жители колоний рассуждали об этом предмете таким образом, что нельзя было придумать более убедительного, чем их заключения. Тут была и богатая почва, и великолепный климат, и обширный рынок для продажи произведений. Если при этих условиях ввезти и обратить в рабство достаточное число рабочих, то как велики будут выгоды их владельцев! Какой огромный барыш должны будут дать эти работники, если они будут стоять дешево и будут принуждаемы к тяжелой и продолжительной работе! Это был неистощимый источник богатства! Прекрасно: плантаторы начали действовать так, как они думали. Хотя, по их мнению, такой прием и не отличался вполне справедливостью, но настолько, насколько возможно было усмотреть, это была, по-видимому, наилучшая политика. Несмотря на это, их золотые мечты далеко не осуществились. Относительная бедность — удел всех рабовладельческих стран на земле. Хотя Ямайка когда-то доставила нам несколько отъевшихся набобов, зато история Вест-Индии была историей бедности и сетований, несмотря на постоянную помощь и искусственные преимущества. Южные штаты Америки по благосостоянию своему стоят несравненно ниже своих северных соседей — один за другим они вынуждены оставлять рабство вследствие его разорительных результатов. Итак, дело никоим образом не оправдало возлагаемых на него надежд. Раб не принес своему господину ожидаемых больших барышей, несмотря на то что он в некоторых случаях работал шестнадцать часов в сутки, что для его содержания было достаточно в день пинты муки и соленой селедки, что он принуждался к работе розгами. Мало этого, оказалось, что при одинаковых условиях свободный труд гораздо дешевле. Независимо от этого разочарования

явились результаты, которых никто не предвидел. Рабство повлекло за собой множество зол болезненного состояния общества; это было царство взаимной ненависти и взаимного страха; всеобщего растления и порочной лени; отчаянных мер и дурно возделанных земель; истощенных почв и заложенных имений; несостоятельности и бедности. После всего этого ясно, что нравственный закон был бы наилучшим руководителем.

Филипп Валуа обязал служащих на монетном дворе присягой скрывать низкопробность монеты и всячески старался уверять купцов в полновесности золотых и серебряных его денег; при этом он, без сомнения, полагал, что такая мера, несмотря на свою безнравственность, должна принести ему большие выгоды. Таким же образом думали и другие короли, которые в доброе старое время делали то же самое. Они обманулись точно так же, как обманываются все последователи подобных правил. Правда, что их долги уменьшились соразмерно уменьшению цены ходячей монеты, но их доходы уменьшились в том же размере. Между тем, утратив репутацию честности, они впоследствии могли занимать деньги только за сравнительно высокие проценты и должны были платить за увеличившийся риск заимодавца. Они не только потеряли по отношению к своим заимодавцам настолько же, насколько выиграли по отношению к своим должникам, но они поставили себя на будущее время в весьма неблагоприятное положение. После столетнего опыта, купленного дорогой ценой, обычай этот был отвергнут с неодобованием, и теперь подобные приемы изгнаны всюду и признаются самоубийственными — они действительно именно настолько самоубийственны, насколько самоубийственны все нарушения правил справедливости.

Вспомним также несчастную попытку нашу воспользоваться насчет наших американских колоний и гибельные результаты, к которым эта попытка привела. Наши правители полагали, что для метрополии будет весьма выгодно, если колонии будут вынуждены торговать при ее посредстве. Исходя из такого убеждения, они не только воспретили поселенцам этих колоний покупать известные произведения у кого-либо, помимо Англии, но они даже отвергали их право производить подобные вещи для себя самих! Как и всегда, подобный прием оказался более чем неудобным. Издержки, необходимые для того, чтобы

не быть вынужденным закрыть эту национальную торговую лавочку, оказались столь значительными, что они превзошли доходы. Это были не только потерянные, но хуже, чем потерянные издержки; они показали, что торговля, доставленная стране таким искусственным образом, убыточна для обеих сторон. Затем последовало наказание, сопротивление поселенцев, война за независимость и сто с лишком миллионов, прибавленных к нашим национальным тягостям!

История нашей Ост-Индской компании* представляет поразительный образец того, каким образом вечные законы природы порождают несостоятельность всякой бесчестности! Эта олигархия, эгоистическая, безразличная в своих приемах, светски мудрая в своей политике и обладавшая неограниченной силой, из году в год неусыпно стремилась к своему возвеличению. Она покоряла одну провинцию за другой; она облагала данью одного государя за другим; она предъявляла непомерные требования к смежным владельцам и отказом пользовалась для открытия неприязненных действий; она сделалась единственным владельцем земли и в виде оброка требовала почти половину всех произведений; она вполне монополизировала торговлю; таким образом, она сделала из себя завоевателя, правителя, поземельного собственника и купца. После того как она соединила в своих руках столько способов извлекать для себя пользу, могла ли она ожидать для себя чего-либо, кроме благосостояния? Какие несказанные богатства должны были стекаться в ее руках в виде добычи от победоносных войн, в виде ренты от миллионов акров земли, в виде дани от зависимых государей, в виде барышей монопольной торговли! Сколько доходов! Какая переполненная богатствами казна! Увы! Компания теперь должна с лишком пятьдесят миллионов фунтов стерлингов.

Запретительные тарифы много раз доказали неполитичность несправедливости. Подобный пример мы уже находим несколько столетий тому назад в истории шерстяной промышленности, но выберем для доказательства более новое дело шелкового производства. Шелковая мануфактура была свободна от иностранного соперничества под защитой — ныне, к счастью, отвергнутой — протекционной системы для национальной промышленности. Искусственно были возвышены цены, и вся нация должна была их платить. Капиталисты, получив таким

образом обширный рынок и большие барыши, считали благосостояние свое обеспеченным. Однако же и тут им суждено было разочароваться. Вместо торговли живой и постоянно развивающейся им выпала в удел вялая и ограниченная. Эта отрасль мануфактуры, которая должна была бы быть образцом промышленного величия, послужила примером жалкой бедности, обратившимся в поговорку. При таком грустном положении вещей предложение возвратиться к справедливости путем понижения пошлин должно было показаться совершенной нелепостью. В какой степени должны были быть непрактичными те люди, которые признавали монополию несправедливой и поэтому желали уже совершенно разорившихся производителей подвергнуть новым затруднениям иностранной конкуренции! Можно ли было найти более противоречия со здравым смыслом? Тут, безо всякого сомнения, отвлеченные принципы должны были уступить перед видами политики. Нисколько: даже в этом случае лучшее, что можно было сделать, — это следовать нравственному закону. Восставшие против него были наказаны тем, что собрали вокруг себя злополучие; подчинившиеся ему были отчасти вознаграждены увеличившимся благосостоянием. В течение четырнадцати лет после понижения пошлин торговля более чем удвоилась; в течение это времени она распространилась более, чем в течение целого предшествовавшего столетия. Те, которые за несколько времени перед тем были совершенно неспособны выносить французское соперничество на своих домашних рынках, не только стали конкурировать с ним в заграничной торговле, но большие запасы своих произведений посылали в самую Францию.

Это несколько образчиков, взятых из всемирного опыта. Если мы внимательно проследим результаты всех попыток следовать политике наперекор справедливости, то мы увидим, что они все приводили к подобному же концу. Люди, которые достаточно неблагоразумны, чтобы воображать, что они могут безнаказанно нарушать основные законы справедливости, должны видеть свою будущую участь в подобных злополучиях и неудачах. Основательное исследование покажет нам, что всякое малое зло и всякая великая катастрофа тем или другим путем, но всегда происходит из несправедливости. Денежные кризисы, обманутые надежды по делу южного океана, мании железных

дорог, ирландские восстания, французские революции — все эти явления, со всеми сопровождавшими их бедствиями, ни более ни менее как скопившиеся результаты бесчестности. Тяжелый опыт научает слишком поздно каждого человека, что самое мудрое, что он может сделать, — это подчиниться нравственному закону как в национальных, так и в частных своих делах. Даже Наполеон кончил тем, что высказал убеждение, что «нет силы без справедливости», и это несмотря на его кажущийся успех, несмотря на его глубокомысленную государственную мудрость и несмотря на его дальновидную политику.

И все-таки люди всегда читали без пользы этот комментарий нравственного кодекса — его историю, если можно так выразиться. Рассматривая микроскопическими глазами знаки, которыми эта скрижаль написана, они оставляли без внимания великие изображенные в ней факты. Они болтают о государственных интригах, об осадах и сражениях, о придворных скандалах, о преступлениях высоких лиц, о раздорах партий, о рождениях, смертях и браках королей и тому подобном вздоре, и все это вместо того, чтобы собирать факты для разъяснения важнейшего из вопросов — вопроса о законах, которыми определяются народный успех и народные неудачи, равновесие и революции? Они изучают, анализируют и толкуют с видом знатока о мелочах, о ничтожных подробностях, о бесплодных и мишурных явлениях прошлой жизни, о вещах, имеющих только второстепенное значение для человеческого существования; и в то же время они слепы к тем грозным явлениям действительности, которыми каждый век переплетает ткань событий; они не видят этих страшных истин, которые грозно глядят на нас сквозь мрак прошедшего. Среди слоев, осажженных историей, они усердно выбирают ярко-цветные отрывки, хватаются за все светящееся и возбуждающее их любопытство. Как дети, они восхищаются своими блестящими приобретениями, и в то же время богатые источники мудрости, разветвившиеся среди этого ничтожества, остаются в совершенном пренебрежении. Жадно набираются докучливые массы ненужного сора, и в то же время огромное количество драгоценной руды оставляется без внимания, не видят того, что именно следовало бы эксплуатировать и из чего можно было бы извлечь золотые истины.

§ 6. К чему, однако же, это тщательное исследование — следует или не следует допускать исключения в признанных законах этики? Самый вопрос заключает в себе нелепость. Какую мысль выражает человек, если он говорит, что это справедливо в теории, что это верно в принципе, что это истинно в абстракте? Он выражает этим, что признает высказанную мысль согласной с законом природы, до познания которого он дошел тем или другим путем. Если он согласен, что известный поступок справедлив по теории, то ясно, что, по его мнению, это именно тот поступок, который следовало совершить при строгом исполнении обязанности. Если он утверждает, что поступок такой правилен по принципу, то он признает его в гармонии с предписанными нам правилами поведения. Если он называет известное поведение абстрактно истинным или справедливым, то он выражает этим убеждение, что оно ведет по пути к человеческому счастью. Уклонение в этом случае невозможно. Подобное выражение или должно иметь этот смысл, или оно не имеет никакого. Затем, когда он на практике предлагает не следовать правилу, он явно имеет надежду исправить ошибку этого руководителя! Итак, сказав сначала, что такова-то истинная дорога к счастью, он потом выражает мнение, что он знает более близкую. На молчаливое повеление природы «делай это» он отвечает, что, сообразив все обстоятельства, он полагает, что он может поступить лучше! Сомневаться в предупредительности и в действительности законов природы и предполагать с бесконечной самоуверенностью, что человеческое суждение может быть более безошибочным, — вот настоящая неверность, вот истинный атеизм. Когда человек «оставит свою неуместную претензию критиковать великий мир Божий с точки зрения своего кусочка мозга, когда он поймет, что существует действительно истинный закон, хотя закон этот и лежит пока за пределами, доступными его рассудку, что его существо прекрасно, что назначение человека в этом случае состоит только в том, чтобы сообразоваться с законом мира и следовать ему в благоразумном молчании, не оспаривая его, но повинаясь ему, как закону несомненному»¹.

¹ Совет, который, между прочим, мог бы быть в настоящее время удобно удержан советчиком при себе. — *Прим. амер. изд.*

§ 7. Повторим результаты всего вышеизложенного. Мы сначала обратили внимание на то, что законы природы отличаются постоянством и всеобщностью, и есть полное основание предполагать то же самое относительно законов нравственных. Затем выведено было заключение, что если это так, то единственное для нас спасение заключается в полном повиновении им, даже несмотря на то, что нам через это, по-видимому, будет угрожать зло. Заключение это подтверждено соображениями, из которых видно, что всякое отступление от принципа с целью избежать известного зла будет заключать в себе возвращение к утилитарному учению, которого ошибочность уже доказана. Затем, оно еще подтверждено тем обстоятельством, что бесчисленные попытки упрямой светской мудрости облагодетельствовать путем отступления от нравственных правил все оказались неудачными. Наконец, в подтверждение обращается еще внимание на то, что мнение, будто бы мы можем сделать лучше, отступая от указанного нам пути, заключает в себе странное покушение на всеведение.

По мере того как читатель будет знакомиться с содержанием книги, он все яснее будет видеть причины, почему мы особенно настаивали на необходимости безусловного повиновения. В числе заключений, прямо выводимых из признанных принципов, он, по всей вероятности, встретит такие, которыми будет неприятно поражен. Некоторые из них покажутся ему странными, другие — неприменимыми. Могут встретиться один или два вывода, которые покажутся читателю совершенно несходными с его понятиями о долге. Несмотря на это, если он только признает их логически правильным выводом из основной истины, то ему останется одно — признать их правилами для своего поведения и следовать им без всякого исключения. Если вышеприведенные соображения имеют действительно некоторый вес, то высшая мудрость заключается в том, чтобы вполне и без страха подчиниться тому пути, которым ведет нравственное учение, признанное «отвлеченно справедливым», несмотря на то, что известное применение будет, по-видимому, непрактично, опасно и даже оскорбительно.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I | ОПРЕДЕЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ

§ 1. Нет никакого установившегося мнения о том, что должна заключать в себе нравственная философия. Моралисты или вообще не начинали своих изысканий с точного определения того, что им предстояло сделать, или составляли определения весьма неточного свойства. Вместо того, чтобы ограничиться раскрытием и применением, некоторых существенных принципов справедливого поведения, они пытались преподавать правила для всевозможных действий при всевозможных обстоятельствах. При правильном понимании дела предмет исследования окажется ограниченным сравнительно тесными пределами; моралисты, не замечая этого, входили в рассмотрение множества вопросов, которые будут прямо признаны нами лежащими за пределами нашего предмета.

§ 2. Нравственный закон, как уже сказано было выше (с. 41—42), должен быть законом совершенного человека — совершенство именно и состоит в следовании этому закону. Мы можем выбирать только между двумя путями. Мы можем утверждать, что нравственность заключает в себе правила поведения, приспособленные к человеку, которого мы видим в действительности, — это закон, который признает существующие недостатки человеческого характера и принимает их в соображение; или мы должны признавать нравственность законом для определения поведения в среде таких людей, какими они должны быть. Относительно первого предположения мы должны сказать, что всякое нравственное учение само осуждает себя, если оно признает существующие недостатки людей и заключает в себе правила, необходимые ради этих недостатков. Поведение, которое объясняется подобной гипотезой недостатков, не может быть наилучшим поведением; следовательно, оно не вполне справедливо, оно не вполне нравственно, и, следовательно, нравственность, которая допускает подобное поведение, не будет вовсе нравственностью именно в том размере, в котором она делает

послабление. Избавиться от этого противоречия мы можем только тем, что примем противоположный взгляд и согласимся, что нравственный закон игнорирует все порочные свойства, слабость и неспособность человеческую и предписывает правила поведения для идеального человечества. Только одно чистое и абсолютное прямотушение может входить в его состав. Он должен иметь своим предметом определение отношений, в которых люди *должны* быть друг к другу, он должен указать принципы действий в нормальном обществе. Он должен стремиться рядом последовательных заключений создать систематическое изложение условий, при которых люди могут жить вместе в полном согласии; но для достижения этой цели ему необходимо принять за основание, что люди эти совершенны. Мы можем назвать эту науку наукой социальной жизни; такая наука точно так же, как и всякая другая, предполагает совершенство в законах, с которыми она имеет дело.

§ 3. При таком взгляде на отвлеченные принципы справедливого поведения и на выводы, которые должны быть сделаны из них, система чистой нравственности не может признавать зла и ни одного из тех условий, которые вытекают из зла. Она вполне игнорирует заблуждения, несправедливости и преступления, она не указывает, что следует делать, если подобные поступки совершены. Она игнорирует преступление закона, потому что она излагает только то, в чем заключается существо закона. Она говорит только: вот начала, на основании которых люди должны действовать; и если начала эти нарушены, то она может сказать только, что они нарушены. Если ее кто-нибудь спросит, что ему следует делать, если его сшибут с ног, то она не даст ответа; она может только ответить, что нападение заключает в себе нарушение закона и порождает ложное отношение. Она не говорит, каким образом нужно обращаться с вором; все, что она говорит, это то, что воровство заключает в себе нарушение социального равновесия. Из нее мы узнаем, что долг заключает в себе нарушение нравственного кодекса; но она не может решить, следует или не следует заключать должника в тюрьму. На все вопросы, которые предполагают известное, предшествовавшее незаконное действие, совершенный закон не может дать ответа, потому что он не признает такого предположения. Таким образом,

он не даст ответа на вопросы: следует ли адвокату защищать человека, которого он считает виновным? Должен ли человек не исполнять клятву, которой он обязался сделать что-нибудь дурное? Хорошо ли оглашать дурные поступки нашего ближнего? Стараясь разрешать подобные вопросы чисто нравственными принципами, моралисты пытались сделать невозможное. Это так же нерационально, как если бы они попытались разрешить математическим путем ряд задач, относящихся до изогнутых линий и ломаных кривых, или стали бы выводить из теорем механики лучший способ для приведения в порядок испортившейся машины. Ни один вывод не может почитаться абсолютно истинным, кроме того, который сам основывается на абсолютных истинах. Точность в заключении может иметь место только тогда, когда предложение, из которого оно выведено, само по себе точно. Геометр требует, чтобы прямые линии, с которыми он имеет дело, были действительно прямые; чтобы его круги, эллипсы и параболы согласовались с точными определениями и соответствовали бы вполне и неизменно равнялись определенным величинам. Если вы обратитесь к нему с вопросом, в котором эти условия не соблюдены, он вам скажет, что он не может вам ответить. Таково же положение и философствующего моралиста. Он рассуждает только о прямом человеке. Он определяет свойства прямого человека; он разъясняет, каким образом ведет себя прямой человек; он показывает, в каких отношениях этот человек находится к другим прямым людям; он показывает, каким образом устроено общество прямых людей. Он вынужден вполне игнорировать всякое отступление от совершенной прямизны. Эти отступления не могут быть приняты в число его оснований без того, чтобы не сделать неверными все его заключения. Для него неразрешима задача, в которую *кривой* человек войдет элементом. Он может выразить свое мнение об этой задаче, может дать приблизительное решение, но более для него ничего невозможно. Его решение — это будет только *мнение*, оно не будет иметь научного и повелительного характера.

Может быть, здесь будет весьма кстати усилить сделанные выводы, разъяснив существо науки о нравственном человеке примером науки о человеке животном. Физиологию определяют систематическим изложением явлений телесной жизни. Она имеет своим предметом отправления различных органов

в нормальном их состоянии. Она разъясняет взаимные отношения частей тела, она указывает их соотносительные функции, показывает, как действуют эти функции и для чего они необходимы. Она освещает взаимную зависимость жизненных отправления: определяет, каким образом они могут быть удерживаемы в равновесии, и излагает условия совершенного здоровья. Она не признает болезненного состояния и не может решить ни одного из относящихся до него вопросов. Она не дает ответа на вопросы: что служит причиной лихорадки? Какое лучшее средство для излечения простуды? Все это вне ее сферы. Если бы она ответила, то она не была бы уже более физиология, а была бы патология или терапия. Точно то же можно сказать об истинной нравственности — ее довольно правильно можно назвать нравственной физиологией. Ее дело — просто изложить принципы нравственного здоровья. Подобно аналогической с нею науке, она вовсе не касается болезненных действий и расстроенных отправления. Она имеет дело только с законами нормального человечества и не может признавать несправедливых, растленных и беспорядочных отношений.

Отсюда ясно, что моралисты, которые обсуждали права собственности и несправедливость дуэлей, признавая эти предметы частями той же самой науки, смешали вещи существенно различные. Вопрос: в чем заключаются истинные принципы человеческого поведения? — это предмет одного рода; а вопрос: как следует поступать, когда принципы эти нарушены? — это вопрос другого рода, и весьма от него различный. Допускает ли этот последний вопрос какое-либо решение? Возможно ли развить научную систему нравственной патологии и нравственной терапии — это дело весьма сомнительного свойства. Но как бы то ни было, все-таки весьма ясно, что система чистой этики — предмет совершенно отдельный. Предмет этот и будет рассматриваться таким образом при дальнейших исследованиях.

II | ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЗЛА

§ 1. Все зло происходит оттого, что устройство предметов не приспособлено к условиям, в которых они существуют. Это справедливо по отношению ко всему живущему. Почему дерево не может развиваться на дурной почве? Почему оно чахнет, если оно не имеет света? Почему оно гибнет окончательно, если оно будет перенесено в холодный климат? Все это оттого, что разрушена гармония между его организацией и условиями, в которых оно существует. Опыты, сделанные над домашними животными и в зверинцах, показывают, что страдания, болезни и смерть, причиняемые животным известного рода обращением с ними, все могут быть подводимы под тот же закон. Если доходить до первоначальных причин, то можно убедиться, что каждое страдание, причиненное человеческому телу, начиная от головной боли и до смертельных болезней, начиная от ожога и вывиха и до случайной смерти, причиняется исключительно тем, что тело поставлено было в условия, не соответствующие его силам и свойствам. То же самое можно сказать не только о физическом, но и о нравственном зле. Почему сострадательный человек чувствует скорбь при виде бедствия? Почему холостяк несчастлив, если его средства не позволяют ему жениться? Почему мать оплакивает потерянное ею дитя? Почему эмигрант горюет, оставляя свою родину? Одни страдают оттого, что им приходится проводить жизнь в неприятном занятии, другие — оттого, что вовсе не имеют занятия. Все это объясняется такими же причинами. Какова бы ни была специальная причина зла, но общая причина страдания неизменно одна и та же — это отсутствие согласия между способностью и сферой ее действия.

§ 2. Точно так же справедливо, что зло постоянно стремится к исчезновению. В силу существенного принципа жизни несоответствие между организмом и условиями его существования постоянно исправляется все более; или одно из двух, или оба вместе изменяются постоянно до тех пор, пока они вполне приспособятся друг к другу. Все, что одарено жизненной

силой, начиная от первоначальной клеточки и до человека, следует этому закону. Проявления этого закона мы видим при акклиматизации растений, при изменении свойств домашних животных и в различных особенностях нашей собственной породы. Сибирские растения, привыкшие к короткому арктическому лету, поднимаются и цветут в течение нескольких недель, и так же быстро созревают их семена. Под влиянием морозов северной зимы животные умеренного климата получают более густую шерсть и пух и делаются белыми. Борзая собака, перенесенная на горные равнины Анд, не может там охотиться по слабости груди, но в течение поколений она приобретает там лучшие легкие. Скот, который в диком состоянии давал молоко только в течение короткого периода, теперь дает его почти постоянно. Иноходь — бег, не свойственный лошади, но есть в Америке породы, которые бегают таким образом прямо, и их нет надобности к нему приучать.

Люди обнаруживают ту же самую способность приспосабливаться. Под влиянием температуры у них меняется цвет кожи; в одном месте они питаются рисом, в другом — китовым жиром; у них увеличиваются органы пищеварения, если они едят непитательную пищу, они приобретают способность долго голодать, если их образ жизни неправильный, и теряют ее, если они постоянно имеют достаточно пищи; в диком состоянии они проворны и ловки — и неповоротливы при городской жизни; когда это требуется условиями их жизни, у них развивается зрение, слух и обоняние — и снова притупляются, когда потребность в них уменьшается. Невозможно сомневаться в том, что все эти перемены делаются для того, чтобы приспособиться к окружающим обстоятельствам. Самый крайний скептик должен сознаться, что действует известный закон приспособления, если он видит, что житель болот существует в атмосфере, которая окажется смертельной для всякого постороннего, что индеец лежит и спит под тропическим солнцем, в то время как его белый господин едва может вздремнуть при спущенных шторах, при охлаждении воздуха водой и т.д., если он видит, как гренландец и неаполитанец удобно питаются каждый своей пищей — китовым жиром и макаронами, и как бы они были несчастны, если бы им пришлось поменяться, если он видит, что и в других случаях

имеет место точно такое же приспособление к пище, к климату, к условиям жизни. Мало этого, если он правильно будет объяснять факты, то найдет, что действие подобного закона можно уследить в мельчайших подробностях жизни отдельного человека. Можно заметить, как человеческий организм постепенно приобретает все большую способность противодействовать вредным влияниям, если наблюдать пьяницу, которому постоянно нужно все более выпивать спиртных напитков для того, чтобы быть пьяным, или человека, употребляющего опиум, который постоянно должен принимать все большие дозы для того, чтобы испытывать те же самые впечатления. Точно так же могут заметить те, которые курят, нюхают табак или часто принимают лекарства. Всякое постоянное изменение в состоянии и в способностях тела может быть объясняемо тем же самым принципом.

Точно такой же общий закон, какой существует для физической изменяемости тела, существует и для нравственной. Разнообразные изменения способностей и наклонностей, которые в течение времени встречаются у индейской, африканской, монгольской и кавказской рас и у их различных подразделений, должны быть все приписаны наклонности приспособляться в каждом случае к окружающим обстоятельствам. Вышеприведенные примеры (с. 36—39) значительных противоположностей в свойствах людей, принадлежащих к разным нациям и к разным эпохам, не допускают другого объяснения. Откуда происходят все эти отступления от общего первоначального типа? Чем же они произведены, если не произведены способностью людей приспособляться к обстоятельствам?

Нет данных, которыми бы возможно было это учение опровергнуть на сколько-нибудь твердом основании; все опровергавшие употребляли доказательства, которые скорее могут служить в пользу справедливости этого мнения. Даже те, которые имеют крайнее предубеждение против теории беспредельной способности человека к приспособлению, постоянно невольно обнаруживают свою веру в нее. Они это делают каждый раз, когда различия национальных свойств приписывают различию в обычаях и в социальном устройстве, — каждый раз, когда они говорят о силе привычки, каждый раз, когда они обсуждают влияние, которое известная мера может иметь

на общественную нравственность. То же они делают и тогда, когда советуют упражняться для увеличения своей способности к какому-нибудь делу, и тогда, когда они известные занятия признают способствующими развитию, а другие — понижающими нравственный уровень, и, наконец, тогда, когда они защищают известную систему нравственной дисциплины. Они обнаруживают согласие с этим учением каждый раз, когда они проповедуют, что добродетель всегда кончает тем, что возбуждает к себе симпатию, и когда они предостерегают от продолжительного поощрения порочных наклонностей.

Если мы ближе рассмотрим дело, то убедимся, что даже невозможно себе представить другого порядка вещей. Мы должны принять одно из трех предположений. Или мы должны утверждать, что существо человека вовсе не изменяется от влияний или, как мы выражаемся, от действующей на него обстановки; или мы должны полагать, что оно постоянно стремится сделаться все более и более несоответствующим этой обстановке; или, наконец, что оно приспосабливается к ней. Если справедливо первое положение, то все способы воспитания и управления, все социальные реформы, все приемы, посредством которых предполагается действовать на людей, окажутся совершенно бесполезными, потому что они не могут иметь во все никакого влияния. Если второе предположение справедливо, то человека нужно приучать к порочности для того, чтобы сделать его добродетельным, и наоборот. Так как оба эти предположения нелепы, то мы должны принять третье.

§ 3. Мы должны иметь в виду, во-первых, что все зло происходит оттого, что устройство предмета не приспособлено к условиям, в которых он существует; и, во-вторых, что везде, где существует такое несоответствие, оно постоянно уменьшается через изменение предмета, приспособляющегося к условиям, и тогда мы будем способны понять настоящее положение человеческого рода!

Увеличение населения сделало необходимым то состояние, которое мы называем обществом. Люди, которые живут в этом состоянии, страдают от многих зол. Принимая вышеизложенную гипотезу, мы должны заключать, что их свойства не вполне приспособлены к такому состоянию.

В каком же отношении они не приспособлены? Какие же особенные свойства требуются для человека от положения его в обществе?

Требуется, чтобы каждая отдельная личность имела только такие желания, которые могут быть вполне удовлетворены, не уменьшая точно такого же полного удовлетворения всех желаний всякой другой личности. Если желания каждого человека не ограничены таким образом, то или все будут иметь желания неудовлетворенные, или некоторые получают удовлетворение за счет других. И в том, и в другом случае неизбежно следует страдание, и люди окажутся не приспособленными к обстоятельствам.

Но почему же люди не приспособлены к жизни в обществе?

Исключительно потому, что они отчасти еще имеют свойства, приспособленные к жизни в состоянии, предшествовавшем обществу. Человек не приспособлен к обществу во всех тех случаях, где в нем остаются еще свойства, приспособленные к его первобытной хищнической жизни. Обстоятельства прежней его жизни требовали, чтобы он жертвовал благосостоянием других для своего собственного; современная его обстановка требует совершенно другого. Он настолько именно не способен к жизни в обществе, насколько прежние свойства в нем остались неистребленными. Вот где причина всех проступков людей по отношению друг к другу: она действует и в людоедстве караиба, и в злодеяниях и корыстных действиях, которыми мы окружены. Преступления, через которые наполняются наши тюрьмы, мошенничества в торговле, ссоры между народами и между различными классами общества, испорченность учреждений, зависть и недоверие между сословиями, салонные скандалы — все вытекает из того же источника.

Обсуждая современное состояние человеческого рода, мы должны прийти к заключению, что люди в первобытном состоянии нуждались в нравственном настроении, которое приспособляло бы их к их положению, и что они нуждаются в другом, чтобы приспособиться к их теперешней жизни; что они находились, находятся и долго еще будут находиться в состоянии приспособления. Под словом «цивилизация» мы разумеем приспособление, которое уже имело место. Изменения, которые называются прогрессом, составляют постепенные переходы

к нему. Вера в способность человеческой природы к усовершенствованию приводит к убеждению, что силой этого прогресса люди, наконец, придут к тому, что они совершенно приспособятся к своим теперешним формам жизни.

§ 4. Если вышеприведенные заключения действительно убедительны, то выраженная здесь надежда должна считаться основательной. Она не может иметь претензию на бесспорность, пока подтверждена только свидетельствами, взятыми из истории. Если сделано было наблюдение, что до сих пор прогресс был правилом, и если из этого выведено заключение, что прогресс будет правилом и на будущее время, то это, конечно, может быть названо только благовидной мыслью. Но если будет доказано, что этот прогресс происходит от действия всеобщего закона, что в силу этого закона он должен продолжаться до тех пор, пока достигнуто будет совершенство, то будущий факт достижения совершенства из области вероятностей будет уже перенесен в область несомненного. Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть он укажет, где тут ошибка. Вот постепенный вывод заключения.

Всякое несовершенство заключается в недостатке приспособления к условиям существования.

Этот недостаток должен заключаться или в чрезмерности одного или нескольких свойств, или недостаточности также одного или нескольких свойств, или в том и другом вместе.

Чрезмерна та способность, для которой условия существования не представляют достаточного круга деятельности; неудовлетворительна та способность, от которой условия существования требуют более, чем она может совершить.

Существенный принцип жизни заключается в том, что способность, которая по обстоятельствам не имеет полного круга деятельности, ослабляется; а способность, от которой требуется усиление деятельности, возрастает.

Это ослабление и возрастание должно продолжаться до тех пор, пока будет существовать чрезмерность и недостаточность.

Наконец, всякая чрезмерность и всякая недостаточность должны исчезнуть, т.е. всякая неприспособленность должна прекратиться, и всякое несовершенство должно найти свой конец.

Таким образом, окончательное развитие идеального человека логически достоверно, оно так же достоверно, как всякое другое заключение, которому мы доверяем безусловно — как мы верим, например, заключению, что все люди смертны. Откуда мы заключаем, что все люди смертны? Исключительно из того обстоятельства, что в бесчисленном множестве предыдущих случаев смерть единообразно имела место. Точно таким же образом опыт всех народов и всех времен, опыт, который выразился в употребительных правилах, поговорках, нравственных сентенциях, опыт, который доказывается биографиями и историей, убеждает, что органы, способности, силы и свойства всяких наименований растут от употребления и ослабляются от бездействия, поэтому выводится заключение, что это явление будет иметь место и впоследствии. Если это заключение несомненно, то не подлежит сомнению и сделанный из него вывод, что человечество, наконец, совершенно приспособится к условиям своей жизни.

Следовательно, прогресс есть не случайность, а необходимость. Цивилизация не есть что-нибудь искусственное, но это необходимое условие мирового существования, точно так же, как и развитие зародыша и цветка. Изменения, последовавшие в человечестве, имеющие место до сих пор, вытекают из закона, которому подчиняется вся органическая природа. Если род человеческий будет продолжать свое существование и устройство вещей останется такое же, то эти изменения должны кончиться совершенством. Точно так же несомненно, что человек сделается совершенным, как несомненно то, что одинокое дерево разрастается, а дерево в группе развивается менее, как несомненно то, что то же самое животное принимает формы восточной и скаковой лошади, смотря по тому, чего требуют условия ее жизни — силы или скорости, как несомненно, что рука кузнеца крепнет, а кожа на руках земледельца толстеет, как несомненно, что глаз матроса делается дальнозорким, а глаз ученого — близоруким; это так же бесспорно, как бесспорно, что слепой приобретает более совершенное осязание, что канцелярист выучивается скоро писать и считать; что музыкант открывает ошибку в полутоне там, где другие слышат только смешение звуков; оно бесспорно, как бесспорно, что страсть развивается от послабления и уменьшается от стеснений, что внутреннее

сознание добра и зла делается инертным, как скоро на него не обращают внимания, и деятельным, когда ему следуют; оно верно, как верно, что воспитание имеет действительное влияние на человека, что выражения «привычка», «обычай», «обыкновение» имеют действительный смысл. Точно так же верно и то, что человеческие свойства будут вполне приспособлены к общественной жизни, что исчезнет все то, что мы называем злом и безнравственностью.

III | БОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ И УСЛОВИЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

§ 1. Если бы Бентам, не предлагая свою идею «наибольшего счастья» в виде правила для человеческого поведения, стал просто утверждать, что наибольшее счастье — цель творения, то его положение было бы довольно верно. Почти все люди так или иначе утверждают то же самое. Были, однако же, времена, когда подобное убеждение было вовсе не всеобщим. Если бы такое положение было высказано Симеону Столпнику, когда он стоял на своем столбе, то он, вероятно, с ним бы не согласился. Вероятно, хлысты XIII столетия (флагелланты*) также думали иначе. Возможно предположить, что и до настоящего времени факиры Индии придерживаются противного мнения. Справедливо, что дикий аскетизм приписывает божеству такое же варварство, каким он сам отличается, и представляет себе, что оно может находить наслаждение в человеческих жертвах; правда, что и в нашей среде сохранился еще тот же взгляд, и выражается он в постах и покаяниях; несмотря на это, немногие между цивилизованными народами способны отвергать, что человеческое благополучие вполне согласно с желанием Божиим: может быть, такого народа даже и вовсе не найдется. Учение это преподается всеми нашими религиозными проповедниками; его придерживаются все писатели о нравственности; его, без сомнения, можно рассматривать как общепринятую истину.

Большая разница между мнением, что наибольшее счастье есть цель творения, и мнением, что наибольшее счастье есть непосредственная цель человека. Роковая ошибка утилитарной философии состояла в том, что она смешала эти положения. Философы этой школы упустили из виду, что истина тут имеет две стороны — божественную и человеческую и что весьма важно определить, которую из них мы будем рассматривать. Наибольшее счастье и нравственность — это лицевая и оборотная сторона одного и того же явления; то, что написано на одной стороне, недоступно нашему анализу; то, что написано на другой, мы довольно удобно можем анализировать.

Оставив метафоры и говоря философским языком, мы можем сказать, что наше дело должно состоять в определении условий, с которыми нам следует сообразоваться для того, чтобы наибольшее счастье могло быть достигнуто. Мы не должны основываться на предположениях, делать то или другое, потому что это кажется нам полезным; но мы должны разрешить, какво действительно должно быть наше поведение для того, чтобы оно привело к желаемому концу. В природе вещей должны быть, безо всякого сомнения, известные, точные и определенные предварительные условия для успеха. Человек — это видимое и осязаемое существо, имеющее свойства. В условиях, которые его окружают, существует известного рода неизменная необходимость. Жизнь зависит от выполнения известных особенных отправлений, а счастье есть известного рода жизнь. Не подлежит сомнению, что, если мы хотим знать, как должен жить человек среди этих данных условий для того, чтобы жизнь его привела к результату наибольшего счастья, мы должны сначала определить, в чем заключается существо этих условий. Если мы хотим разрешить эту задачу, то мы можем сделать это, обращаясь только к существенным ее условиям и подчиняясь им. Предполагать, что мы можем не знать этих условий и не обращать на них внимания, а достигнуть успеха путем каких-нибудь случайных соображений — это полнейшая нелепость. Желаемая цель может быть достигнута только одним путем. Путь этот должен зависеть от основных, необходимых условий нашего положения. Если мы хотим открыть этот путь, то должны сначала определить эти необходимые условия.

§ 2. Во главе тут стоит непреложный факт — это жизнь среди общества. Вследствие рокового хода вещей люди размножались до тех пор, пока они были вынуждены жить более или менее в виду друг у друга. Такое размножение необходимо для достижения наибольшей массы жизни на земле, и потому кажется весьма вероятным, что такое предварительное условие необходимо для достижения наибольшей суммы счастья. Как бы то ни было, но мы находим этот порядок в действительности; мы поставлены в необходимость существовать в этих условиях; и, следовательно, мы должны рассматривать такое положение как одно из условий, с которым нам следует сообразовываться и

которое нам необходимо признать, создавая для себя правила к достижению наибольшего счастья.

В жизни общественной круг деятельности каждой личности ограничивается сферой деятельности других личностей; из этого следует, что люди, которые хотят создать наибольшую сумму счастья, должны быть такими людьми, из которых каждый может получить полное благополучие в своей сфере деятельности, не уменьшая сферу деятельности, необходимую другим для достижения их счастья. Ясно, что если все эти люди или кто-нибудь из них не может достигнуть полного счастья, не стесняя сферы деятельности одного или нескольких из остающихся людей, то он или сам не получит полного счастья, или кто-нибудь или несколько остальных людей будут лишены такого благополучия; следовательно, при подобных обстоятельствах общая сумма счастья не может достигнуть наибольших размеров, доступных нашему пониманию, т.е. осуществление наибольшего счастья делается невозможным. Вот первое из условий, необходимых для достижения наибольшего счастья, которое создается неизбежностью общественной жизни для человека. Исполнение этого условия мы выражаем словом *справедливость*.

Рядом с этим — самым существенным — условием мы находим дополнительное, подобного же рода. Мы видим, что люди могут вести себя так, что их поведение будет производить в других болезненные ощущения, хотя они этим и не будут ограничивать сферу их деятельности. Если кто-нибудь имеет чувства, которые побуждают его поступать таким образом, то ясно, что общий размер счастья не будет так велик, каким бы он был, если бы люди были лишены подобных чувств. Итак, для достижения наибольшего счастья человек должен быть так устроен, чтобы он мог вполне удовлетворить всем требованиям своей природы, не только не уменьшая сферу деятельности других людей, но и не производя для других людей несчастья ни прямым, ни посредственным путем. Мы тотчас увидим, что это условие следует вполне отделять от предыдущего. Соблюдение этого условия можно назвать *отрицательным благоотворением*, или *отрицательным проявлением симпатии*.

Есть еще одно требование, исполнение которого неопределенно увеличит счастье, происходящее от осуществления вышеизложенных условий. Как скоро известный род существ

будет устроен таким образом, что каждая отдельная особь будет в состоянии вполне удовлетворять всем своим желаниям, не уменьшая удовлетворения, получаемого другими особями, то мы будем иметь состояние, при котором сумма отдельного счастья особи достигнет наибольших доступных нашему пониманию размеров. Но если эти самые существа будут устроены таким образом, что каждое из них, кроме приятных ощущений, получаемых от личного удовлетворения, будет еще участвовать посредством сочувствия в приятных ощущениях, получаемых другими, то общая сумма их счастья значительно увеличится. Итак, к первоначальному требованию, что всякий должен быть способен приобретать для себя полное счастье, не уменьшая счастья других, мы должны присоединить новое — а именно, что всякий должен быть способен к такому душевному настроению, при котором вид чужого счастья увеличивал бы его собственное. Удовлетворение этому условию можно назвать *положительным облагодетельствием*, или *положительным проявлением симпатии*.

Наконец, для произведения наибольшего счастья требует соблюдения еще одного условия: каждый, выполняя надлежащим образом вышеизложенные условия, должен еще делать все, что необходимо для увеличения его собственного частного счастья.

Итак, вот эти необходимые условия. Они основаны не на каком-нибудь мнении, но на неизменных фактах. Отвергать их невозможно, потому что всякое другое положение будет противоречить самому себе. Не существует иной возможности: создания, которые должны осуществить божественную идею, должны быть именно таким образом устроены. Каждый человек должен соответствовать этим условиям прежде, чем наибольшее счастье может быть осуществлено; каждый шаг, приближающий к наибольшему счастью, предполагает предварительный шаг к удовлетворению этим условиям. Системы управления и культуры, которые их игнорируют, необходимо должны быть нелепыми в своем существе. Сообразно своему соответствию или разногласию с этими условиями, все, что сюда относится, должно считаться хорошим или дурным, правильным или ошибочным. Нам нет надобности запутываться в исследованиях о пользе каждой меры путем определения всех

ее крайних результатов с их бесконечными разветвлениями; это дело, за которое и приниматься нелепо. Мы должны только исследовать, соответствует ли известная мера вполне вышеизложенным основным условиям или нет, и мы должны быть уверены, что ее годность или негодность будет прямо определяться этим. Все наши обязанности заключаются в том, чтобы мы старались жить согласно с этими необходимыми условиями. Хорошо, если мы находим удовольствие, поступая таким образом; если мы его не находим, мы должны добиваться того, чтобы его найти. Наибольшего счастья можно достигнуть только тогда, когда его условиям подвергаются охотно, потому что ограничение желаний порождает стремление к неисполнению этих условий и причиняет этим страдание или уменьшение наибольшего счастья. Кроме того, мы должны приучиться к исполнению этих условий так скоро, как только это для нас возможно. Жизнь в обществе составляет необходимость. Условия наибольшего счастья при таком состоянии неизменны. Изменяться могут только наши свойства. Итак, они должны быть приспособлены к этим условиям. Всякое нравственное учение, всякая нравственная дисциплина должны стремиться к ускорению этого процесса.

§ 3. Против вышеизложенной классификации условий, необходимых для наибольшего счастья, можно возразить, что она до известной степени искусственна. Можно утверждать, что различие между справедливостью и проявлениями симпатии (или облагодетельствием) не может быть оправдано, потому что они незаметно переходят друг в друга. Можно возразить, что нет никакой существенной разницы между правильным образом действий по отношению к другим и по отношению к себе самому, потому что действия, которые обыкновенно рассматриваются как поступки чисто частные, в сущности имеют такое влияние на других, что они через это приобретают характер публичных; в пример можно привести влияние пьянства и самоубийства. Можно также доказывать, что всякая нравственность должна рассматриваться как частное дело, потому что для нормально организованного и нравственного человека справедливое поведение по отношению к другим совпадает с требованиями его собственной природы.

В каждом из этих мнений много справедливого, и нельзя отрицать, что при окончательном анализе все вышеизложенные различия должны исчезнуть. Не следует упускать из виду, что подобные возражения можно сделать по отношению ко всякой классификации. На таком же основании можно утверждать, что законы теплоты не следует отделять от законов механики, потому что теплота, примененная к воде, порождает механическую силу. По таким же причинам оптика должна быть объединена с химией, потому что при фотографическом процессе свет делается химическим деятелем. Так как мускулы сокращаются под влиянием гальванического тока, то следует из физиологии и из электричества составить одну науку. Мы не должны даже различать растительную жизнь от животной, потому что они исходят из одного общего начала и по отношению к низшим организациям трудно решить, к которому из этих двух подразделений они принадлежат. Поэтому или нужно допустить, что ботаника и зоология должны быть рассматриваемы как одна наука и что все разграничения между естественными науками должны быть уничтожены, или следует допустить аналогическую классификацию и в науках нравственных. Следует допустить, что хотя подобные разграничения в известном смысле искусственны, но они составляют неизбежное начало для всякого систематического исследования. Ограниченная сила понимания заставляет нас разделять на группы явления природы и изучать каждую группу отдельно. Та же самая ограниченность вынуждает нас к отделению поступков людей, имеющих место при непосредственных сношениях друг с другом, от таких, которые не приводят их в столкновение. Отделение это должно иметь место, несмотря на невозможность точного разграничения. Разрабатывая одно из этих отделений, развивая принципы справедливого поведения по отношению к другим, окажется необходимым опять-таки сделать разграничение точно так же, как сделано было выше, и отделить основной и самый настоящий принцип от второстепенного и менее настоящего. Такое разграничение придется сделать несмотря на то, что они исходят из одного корня.

§ 4. Так как осуществление божественной идеи сводится к исполнению известных условий, то наука нравственности должна

подробно разъяснить, каким образом следует направить жизнь для того, чтобы она согласовалась с этими условиями. На основании каждой из бесспорных истин этого порядка может быть построен целый ряд выводов, прямо относящихся к ежедневным нашим поступкам; или, наоборот, каждый поступок находится в известном отношении к этим истинам. Тем или другим путем всегда будет возможно разрешить вопрос, согласуется ли известный поступок с этими истинами или нет. Когда сделан ряд таких выводов и разрешен ряд таких задач, тогда дело моралиста кончено.

Из каждой подобной аксиомы может и, как уже объяснено было выше, должен быть сделан отдельный ряд выводов. Выводы, относящиеся к каждой из этих аксиом, составляют независимые части нравственной науки и должны быть развиты в порядке естественной своей последовательности. Вследствие этого наше внимание будет теперь ограничено первой и самой существенной из этих истин. Личная и частная нравственность не войдет в состав того, что будет изложено на последующих страницах, так как она отделена нами от социальной и публичной. Тут равным образом не будет разъясняться ничего, относящегося до того, что выше названо было терминами положительного и отрицательного проявления симпатии¹. Мы теперь займемся различными выводами из первоначального условия наибольшего счастья — из того условия, которого соблюдение обозначается вообще словом *справедливость*. Цель наша — развить из этого условия систему справедливости; обозначить пределы круга деятельности каждого человека, разделяющие его от подобных сфер других людей; определить отношения, которые необходимо произойдут от признания подобных разграничений; другими словами, здесь мы разовьем принципы социальной статики.

¹ Эти два отдела, может быть, будут разработаны впоследствии, если представится случай и обстоятельства будут благоприятны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

IV | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ОСНОВНОГО НАЧАЛА

§ 1. Может быть, априористические соображения, изложенные в предшествующих главах, многим покажутся слишком отвлеченными для ясного понимания. Впрочем, можно и не обращаться к таким отвлечениям и все-таки найти путь к основному началу нравственной науки, из которого мы теперь будем делать наши выводы. Путь этот мы желаем указать в настоящем изложении. Исходя снова от признанной уже истины, что счастье человеческое заключает в себе волю Божию, мы взглянемся в средства, приличные для достижения этого счастья, и рассмотрим, какие ими предполагаются условия.

Счастье есть известное состояние сознания. Это состояние производится действием на сознание известных видоизменяющих его влияний — известных возбуждений. Всякое возбуждение сознания мы называем ощущением. Следовательно, те возбуждения, которые составляют счастье, должны быть ощущениями.

Каким образом мы получаем ощущения? Ощущения получаются нами путем так называемых способностей. Не подлежит сомнению, что человек не может видеть без глаз. Точно так же не подлежит сомнению, что он не может получить какого бы то ни было рода впечатление, если он не одарен силой, способной к восприятию этого впечатления, т.е. если он не имеет соответствующей ему способности. Все душевные состояния, которые мы называем чувствами и идеями, суть ни более ни менее, как возбуждения сознания посредством подобных способностей — это ощущения, которые производятся в сознании этими способностями.

Затем следует вопрос: при каких обстоятельствах способности производят те ощущения, из которых состоит счастье? Ответ: если их упражняют. Всякое удовольствие происходит от деятельности одной или многих из этих способностей. Приятное ощущение соединяется со здоровым отправлением всякой

духовной и телесной способности. Это приятное ощущение можно получить только тогда, когда совершается отправление, т.е. когда соответствующая ему способность упражняется. Каждая способность в свою очередь доставляет свое особое ощущение, и сумма этих ощущений составляет счастье.

Все это может быть выражено вкратце таким образом. Желание показывает потребность в известного рода ощущении. Ощущение может быть произведено только упражнением способности. Итак, всякое желание может быть удовлетворено только деятельностью способности. Счастье состоит в надлежащем удовлетворении всех желаний, следовательно, счастье состоит в надлежащем упражнении всех способностей.

§ 2. Если Бог желает человеческого счастья, а человеческое счастье можно получить только упражнением способностей, то, следовательно, Бог желает, чтобы человек упражнял свои способности. Итак, обязанность человека — упражнять свои способности, потому что обязанность требует исполнения воли Божией. Обязанность человека упражнять свои способности доказывается еще тем, что, пренебрегая этим упражнением, он навлекает на себя страдание. Нормальная деятельность каждой способности производит удовольствие, а постоянное отсутствие деятельности — тяжкое ощущение. Точно так, как желудок ощущает голод, когда ему нужно переварить пищу, так же всякий душевный и телесный деятель чувствует голод, когда ему нужна деятельность, для которой он предназначен. Если мы не удовлетворим желание способности пищеварения, то мы произведем страдание, и точно такое же страдание мы произведем, если не удовлетворим требованиям всякой другой способности; страдание это будет пропорционально значению способности. Так как Бог желает человеческого счастья, то, следовательно, поведение, которое производит несчастье, противно Его воле. Потому не упражнять своих способностей — значит действовать против Его воли. Этим путем мы опять приходим к тому, что упражнение способностей есть воля Божия и обязанность человеческая.

Исполнение этой обязанности неизбежно предполагает свободу действий. Человек не может упражнять своих способностей, не имея известной степени простора. Он должен иметь

свободу движения, свободу видеть, чувствовать, говорить и действовать; он должен иметь свободу приобретать пищу, одежду, кров и удовлетворять всем потребностям своей природы. Он не должен быть стесняем при исполнении всего того, что посредственно или непосредственно требуется для надлежащего удовлетворения каждой из его духовных или телесных нужд. Без этого он не может исполнять своей обязанности или воли Божией. Если он не может исполнять воли Божией без такой свободы, то, следовательно, Бог приказывает ему взять эту свободу. Итак, он имеет божеское уполномочие требовать эту свободу. Бог предназначил его для этой свободы, следовательно, он имеет на нее право.

Кажется, нет возможности избежать такого заключения. Повторим ряд выводов, которым мы до него доходим. Бог желает человеческого счастья. Человеческое счастье может быть достигнуто только упражнением всех способностей. Следовательно, Бог желает, чтобы человек упражнял свои способности. Но для того, чтобы упражнять свои способности, ему нужна свобода делать все, к чему его естественным образом побуждают способности. Итак, Бог желает, чтобы он имел эту свободу. Следовательно, он имеет право на эту свободу.

§ 3. Это право принадлежит, однако же, не только одному, но всем. Все имеют способности. Все обязаны исполнять волю Божию, т.е. упражнять их. Следовательно, все должны иметь свободу делать то, что необходимо для их упражнения. Итак, все должны иметь право на свободу действий.

Таким образом, неизбежно является ограничение. Если все люди имеют одинаковое право на свободу, необходимую для упражнения их способностей, то свобода каждого должна быть ограничена одинаковой свободой всех. Если, преследуя свои цели, два индивидуума сталкиваются между собой, то движения каждого из них остаются свободными лишь настолько, насколько они не стесняются подобными же движениями другого. Условия существования, в которые мы поставлены, не представляют полного простора для нестесненной деятельности всех; но все так устроены, что имеют одинаковое право на неограниченную деятельность, следовательно, остается одно из неизбежных ограничений: уделить каждому по равной части. Таким образом,

мы приходим к основному положению, что каждый человек может требовать полнейшую свободу для упражнения своих способностей, если свобода эта совместна с подобной же свободой каждого другого человека.

§ 4. При одностороннем взгляде закон этот может показаться подлежащим опровержению. Может показаться более удобным ограничить право каждого человека упражнять свои способности тем условием, чтобы он не вредил никому другому, чтобы он не причинял никому другому страдания. Хотя, на первый взгляд, подобное выражение закона кажется также удовлетворительным, но оно допускает ложные выводы. Справедливо, что люди не могут употреблять своих способностей, оскорбляя друг друга, если они хотят удовлетворить условиям наибольшего счастья, постановленным в предыдущей главе. Но несправедливо, что всякий, во избежание страданий другого, должен воздерживаться от полного упражнения своих способностей; а следует достигнуть, чтобы у каждого способности были таковы, чтобы их полное упражнение не стесняло другого. В этом именно и заключается различие. Причинение страданий может иметь две причины. С одной стороны, ненормально устроенный человек может сделать что-нибудь неприятное для нормальных чувств его соседа, в этом случае он поступает дурно; с другой — поведение нормально устроенного человека может ожесточить ненормальные чувства его соседей. В этом случае недостаток не со стороны его поведения, а со стороны свойств его соседей. При таких обстоятельствах надлежащее отправление его способностей справедливо, хотя оно и причиняет страдание; и исправление зла должно заключаться в изменении тех ненормальных чувств, которыми страдание причинено.

Возьмем несколько примеров для объяснения этого различия. Честный человек открывает мошенника в своем друге, которого он считал хорошей личностью. У него есть известные возвышенные инстинкты, которые внушают ему отвращение к мошенничеству. Он дает полную свободу этим инстинктам и прекращает знакомство с недостойным. Хотя он таким образом и причиняет страдание, но не преступает закона. Зло не должно быть приписано неправильному употреблению его способностей, но безнравственности человека, который страдает.

Протестант в католической стране отказывается обнажать свою голову, когда проходит процессия с пасхальным агнцем. Повинуясь таким образом внушению известного чувства, он возбуждает неудовольствие в зрителях; если бы приведенное выше выражение закона было правильно, его бы следовало за это порицать. Но вина тут не на его стороне, а на стороне тех, которые оскорбляются. Вина заключается не в том, что он обнаруживает таким образом свое убеждение, а в том, что они обладают такой деспотической нетерпимостью по отношению к убеждениям других. Сын женится, к крайнему неудовольствию своего отца и своего семейства, на женщине во всех отношениях прекрасной, но не имеющей приданого. Следуя таким образом стремлениям своей природы, он может причинить много горя своим родственникам; но из этого не следует, что его поведение дурно, скорее следует, что те чувства дурны, которые оскорблены его поведением.

Подобные случаи встречаются постоянно, стеснять тут деятельность способности для того, чтобы не причинить страдания другим, значило бы останавливать правильное отправление способностей в одних людях для того, чтобы допустить неправильное их отправление в остальных. Сверх этого, соблюдение подобного правила не предупреждает страдания, хотя это и кажется с первого раза. Человек, который стесняет себя таким образом, чтобы не причинить страдания своим ближним, сам страдает. Которая-нибудь сторона должна страдать, и остается решить, которая из двух. Должен ли протестант, чтобы не оскорбить духа нетерпимости своего соседа, католика, показывать благоговение перед тем, чего он не уважает, выражать таким образом ложь и оскорблять свою потребность добросовестности? Или ему следует дать свободу здоровому чувству искренности и независимости и оскорбить нездоровое ханжество? Следует ли честному человеку подавлять чувства, которые делают его честным, из опасения, чтобы их проявление не причинило страдания негодяю? Или ему следует уважать свои благородные чувства и оскорблять низкие чувства другого? В этих случаях ясно, что никто не может затрудниться в выборе. Рассмотрим дело в самом его существе. Вспомним общий закон жизни, что упражнение или удовлетворение способностей увеличивает их силу, и, наоборот, их стеснение и

причинение им страданий ослабляет их. Отсюда следует, что, если действие нормальной способности стесняется для того, чтобы предупредить страдание ненормальных способностей других людей, эти ненормальные способности сохраняют всю свою деятельность и силу, а нормальные ослабляются и делаются ненормальными. При противоположных обстоятельствах нормальные способности остаются в своей силе, а ненормальные ослабляются и делаются более нормальными. В первом случае страдание вредно, потому что оно замедляет появление таких форм человеческой природы, при которых способности каждого могут иметь полную свободу действий, не стесняя подобные же способности всех. Во втором случае страдание благодетельно, потому что оно приближается к подобным формам. На основании всего вышеизложенного нужно признать правильным только первый способ выражения закона, так как он непосредственно вытекает из условий социального существования; всякое изменение в выражениях, подобное вышеизложенному, неизбежно приведет во многих случаях к образу действий, абсолютно вредному.

Мы, однако же, допускаем несовершенство в выражениях противоположного свойства, если говорим, что каждый человек должен иметь полную свободу упражнять свои способности, если только он не стесняет этим подобной же свободы другого. Мы найдем, что во многих случаях вышеприведенный способ выражения более соответствует предмету. Существует много случаев, из которых другие лица могут быть оскорблены действием способностей, а закон о равномерной свободе все-таки не будет нарушен. Человек может вести себя нелюбезно, может употреблять грубые выражения, может беспокоить отвратительными привычками. Кто оскорбляет таким образом нормальные чувства, тот явно уменьшает счастье. Если мы скажем, что всякий может упражнять свои способности только до тех пор, пока он не причиняет другому страдание, то мы этим воспрещаем подобное поведение. Но если мы требуем только, чтобы свобода каждого была ограничена равной свободой всех, то мы его не воспрещаем, потому что тот, кто таким образом упражняет свои способности, не мешает другим действовать точно так же и в тех же самых размерах. Каким образом можем мы выйти из этого затруднения? Ни одно из выражений закона

не удовлетворяет нашим требованиям, а мы все-таки должны выбрать одно из них. Которое следует выбрать и почему?

По весьма основательной причине мы должны выбрать первоначальное. Ограничивая свободу каждого равной свободой всех, мы исключаем обширный разряд неправильных действий, но оставляем не исключенными некоторые из них. Ограничивая свободу каждого необходимостью не причинять другим страданий, мы исключаем все эти неправильные действия, но воспрещаем вместе с тем и много правильных. Одно не отделяет всего, другое отделяет слишком много. Одно заключает в себе отрицательную, а другое — положительную ошибку. Ясно, что мы должны принять то, в котором есть отрицательная ошибка, потому что его недостатки могут быть исправлены дополнительным законом. Здесь мы видим необходимость сделанного выше различия между справедливостью и отрицательным облагодетворением, или отрицательным проявлением симпатии — различие это мы делаем постоянно в жизни. Справедливость полагает первый ряд границ для упражнения способностей, и эти ограничения совершенно правильны всюду, куда они достигают. Отрицательное облагодетворение, или отрицательное проявление симпатии, полагает другой ряд подобных границ. Все недостатки первых пополняются последними. Оба эти закона в существе своем различны, и мы видели, что попытка дать им одно выражение приводит к роковым ошибкам.

§ 5. Против всего сказанного, по всей вероятности, будет сделано еще одно возражение. Под неограниченной свободой упражнять свои способности нужно понимать полную свободу делать все, к чему побуждают способности, или, другими словами, делать все, что лицо желает. Итак, можно сказать, что если лицо имеет свободу исполнить все свои желания, если только оно не переступает границу, за пределами которой лежит свобода действий других, то, следовательно, оно может беспрепятственно вредить самому себе: оно может напиваться пьяным или совершить самоубийство. Против этого можно, во-первых, ответить то же, что уже было сказано выше: если закон в настоящем случае признает известного рода действия безнравственными и воспрещает их, то из этого вовсе не следует, что он вне этих действий считает всякую безнравственность законной. Ограничение,

поставленное им для свободной деятельности способностей, хотя и должно быть признано самым существенным, но оно не единственное; оно не должно мешать другим дальнейшим границам свободы. Явившееся здесь затруднение уже показывает, что существует потребность в дальнейших ограничениях.

Следует, однако же, заметить, что эти дополнительные ограничения несравненно меньшей важности, чем основной закон. Они при существующих обстоятельствах не способны, подобно этому закону, к строго научному развитию; относящееся до них учение может быть развито только на основании высших форм полезности. Границы, поставленные свободе каждого человека подобной же свободой каждого другого, почти всегда могут быть определены с точностью; каковы бы ни были условия, но относительные размеры свободы, требуемой людьми, могут быть сравниваемы, и равенство или неравенство между этими размерами может быть определено. Если же мы сделаем предположение, что человек не должен иметь свободы вредить самому себе и что он, за исключением случаев вроде вышеприведенных, не должен иметь свободы делать то, что причиняет несчастье его соседям, и если мы из этих предложений начнем делать выводы, то запутаемся среди таких сложных определений удовольствий и страданий, что точность наших заключений подвергнется очевидной опасности. Не подлежит сомнению, что гораздо легче определить последствия известного действия по отношению к себе самому или к другому, чем определить окончательный результат известных общественных мер по отношению к целой нации; поэтому в частной жизни относительно менее опасно руководиться соображениями полезности. Но совершенно справедливо также, что даже тут можно достигнуть благонадежных заключений только в меньшей части случаев. Во-первых, для нас часто невозможно определить, какие последствия возьмут перевес, дурные или хорошие; затем, мы часто не можем сказать, в каком состоянии находятся способности, подвергающиеся страданию — в нормальном или в ненормальном. Например, хотя совершенно ясно, что пьянство есть вредное упражнение способностей, так как оно производит более страданий, чем удовольствия, но вовсе не ясно, где тут граница между пригодным и вредным для нас; вовсе не ясно, где граница между полезной и вредной интеллектуальной

деятельностью; невозможно определить меру преимуществ, которая может оправдать человека, если он подвергнет себя вредному для него климату или образу жизни. Во всех этих случаях вопрос идет о счастье, и ложный путь тут нельзя допускать по тем же причинам, как и относительно пьянства. Если бы по отношению к частным поступкам даже можно было определить, преобладают ли благодетельные их последствия над страданиями, то затем оставалось бы еще одно затруднение: мы не можем с точностью различать страдания вредные от страданий полезных. Так как мы теперь не вполне приспособлены к условиям нашей жизни, то неизбежно должны происходить страдания от ограничения способностей, слишком деятельных, и от чрезмерного напряжения тех, которые слишком слабы для своего назначения. Так как подобные страдания необходимы для развития совершенного человека, то действия, от которых они происходят, не могут быть осуждаемы. Ясно, что искусный труд необходим для произведения наибольшего счастья, но приобретение этой ловкости так тягостно для нецивилизованного человека, что только самая строгая дисциплина может его к этому принудить. Только по истечении многих лет утомительного труда мы можем достигнуть той степени интеллектуального развития, которая требуется нашим современным образам жизни; может быть, нет возможности привить ее расе иначе, как пожертвовать отчасти и временно телесным здоровьем. Осуществление божественной идеи требует заселения всех обитаемых местностей, а такое заселение предполагает приспособление человечества к разнородным климатам; приспособление это не может иметь места без значительных страданий. Вот случаи, в которых свобода человеческая не может быть ограничена необходимостью не причинять себе вреда. Такое ограничение должно остановить приближение наше к наибольшему счастью. Выше (с. 84—85) мы видели, что бывают случаи, где, по подобным же причинам, человеческая свобода не может быть ограничена необходимостью не причинять страданий другим. Здесь мы должны обратить внимание на то обстоятельство, что не имеем ни одного верного способа для того, чтобы отличить приведенные здесь два рода человеческих действий от случаев, в которых поступки, уменьшающие наше счастье и счастье других людей, вредны и непосредственно, и в окончательном своем результате,

а потому должны быть признаны дурными. Мы вполне способны решать относительно каждого отдельного поступка, будет ли он согласен с устройством совершенного человека или нет, потому что мы не в состоянии определить это устройство в его частностях; мы не можем сказать размер отдельных способностей, из которых идеальный человек состоит; мы можем определять его устройство только в общих чертах; можем только указать известные законы, с которыми действие его способностей должно соотнобразовываться. Выражаясь проще, мы можем сказать, что при определении рассматриваемых здесь двух дополнительных ограничений человеческой деятельности суждение должно быть основано на понятии о счастье; счастье же в настоящее время мы можем определять только в общем, а не в частном смысле (с. 4—5), а потому ограничения эти не могут быть развиты научным путем. Ограничения эти в отвлеченной форме совершенно правильны, и они в точности были бы соблюдаемы идеальным человеком — однако же они до тех пор не могут получить удобоприменимого выражения, пока не будет существовать идеальный человек.

§ 6. Теперь мы дошли до важной истины, касающейся этого предмета, именно — той истины, что определение границы между поступками, которые приносят посредственную пользу, хотя они в известных отношениях и временно причиняют страдание нам самим или другим людям, и теми, которые неизбежны и всегда вредны, возможно будет только впоследствии, и то только тогда, когда каждый будет пользоваться полной свободой, ограниченной исключительно такой же свободой всех. Понятно, что непригодность способностей к их назначению, от которого происходят все роды зла, должно состоять или в излишествах, или в недостатках. Ясно также, что в длинном ряду занимающих нас теперь случаев нет ни одного пути, кроме опыта, которым можно было бы различить действие способностей, производящее страдание, потому что они перешли за пределы нормальности своей силы, от действия, заставляющего страдать, потому что они недостаточны для нормальных условий. Для надлежащего же применения опытного метода в этом случае необходимо, чтобы каждый человек обладал наибольшей свободой, согласной с такой же свободой всех других людей. Если мы ходу

нашей мысли дадим обратное движение, то можем сказать, что хотя второстепенные условия наибольшего счастья и могут быть действительно определены, но для их практического применения требуется подробное знакомство с окончательными условиями телесного и душевного устройства человека; такое подробное знакомство для нас недоступно, поэтому мы должны признавать закон о равной свободе единственным законом, который постановляет ясные для нас пределы для деятельности и способностей, и знать, что другие ограничения сами дадут себя почувствовать, и, на основании закона о приспособлении, впоследствии дело дойдет до полного с ними согласования.

Когда будут следовать этому направлению, то число действий, причиняющих вредные страдания, будет постоянно уменьшаться, а те, которые производят страдания благодетельные, будут продолжаться до тех пор, пока они перестанут возбуждать страдания. Все это может быть объяснено несколькими примерами. Склонность дикого к увлечениям, которая заставляет его действовать под влиянием первого впечатления, постепенно уступает природе цивилизованного человека, способного жертвовать настоящим благом в ожидании большего в будущем. Такое преобразование сопровождается многими страданиями. Но так как это изменение требуется необходимыми условиями социальной жизни, то недостаток способности самообладания постоянно влечет за собой строгие наказания; таким образом обеспечивается постоянное стремление всех к приобретению этой способности, хотя стремление это для них неприятно. Такое стремление приводит хотя медленным, но верным путем к успеху. У людей иногда преобладают чрезмерные инстинктивные стремления к пище; стремления эти постоянно причиняют много телесных, а порой и душевных страданий, но поэтому они неизбежно сопровождаются таким стремлением к воздержанию, которое должно постоянно сдерживать инстинкт и, наконец, привести его к нормальным размерам¹. То, что ясно

¹ С первого раза кажется трудно понять, почему аппетит и стремление к пище имеют в настоящее время большие размеры, чем следует. Но мы найдем объяснение этой кажущейся аномалии, если припомним условия, в которых жил первобытный человек. Он не имел возможности правильно снабжать себя пищей, а потому должен был развивать в себе способность много есть, когда пища была для него

обнаруживается в этих простых случаях, точно так же неизбежно имеет место в случаях сложных, для которых выше приведены примеры и где хорошие и дурные результаты труднее соизмерить и взвесить. В этих последних случаях для рассудка невозможно определять относительные степени удовольствий и страданий, которые произойдут вследствие известных направлений деятельности; но такое определение делается по опыту и бессознательно самими инстинктивными свойствами человека. Человек инстинктивно начнет избегать того направления, которое вообще производит более страданий или, говоря другими словами, грешить в больших размерах против неизбежных условий существования, и будет искать того, которое грешит менее. Обращаясь к действиям, при которых мы приходим в непосредственные отношения к другим людям, мы найдем, что и тут должно случиться то же самое; действия, которые никому не причиняют неудовольствия, будут постоянно возобновляться, и соответствующие им способности будут развиваться. Напротив, действия, которые должны неизбежно произвести дурное впечатление на наших соседей, обыкновенно должны будут отразиться на нас самих неприятной реакцией; эта реакция, в среднем уровне, породит все-таки известную степень ограничения — ограничение это в окончательном результате все-таки должно произвести свое действие на инстинктивное желание, которым оно порождается. Здесь следует обратить внимание на то, что имелось в виду разъяснить в настоящем случае, а именно: во время всего вышеизложенного процесса влияния на человеческую деятельность, которые производят только временные и преходящие страдания, должны привести к совершенно другим результатам, чем влияния, которые производят страдания неизбежные, потому что они действуют на нормальные способности и не могут быть устранены приспособлением. Поведение, которое оскорбляет неизбежные, т.е. нормальные чувства других, должно неизбежно подвергнуться ограничению и уменьшению своих размеров, как это и было объяснено выше;

доступна в изобилии; такая потребность породила и соответствующее инстинктивное стремление. В настоящее время человек может правильно снабжать себя пищей, и ему нет надобности наедаться в запас на случай продолжительного поста; поэтому способность эта теперь излишняя и потому должна быть ослабляема.

но нет необходимости, чтобы то же самое случилось с поведением, которое оскорбляет только случайные и преходящие чувства, например, предрассудки, чувства каст; напротив, если такой образ действий вытекает из неизбежных чувств, то он будет постоянно продолжаться в ущерб чувствам случайным до окончательного их уничтожения. Если люди обращаются друг с другом таким образом, что в природе каждого оскорбляется какой-нибудь существенный элемент и если им всем по очереди приходится переносить происходящее от этого страдание, то должна родиться между ними склонность сократить инстинктивное желание, которое заставляет их действовать таким образом. Если вместо этого они будут постоянно оскорблять друг в друге несущественные их элементы, свойственные только преходящему порядку вещей, и будут побуждаться к такому образу действий стимулами, необходимыми постоянно, то несущественные элементы должны дойти до окончательного уничтожения. Таким образом со временем сама собой разъяснится путаница между неизбежными и условными чувствами, между неизбежными и условными положениями и между такими чувствами и положениями, которые отчасти неизбежны и отчасти условны. Условные чувства должны будут уступить неизбежным положениям, а условные положения — неизбежным чувствам. Когда путем такого процесса произойдет полное приспособление устройства человека к условиям его жизни, тогда последует и полное разделение поступков на существенно вредные и существенно полезные.

Итак, мы находим, что единственное условие, необходимое для произведения окончательного подчинения этим второстепенным ограничениям правильного поведения, заключается в возможности свободно сталкиваться с этими границами; необходимо, чтобы мы могли беспрепятственно давать волю стремлениям нашей природы во всех направлениях до тех пор, пока не будет сделано нами все необходимое для нашего благополучия и истинные пределы полезной деятельности не дадут себя почувствовать. Только после этого возможно будет обозначить эти границы и создать для них применимый на деле свод постановлений об обязанностях. Этим еще более объясняется высшее значение нашего первоначального закона о свободе каждого, ограниченной только равной свободой всех,

потому что свобода действий способностей, которая им требуется, должна предшествовать развитию вышеупомянутой дополнительной нравственности и неизбежна для того, чтобы ее законы определились. Если будем рассматривать первоначальный закон с этой точки зрения, то мы можем почти утверждать, что первоначальный закон есть единственный закон, потому что мы находим, что в числе разнородных условий наибольшего счастья это есть единственное, которое способно в настоящее время получить систематическое развитие. Далее мы находим, что если будут соотносываться с этим законом, то этим в окончательном результате будет обеспечено следование и другим законам.

§ 7. Нужно, однако же, согласиться, что полное развитие требования этого закона равной свободы ставит нас, по-видимому, в затруднительное положение в тех случаях, когда эти второстепенные границы деятельности наших способностей нарушены без всякого сомнения. Пьянством, грубостью манер нарушается и наше собственное счастье, и счастье других. Такое нарушение не только временное, но неизбежное. Если мы будем утверждать, что человек имеет право делать все, что он хочет, до тех пор, пока он будет уважать такую же свободу всякого другого, то мы под этим подразумеваем, что он должен иметь свободу напиваться пьяным и вести себя грубо; таким образом, мы впадаем в непоследовательность и должны утверждать, что человеку следует иметь свободу делать вещи, существенно разрушающие счастье.

Относительно этого затруднения можно сказать только то, что оно, по-видимому, происходит отчасти от невозможности признания несовершенного состояния со стороны совершенного закона и отчасти от недостаточности нашего умения выражаться. Недостаток этой способности уже был объяснен выше примерами (с. 87—88). Нам остается только воспользоваться таким положением вещей как можно лучше. Ясно, что для нас остается один исход: мы должны объявить человека свободным упражнять свои способности, потому что без этой свободы невозможно исполнение Божией воли. Понятно также, что мы должны признать разнородные границы этой свободы необходимыми для осуществления наибольшего

счастья — мы не имеем другого выбора. Мы должны также первое и главнейшее из этих ограничений развить идеально: мы не можем поступить иначе, потому что уже видели выше, что развитие других ограничений для нас в настоящее время невозможно. Против последствий, происходящих от пренебрежения этими второстепенными ограничениями, мы должны ограждать себя, как сумеем лучше. Недостаток научных выводов в этом случае мы должны заменять заключениями, взятыми из опыта и наблюдений.

§ 8. Наконец, мы имеем на своей стороне еще то обстоятельство, что ни одно из этих несовершенств не может повредить правильности заключений, которыми мы теперь займемся. Свобода действий составляет первое и самое существенное условие для упражнения способностей; поэтому она составляет первое и самое существенное условие счастья. Если это самое существенное из условий применяется не к одному, а ко многим людям, то оно требует свободы каждого, ограниченной равной свободой (§ 3). Отсюда следует, что свобода каждого, ограниченная равной свободой всех, есть правило, на основании которого общество должно быть устроено. Свобода есть предварительное условие для нормальной жизни отдельного человека; равная свобода делается предварительным условием нормальной жизни в обществе. Если этот закон равной свободы есть основной закон для правильных отношений между людьми, то мы не можем нарушать его, оправдываясь желанием исполнить какой-либо закон второстепенный.

Далее мы найдем, что если мы из этого первоначально-го ограничения для деятельности способностей разовьем ряд практических правил, то для нас невозможно будет признать какие-либо второстепенные границы, не нарушая ограничений первоначальных. В чем должно заключаться признание второстепенных ограничений? Оно должно заключаться в установлении в нашем общественном устройстве известных дальнейших ограничений деятельности способностей независимо от тех, которые устанавливаются законом равной свободы. Каким же образом эти дальнейшие ограничения могут быть приведены в исполнение? Ясно, что исполнителями будут люди. Люди, которые будут вынуждать такое исполнение, поступая таким

образом, должны неизбежно требовать для себя больших размеров свободы, чем предоставляется тем, которые принуждаются. Одним словом, они должны преступить первоначальный закон для того, чтобы заставить других исполнять второстепенные.

Итак, выводя отсюда заключения о правильном устройстве общества, мы можем смело признавать полную свободу для каждого, ограничивая ее только равной свободой всех. Мало этого — мы должны этого требовать. Оставляя в стороне другие ограничения, мы никоим образом не повредим точности наших заключений до тех пор, пока ограничимся выводами из основного закона для определения справедливых отношений между людьми. Между тем мы не можем включить эти ограничения в число оснований для наших выводов, не искажая наших заключений. Нам в настоящее время не остается ничего более, как игнорировать эти ограничения и оставить до другого раза изложение тех неполных разъяснений, которые возможны для нас в настоящее время.

V | ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ИСТОЧНИК ОСНОВНОГО НАЧАЛА

§ 1. Мы исследовали, каким образом должна быть осуществлена божественная идея наибольшего счастья; мы нашли, что она должна быть осуществлена путем упражнения способностей; мы узнали, что для достижения своей цели это упражнение способностей должно получить известные ограничения. Теперь пойдем далее в нашем исследовании и посмотрим, нет ли в самом человеке основания, чтобы требовать подобное упражнение, и нет ли в нем стимула, который заставляет его уважать подобные ограничения. Ясно, что-нибудь подобное необходимо должно существовать для выполнения цели творения. Было бы вполне несогласно с общим законом нашего устройства, если бы в нас не существовало никакой силы, которая бы удерживала нас от надлежащего употребления наших способностей, кроме отвлеченных соображений, вроде изложенных в предыдущей главе. Выше (с. 32—33) было объяснено, что человек управляется совершенно другими двигателями, а не интеллектуальными. Направление его деятельности не представлено случайности философского исследования. Следовательно, мы можем надеяться, что найдем известного деятеля, специально предназначенного для различения правильного и ненормального отправления способностей и для их направления.

§ 2. Читатель уже понял, что этот деятель — нравственное чувство, существование которого доказано выше достаточными основаниями. Возможно также, что им уже сделано заключение, что та основная истина, которую должно внушить нам нравственное чувство и из которой разум должен развить научную нравственность, заключается именно в первоначальном и существенно-основном законе, которым признается свобода каждого, ограниченная равной свободой всех.

Правильность этого заключения подтверждается различными доказательствами, которые и будут нами теперь рассмотрены. На первом месте тут стоит факт, что в душу человеческую

из того или другого источника постоянно прокрадываются понятия, которые с большей или меньшей полнотой выражают эту истину. Совершенно независимо от анализа и исследований, подобных сделанному выше, люди постоянно обнаруживают наклонность утверждать равенство человеческих прав. Эта наклонность обнаруживалась во все времена, но в особенности очевидной она делается по мере приближения к настоящему. В нашей истории мы можем открыть признаки ее существования уже при Эдуарде I, у которого в призывных листах говорилось: «То, что касается всех, должно быть одобрено всеми — это весьма справедливое правило». До какой степени наши учреждения находились под влиянием этого правила, видно из принципа, признанного судом, что «все равны перед законом». «Все люди по природе вещей равны» (разумеется, только по отношению к их правам): такое учение утверждалось не только филантропами вроде Гранвиля-Шарпа, но и такими людьми, как сэр Роберт Филмер; известный когда-то защитник неограниченной монархии, он говорит: «Гейворт, Блэквуд, Барклей и другие храбро отстаивали права королей и единогласно допускали естественную свободу и равенство людей»². Далее мы находим в акте об объявлении американской независимости, что «все люди имеют одинаковое право на жизнь, свободу и преследование своего счастья». «Каждый человек имеет равные права со всяким другим человеком на голос при составлении законов, которым должны повиноваться все» — таково было руководящее правило движения «всеобщей подачи голосов». Локк в своем «Трактате о правлении» также выражает такого рода мнение: «Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и используя одни и те же способности, должны также быть равными между собой без какого-либо подчинения или подавления»*. Те, которые желают знать еще другие авторитеты, выразившие то же самое убеждение, могут прибавить сюда имена судьи Блэкстона и «добросовестного Гукера».

То, что говорится и делается в ежедневной жизни, постоянно выражает инстинктивное убеждение подобного же рода. Мы считаем подобное убеждение всеобщим признанным, когда мы обращаемся к чувству справедливости людей. В минуту

гнева убеждение это проглядывает в выражениях вроде следующих: «как бы это вам понравилось?», «вам-то что от этого?», «я имею такое же право, как и вы!» и т.д. Похвалы, которые мы расточаем свободе, преисполнены этого убеждения; оно придает горечь нашим нападкам на притеснителей человечества. Вера в равенство человеческих прав так в нас непосредственна, что она выражается смыслом слов нашего языка. Слово *equity* (справедливость) и слово *equal* (равный, равенство) происходят от одного и того же корня; слово *equity* буквально значит равенство.

Кроме того, ясно, что сила подобного убеждения постоянно увеличивается. Правильный взгляд на вещи показывает нам, что развитие человека от степени дикости до состояния цивилизации есть развитие господства этого убеждения. Законы, чувства и обычаи цивилизованного общества всегда более отличаются от варварских тем, что они находятся в большей гармонии с идеей равенства. В другом месте (с. 48—50) было объяснено, до какой степени это убеждение было полезно посредством своего влияния на происшествия былых времен. Если мы вспомним политические движения, которые имели успех в течение последних лет, если мы обратим внимание на те, которые происходят вокруг нас в настоящее время, мы найдем, что они почти все находятся под сильным влиянием подобных убеждений. Вникая в обстоятельства, при которых происходили последние европейские революции, читая введения к созданным ими новым институтам, нельзя не заметить, что убеждение в равенстве людей в настоящее время сильнее и более распространено, чем когда-либо.

Постоянная жизнь и возрастание этого убеждения менее всего лишены смысла. Это был бы странный путь для объяснения социальных явлений, если бы кто-нибудь не придавал никакого значения не только постоянному появлению вновь этого убеждения, но и тому обстоятельству, что оно появляется все более и более часто в законах, в книгах, в народных движениях и в революциях. Если мы будем анализировать убеждения и верования, то найдем, что они все в известной степени зависят от нашего душевного устройства: временные убеждения и верования зависят от временных свойств нашей природы, постоянные — от постоянных. Если мы найдем, что вера, подобная убеждению в равной свободе всех людей, не только проявляется

постоянно, но с каждым днем распространяется все более, то мы имеем полное основание заключить, что она соответствует известному существенному свойству нашего нравственного устройства. Мы в этом взгляде утверждаемся еще более, когда находим, что такое убеждение вполне соответствует основному условию для осуществления наибольшего счастья, рассмотренному выше, и что постоянное развитие такой веры находится в полной гармонии с законом о приспособляемости, который должен привести к наибольшему счастью.

На основании всего вышеизложенного мы создаем здесь для себя следующую гипотезу. Собранные здесь данные приводят нас к заключению, что в человеке существует свойство, которое мы можем назвать *инстинктом личных прав*; это чувство заставляет его требовать для себя столько же естественных преимуществ, сколько требуют и другие, это чувство заставляет его защищаться против всякого покушения ворваться в ту сферу, которую он признает сферой своей естественной свободы. В силу такого стимула отдельные личности стремятся, в качестве единиц всей социальной массы, стать в подобные же отношения, как и атомы материи, из которых каждый имеет окружающую его *отталкивающую* и притягивающую атмосферу. В окончательном своем результате социальное равновесие, по всей вероятности, будет зависеть от надлежащего равновесия этих сил.

§ 3. Существует, однако же, господствующий класс так называемых философов-политиков, которые относятся с презрением к убеждению, что люди имеют естественные права, предшествующие тем, которые признаны правительствами. Последовательность заставляет поступать таким образом учеников Бентама. Вследствие этого они насилуют скрытые и инстинктивные свои убеждения и смело вовсе отвергают существование *естественных прав*. Несмотря на это, они постоянно невольно обнаруживают веру в учения, которые ими открыто отвергаются. Они постоянно позволяют себе неосторожность толковать о справедливости, в особенности когда дело касается их самих, и они рассуждают об этом точно так же, как и их противники. Они делают различие между законом и естественной справедливостью точно так же, как это делается другими. Они восхваляют честность и прямоту, как будто бы они полагают, что это нечто

более, чем пустые слова. Когда их ограбят, или нападут на них, или когда их несправедливо арестуют, они обнаруживают то же самое негодование, ту же самую решимость сопротивляться нападающим, произносить те же самые обвинения в насилии, те же самые громкие требования возмездия, как и самые строгие защитники естественных прав людей. Для объяснения такой непоследовательности они утверждают, что чувства, обнаруживаемые таким образом, не более как результат постепенно приобретенного убеждения, что известный род действий имеет последствия благодетельные, а от другого рода происходит зло. Симпатии и антипатии, которые порождаются таким образом, обнаруживаются, по их мнению, в виде любви к справедливости и ненависти к несправедливости. Против этого предположения выше сделано было возражение, что столь же благоразумно было бы заключить, что голод происходит от убеждения в пользе еды или что любовь к детям происходит от желания поддержать род человеческий!

Все это приводит к забавному результату: оказывается, что позиция, на которой расположились эти философы и с которой они с таким самодовольством осыпали противников сарказмами, есть не что иное, как мина, предназначенная теми же противниками для уничтожения обширного сооруженного на ней здания ложных заключений. Принцип «наибольшего счастья для наибольшего числа людей» — этот принцип, имеющий такой солидный вид, ждет только того, чтобы к нему поднесли свечу, и вот происходит взрыв, и он раздражается поразительным заключением, что все люди имеют равное право на счастье (с. 23—24) — заключением несравненно более революционного и нивелирующего свойства, чем все те, на которые они нападали с таким презрением¹.

Итак, мы видим, что инстинкт личных прав постоянно обнаруживается во мнениях и учреждениях; далее мы находим, что попытка объяснить его указания приобретенным опытом

¹ Мы не будем здесь оспаривать требования, постановленные этим принципом. Для настоящей нашей цели достаточно здесь заметить, что если бы он был справедлив, то все-таки был бы совершенно негоден для основного принципа: сначала потому, что невозможно подробно определить, в чем заключается счастье, а затем потому, что нет меры, которой можно было бы намерить его поровну, если бы мы даже могли его определить.

приводит к нелепости; наконец, оказывается, что основные правила тех, которые резче всех отвергают его существование, не что иное, как другого рода проявления того же инстинкта. Мы имеем самые сильные доказательства его существования, какие только можно иметь — они основаны на свидетельствах всех партий. Во всем этом мы находим достаточное оправдание для того, что бы считать его существование удовлетворительно доказанным.

§ 4. Можно задать такой вопрос: для чего нужно чувство, которое бы побуждало людей требовать свободу действий, необходимую для надлежащего упражнения способностей, и которое бы заставляло их противодействовать нарушениям этой свободы? Разве для этого недостаточно побуждений со стороны отдельных способностей, которые требуют деятельности и не могут быть иначе удовлетворены? Нет потребности в особенном побуждении, когда все остальные возбудители вместе должны заставлять человека делать то же самое.

Это возражение вовсе не так значительно, как оно кажется. Если бы при отсутствии предположенного здесь чувства каждая отдельная способность в свою очередь побуждала своего обладателя противиться ограничению ее сферы действий, то не оказалось бы все-таки никакого стимула для воспрепятствования ограничения свободы такой способности, которая находится в инертном состоянии и требует, чтобы оставлено было незанятое поле для ее будущей деятельности. Можно возразить, что для того, чтобы защитить подобную способность, достаточно сознания, что будут иметь место случаи, когда такая свобода сделается для нее необходимой. Такое возражение очень благоприятно, но оно несогласно с фактами. После исследования мы увидим, что не каждая отдельная способность одарена необходимой для нее предусмотрительностью и заботится о будущем своем удовлетворении; напротив, мы находим, что забота об удовлетворении в будущем всех способностей вообще составляет дело свойств, исключительно для этого предназначенных. Чтобы разъяснить себе этот предмет, мы еще раз обратимся к сравнению с инстинктом приобретения. Мы видим, что инстинктивное стремление к пище, к одежде, к жилищу и многие другие инстинкты, для удовлетворения которых служит собственность, не в состоянии побудить к накоплению имущества,

необходимого для постоянного их удовлетворения, в случае отсутствия инстинкта приобретения. Каждый из этих инстинктов, когда он возбужден, заставляет принимать меры к его удовлетворению в настоящем, но не побуждает накапливать средства для его обеспечения в будущем. Чтобы побуждать к этому человека, необходима известная доля инстинкта приобретения, который требует собственного своего удовлетворения и только по этому случаю обеспечивает средства к удовлетворению других инстинктов. То же самое имеет место и по отношению к свободе действий. Мы показали, что каждая отдельная способность не заботится об обеспечении себе необходимого для ее удовлетворения запаса; точно так же она не стремится к обеспечению для себя свойственной ей сферы деятельности. Для накопления общего запаса, необходимого для человека, существует особая способность; точно так же существует особая способность для обеспечения необходимой человеку сферы деятельности. Отношение, в котором эти две способности находятся ко всем прочим, может быть, всего яснее выразится, если мы скажем, что назначение одной из этих способностей состоит в том, чтобы скопить материал, над которым все прочие способности могут упражнять свою деятельность, а назначение другой способности заключается в охране свободы движения, посредством которой материал собирается и потребляется.

§ 5. Инстинкт личных прав — это инстинкт чисто своекорыстный, который побуждает каждого человека требовать и защищать лишь свою собственную свободу деятельности. После этого остается еще разрешить вопрос: откуда берется у нас понятие о правах других людей?

Путь к разрешению этого сомнения открыт Адамом Смитом в его «Теории нравственных чувств»; цель этого сочинения заключается в том, чтобы показать, что надлежащее направление в нашем поведении по отношению друг к другу обеспечивается способностью, которой отправление заключается в том, что она возбуждает в каждом существе те же самые ощущения, какие обнаруживаются окружающими; эта способность порождает в человеке настроение чувств, однородное со страстями, одушевляющими других, или, как выражается Смит, «производит сочувственные ощущения»; короче сказать, это — способность,

которую обыкновенно называют симпатией. Для объяснения, каким образом проявляется этот деятель, он приводит случаи вроде следующих: «Люди слабого сложения, с чувствительными нервами жалуются, что при виде ран и нарывов, которые показываются нищими публично на улицах, они испытывают неприятное ощущение и что-то вроде зуда в соответствующих частях их собственного тела». «При виде больных глаз люди самого крепкого сложения часто ощущают весьма чувствительную боль в собственных глазах». «Наша радость при освобождении от страданий интересующих нас героев трагедий и романов такая же искренняя, как и наша печаль при виде их страданий; наше сочувствие к их бедствиям настолько же действительно, как и наше участие в их счастье». «Мы чувствуем стыд при виде грубых и наглых поступков другого человека, хотя он сам, по-видимому, вовсе не понимает неловкости своего поведения».

К этим фактам, приведенным Адамом Смитом, можно присовокупить много других, столь же убедительных: люди — в особенности женщины — вздрагивают и вскрикивают при виде случившегося с другими; люди, не привыкшие к хирургическим операциям, падают часто в обморок, если они при них присутствуют. Между солдатами, которые строем присутствуют при телесном наказании, обыкновенно некоторые падают в рядах. Один мальчик умер при виде казни. Мы все испытали неприятное ощущение стыда, производимое в нас ошибками и замешательством раздражительного оратора. Вероятно, каждый когда-нибудь в своей жизни испытал чувство ужаса при виде другого на краю пропасти. Мы замечаем также и взаимное действие этой способности. Мы не можем удержаться, чтобы не присоединиться к радости наших друзей даже тогда, когда мы не знаем причины. Дети, к крайнему их неудовольствию, часто вынуждены смеяться среди горя и слез только потому, что они видят смех вокруг себя. Все это и многие тому подобные факты подтверждают слова Бёрка, что «симпатия должна быть рассматриваема как род превращения, которое ставит нас на место другого человека и заставляет нас во многих отношениях чувствовать то же, что он чувствует».

Адам Смит приписывает влиянию такой способности наши благотворительные действия; он утверждает, что желание освободиться от страданий, доставляемых нам видом бедствия,

заставляет нас помогать чужой нужде; мы стараемся делать других счастливыми, потому что сами при этом разделяем их счастье. Такое учение, по-видимому, весьма удовлетворительно. Оказывается, однако же, что им упущено одно из самых существенных применений этой способности. Смит не знал о существовании стимула, который побуждает людей отстаивать свои справедливые требования, и не мог видеть, что уважение к подобным же требованиям других людей может быть объяснено тем же путем. Он не заметил, что чувство справедливости есть не что иное, как возбуждение симпатического ощущения в инстинкте личного права, род рефлексивного действия этого инстинкта. Если этот инстинкт существует и если гипотеза Адама Смита верна, то все это должно происходить именно таким образом. Вот источник того, что мы называем мучениями совести — этого чувства, которое тревожит людей, совершивших бесчестные поступки. Это — орудие, посредством которого мы получаем ощущение удовольствия, когда мы воздаем другому то, что ему следует. Из этих двух способностей проистекает негодование, которое мы ощущаем при рассказах о политических притеснениях, и скрежет зубов, с которым мы читаем о варварствах торговцев рабами.

Выше было объяснено (с. 73—75), что хотя и следует отделять справедливость от благотворения, но что эти чувства происходят от одного корня; читатель видит теперь, что этот общий корень есть *симпатия*. Все действия, подходящие под понятие справедливости, все те, которые мы называем честными, прямодушными, правдивыми и т.д., проистекают из симпатического возбуждения инстинкта личных прав, а те, которые происходят из благодушия, например, милосердие и внимательность, имеют своим источником симпатическое возбуждение одного или нескольких других чувств.

§ 6. В подтверждение этого учения можно привести множество частных примеров. Если правда, что человеческие понятия о справедливости порождаются изложенным путем, то должно оказаться, что при одинаковых условиях те люди будут иметь самое сильное сочувствие к правам своих соседей, у которых все более развито чувство собственных своих прав. Таким образом, можно поверить в это учение и убедиться в его справедливости,

если подобный факт подтвердится наблюдениями, и, наоборот, понять его ложность, если он не подтвердится. Сделаем опыт.

Первый пример в этом случае нам представит *Братство Друзей**. С тех пор как они появились во времена Карла I, члены этого общества постоянно выказывали замечательную решительность при защите личной свободы. Такое свойство они обнаружили во время постоянного своего сопротивления духовным властям. Они упорно и успешно отражали преследования, постоянно отказывались платить приходские сборы; их религиозные убеждения не допускали даже священства. Посмотрите, каким образом чувство, обнаруживающееся в этих частностях, показало себя в своих симпатических проявлениях. Пенн и его последователи были единственными переселенцами, которые хотя бы отчасти признавали права первобытных жителей на занятую ими землю. Из этой же секты вышли филантропы, начавшие агитацию для отмены торговли рабами, и те, которые вели ее с наибольшей энергией. В числе сумасшедших домов *York Retreat* был одним из первых, если не первым, который принял избегающую принуждения методу лечения душевных болезней. Уже с давних пор квакеры публично восставали против несправедливости и жестокости войны. С одной стороны, они отличаются твердостью при защите своих прав, а с другой — не менее того замечательны честным своим поведением.

Если мы сравним свойства английской нации с другими племенами, то найдем еще пример для объяснения нашей мысли. Мы вообще отличаемся нашей ревливой любовью к свободе и твердостью, с которой мы ограждаем свои права. В то же самое время мы не менее отличаемся и большей справедливостью в нашем поведении. Если наше поведение по отношению к первобытным жителям страны, где мы селились, менее всего похвально, то оно все-таки никогда не доходило до такой низости, какой отличались испанцы и другие народы. Всюду английские купцы отличаются своей добросовестностью и любовью к честности. Мы замечаем более развитое чувство справедливости, чем у других народов, даже в самых грубых слоях нашего населения; оно обнаруживается, например, в запрещении бить лежачего. В течение последнего времени, когда между всеми народами возникли громкие и постоянно возрастающие требования относительно равенства политических прав, мы

в качестве целой нации показали более других внимания к чужим правам и сделали попытку повсеместно на земле уничтожить рабство.

Мы находим равным образом, что те, которые не имеют достаточно развитого чувства справедливости относительно себя самих, не понимают также, в чем должна заключаться справедливость по отношению к другим. Это давно было замечено всеми. Один из современных наших писателей выразил эту мысль таким образом: тиран есть не что иное, как раб, вывороченный наизнанку. В прежние времена феодальные владельцы были зависимыми людьми по отношению к своему королю и деспотами по отношению к зависимым от них людям. В наше время (1850 г.) русский дворянин в одно и то же время раб своего автократа и автократ по отношению к своим рабам. Замечено даже школьными мальчиками, что буян легче всякого другого способен покориться большему буяну. Мы постоянно видим, что те, которые льстят сильным, заносчивы со своими подчиненными. Что «освобожденные рабы превосходят всех других рабовладельцев жестокостью и притеснениями»¹ — это истина, подтверждаемая многочисленными свидетельствами. При удобном случае раболепные натуры превращаются в тиранов — в подтверждение мы видим факт, что негры часто ловятся и продаются их собственными королями.

Таким образом, мы находим, что предложенное здесь учение подтверждается и прямым, и обратным путем. Следует, однако же, сделать одно ограничение. Нет необходимой связи между чувством того, что следует нам, и чувством того, что следует другим. Симпатия и инстинкт права не всегда имеют равную силу, точно так же как и все другие способности человеческие. Одна из этих способностей может иметь нормальный размер, в то время как другая будет почти отсутствовать. Человек, который лишен чувства симпатии, может иметь достаточный стимул для отстаивания собственных прав и не будет показывать никакого соответствующего ему уважения к правам себе подобных. Так как инстинкт прав — чисто эгоистический инстинкт, то он побуждает своего обладателя поддерживать

¹ «Four years in the Pacific» by Lieut. Walpole («Четыре года в Тихом океане», лейт. Вальполь).

только собственные свои преимущества. Желание вести себя справедливо относительно других порождается только симпатическим возбуждением; когда нет симпатии, то и подобное инстинктивное желание невозможно. Но этим не изменяется общее положение, что если симпатия существует в обыкновенном размере, то уважение к чужим правам будет более или менее значительно, смотря по тому, будет ли инстинкт личных прав силен или слаб. Можно сделать несомненное заключение, что в среднем уровне чувство справедливости людей по отношению к себе и по отношению к другим постоянно пропорционально.

§ 7. Изложенное здесь душевное настроение доказывается далее тем, что существуют некоторые особенные взгляды в области нравственности, происхождение которых объясняется именно существованием такого душевного расположения и которые вполне соответствуют отвлеченным выводам, сделанным в предыдущей главе. Мы находим в нас убеждение, которое мы не в состоянии достаточно оправдать; убеждение это поселяет в нас мысль, что мы должны иметь свободу делать, если нам заблагорассудится, некоторые вещи, несмотря на то, что они достойны порицания. Человек чувствует, что он имеет право, если захочет, изуродовать свои члены или разрушить свою собственность, хотя бы через это значительно уменьшилось его счастье. Хотя мы и порицаем недостаток внимания к несчастному должнику, однако же, мы находим, что жестокий заимодавец имеет — на основании строгой справедливости — право на последний грош должника. Несмотря на наше отвращение к эгоизму человека, который не соглашается устроить в известном случае по-дружески и безобидно, мы не можем, однако же, отрицать, что он имеет полное право отказать нам. Если справедлива сделанная здесь гипотеза, то такие взгляды должны происходить из инстинкта личного права, в одном случае — непосредственно, а в других — через симпатию. Взгляды эти совершенно согласны с выведенными выше заключениями. Мы находили, что закон равной свободы есть основной закон. Мы признавали (с. 86), что постановленные им ограничения для деятельности авторитетнее всех других ограничений. Далее мы пришли к убеждению (с. 87—88), что при настоящем нашем состоянии приспособляемости неправильно устанавливать какие-либо другие

определенные границы для свободы действий, кроме равной свободы других. Такое соответствие между нашими инстинктивными понятиями и выше выведенными заключениями увеличивает вероятность постановленной здесь гипотезы.

§ 8. После этого, кажется, должно быть совершенно ясно, что мы носим в себе душевный механизм, который дает нам возможность понять существенные требования для достижения наибольшего счастья и порождает стимулы движения по такому направлению. Общие начала нашего устройства заставляют нас предполагать, что стремление к этой цели обеспечено именно таким образом. Мы в другом месте показали вероятность существования нравственного чувства; в этом-то нравственном чувстве мы и видим деятеля, явно соответствующего такому назначению, а в первоначальном условии наибольшего счастья мы открываем ту аксиому, которую нравственное чувство должно было нам внушить. Человек обладает чувством, которое должно породить эту аксиому; это доказывается более или менее полным ее выражением, сделанным непосредственно, так сказать, инстинктивно, в политических догматах, законах и в поговорках ежедневной жизни. Кроме того, в существовании этого чувства может убедить тот факт, что люди, которые отвергают порождаемый им взгляд на вещи, обнаруживают, однако, тот же самый взгляд, но только в замаскированном и искаженном виде. Путем аналогического сравнения со стимулом к приобретению мы убеждаемся, что стимул для поддержания свободы действий, по всей вероятности, существенно необходим для полноты человеческого устройства. Мы можем объяснить себе, каким образом стимул охранения свободы деятельности может породить внимание к такой же свободе других людей, если мы распространим на него учение Адама Смита о симпатии; множество фактов соединяются для доказательства, что наше чувство справедливости действительно вытекает из симпатического возбуждения этого инстинкта. Наконец, мы находим, что убеждения, порождаемые в нас предположенным здесь путем, соответствуют результатам отвлеченного мышления не только по отношению права каждого лица упражнять свои способности и соответствующей ему границе этого права, но и по отношению особой святости этого права и его границ.

VI | ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП

§ 1. Различными путями мы приходим к тому же самому заключению. Мы должны признать, что закон справедливых социальных отношений заключается в правиле, что «каждый человек способен делать все, что он хочет, если он не нарушает равной свободы другого человека». К этому положению мы придем, если будем выводить наши заключения из единственных неизменных условий, при которых божественная идея наибольшего счастья может быть осуществлена; сюда же приведут нас и заключения, основанные на устройстве человека, если его считать совокупностью известных способностей; тот же результат мы получим, если будем прислушиваться к внушениям известных душевных деятелей, которые, по-видимому, предназначены для того, чтобы руководить нами в этом случае. Хотя может существовать потребность в дальнейшем ограничении свободы действий, но мы видели (с. 87—88), что при правильном устройстве общества нельзя признать этих дальнейших ограничений. Эти дальнейшие ограничения должны всегда быть предоставлены в своем применении частному и личному усмотрению. Следовательно, мы должны принять закон о равной свободе во всем его объеме и признать его законом, на котором правильная система справедливости должна быть основана.

§ 2. Многие, может быть, возразят против этого основного начала, утверждая, что если оно должно иметь свойства аксиомы, т.е. неоспоримой истины, если оно должно рассматриваться таким образом при выводе из него заключений, то оно должно быть признано всеми; а между тем такого общего признания не существует.

Факт, приведенный выше, что были и есть люди, недоступные для этого основного начала, не подлежит никакому сомнению. Аристотель, вероятно, не согласился бы с ним, потому что находил, что «варвары предназначены природой для рабства, и что это положение ясно само по себе». Его, вероятно, оспаривал бы и кардинал Юлиан*, который находил, что «мысль быть честным в своем слове по отношению к неверным ужасна для благочестивого сердца». Аббат Гиберт так же едва ли мог разделять

подобное учение. В своих проповедях он называл свободные города Франции «ненавистными общинами, где рабы против закона и справедливости освобождаются от власти своих господ». Может быть, его не приняли бы и горцы, которые в 1748 году сопротивлялись своему освобождению посредством отмены наследственной юрисдикции. Если истина этого основного начала не ясна сама по себе для всех, то этим она еще вовсе не опровергается. Бушмен может считать только до трех, а арифметика все-таки существует; мы имеем вычисление функций, с помощью которого находим новые планеты. Неспособность дикого понимать основные истины чисел не есть доказательство против их существования, не включает в себе препятствия к их открытию и развитию; равным образом и то обстоятельство, что не все признают закон равной свободы основной истиной этики, не может помешать ему быть таковым.

Это различие нравственных взглядов людей не только не составляет препятствия на нашем пути, но оно разъясняет учение, изложенное выше. Во второй главе было объяснено, что первобытная обстановка человека требовала, чтобы «он жертвовал благосостоянием других существ ради своего собственного», а обстоятельства жизни, в которых он живет теперь, требуют, чтобы «каждая личность имела только такие желания, которые могут быть вполне удовлетворены, не стесняя способности других личностей получать такое же удовлетворение». Было указано, что в силу закона приспособляемости устройство человека переходит от формы, приуроченной для условий прежнего его существования, к форме, приспособленной к его современной жизни. Приспособление к теперешним условиям жизни обеспечивается развитием тех двух способностей, общая деятельность которых порождает то, что мы называем нравственным чувством. Стимул, заставляющий нас соотносываться с законом равной свободы, пропорционален силе симпатии и инстинкта личных прав. Стимул этот порождает объясненным выше (с. 72—74) способом соответствующую ему веру в упомянутый закон. Вот почему как подчинение этому закону, так и признание его истины возможно только после того, как процесс приспособления сделал уже значительные успехи. По той же причине нельзя ожидать, чтобы в первое время социального развития можно было найти сколько-нибудь всеобщее признание этой истины.

§ 3. К собранным выше прямым свидетельствам, доказывающим существование нашего основного начала, можно еще при-совокупить множество посредственных доказательств путем нелепостей, к которым приводит нас отрицание этой истины. Тот, кто утверждает неверность закона равной свободы, кто уверяет, что люди не имеют равных прав, может выбирать только между двумя путями. Он должен сказать или то, что люди вообще не имеют прав, или что они имеют права неравные. Рассмотрим эти положения.

В первых рядах между теми, которые вовсе отвергают права людей, стоит тот же самый сэр Роберт Филмер, о котором мы говорили выше. Он высказывает положение, что «люди не свободны по своей природе». Создав такое положение, он без труда находит свой путь к заключению, что единственный пригодный для людей образ правления — это неограниченная монархия. Если люди не свободны по своей природе, т.е. если они не имеют от природы никаких прав, то права может иметь только тот, кому они даны Богом. После этого заключения только один шаг до «божественного права королей». В последнее время, однако же, сделалось совершенно ясно, что это божественное право королей приводит к божественному праву всякого, кому удалось захватить власть. На основании такого положения никто не может занять место верховного правителя против воли Божией, а следовательно, всякий, кто достиг этого, имеет на своей стороне Божеский авторитет, несмотря на то, будут ли им для этого употреблены честные или бесчестные средства, будет ли он законным государем или узурпатором. Следовательно, сказать, что люди не свободны по своей природе, — это значит сказать, что хотя люди и не имеют прав, но тот, кто может захватить власть и незаконно принуждать других к повиновению, тот имеет право поступать таким образом!

§ 4. Это учение порождает для разделяющих его еще более важное затруднение. Если мы возвратимся к тому, что было сказано в главе четвертой, то мы найдем, что отказывать людям в правах — это значит оскорблять божество. Мы видели, что если человек имеет какое-нибудь право, то право это может состоять только в том, что предназначено ему Богом. Сказать, что человек не имеет права на свободу действий, — это значит сказать,

что не было воли Божией для приобретения им этого права. Без свободы действий человек, однако же, не может удовлетворять своим желаниям. Следовательно, нет Божией воли на то, чтобы он им удовлетворял. Неудовлетворение желанием производит бедствия. Следовательно, промысел Божий состоит в том, чтобы человек бедствовал. После такого нелепого вывода можно, безо всякого сомнения, считать это положение опровергнутым.

§ 5. Если мы примем другое положение, т.е. то, что права людей не равны, то мы можем оправдать его только одним желанием обеспечить превосходство лучшего. Немало такого любезного народа, который на возражения против общественного неравенства отвечает известным изречением, которое начинается фразой «порядок есть первый закон неба» и кончается заключением «некоторые суть и должны быть больше остальных». Основываясь на этом правиле, они с забавной непоследовательностью защищают условные различия. Не осмеливаясь «первый закон неба» предоставить себе самим, они стараются поддержать его искусственными подразделениями. Они опасаются, что желанный «порядок» не может удержаться, если за ним не будут наблюдать; таким образом эти, «которым следует быть больше остальных», избираются путем официальных вдохновений, распределяются по рангам и снабжаются ярлыками сообразно их относительному достоинству.

Этот народ, со всеми ему подобными, считающий права людей неравными, относится к обширному классу людей, которые способны обожать учреждение и не понимать его ничтожества. Они верят только внешности, они не признают никаких других сил, кроме тех, которые установлены, для них нужны решения через подачу голосов, авторитет, чин и т.п. Самая малая доза проницательности, однако же, показала бы им, что величие не нуждается в покровительстве с их стороны. Истинное превосходство приобретет для себя значение без искусственной помощи. Удалите эти меры, расстраивающие естественный ход вещей, и влияние каждого человека на остальных будет вполне соответствовать его естественным силам. Предоставьте вещи их естественному течению, и если человек имеет в себе нечто возвышающее его над общим уровнем, он неизбежно внушит к себе уважение и повиновение.

§ 6. Если мы даже допустим, что для обеспечения превосходства лучшего свобода действий должна быть распределена между людьми сообразно их достоинствам, то защитники первенства прав все-таки не выдвинули бы этим вперед свою идею. Затем оставался бы еще вопрос: каким образом определить относительное достоинство? Где мера, которой мы могли бы измерять относительное значение различных родов и степеней способностей? Мы не можем обращаться к общественному мнению, потому что оно не единообразно. И если бы оно было единообразно, то нет причины думать, что оно правильно. Напротив, если что-нибудь можно вывести из окружающих нас явлений, то мы найдем, что его оценка весьма ошибочная. Можно ли надеяться на суждение людей, которые подписывают гудзоновские свидетельства и оставляют первоначального изобретателя железных дорог* на произвол смерти в бедственном положении? Разве способны решать вопрос о величии люди, которые украшают столы своих салонов копией с грамоты на царское достоинство Бёрка, которые прочитывают списки представляющихся при дворе, занимаются сплетнями высшего общества, которым приятнее производить свое происхождение от какого-нибудь барона — разбойника, от какого-нибудь Фрон де Бёф**, чем от Уатта или Аркрайта? Можно ли сколько-нибудь положиться на решения авторитета, который воздвигнул с полдюжины общественных памятников своим Веллингтонам и ни одного — своим Шекспирам, Ньютонам и Бэконам? Какой это авторитет, который сторожу при палате общин назначает 74 ф. ст. в год — более, чем королевскому астроному? По мнению Джонсона, «самую лучшую славу каждого народа составляют его писатели», а у нас писатели почитаются несравненно менее, чем титулованный народ; писатели наших руководящих журналов неизвестны, и несравненно более уважения оказываются Ротшильдам и Берингам, чем Фарадеям и Оуэнам.

Если оценка относительных достоинств, сделанная общественным мнением, оказывается в такой степени неверной, то где же найти оценку, достойную доверия? Ясно, что если свобода каждого должна изменяться с его достоинством, то нужно сначала найти удовлетворительный способ определения этого достоинства, а затем уже сделается возможным установить какие-либо правильные отношения между людьми. Кто же укажет нам такой способ?

§ 7. Если мы сделаем еще одну уступку, если мы допустим, что относительное право на требования людей может быть справедливо определено, то и в таком случае невозможно было бы привести в исполнение это учение о неравенстве. Нам пришлось бы найти правило для распределения между людьми долей преимуществ. Какого рода постепенность этих преимуществ даст нам возможность уделять каждому то, что ему следует? Какая единица меры должна быть употреблена для этого рода распределения? Положим, что права торговца будут выражаться числом десять с дробью. Какое число будет представлять право доктора? Свобода банкира насколько должна быть обширнее свободы швеи? Даны два артиста, один из них вдвое искуснее другого; следует найти предел, до которого каждый из них может упражнять свои способности? Как величие первого министра относится к значению мальчишки-идиота, так относится полная свобода действий к желаемому здесь ответу. Вот немногие из бесчисленных подобных вопросов. Когда будет найден способ для их разрешения, тогда будет и время рассматривать учение о неравенстве прав.

§ 8. Теперь мы должны эти отрицательные основания присоединить к положительным причинам, заставляющим нас утверждать, что каждый человек должен иметь свободу делать все, что он хочет, пока он не нарушает равной свободы другого человека. Мы не можем принять ни одного из путей, по которому нам придется идти, если мы отвергнем это основное начало. Учение о том, что люди не имеют естественных прав, приводит нас к жалким заключениям, что сила дает право и что божество есть существо недоброжелательное. Сказать же, что люди имеют неравные права — это значит утверждать две вещи невозможные: сначала то, что мы способны определять размеры человеческих достоинств, а затем — что мы можем после такого определения отмерить каждому надлежащую пропорцию следующих ему преимуществ.

VII | ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНОГО НАЧАЛА

§ 1. Способ, посредством которого мы можем из основного начала развить систематическое учение о естественной справедливости, достаточно очевиден. Мы должны правильно отличить действия, которые дозволяются им, от тех, которые исключаются из сферы дозволенных; мы должны определить, что лежит в пределах разрешенной для каждого лица деятельности и что лежит за этими проблемами. Наша цель должна заключаться в том, чтобы определить территорию, где господствует «можно», и границы, где начинается «нельзя». Относительно каждого поступка мы должны определить, переходит ли совершающий его в область свободы своего соседа или нет, равны ли будут доли свободы каждой стороны, если мы их сопоставим друг с другом. Таким образом, отделяя то, что может быть каждым сделано, не касаясь преимуществ других, от того, что не может быть сделано, без нарушения этого условия, мы должны разделить действия на законные и незаконные.

§ 2. Там и сям могут встретиться затруднения при выполнении этой задачи. Может быть, при случае окажется, что мы относительно известного, данного поступка не способны решить, преступает он закон равной свободы или нет. Подобное признание неспособности ни в каком случае не показывает недостатка в законе. Оно доказывает только неспособность человеческую — неспособность, которая полагает предел нашим открытиям как по отношению к материальным, так и к нравственным истинам. Так, например, определение градуса и минуты угла, до которого человек может наклониться не падая, лежит вполне за пределами возможности для математика. Так как для него невозможно с точностью определить центр тяжести человеческого тела, то он не может достоверно знать, когда линия, соединяющая этот центр тяжести с центром земли, будет проходить через основание, на котором покоится тело, и когда — вне этого основания. Мы, однако же, этого не ставим в виду основным началом механики. Мы понимаем, что, несмотря на нашу неспособность

выводить из этих основных начал все заключения, устойчивость или неустойчивость равновесия нашего тела могла бы быть с точностью определена, если бы мы были способны получить точное понятие обо всех условиях, необходимых для решения задачи. На том же основании мы утверждаем, что, хотя среди более сложных социальных отношений могут возродиться вопросы, которые, по-видимому, не разрешимы путем сравнения относительных размеров свободы, требуемой каждой из частей, несмотря на то, следует допустить, что, хотя мы этого и не можем видеть, их требования должны быть или равны, или не равны, и сообразно этому и поступки их будут или справедливыми, или несправедливыми.

§ 3. Для тех, которые верят в отвлеченное мышление, для достаточно смелых, чтобы следовать за признанным ими учением всюду, куда бы оно их ни привело, достаточно указать на различные выводы, которые могут быть сделаны из этого основного начала; затем эти заключения можно предоставить самим себе, и они сохраняют свою силу или падают, смотря по степени логической правильности их построения. Но надобно опасаться, что результаты, полученные таким чисто философским путем, будут иметь мало значения для большинства. Заключениями, выведенными таким образом, нельзя действовать на людей, которые «не в состоянии понять начала прежде, чем оно осветит какой-либо факт». Избирая себе руководителем поверхностный опыт, они глухи к выражению законов природы и жизни. Они не понимают, что опыт свой они выводят из сложных явлений, которые ни более ни менее как порождение тех же законов. Несмотря на это, нам приходится иметь с ними дело и справляться как сумеем. Чтобы достигнуть тут цели, нужно привести доказательства так называемого практического свойства. Когда нам придется делать выводы, не согласные с общественным мнением, тогда мы будем подкреплять доказательства данными из опыта и покажем, что данные эти, объясненные надлежащим образом, подтверждают выводы.

VIII | ПРАВА НА ЖИЗНЬ И НА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ

§ 1. Это — выводы из основного начала, до того ясные сами по себе, что едва ли нуждаются в особом рассмотрении. Если человек должен иметь свободу делать все, что он хочет, пока он при этом не нарушает равной свободы другого человека, то ясно, что он имеет право на жизнь, потому что без этого условия он вовсе не может делать того, что он хочет. Он также должен иметь право на личную свободу, потому что, лишаясь этой свободы — если не вполне, то отчасти, — он вместе с тем лишается возможности следовать своим желаниям. Совершенно ясно, что никто не может лишиться своего ближнего жизни или свободы, потому что он не может этого сделать, не нарушая закона, который, обеспечивая его свободу, требует, чтобы он «не нарушал равной свободы другого». Понятно, что тот, кто убил или обращен в рабство, не пользуется равной свободой со своим убийцей или владельцем.

§ 2. Нет надобности разъяснять эти заключения изложением происходящих от них преимуществ. Все непосредственно соглашаются с ними. Есть немногие простые истины, которые мы можем ясно сознавать через посредство одного нравственного чувства без помощи логики, и только что изложенные истины принадлежат к их числу. Было, однако же, время, когда действие, произведенное законом приспособления, было еще так слабо, что чувства, соответствующие этим истинам, были относительно неразвиты и поэтому не порождали непосредственного убеждения в их справедливости. Если бы мы жили во времена древней Ассирии, когда подданный считался собственностью своего короля; если бы у нас было обыкновение держать привратника на цепи у его конурки с одной стороны двери, а на противоположной — ставить конуру собаки, как это делалось в Афинах и в Риме; если бы приносили людей в жертву богам или отсылали наших военнопленных в амфитеатр для того, чтобы их там разорвали на куски — тогда, конечно, было бы необходимо подкрепить изложенное здесь учение доказательствами,

из которых было бы видно, как полезно ему следовать. К счастью, мы живем в лучшие времена. Мы можем с удовольствием сознавать, что достигли такого фазиса цивилизации, когда не требуется более подтверждающих доказательств для того, чтобы признать за нами право жизни и личной свободы.

§ 3. Мы не можем рассматривать здесь вопросов о смертной казни, о пожизненном заключении и т.п. Эти наказания предполагают предшествовавшее им нарушение закона, а следовательно, это — лекарства для болезненного нравственного состояния общества, и потому относятся к науке, которую мы называли терапевтической этикой; нам до них нет никакого дела.

IX | ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ

§ 1. Дана порода существ, которые имеют одинаковое право искать удовлетворения своих желаний, дан мир, приспособленный к удовлетворению этих желаний — мир, в котором эти существа одинаковым образом рождены; из этого неизбежно следует, что все они имеют одинаковое право пользоваться этим миром. Если каждый из них имеет свободу делать все, что он хочет, не нарушая равной свободы других, то каждый из них имеет свободу пользоваться землей для удовлетворения своих потребностей, если только он предоставляет всем другим пользоваться такой же свободой. Наоборот, ясно, что никто не может пользоваться землей таким образом, что через это у других отнята будет возможность такого же пользования. Если он это делает, то воспользуется большей свободой, чем остальные люди, и нарушит закон.

§ 2. Таким образом, естественная справедливость не допускает поземельной собственности. Если какая-нибудь часть земли сделается на законном основании собственностью отдельного лица и может им употребляться исключительно для своей выгоды, и если он может ее рассматривать как вещь, на которую имеет исключительное право, то и другие части земли могут сделаться предметом подобного же обладания; наконец, вся поверхность земли сделается предметом собственности, и наша планета во всем своем объеме попадет в частные руки. Посмотрите же, к каким это приведет затруднениям. Предположите, что весь обитаемый мир состоит из огороженных клочков частных земель. Если, таким образом, собственники будут иметь действительное право на земную поверхность, то все не-собственники не будут иметь на нее вовсе никакого права. Следовательно, не-собственники будут в состоянии существовать только потому, что их терпят тут другие. Их существование будет нарушать чужое право собственности. Не получив дозволения от поземельных владельцев, они не будут иметь на земле пространства для помещения подошвы своих ног. Если другие

признают за лучшее не давать им места, куда приклонить голову, эти безземельные люди могут на основании законов такой справедливости быть вовсе изгнаны с земной поверхности. Дозволение превращать землю в частную собственность дает возможность одной части обитателей земного шара завладеть всей его поверхностью; после этого остальные жители земли будут в состоянии упражнять свои способности и даже существовать только с согласия поземельных собственников. Немудрено понять, что такое исключительное владение землей неизбежно заключает в себе нарушение закона равной свободы. Люди, которые не могут «жить, двигаться и обладать своим существованием без дозволения других», не могут быть столь же свободны, как эти другие.

§ 3. Если мы от рассмотрения возможных случаев перейдем к действительным, то найдем еще более причин, чтобы отвергать правильность поземельной собственности. Никак невозможно утверждать, чтобы существующие на такую собственность права были законными. Если кто-нибудь думает таким образом, пусть он взглянет в летописи прошедшего. Насилие, обман, право силы, завладение путем успешной хитрости — вот источники, на которых основаны эти права на землю. Первоначальные крепости на них были написаны мечом, а не пером. Писцами крепостных дел служили для них не законники, а воины; смертоносные удары — вот ходячая монета, которой за них платили, а для печатей кровь предпочиталась воску. Можно ли такими путями создать для себя справедливые права? Едва ли. Если нет, то как следует рассматривать претензии всех последующих владельцев собственности, приобретенной таким образом? Разве завещание и продажа могут проводить право там, где его не существовало с самого начала? Разве те, которым первоначально принадлежало право, будут лишены его перед судом рассудка, потому что украденная у них вещь перешла в другие руки? Конечно, нет. Если один переход не может дать законного права, то могут ли дать многие? Опять-таки — нет. Ничто не может быть умножено прежде, чем оно произошло в первый раз. Даже закон признает это начало. Настоящий владелец, если от него этого потребуют, должен доказать права тех, от кого он купил или получил по наследству свою

собственность; права его разрушаются, если в первоначальном акте есть недостаток, хотя бы после этого и следовал непрерывный ряд собственников, обладавших этим имуществом.

Есть люди, которые говорят, что время — великий узаконитель. Владение с незапамятных времен должно установить законное требование. То, что из века в век составляло предмет частной собственности, что покупалось и продавалось на этом основании, должно быть теперь рассматриваемо как неотъемлемая принадлежность отдельных личностей. Можно охотно согласиться с таким положением, если те, которые его предлагают, дадут ему определенный смысл. Для того, чтобы это сделать, им следует дать сначала удовлетворительные ответы на вопросы вроде следующих: сколько времени нужно для того, чтобы то, что было сначала несправедливым, переродилось в справедливое? Как велик годичный размер, в котором незаконные требования превращаются в законные? Если основание для приобретения делается законным в течение тысячи лет, то насколько же оно будет более чем законно в течение двух тысяч лет и т.д.? Для решения этих вопросов им придется поискать новый прием для расчетов.

Здесь мы не касаемся вопроса, полезно ли признавать права, которые существовали более или менее продолжительное время. Мы здесь не имеем дела с соображениями, касающимися установленных привилегий и удобоисполнимости законов. Нам нужно было получить только ответ, который дается по этому предмету чистой, естественной справедливостью. Решение этой справедливости предписывает протест всех существующих претензий на частное владение землей; оно заставляет нас утверждать, что право человечества на поверхность земли неотъемлемо, несмотря на все крепости, обычаи и законы.

§ 4. Происхождение всех ныне существующих прав на землю не только не может быть защищено, но невозможно найти ни одного способа, которым бы земля могла сделаться частной собственностью. Обыкновенно полагают, что обработка порождает такое законное основание. Полагают, что тот, кто извлек клочок земли из первобытного его, дикого состояния, через это приобрел на него право собственности. Если будут у него оспаривать эту собственность, то путем какого логического

заклучения может он подтвердить свое право? Послушаем, как он будет защищаться.

«Эй вы, сэр, — кричит космополит поселенцу девственных лесов, который курит у дверей своего жилища, — на каком основании вы завладели этим акром земли, который вами был расчищен: вокруг вы сделали ограду и построили на нем избу?»

«На каком основании? Я здесь поселился потому, что не оказалось ни одного человека, который бы мог сделать против этого возражение, потому что я имел на это столько же права, сколько и всякий другой человек. Не говоря уже о том, что я вырубил здесь лес, вспахал и оплодотворил землю, я построил здесь ферму, на которую я имею более права, чем вы или кто-либо другой; и я полагаю ее удержать за собой».

«Прекрасно, вы все так говорите. Однако же я не вижу, чем вы доказали ваше право. Когда вы сюда пришли, вы нашли, что земля производит деревья — может быть сахарный клен, а может быть, она была покрыта луговыми травами или дикой земляникой. Очень хорошо, вместо этого вы заставили ее производить пшеницу, кукурузу и табак. Я не могу понять, каким образом через уничтожение одного рода растений и через замену их другими вы обратили себя в собственника этой земли на все последующие времена».

«Но ведь эти естественные произведения, которые я уничтожил, были или вовсе бесполезны, или приносили очень мало пользы; я же заставил землю производить растения, годные для пищи, растения, которые помогают плодить жизнь и счастье».

«Все-таки вы еще не доказали, что такой процесс превращает измененный вами клочок земли в вашу собственность. Что же вы сделали? Вы заступом или плугом вспахали землю на несколько дюймов глубины, вы рассеяли на пространстве, приготовленном таким образом, несколько семян и собрали плоды, которые произведены были почвой с помощью солнца, дождя и воздуха. Позвольте же вас теперь спросить: каким волшебным путем подобные действия могли вас обратить в исключительного собственника этой обширной массы материи, для которой поверхность вашего владения служит основанием, а Центр земли — вершиной? Между тем все это вы, по-видимому, желаете монополизировать навсегда в вашем владении и во владении ваших потомков».

«Хорошо, если это принадлежит не мне, то кому же это принадлежит? Я никого не лишил этого владения. Когда я достиг этих мест, углубляясь в даль Миссисипи, я не нашел здесь ничего, кроме безмолвного леса. Если бы кто-нибудь другой поселился здесь и расчистил бы для себя место, он имел бы такое же полное право основаться здесь, как и я имею. Я сделал только то, что всякий другой мог сделать, если бы он явился сюда прежде меня. На землю эту никто не изъявлял своей претензии, она была общим достоянием, она настолько же принадлежала одному, насколько и другому — она теперь моя, потому что я был первый, который открыл и улучшил ее».

«Вы сказали правду, утверждая, что «земля эта была общим достоянием, потому что никто не изъявлял на нее претензии». Я считаю своей обязанностью объяснить вам, что она принадлежит всем до сих пор, и что то, что вы называете вашими улучшениями, не может повредить общему праву на нее всех людей. Вы можете пахать и боронить, сеять и жать; вы можете вскапывать почву сколько вам угодно; но все эти ваши действия не обратят землю в вашу собственность, потому что она с самого начала не была вашей; объясним примером. Предположите, что в течение ваших странствований вы натолкнулись на пустой дом, который привлек вас к себе, несмотря на его разрушенное состояние; предположите, что для того, чтобы сделать из него ваше жилище, вы употребили много времени и труда на его исправление. Вы его окрасили, обили обоями, выбелили и при помощи больших издержек сделали обитаемым. Предположите далее, что в один несчастный день является незнакомец, и оказывается, что это наследник, к которому дом этот перешел по завещанию. Этот наследник имеет все нужные доказательства, чтобы убедить в тождественности своей личности. Что же будет после этого с вашими улучшениями? Дадут они вам основательное право на дом? Уничтожат они право первоначального обладателя?»

«Нет».

«Ваша деятельность передового поселенца точно так же не дает вам основательного права на закрепление за собой этой земли. Она не уничтожает также претензий того, кому это право принадлежало всегда, т.е. рода человеческого. Мир завещан Богом человечеству. Все люди вместе — его наследники, а в том

числе и вы. Если вы основали в известной части земли ваше местопребывание, если вы приспособили ее к себе, обрабатывали, украсили ее, улучшили, как вы говорите, то из этого еще не вытекает для вас права полного ее присвоения в частную собственность. Если вы ее присвоили себе таким образом, вы по справедливости можете быть когда-нибудь прогнаны с нее настоящим, законным собственником — обществом».

«Очень хорошо. Наверное, однако же, вы не прогоните меня отсюда, не вознаградив меня за значительное возвышение ценности, которое мною придано этому пространству. Из дикой пустоши я его превратил в плодоносное поле. Вы не оставите меня без всякого обеспечения, не лишите меня плодов многолетних моих усилий для приведения этой местности в ее настоящее состояние».

«Совершенно справедливо. Вы имеете полное право требовать вознаграждения от собственника за все поправки и новые сооружения, которые вы сделали в доме. Точно так же и общество не может овладеть этим поземельным участком, не уплатив вам за все, что вы сделали для него. Излишек ценности, приданный ему вашим трудом, по справедливости принадлежит вам. Хотя вы и без дозволения занялись улучшением того, что принадлежит обществу, но не подлежит никакому сомнению, что общество надлежащим образом удовлетворит вашему требованию. Но соглашаться с этим — вовсе не значит признавать ваше право на самую землю. Может быть, справедливо, что вы имеете право на вознаграждение за улучшение, сделанное вашими руками на этом клочке земли, и в то же самое время может быть не менее справедливо, что никакая крепость, никакая формальность, никакое действие и никакая церемония не могут обратить этот клочок в вашу частную собственность».

§ 5. На первый взгляд может показаться возможным обратиться землю в частную собственность отдельных лиц посредством известного рода справедливого ее распределения. «Как, — могут спросить нас, — неужели люди не могут согласиться между собой относительно справедливого раздела? Если они все сонаследники, то отчего же наследственная земля не может быть справедливо разделена, и отчего же после этого каждый не может быть полным господином своей доли?»

На этот вопрос можно прежде всего ответить, что такое разделение воспрещает себя путем невозможности определить для каждого ценность его доли участия в поземельном владении. Если обратить внимание на различие в производительности земли, на различные степени ее доступности для человека, на различные преимущества климата, близости к центрам цивилизации и тому подобные обстоятельства, то окажется, что распределение земли из области простого размежевания перейдет прямо в область невозможного.

Оставляя это в стороне, перейдем к исследованию, кто должен принадлежать к имеющим право на участок. Будут ли такими счастливыми избранныками одни взрослые мужчины — те, которые до наступления известного дня достигли двадцати одного года? Если так, то что же делать с теми, которые достигнут этого возраста на следующий день? Или следует дать долю каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребенку? Если так, то что же будет с теми, которые родятся в том же году? Какова будет судьба тех, у которых отцы продадут свою землю и растратят полученное? Эти бездельные составят класс, которого судьба была уже описана; они на земле не найдут угла, где бы имели право успокоить свои кости; они будут жить только с дозволения своих ближних; они на деле будут рабами. Существование подобного класса людей вполне несогласно с законом равной свободы.

Мы до тех пор должны будем признавать, что разделение земли недозволительно, пока мы не найдем действительного авторитета, который бы уполномочил нас сделать такое распределение; пока нельзя будет доказать, что Бог дал одному поколению привилегию одного рода, а следующему поколению — права другого рода; пока мы не подтвердим убедительными доводами, что люди, рожденные после известного дня, осуждены на рабство.

§ 6. Вероятно, найдутся люди, которым будет казаться, что затруднения, неизбежно связанные с личным землевладением, происходят от учения, которое может быть применимо только в известных рациональных пределах и которое вместо этого развито до самых последних крайностей. У некоторых людей это любимый прием для суждения. Есть люди, которые ненавидят

все, что называется строгим выводом, и к ним-то принадлежат только что упомянутые субъекты. По мнению этих людей, истина никогда не находится в которой-либо из крайностей, а всегда на полдороге между крайностями. Они постоянно пытаются согласить между собой «да» и «нет». «Если», «но», «исключая» — вот самые утешительные для них слова. Они питают такую великую веру в благоразумную середину, что им трудно поверить учению, которое изображает какое-либо начало во всю его естественную величину. Если бы вам пришлось узнавать от них, как вертится земля вокруг своей оси, от востока к западу или от запада к востоку, вам бы всего скорее можно было ожидать ответа «немного в обе стороны» или «она не движется вполне ни в ту, ни в другую сторону». Сомнительно, чтобы они согласились с аксиомой, что целое более своей части, не сделав какого-либо исключения. У них страсть к компромиссам. Чтобы угодить их вкусу, истина всегда должна быть приправлена небольшим количеством лжи. Для них недоступно понимание чистого, определенного, полного и неограниченного закона. При обсуждениях предметов, подобных настоящему, они постоянно просят об ограничениях, им постоянно хочется обрезать, изменить, смягчить, и они вечно протестуют против учений, доведенных до их крайних выводов.

Не следует забывать, что нравственные истины так же точны и так же безусловны, как и истины естественных наук, и что в настоящем случае, по отношению к землевладению, решение нравственности должно быть определено — либо да, либо нет. Одно из двух: или люди имеют право обращать землю в частную собственность, или нет. Середина немыслима. Мы должны избрать одно из двух положений. Тут невозможно полумнение. По природе вещей нужно идти либо одним, либо другим путем.

Если люди не имеют такого права, то мы разом освобождаемся от всего, что относится к этому праву. Если они имеют такое право, то право это, безусловно, священо и ни под каким предлогом не должно быть нарушаемо. Если они имеют такое право, то Лидс вполне прав, не допуская путешественников до Бен-Макду; герцог Атольский, огородивший Глентильг, также прав; герцог Беклей поступил справедливо, отказав в месте Свободной церкви; герцог Сотерланд справедливо изгнал горцев, чтобы очистить место для парка*. Если люди имеют такое

право, то единственный владелец какой-нибудь земли вроде Джерси или Гернси* может предъявлять жителям такие требования, какие ему придут в голову: он может объявить им, что они не должны жить на его земле, если не будут исповедовать известную веру, если не будут говорить известным языком, если не будут носить известного рода платье и если не будут сообразоваться со всеми другими условиями, которые ему вздумается предписать. Если они имеют такое право, то учение крайних тори** должно быть признано истинным: землевладельцы должны быть одни законными правителями страны, народ может жить в ней только с дозволения землевладельцев и, следовательно, должен подчиняться их управлению; он должен уважать всякие учреждения, которые вздумается землевладельцам ввести. При таком положении нет возможности избавиться от этих заключений. Они — неизбежное последствие учения, что земля может сделаться частной собственностью. Они могут быть отвергаемы только тогда, когда и само учение будет отвергнуто.

§ 7. Наконец, никто не верит искренно в право поземельной собственности. Нам говорят о поземельной собственности, принадлежащей королю, т.е. государству; о собственности, предназначенной для общественной пользы; и мы не слышим, чтобы ее признавали неотчуждаемым владением ее номинальных владельцев. Мы постоянно отвергаем право поземельной собственности через посредство нашего законодательства. Когда нужно устроить канал, железную дорогу, шоссе, мы не затрудняемся отобрать столько земли, сколько для них нужно, вознаграждая собственников за находящийся в ней капитал. Мы не дожидаемся их согласия. Парламентский акт заменяет в этом случае крепость, он угощает собственников предписанием удалиться, не обращая внимания на то, желают они этого или нет. Такой образ действий или справедлив, или несправедлив. Одно из двух: или общество должно иметь полную свободу отбирать столько земной поверхности, сколько ему вздумается, или крепостные права поземельных собственников должны быть рассматриваемы как права безусловные, и все общественные работы должны быть оставлены до тех пор, пока лордам и сквайрам не вздумается расстаться с необходимыми для этого частями их земель. Если мы решим, что право частной собственности

должно уступать перед общественными требованиями, то, следовательно, мы признаем, что право народа на землю есть верховное право, что право частного владения существует исключительно на основании общего на то согласия, что оно прекратится тотчас, как скоро это общее дозволение будет взято назад, или, лучше сказать, это вовсе не право.

§ 8. «Но куда же приведет это учение, что люди имеют одинаковое право на пользование землей? Должны мы возвратиться к временам неогороженных пустошей и питаться кореньями, ягодами и дичью? Или мы должны быть предоставлены в распоряжения господ Фурье, Оуэна, Луи Блана и ко.»?

Нисколько. Такое учение согласно с высшей ступенью цивилизации. Оно может быть приведено в исполнение и не приведет к общему имуществу; оно не должно привести к существенному перевороту в существующих отношениях. Перемена, которая им требуется, — это только перемена собственников. Отдельная собственность сольется в товарищескую собственность всего общества. Вместо того чтобы быть во владении отдельных лиц, страна будет во владении великой корпорации — общества. Вместо того чтобы получать свою землю от отдельного собственника, фермер будет получать ее от нации. Вместо того чтобы платить свою ренту агенту сэра Джона или его сиятельства, он будет платить ее агенту или представителю общества. Управляющие будут служить обществу вместо того, чтобы служить частным лицам, и аренда будет составлять единственный способ владения землей.

Порядок, организованный таким образом, будет в полной гармонии с нравственным законом. При нем все люди будут в равной степени землевладельцами: все люди будут иметь одинаковую свободу взять на себя аренду. А, Б, В и т.д. могут конкурировать при отдаче в аренду свободной фермы, и один из них может взять эту ферму, ни в каком отношении не нарушая начал чистой этики. Все будут иметь одинаковую свободу при предложении ренты, все будут одинаково вольны отказаться от дальнейшего торга. Когда ферма останется за А, Б или В, тогда все сделали, что они хотели. Один добровольно согласился платить своим ближним определенную цену за пользование известным клочком земли, другие добровольно отказались

платить эту цену. Понятно, что при такой системе земля может быть огорожена, занята и обработана при полном подчинении закону равной свободы.

§ 9. Не подлежит никакому сомнению, что когда все человечество будет возвращать себе свои права на земли, то при этом должны возникнуть большие затруднения. Вопрос о вознаграждении существующих собственников — вопрос сложный; может быть даже, что вопрос этот невозможно разрешить строго справедливым способом. Если бы мы имели дело с теми лицами, которые первоначально расхитили у рода человеческого его наследство, мы бы с ними легко могли расправиться. Но, к несчастью, значительная часть наших современных поземельных собственников — это люди, которые заплатили за свою землю ценностями, приобретенными честным путем; они заплатили в том убеждении, что употребляют свою экономию законным образом; они заплатили или непосредственно, или лично, или через своих предков. Верно оценить и удовлетворить требованиям каждого в этом случае — это одна из самых запутанных задач, которые придется разрешить обществу. Не дело отвлеченной нравственности — обращать внимание на эту запутанность отношений и на способы, которыми можно от нее избавиться. Люди, которые поставили себя в такое затруднение через непослушание закону, должны выходить из него, как они умеют, и с возможно меньшей несправедливостью по отношению к землевладельческому сословию.

Пока мы хорошо сделаем, если припомним, что есть и другие люди, кроме землевладельцев, интересы которых следует принять в соображение. Среди нашей нежной заботливости об установившихся интересах немногих не забудем, что права большинства ждут также для себя удовлетворения, что большинство это останется обиженным до тех пор, пока земля будет монополизирована отдельными личностями. Нам следует также помнить, что несправедливость, которая через это причиняется массе человечества, составляет одну из самых тяжких несправедливостей. Факт, что на нее не смотрят таким образом, ничего не доказывает. В предшествующие фазы цивилизации смотрели легко даже на убийство. Это доказывается сожжением женщин в Индии, это доказывается в других

странах человеческими жертвами при погребении начальников. Людоеды, вероятно, находят совершенно справедливым умерщвление тех, которых военное счастье сделало их пленниками. Когда-то все были убеждены, что рабство — естественное и совершенно законное учреждение; те, которые рождались в этих условиях, должны были подчиняться им, как воле Божией. Даже до настоящего времени значительная часть рода человеческого придерживается таких убеждений. Между тем более значительное социальное развитие породило в нас лучшую веру. Мы признаем теперь права человечности в больших размерах. Мы все-таки цивилизованы только еще отчасти; скоро мы узнаем, что естественная справедливость предъявляет требования, о которых мы и не слыхивали; люди поймут тогда, что лишать других их права пользоваться землей — это значит совершать такое преступление, которое по степени своей зловредности уступает только преступлениям убийства и лишения свободы.

§ 10. Одним словом, пересматривая все вышеизложенное, мы видим, что право каждого человека пользоваться землей, ограниченное только равными правами его ближних, непосредственно вытекает из закона о равной свободе. Мы видим, что для поддержания этого права неизбежно воспретить всякую поземельную собственность. Рассматривая все существующие основания, на которых укрепляется эта собственность, мы находим, что они недействительны, не исключая требований, основанных на улучшении поземельного участка. Оказывается, что даже равное распределение земли между ее обитателями не может породить законного права на такую собственность. Мы убеждаемся, что если право исключительного владения землей разъяснить со всеми крайними из него выводами, то обнаружится, что оно приводит к деспотической власти землевладельцев. Далее мы находим, что право это постоянно отвергается деятельностью нашего законодательства. Наконец, мы видим, что учение, которое признает землю общим наследием всех людей, согласно с самой высокой степенью цивилизации и что естественная справедливость неуклонно требует применения этого начала к делу, несмотря на все трудности, которые тут могут встретиться.

Х | ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Нравственный закон — это закон для человека в его социальном состоянии, поэтому он должен вовсе игнорировать первобытное, дообщественное состояние. Начала чистой нравственности составляют руководящий свод предписаний для поведения совершенного человека — они не могут приспособляться к действиям людей нецивилизованных даже при самых остроумных гипотетических условиях; они даже не могут признавать эти действия настолько, чтобы произвести над ними окончательный приговор. Мыслители, не замечая этого факта, обыкновенно обращались к воображаемому дикому состоянию, когда они пытались доказать какое-либо из основных положений этики; они не видели, что это путь совершенно ложный, что им следовало, напротив, обратиться вперед и поставить себя в среду идеальной цивилизации. Они через это запутались в затруднениях, происходивших от разногласия между нравственными началами и условиями предположенного ими состояния. Этому обстоятельству нужно приписать неопределенность, которой отличаются основания, приводимые для объяснения логическим путем учреждений права собственности. Они имеют только известную степень вероятности, а потому не могут быть признаны удовлетворительными; ими возбуждаются вопросы и возражения, которые не допускают удовлетворительных ответов. Возьмем образец подобных доводов и рассмотрим их недостатки.

«Хотя земля и все существа низшей породы составляют общее достояние всех людей, — говорит Локк, — но личность каждого человека принадлежит в собственность ему одному; никто не имеет на нее прав, кроме него самого. Работа его тела и дело его рук, можно сказать, естественным образом принадлежат ему. Если он какую-либо вещь извлекает из того состояния, в которое она приведена была природой, то он прилагает к ней свой труд и присовокупляет кое-что ему принадлежащее, таким образом он обращает ее этим в свою собственность. Общее право людей на эту вещь прекращается, когда она выведена из того положения, в которое ее поставила природа, и когда к ней прибавлено что-нибудь его трудом. Так как труд составляет

бесспорную собственность работника, то никто, кроме него, не может иметь права на то, к чему труд этот был приложен, по крайней мере, в том случае, когда в общем владении достаточно осталось столь же годных произведений природы».

Придирчивый человек на это мог бы заметить, что, если принять за основание положение, что «земля и все существа низшей породы» или, проще сказать, все, что земля производит, принадлежит «всем людям вообще», в таком случае нужно получить согласие всех людей прежде, чем какая-либо вещь может быть по справедливости «выведена из общего положения, в которое все вещи поставлены природой». Можно утверждать, что при этом рассуждении существенный вопрос остался незамеченным. Было сказано, что человек, «извлекая какую-либо вещь из ее естественного состояния, приложил к ней свой труд, присовокупил кое-что, ему принадлежащее, и таким образом обратил ее в свою собственность»; но ведь спорный-то вопрос заключается в том, имел он право извлекать вещь и присовокуплять к ней свой труд, так как на основании поставленной гипотезы вещь эта первоначально принадлежала всему человечеству. В предыдущей главе мы пришли к заключению, что никакой труд, приложенный человеком к части земной поверхности, не может уничтожить права общества на эту часть; тем же самым путем можно доказать, что одно присвоение себе дикого животного или растения не перевешивает совокупных прав всех других людей, даже и в том случае, когда на это животное или растение никто еще не изъявлял претензии. Совершенно справедливо, что труд, употребленный человеком для того, чтобы поймать или извлечь, дает ему более права на пойманную или извлеченную вещь, чем имеет всякий другой отдельный человек; но ведь основной вопрос заключается в том, будет ли им через труд, употребленный таким образом, приобретено большее право на эту вещь, чем имеют все люди вместе на основании их начальных прав. Если человек не может доказать, что его права разрослись до уничтожения прав всего человечества, то невозможно почитать право основанием для его владения, и владение это будет уступлено ему только ради удобства.

По мнению Локка, право на предмет собственности, полученное таким образом, может быть действительно только в том случае, «когда в общем владении достаточно осталось столь же

годных произведений природы». Это ограничение приводит к дальнейшим затруднениям. Подобное условие порождает такое множество вопросов, сомнений и ограничений, что оно на деле вполне уничтожает общее положение. Можно спросить, например: каким образом можно узнать, что в общем владении осталось достаточно для других? Кто может определить, действительно ли то, что осталось, так же хорошо, как то, что было взято? Как поступить, если оставшееся менее доступно? Как должно действовать право на присвоение, если недостаточно осталось в общем владении других? Когда в подобном случае обработка приобретенного предмета перестанет «исключать общее право других людей»? Предположим, что достаточно удободостигаемых предметов, но они не все одинакового достоинства — какими правилами должен руководствоваться человек при выборе? Из такого разбора предположенное право, кажется, выйдет в таком искаженном виде, что оно с точки зрения этики будет уже вовсе никуда не годно.

Таким образом, как уже было указано выше, в обстановке дикой жизни начала отвлеченной нравственности неприменимы, потому что в условиях дообщественного существования нет возможности точно измерять правильность или неправильность известных действий размером свободы, требуемой каждой из заинтересованных сторон. Мы, следовательно, не должны ожидать, что возможно найти достаточное основание для права собственности в условиях, представляющихся при таком состоянии.

§ 2. При системе поземельных отношений, которая разъяснена была в предыдущей главе и относительно которой было доказано, что она одна согласна с равными правами всех людей на пользование землей, все эти затруднения исчезают. Право собственности в этих условиях приобретает для себя законное основание. Мы видели, что отдельное лицо может взять у общества для пользования известный клочок земли, не нарушая этим права равной свободы, если оно согласится платить обществу за это определенную долю добытых произведений. Мы нашли, что человек, поступая таким образом, делает то, на что всякий другой имеет равную с ним свободу; что всякий имеет такую же возможность, как и он, сделаться арендатором и

что рента, которую он платит, достается одинаково всем. Получив таким образом от своих ближних известное пространство земли на определенное время, для известных целей и на точно обозначенных условиях, человек получает вместе с тем на время исключительное пользование этой землей на основании определенно выраженного согласия со стороны собственников. Понятно, что он после этого может, не нарушая прав других людей, присвоить себе такую же часть произведений арендованного участка, которая останется за уплатой ренты в пользу человечества. Теперь он, говоря словами Локка, присоединил свой труд к известным произведениям земли; его право на них в этом случае действительно, потому что он получил согласие общества прежде, чем он начал прилагать свой труд. Он исполнил условие, которое ему постановило общество; давая свое согласие, он заплатил ренту; общество должно исполнить свою часть обязательства, должно признать его право на то, что осталось за уплатой ренты. «Так как вы платите нам определенную часть произведений, какие можно получить с этого участка земли через обработку, то мы предоставляем вам исключительное пользование остальными произведениями». Вот слова контракта, и в силу этого контракта арендатор может по справедливости обратиться в свою собственность оставшуюся часть; он может требовать этого, нисколько не нарушая права равной свободы; следовательно, он имеет право на такое требование.

Можно усомниться в том, что таков именно логический вывод из нашего основного начала — из начала, в силу которого каждый может делать все, что он хочет, лишь бы он не нарушал равной свободы другого человека. Такое сомнение, однако же, возможно устранить, сравнив относительные степени свободы, которыми в этом случае пользуются фермер и члены общества, заключающие с ним договор. В предыдущей главе было объяснено, что если общество вполне лишает кого-либо из своих членов права на пользование землей, то оно предоставляет ему менее свободы, чем оно имеет само; оно нарушает закон равной свободы и совершает несправедливость. Если, наоборот, отдельное лицо присваивает себе известную часть земли, на которую, как объяснено было выше, все другие люди имеют столько же права, сколько и оно, то оно в этом случае нарушает закон, завладевая большей свободой, чем имеют остальные.

Если же лицо владеет землей в качестве арендатора от общества, то удерживается равновесие между двумя крайностями, и требования обеих сторон улажены. Один предоставляет преимущество, а другой платит за это преимущество. Факт взаимного согласия доказывает, что между преимуществом и платой есть равенство. И давший, и взявший сделали в дозволенных пределах то, что они хотели; один исполнил свое желание, предоставляя известную часть земли за определенную сумму, другой добровольно согласился на эту плату. До тех пор, пока этот контракт исполняется в точности, закон равной свободы будет соблюден надлежащим образом. Если же одно из предписанных условий не исполнено, закон будет неизбежно нарушен; договаривающиеся стороны будут поставлены в одно из вышеобъясненных положений. Если арендатор откажется платить ренту, то он через это самое покупается на исключительное пользование доходом от занятой им земли, он фактически обращает себя в единственного собственника ее произведений; он нарушает закон и присваивает себе большую долю свободы, чем та, которой пользуется остальное человечество. Если, с другой стороны, общество возьмет у арендатора ту часть произведений, полученных при обработке фермы, которая останется у него за уплатой ренты, то оно на деле вполне отказывает ему в праве пользоваться землей, ибо пользование землей состоит в пользовании ее произведениями. Поступая таким образом, общество берет себе большую долю свободы, чем оно дает арендатору. Понятно, что излишек произведений по справедливости должен остаться за арендатором; общество не может захватить их, не врываясь в пределы его свободы; он же может овладеть ими, не касаясь свободы общества. Согласно закону, он может делать все, что хочет, не нарушая равной свободы другого; итак, он может овладеть этим излишком произведений и обратить его в свою собственность.

§ 3. Учение, что все люди имеют одинаковое право на пользование землей, кроме той социальной организации, которая на основании вышеизложенного послужила источником для права собственности, допускает, по-видимому, еще один род общественного устройства. При этом устройстве общество удерживает землю в своих руках, вместо того чтобы предоставлять

ее отдельным своим членам; оно обрабатывает ее сообща и разделяет собранные произведения. Это то, что обыкновенно называют социализмом или коммунизмом.

Как ни благовидно такое устройство, но оно не способно к осуществлению, вполне соответствующему с нравственным законом. Можно представить себе две формы подобного устройства. Из них одна неудовлетворительна с нравственной точки зрения, а другая — неисполнима, хотя вполне правильна в теории.

Если каждому человеку будет предоставлена равная доля из произведений земли, не обращая внимания на количество и качество труда, посредством которого он способствовал их приобретению, то этим самым будет нарушена справедливость. Наш основной принцип не требует, чтобы все имели равную долю в предметах, которые служат для удовлетворения наших потребностей; он требует только, чтобы все имели равную свободу при добывании этих предметов, чтобы каждый имел перед собой равные шансы для своей деятельности. Дать каждому человеку случай приобрести предметы своих желаний или дать ему эти предметы, не обращая внимания на сделанные им при их приобретении усилия, — это большая разница. Мы видели, что первое — это основной закон Божеского провидения; второе мешает правильной связи между желанием и его удовлетворением и показывает этим, что оно не соответствует намерениям Творца. Кроме того, оно неизбежно нарушает начало равной свободы. Если мы утверждаем, что каждый должен иметь полную свободу, ограниченную только равной свободой всех, то мы утверждаем, что в этих пределах каждый имеет право делать все, что ему предписывают его желания. Следовательно, всякий имеет право на все то удовлетворение и на все те источники удовлетворения, до которых он может достигнуть в этих пределах; он может удовлетворить себя и присвоить себе источники удовлетворения, какие он может добыть, не врываясь в сферу деятельности своих соседей. Итак, если в числе нескольких усилий, имевших равное поле деятельности, одно приобретает более удовлетворения и источников для удовлетворения, чем другие, потому что оно обнаружило более силы, ловкости или прилежания, то, на основании нравственного закона, оно приобретает исключительное право на весь созданный им излишек удовлетворения и источников удовлетворения.

Если при созидании этого излишка человеком не было ни в каком отношении нарушено право других людей на равную свободу, то никто не может отнять этого излишка, не обнаруживая при этом претензии на большую свободу действий, чем та, которая предоставлена его производителю, и не нарушая этим нравственного закона. Из этого следует, что равное распределение между всеми произведений земли несогласно с чистой справедливостью.

Если затем наделять каждого произведениями в тех размерах, в которых он способствовал их созиданию, то это будет согласно с законами справедливости, но зато вовсе не исполнимо. Если бы все люди обрабатывали землю, то, может быть, нашлись бы способы для приблизительного определения их прав; но совершенно невозможно определить, как велик относительный размер участия различных родов работников, занятых интеллектуальным и материальным трудом, при созидании всей массы предметов, необходимых для жизни. Для подобного распределения мы не имеем никакого другого закона, кроме закона спроса и предложения, а этот-то закон именно и отвергается таким устройством¹.

§ 4. Гибельный для коммунистической теории аргумент заключается в том явлении, что потребность собственности составляет один из существенных элементов нашей природы. Мы уже несколько раз упоминали о признанной истине, что страсть к приобретению — это инстинктивное стремление, совершенно отличное от желаний, которых удовлетворение обеспечивается собственностью; такому стремлению человек часто следует в ущерб упомянутым желаниям. Если наклонность к личному приобретению составляет действительно одно из условий человеческого устройства, то общество, которое установлено на таких началах, что не дает этой наклонности удовлетворения, не может быть признано правильной общественной формой. Социалисты утверждают, что частное присвоение имущества заключает в себе злоупотребление этой наклонности; по их

¹ Эти заключения вовсе не направлены против системы товарищества для производства и жизни — их-то повсеместное распространение, по всей вероятности, и предвещается появлением социализма.

мнению, правильное ее отправление побуждает нас экономизировать для пользы всего общества. Пытаясь таким образом выйти из одного затруднения, они запутываются в другом. Они упускают из виду, что каково бы ни было этимологическое значение слов «употребление» и «злоупотребление» способностью, во всяком случае разница между тем и другим может заключаться только «в степени»; у них же разница выходит «в роде». Жадность есть злоупотребление стремления к пище; робость — это злоупотребление чувства умеренности, порождающего благоразумие; раболепие — это злоупотребление чувства, порождающего уважение; упрямство — злоупотребление твердости воли. Во всех этих случаях мы видим, что злоупотребление отличается от правильного проявления только количеством, а не качеством. То же можно сказать и об инстинкте накопления. Может быть, совершенно справедливо, что стремлениям этого инстинкта следовали и следуют до сих пор до пределов крайней нелепости; но справедливо также, что изменение в общественных отношениях не изменит ни его природы, ни его назначения. Насколько бы ни были уменьшаемы его размеры, он все-таки останется инстинктом личного приобретения. Отсюда следует, что всегда должно существовать такое учреждение, которое давало бы ему возможность проявляться, а следовательно, и частная собственность должна быть сохранена. Должно существовать право частной собственности, ибо под именем «правда» мы разумеем отношение, указанное Божеским повелением и гармонирующее с человеческим устройством.

§ 5. Прудон и его партия ставят себя в положение еще более неловкое. Они утверждают, что «всякая собственность есть кража». Если это так, если никто не может по справедливости быть исключительным владельцем какой-либо вещи и, как мы выражаемся, приобрести на нее право, то между прочими последствиями из такого положения будет и то, что он не имеет права на вещи, которые им потребляются в пищу. Если пища не принадлежит человеку прежде, чем он станет ее есть, то каким же образом она вообще может сделаться его принадлежностью? Повторяем вопросы Локка: «Когда начнет она превращаться в его собственность: когда он ее переваривает? Или когда он ее ест? Или когда он ее варит? Или когда он приносит ее к себе домой?» Если

ни одно предварительное действие не может обратить ее в его собственность, то это не может быть сделано и превращением, она не будет его собственностью и тогда, когда будет обращена в его ткани. Проводя эту идею последовательно далее, мы приходим к любопытному заключению. Кожа, кости, мускулы и т.д. — все, из чего состоит человек, создано из питательных веществ, не принадлежащих ему; поэтому человек не имеет права собственности на свое тело и на свою кровь — не имеет никакого основательного права на самого себя, он столь же мало имеет справедливых притязаний на свои члены, как и на члены другого человека. Он имеет столько же права на тело своего соседа, сколько и на свое собственное! Если бы мы были устроены так же, как сложные полипы, где несколько индивидуумов прирастают к одному общему для них живому туловищу, то подобная теория была бы основательна. Но так как применение коммунизма нельзя довести до этих размеров, то лучше оставаться при старом учении.

§ 6. Дальнейшие доказательства будут, кажется, излишними. Мы видели, что право собственности можно вывести из закона равной свободы, что оно имеет основание в устройстве человека, и что его отрицание приводит к абсурду. Едва ли была бы надобность доказывать, что отнятие чужой собственности есть нарушение закона равной свободы и потому заключает в себе несправедливость, если бы нам не пришлось впоследствии часто ссылаться на этот предмет. Если А присваивает себе что-нибудь принадлежащее Б, то одно из двух должно случиться: или Б делает то же самое с А, или он не делает этого. Если у А нет собственности или если собственность эта недоступна для Б, то ясно, что Б не будет иметь возможности воспользоваться равной свободой по отношению к А и потребовать от него вещь равной ценности — А, следовательно, захватил большую долю свободы, чем он предоставил Б, и нарушил закон. Если собственность А будет доступна для Б, и А позволит Б пользоваться равной свободой и вознаградить себя, то не будет нарушения закона; на деле из этого выйдет обмен. Подобная сделка может, однако же, иметь место только в теоретических соображениях, потому что А не может иметь никакого повода присвоить себе собственность Б с намерением предоставить ему право взять

у себя равноценное; если *А* действительно имеет такое намерение, то гораздо проще будет ему приступить к обмену с общего согласия, обыкновенным порядком. Единственный случай, который может побуждать к такому образу действий, — это тот, когда *А* берет у *Б* вещь, с которой *Б* не желает расстаться, т.е. если *А* не может дать *Б* ничего такого, что бы *Б* считал равноценным. Размер удовлетворения, которое *Б* получает от своих вещей, составляет для него меру их ценности. Итак, если *А* не может дать *Б* вещь, которая бы доставляла ему равное удовлетворение, или, другими словами, если он не может дать ему того, что он считает равноценным, то *А* взял у *Б* то, что доставляет ему, *А*, удовлетворение, но не возвратил ничего такого, что бы доставляло равное удовлетворение *Б*; следовательно, он нарушил закон и присвоил себе больший размер свободы. Таким путем мы выводим из закона о равной свободе логическое заключение, что ни один человек не может по праву захватить чужую собственность против воли владельца.

ХІ | ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИДЕЮ

§ 1. Довольно понятно без всяких разъяснений, что закон равной свободы не нарушается посредством приобретения сведений, по крайней мере тех сведений, которые доступны для всех. Человек может читать, слушать и наблюдать столько, сколько он хочет, не уменьшая этим свободы других делать то же; этим он ни в каком отношении не изменяет условий жизни других людей. Понятно также, что полученные сведения человек может разработать, преобразить и скомбинировать новым способом; он может извлечь из них новые понятия, и все-таки права его ближних не будут нарушены. Далее ясно, что человек, который своим интеллектуальным трудом добыл новые сведения и понятия, может, на основании нравственного закона, владеть ими, исключительно ими пользоваться и обратить их в свою частную собственность. Тот, кто поступает таким образом, ни в каком отношении не нарушает определенных границ индивидуальной свободы. Он не уменьшает ничьей свободы действий. Всякому другому человеку остается столько же простора для мысли и действия, как и прежде. За каждым остается свобода приобрести те же самые идеи — и точно таким же образом употребить эти идеи для своей частной пользы. Так как человек может требовать для себя исключительного пользования своими оригинальными идеями, не нарушая пределов равной свободы, то из этого следует, что он имеет право на такое исключительное пользование, или, другими словами, что эти идеи — его собственность.

К собственности этого рода можно применить все основания, которыми в предыдущей главе доказывалось, что материальная собственность не может быть отбираема от ее владельца без нарушения закона.

§ 2. Право человека на произведение его мозга столь же действительно, как и его право на произведение его рук, — это факт, который до сего времени получил только весьма неудовлетворительное признание. Правда, мы имеем закон о привилегиях

на изобретения, закон о праве литературной собственности и акты для занесения рисунков: но все это, и во всяком случае, права на изобретения и рисунки, не столько во имя предписаний справедливости предоставляется отдельным лицам, сколько из уважения к требованиям торговой политики. «Патент на привилегию — это не такая вещь, которую можно было бы требовать как право», — вот что возвещают нам наши юридические авторитеты: цель его — «служить стимулом для развития промышленности и таланта». Законодательство запрещает тут не потому, что кража образцов заключает в себе несправедливость, но потому, что оно желает поощрять мануфактуры. Вот каковы ходячие взгляды на это дело. Меры этого рода рассматриваются обыкновенно обществом как «привилегии», «награды» или известного рода видоизменения «монополии», предоставленные изобретателям. Они принимаются на основании государственно-коммерческих соображений и не считаются необходимыми для установления справедливости.

Преобладание такого убеждения ни в каком случае не делает чести национальной совести и показывает жалкую грубость нравственного чувства. Барыш спекулятора, полученный через возвышение цены акций на бирже, признается законной и справедливой его собственностью, а на новую идею, для развития которой талантливый человек должен был употребить годы усидчивого труда, он не может иметь исключительной претензии и «требовать ее как права»; так-то у нас рассуждают! Обладатель синекуры считается у нас имеющим неотъемлемое право на доход со своей должности, он имеет справедливое основание требовать вознаграждения, если она уничтожена; открытие же не может быть признано собственностью изобретателя, а для этого открытия потрачена была бесконечная масса утомительных душевных усилий, бедный механик употребил на это, может быть, последний свой грош, он начал и закончил его одним своим трудом и с помощью одних собственных материалов, он выработал его, так сказать, из существа своей собственной души — вот наши взгляды! По-нашему, право на такое открытие допускается исключительно по утилитарным соображениям, притом только за уплатой каких-то четырехсот фунтов стерлингов, и еще после всего этого право это уничтожается под самым ничтожным предлогом! Каково тупое

понимание справедливости, обнаруживающееся этими фактами! Какой недостаток способности оценивать вещи, не входящие в сферу наружных чувств! Можно подумать, что естественная справедливость не дает никакого руководителя за пределами сделок, касающихся материальных вещей, веса, меры, денег. Пусть мальчик-сиделец возьмет из кассы своего хозяина видимую, осязаемую и весомую монету, и всякий поймет, что право собственности этим нарушено. Те, которые вопиют против воровства с добродетелью, преисполненной негодования, безо всяких мучений совести купят контрафактное издание книги и не будут упрекать себя в приеме краденых вещей. Бесчестность, обнаружившаяся в виде воровства со взломом или похищения овцы, покрывает человека вечным позором; тот, кто осужден был за подобный поступок, навсегда исключается из общества; фабрикант же продолжает пользоваться высоким уважением, несмотря на то, что он украл улучшенный его мастером способ прясть хлопок или устраивать паровую машину. Закон достаточно деятелен, когда нужно поймать мальчишку, похитившего у богатого гражданина носовой платок, он немедленно распорядится с маленьким негодяем на общественный счет; но когда какой-нибудь разбогатевший мошенник похитит у изнуренного нуждой прожектера последнюю надежду его жизни, тогда не найдется защиты. Все это вполне объясняет, что если нравственное чувство не руководствуется правильными систематическими выводами, то оно запутывается в лабиринте разногласных мнений и не найдет пути к правильному закону об обязанностях.

§ 3. Выше уже было замечено, что исключительное право изобретателя пользоваться новым усовершенствованием в промышленности считается родом монополии в том самом смысле, в котором это слово обыкновенно употребляется. Такой взгляд разделяется почти всеми, и он в особенности распространен между рабочими классами. Они считают несправедливостью, если изобретателю предоставляются все выгоды от какой-либо усовершенствованной машины или от улучшения процесса работ и если воспрещается всем другим применять и употреблять изобретение для их личной пользы. Нет недостатка в филантропах и даже мыслителях, которые убеждены, что ценные

идеи, созданные отдельными личностями, идеи, от которых может произойти значительная польза для народа, должны быть изъяты из частного владения и предоставлены всему обществу.

«Позвольте, однако же, господа, — может по справедливости ответить изобретатель, — почему я не могу сделать того же самого предложения относительно вашего имущества, ваших вещей, вашего платья, ваших домов, ваших паев в железных дорогах и ваших денежных капиталов? Если вы придаете такой смысл слову «монополия», то я не понимаю, почему этот термин нельзя применить к платью, надетому на ваших плечах, и к кушаньям, поданным вам за обедом. С одинаковым правом я могу утверждать, что вы несправедливо монополизировали вашу движимость и что на основании естественной справедливости вы не имеете права исключительно пользоваться таким большим числом комнат. Если национальная польза составляет верховное правило, то почему нам не присвоить себе ваши богатства и имущество, принадлежащее другим, подобным вам, и не уплатить таким образом государственных долгов? Вы утверждаете совершенно справедливо, что вы честным образом приобрели все это имущество, но ведь я точно таким же образом дошел до своего изобретения. Правда, что капитал, которого проценты обеспечивают ваше существование, приобретен был вами годами усилий, он — вознаграждение за постоянную и упорную промышленную деятельность; прекрасно, я то же самое могу сказать об этой машине. В то время как вы накапливали барыши, я собирал идеи; время, которое вы употребляли, раз узнавая рыночные цены, я употребил на изучение механики; ваши спекуляции при сбыте новых предметов торговли соответствуют моим опытам, многие из них дорого стоили и оказались бесплодными; пока вы делали ваши расчеты, я делал рисунки; то же постоянство, то же терпение, то же усилие мысли и труда, через которое вы обогатились, дали и мне возможность завершить мое изобретение. Оно представляет собой столько же накопленного труда, как и ваше богатство. Я живу от выгод, которые оно мне доставляет, совершенно точно так же, как вы живете от процентов с употребленного вами в дело капитала. Итак, опасайтесь возбуждать сомнение относительно справедливости моих прав. Если я монополист, то и вы тоже, и все люди тоже. Если я не имею права на произведение моего мозга, то вы не

имеете права на произведение ваших рук — никто не может сделаться исключительным владельцем какой бы то ни было вещи, и «всякая собственность есть кража».

§ 4. Жестоко ошибаются те, которые полагают, что исключительным правом, присвоенным изобретателю, отнимается что-нибудь у общества. Тот, кто каким бы то ни было образом увеличивает производительную силу, рассматривается всеми как общий благодетель, который скорее дает, чем берет. Исключение составляют какие-нибудь душевнобольные. Счастливый изобретатель одерживает дальнейшую победу над природой. Через его посредство законы материи еще больше подчиняются пользам человечества. Он экономит труд, он помогает людям эмансипироваться от рабского служения нуждам тела, он впрягает новую силу в колесницу человеческого счастья. Если бы он даже хотел, то он не может помешать обществу принимать обширное участие в его счастливом открытии. Прежде чем он сможет извлечь какую-либо выгоду из своего нового способа или аппарата, он должен доставить пользу своим ближним, должен им предложить лучшее произведение за ту же цену или точно такое же произведение за более дешевую цену. Если ему этого не удастся сделать, то его изобретение останется мертвой буквой; если он это сделает, то общество будет участником в новом, открытом им источнике богатства. В вознаграждение за время усилия, которые он должен был употребить, чтобы подчинить себе прежде неизвестную силу природы, он просит только особую долю из доставленных им плодов. Остальное человечество неизбежно будет участвовать в существенных преимуществах дела и в скором времени получит все. Между тем оно, конечно, не может пренебрегать правами изобретателя, не совершая несправедливости.

Не мешает также припомнить, что в этом, так же как и в других случаях, неповиновение нравственному закону в окончательном своем результате вредно для всех сторон: оно настолько же вредно обиженному лицу, насколько и тому, кто нарушает его права. Вполне доказанный факт, что если от общей бесчестности происходит недостаточная безопасность материальной собственности, то этот недостаток неизбежно вредно отражается на всех. Заключение, которое из этого проистекает,

ясно само по себе. Промышленная энергия уменьшается прямо пропорционально уменьшению безопасности вознаграждения. Тот, кто не уверен, что он пожнет, не будет сеять. Вместо того чтобы употреблять в дело, капиталисты хранят свои капиталы, потому что производительное употребление опасно. Всюду является недостаток средств. Всякое предприятие расстраивается от недостатка доверия. Всеобщее недоверие лишает всех предприимчивости, порождает апатию, лень, бедность, и бедствия, которыми порождается такое состояние, одинаково поражают людей всех классов. Недостаток безопасности по отношению к собственности в идеях сопровождается бедствиями такого же рода, но только в меньшей степени. Изобретатель будет именно в той степени лишаться бодрости при приведении в исполнение своего плана, в какой выгоды, от него ожидаемые, будут сомнительны. «Если другие воспользуются плодами этого утомительного исследования и этих бесчисленных опытов, то для чего же я буду их продолжать? — вот как рассуждает изобретатель сам с собою. — Ко всем возможностям неудачи при достижении самого результата, к трате времени и спокойствия, к издержкам, необходимым при моих исследованиях, ко всем возможностям уничтожения моего права посредством преждевременного раскрытия моего плана, к тяжким издержкам, с которыми сопряжено приобретение для меня законного покровительства — ко всему этому присоединяется еще возможность потерять мое право через какого-нибудь негодяя, который его нарушит в надежде, что я не буду иметь достаточно денег и глупости, чтобы начать процесс против него в суде канцелярии. Не лучше ли я сделаю, если вовсе оставлю этот проект?» Подобные соображения, однако же, часто не в состоянии заглушить в душе изобретателя восторженные надежды, и он продолжает свои работы до конца, не обращая никакого внимания на весь свой риск. Но можно держать пари десять против одного, что общество заставит его так пострадать и понести такие убытки, что он никогда в другой раз не пустится на предприятие этого рода. Впоследствии ему, конечно, снова будут приходить разные идеи и между ними некоторые, по всей вероятности, весьма полезные, но они не будут им развиты и, скорее всего, умрут вместе с ним. Если бы человечество знало, как часто важные открытия не делаются изобретательными

людьми и остаются неизвестными для мира по причине одной дороговизны при приобретении законного покровительства или потому, что это покровительство не внушает к себе доверия! Если бы люди могли надлежащим образом оценить происходящие от этого стеснения при развитии средств промышленности, если бы они могли получить верные понятия о потерях, которые происходят от этого для них самих, тогда бы они поняли, что признание права собственности на идеи вовсе не менее важно, чем признание права собственности на имущество.

§ 5. Право на идеи, однако же, не может быть допущено без ограничений. Не только вероятно, но, кажется, можно сказать, несомненно, что причины, которые порождают новую идею в душе одного человека, могут породить такой же результат и в душе другого. Много раз замечено, что важные изобретения и открытия делаются приблизительно в то же самое время несколькими независимыми друг от друга исследователями. В этом явлении нет ничего таинственного. Известное состояние знаний, последние успехи науки, появление известных новых потребностей в обществе — вот условия, посредством которых люди одинаковых свойств побуждаются к одинаковому направлению мыслей и естественно должны прийти к тем же результатам. Из такого положения вытекает ограничение права собственности на идеи, которое очень трудно и почти невозможно точно определить. Законы, касающиеся права литературной собственности и привилегий на изобретения, выражают это ограничение тем, что они устанавливают известный срок для привилегии изобретателя или автора. Каким путем с точностью определить продолжительность этого срока, нет возможности решить. Такое затруднение, однако же, нисколько не вредит самому праву, как уже было объяснено выше (с. 145—146).

XII | ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РЕПУТАЦИЮ

§ 1. Если бы мы могли с точностью анализировать побуждения, которые заставляют человека действовать, если бы мы могли определить размеры отдельных деятелей, из которых создается двигающий стимул, то мы бы, вероятно, нашли, что, за исключением тех действий, к которым человек побуждается безусловной необходимостью телесных нужд, во всех остальных главную роль играет желание приобрести хорошее мнение, уважение или возбудить удивление в других людях. Эти чувства мы можем наблюдать у татуированного дикого, который охотно подвергается пытке, чтобы прослыть за человека мужественного, он не отступает ни перед какой опасностью, чтобы заслужить название храбреца. У цивилизованных людей честолюбие постоянно обнаруживается у поэтов, ораторов, государственных людей, артистов, солдат и т.д. Если разоблачить покровы, то мы увидим истинную причину, почему люди с такой болезненной жадностью копят богатство. Все подобные проявления убеждают нас, что любовь к похвале имеет самое значительное влияние на человеческий образ действий и занимает первое место после инстинктов, непосредственно связанных с сохранением жизни.

Репутация — это такая вещь, которую люди стремятся постоянно приобрести и сохранить, а потому ее и можно рассматривать как предмет собственности. Уважение других людей — это такое имущество, которое имеет много аналогии с имуществом более осязаемого свойства. Оно приобретается, как и всякая другая собственность, трудом, заботливостью и постоянством, оно так же, как всякое другое имущество, помогает своему собственнику в достижении его целей и служит ему постоянным источником для удовлетворения различных своих желаний. Всеобщее расположение составляет такое имущество, которое для многих дороже поземельной собственности. Высокое мнение, купленное каким-нибудь великим поступком, может сделаться более богатым источником счастья, чем приобретение банковых билетов или акций железной дороги. Есть люди,

для которых лавровый венок дороже богатого наследства. Титулы когда-то имели определенную цену в фунтах, шиллингах и пенсах; если они в настоящее время утратили свое значение, по крайней мере, сравнительно с почестями, непосредственно выражающими в общественном мнении, то это только потому, что они не внушают другим такого уважения, какое внушали прежде. Люди, которые составили себе доброе имя и живут посеянной ими жатвою похвал; люди, которые обратили свой труд на благородные дела, которые вместо процентов получают от общества искренние положения и задушевные изъявления благодарности, имеют, надо полагать, почти такое же право на это вознаграждение за свое хорошее поведение, какое имеют другие на вознаграждение за свою промышленность. Все это верно не только относительно тех, которые отличаются необыкновенными достоинствами, это справедливо по отношению ко всем. Мы должны доброе имя каждого рассматривать как его отдельную собственность. Степень честности, благодушия, правдивости и других добродетелей дает ему справедливое право на доброе имя, соответствующее этим степеням. Это собственность такого рода, которая имеет большую цену, чем всякое другое имущество. Подобное убеждение мы можем сохранить, каковы бы ни были по этому предмету распушенные речи Яго!

Те, для которых покажется затруднительным признать доброе имя собственностью, пусть припомнят, что оно имеет действительную денежную цену. Иметь репутацию честного человека — это значит получать предпочтение в делах по причине благонадежности. Тот, кто имеет репутацию человека, отличающегося трудолюбием, при равных шансах может получить лучшую плату, чем его конкурент. Слава значительных интеллектуальных способностей дает их обладателю доступ к местам, сопряженным со значительной ответственностью и большим вознаграждением. Совершенно правильно по этим причинам вносить репутацию в один ряд с другим имуществом; она, подобно капиталу, приносит своему обладателю действительный доход в звонкой монете.

§ 2. Если мы согласимся признать доброе имя собственностью, то право на обладание доброй славой, приобретенной честным путем, можно доказать на основании той же аргументации,

которой мы следовали в двух предыдущих главах. Доброе имя можно приобрести, не нарушая никаким образом свободы других людей; вместе с тем оно есть непосредственный результат уважения к этой свободе; оно — источник удовольствия, приобретенного законным образом; это род собственности его обладателя, как мы уже сказали, и она не может быть отнята у него без нарушения справедливости, точно так же как и собственность всякого другого рода. Эта аргументация должна служить основанием для закона об оскорблениях чести.

§ 3. Может быть, эти суждения найдены будут неубедительными. Можно признавать спорным положение, что доброе имя есть собственность. Надо сознаться, что такое понятие о собственности нельзя доказать со строгой логической последовательностью. Тот, кто полагает, что этим уничтожается сила вышеизложенной аргументации, может смотреть на клевету не так, как на нарушение основного закона, запрещающего врываться в сферу деятельности другого человека, а как на нарушение закона второстепенного, запрещающего причинять другим людям страдание. Если разрушение репутации, заслуженной нашим ближним, не считать нарушением закона о равной свободе, то преступность этого действия придется рассматривать в дополнительном отделе учения о нравственности — в том, который назван нами выше отрицательным благодетельством, или отрицательным проявлением симпатии. Между этими двумя путями каждый должен выбирать по своему усмотрению, потому что, кажется, невозможно решить выбор между ними на несомненном основании. Вот доказательство, объясняющее замечание, сделанное выше (с. 73—74), что если разделение учения о нравственности на отделы и необходимо для ясного понимания, то оно все-таки остается искусственным и не всегда допускает строгое разграничение.

XIII | ПРАВО МЕНЫ

§ 1. Свобода менять свою собственность на собственность другого человека явно заключается в общем понятии о человеческой свободе. Если человек будет требовать для себя этого права, то он через это ни в каком случае не выходит из пределов своей собственной сферы действий и не врывается в подобный же круг деятельности других. В торговой сделке обе стороны делают то, что они хотят, и не посягают на большую свободу, чем они сами дают другим. Такое действие кончается между ними, нисколько не касается посторонних и все-таки дает им большую возможность достигнуть предметов своих желаний, чем они имели прежде. Следовательно, акт обмена вполне согласен с законом равной свободы.

Можно возразить следующее: в том случае, когда несколько людей желают вступить в сделку с тем же человеком и торг окончательно состоится между этим лицом и одним из желающих, то остальные через это лишаются верной надежды на удовлетворение своей потребности, надежды, которая до этого была осуществима. Таким образом, успех их конкурента ограничил поле свободы, на котором они могли бы упражнять свои способности. Это, однако же, ложный взгляд на дело. Обратимся на мгновение к основному началу. Что нам следует сделать? Нам следует разделить по равным частям между всеми людьми всю массу свободы, которая допускается условиями социального существования. Посмотрите, какова будет доля каждого в случае торговых сделок. Несомненно, что всякий должен иметь свободу предлагать; всякий должен иметь свободу принимать предложение, всякий должен иметь свободу отказываться от предложения; все это каждый может делать во всех случаях, когда ему заблагорассудится, не мешая своему соседу делать то же, в тех же размерах и в то же самое время. Но никто не имеет права идти далее, никто не может заставить другого поделить своим имуществом; никто не может заставить другого взять определенную цену; потому что тут всякий присваивает себе более свободы, чем он дает тому, с кем он обращается таким образом. Итак, если каждый имеет право предлагать, принимать и отказывать, но не может делать ничего более, то понятно,

что при вышеизложенных обстоятельствах заключение сделки между двумя сторонами не составляет нарушения прав тех, которые вследствие этого получили отказ в своих предложениях, потому что каждый из них сохранил по-прежнему свою свободу предлагать, принимать и отказывать.

§ 2. Едва ли нужно упоминать, что всякое постороннее вмешательство в дело людей, которые договариваются между собой, заключает в себе нарушение свободы. Здесь не место также указывать причины, почему полезно признание свободной торговли. Нет надобности подкреплять доказательствами предыдущее заключение, потому что оно гармонирует само по себе с установившимися убеждениями думающих людей. Следовало бы сделать несколько замечаний насчет ограничений, которые поставляются этими правилами для законодательства, но это удобнее будет исполнить в другом месте.

XIV | ПРАВО СВОБОДНОГО СЛОВА

§ 1. Выражение мыслей словом составляет известный род действий. Каждый человек может в обозначенных выше пределах делать все, что он хочет. Отсюда следует ясное само по себе заключение, что при условии равенства он может говорить все, что хочет. Другими словами, права ближних составляют единственное законное ограничение для деятельности человека точно так же, как они составляют единственное законное ограничение для его слова.

Есть два случая, где речь может перейти за установленные пределы. Ее можно употребить для распространения клеветы, и это будет пренебрежение нравственной обязанностью, о которой говорилось в предпоследней главе; она может служить для возбуждения и настроения другого человека к нанесению кому-либо оскорбления. В этом последнем случае подстрекатель, хотя он и не действовал лично при нарушении права, которое он старался произвести, однако же, по существу дела, должен считаться настоящим нарушителем. Мы не можем извинить убийцу, который будет утверждать, что его кинжал виноват в преступлении, которое стараются на него взвалить. Мы ответим, что тот, кто привел в движение кинжал с намерением отнять жизнь, совершил это преступление. Преследуя далее ход этой мысли, мы должны сказать, что тот, кто подкупом или убеждением побудил кого-либо действовать кинжалом, настолько же виноват, насколько и его орудие. Он имел то же самое намерение и точно так же употреблял средства, нужные для его исполнения; вся разница в том, что он произвел смерть путем более сложного механизма. Если мы вставим добавочный рычаг между двигающей силой и предметом, который приводится в движение, то никто не скажет, что отношение силы к предмету прекратилось; точно так же нельзя сказать, что тот, кто достигает злого результата, заставляя действовать другого, менее виноват, чем если бы он действовал сам. Следовательно, тот, кто внушает и побуждает к нарушению чужого права, должен считаться человеком, преступившим закон равной свободы.

Итак, каждый может требовать свободы речи точно так же, как и свободы действий, в самом полном размере, согласном с равными правами всех. Как скоро она выходит за пределы, вытекающие из этих прав, она становится безнравственной, но в этих пределах недозволительно никакое ограничение.

§ 2. Если бы можно было написать новую «Ареопагитику»*, то она, наверное, была бы бесполезна в современном возрасте мира и в нашей стране. Несмотря на это, до сих пор не в малых размерах преобладают чувства, против которых Мильтон вооружился в своем знаменитом опыте; чувства эти мы встречаем даже между людьми, которые хвалятся своим либерализмом. Несмотря на ослабление нетерпимости, несмотря на возрастание свободных учреждений, репрессивная политика прежнего времени еще и теперь находит иногда защитников. Если бы дело пошло на голоса, то немало оказалось бы таких, которые присоединились бы к предложению о некотором ограничении свободы речи, необходимом будто бы для общественной безопасности! Еще несколько лет тому назад заключение в тюрьму одного социалиста за богохульство не вызвало ни негодования, ни протеста против нарушения свободы речи; такой произвол одобряли даже усердные защитники религиозной свободы. Многие желали бы также возбуждение в народе неудовольствия обратить в уголовное преступление; не окажется недостатка и в таких, которые для примера и на страх другим желали бы повесить нескольких демагогов. Посмотрим, что могут сказать в подтверждение своего мнения люди, защищающие снисходительную цензуру.

§ 3. Часто признается за несомненную истину, что правительство должно обеспечить для подданных «безопасность и сознание безопасности». От такого правила остается только незаметный переход к заключению, что суд обязан прислушиваться к тому, что говорит народный оратор, и останавливать чрезмерно страстную декламацию, потому что она будто бы имеет целью породить тревогу. Если бы послышки в этом случае были хороши, то заключение могло бы иметь свое значение; но послышки более чем сомнительны. Все согласны, что особое назначение законодателя состоит в том, чтобы за каждым человеком обеспечить

спокойное обладание его личностью и его собственностью; но полагать, что законодатель обязан успокаивать страх, происходящий от всякого ничтожного возбуждения, — это мнение до такой степени смешное, что его странно опровергать. Подумайте о том, к чему оно приводит. Соединяя вместе понятия «безопасность» и «сознание безопасности», мы должны предположить, что если правительство обязано доставлять каждому лицу «безопасность», то каждое лицо может так же иметь право на постоянное обладание «сознание безопасности». Вот прекрасная перспектива для заваленного делами первого министра! Если бы такое учение было справедливо, то где был бы конец работам государственного человека? Не следует ли ему прислушиваться к мнениям каждого ипохондрика, в больном воображении которого *реформа* изображается в виде ужасного оборотня с наклонностями людоеда, с пиками вместо когтей и с гильотинами вместо зубов? Если он не должен этого делать, то почему? «Сознание безопасности» разрушено в подобном субъекте резким обличением какого-нибудь горячего патриота; он желает, чтобы его страх был успокоен подавлением, по его мнению, опасной гласности; на основании сделанного выше положения его желание должно быть исполнено. На таком основании всякая агитация должна быть потушена, потому что, наверное, найдутся люди, и даже не в малом числе, для которых каждое обсуждение какого бы то ни было общественного вопроса есть источник страха; ему стоит появиться, и они начнут предсказывать всякого рода бедствия, какие должны произойти от его дальнейшего развития. Старые бабы того и другого пола почувствовали великий страх от ужасных предсказаний «Standard» и великое горе от плаксивых сетований «Herald», и в них возникло страстное желание положить конец пропаганде свободной торговли; если бы обратить надлежащее внимание на их «сознание безопасности», то желание это должно было бы исполниться. Религиозные причины, порождающие политическую неспособность, должны были бы сохраняться до сего времени, на подобном же основании предложение отменить эти ограничения навело крайний ужас на целую слабодушную толпу. Появились пророчества, что возвратятся времена, когда католики преследовали еретиков; все ужасы, рассказанные в «Книге мучеников»*, были выставлены вновь напоказ; эпидемический

страх расслаблял людей тысячами. Легковерные прислушивались с поднятыми к небу глазами и с открытым ртом к ужасным басням, и на сцену являлся кто-нибудь вроде вновь испеченного Тита Отса. Слушатели получали видения, в которых им представлялись огни и костры; каждому представлялось, что он уже в Смитсфильде с позорным столбом за спиной и с зажженным факелом у ног: ему снилось, что он в застенке инквизиции, и он просыпался покрытый холодным потом, чтобы убедиться, что писк мыши принял за визг придавливающего винта. Тут, безо всякого сомнения, был случай самой плачевной утраты «сознания безопасности», а следовательно, власти должны были остановить агитацию в пользу эмансипации католиков, они должны были зажать рот всем ее защитникам, наложить оковы на ее прессу и мешать ее митингам.

Бесполезно разъяснять, что все это были преувеличения, что нельзя было обращать внимание на страх нервных и слабосильных субъектов или бессмысленных ханжей. Если не следовало обращать внимание на страх сотен, то почему нужно поддаваться тысячам? Если мы можем спокойно глядеть на трепет тысяч, то почему следует уступить десяткам тысяч? Где нужно провести границу? Где отыскать требуемый регулятор? Кто скажет нам, когда сознание отсутствия безопасности распространилось достаточно, чтобы на него можно было обратить внимание? Можно ли его принимать в соображение, если в нем участвует большинство? Кто в этом случае решит, что страх действительно овладел большинством? Может быть, скажут, что необходимо, чтобы страх был основательный. Прекрасно, но кто определит, основателен он или нет? Где папа, который постановит в этом случае свое безошибочное решение? Те, которые находят в «сознании безопасности» границу для свободы речи, пусть сначала ответят на все эти вопросы.

§ 4. Что касается до нападок на государственную деятельность, которые составляют по закону оскорбление, потому что они возбуждают презрение к правительству, то в подобном оскорблении могут обвиняться все партии, начиная от оратора-чартиста* и до коновода оппозиции, и «Times» со своими насмешками над жалкими результатами «великого годового трезвона», и веселый шутник из журнальной братии, который забавляется

над эксцентричностью гибкого экс-канцлера. Единственный вопрос, который можно сделать по отношению к этим нападениям: заслужены ли они? Справедливо ли то, что в них высказывается? Моралист должен определить их границу там, где может быть доказано, что основной закон нарушен, что нападки не заключают в себе истины, что те, на которых нападали, очернены. Но если будет доказано, что они в существе верны, то на каком основании можно защищать их запрещение? То, что действительно достойно презрения, должно быть выставлено на позор, поэтому и обвинение в неприличных поступках должно пользоваться полной публичностью. Рассуждать иначе — значит разделять положение Макиавелли, по мнению которого законодательство правильно поступало, если оно прибегало к обману, если оно было организованным притворством, нужно полагать, что для народа необходимо быть обманутым, что ему нужно представлять призрак добродетели там, где ее не существует в действительности, что общественное мнение должно быть скорее введено в заблуждение, чем направляемо на путь истины, что для народа хорошо, если он верит лжи.

§ 5. Может быть, весьма опасно поставить больного в положение годного для крепкого здоровья. Для страдающего несварением желудка куриный бульон может быть во всех отношениях полезнее более существенной пищи. Тот, кто страдает припадками гриппа, хорошо сделает, если он будет избегать бурного северо-западного ветра или даже слабого южного ветра. Но нужно быть более чем простоватым, чтобы из таких фактов заключить, что питательная пища и свежий воздух — дурные вещи. Тот, кто припишет в этом случае дурное влияние пище и воздуху, а не болезненному состоянию, тот покажет еще весьма незрелые понятия о причинности.

Точно так же незрелы идеи тех, которые заключают о неудобствах неограниченной свободы речи из того, что она в известных состояниях общества производит плачевные результаты. Все зло, происходящее в этих случаях от неограниченного выражения мнений, должно быть отнесено к ненормальному состоянию политического тела, а не к свободе речи. При здоровом социальном устройстве и при довольстве, которое от этого происходит, нечего опасаться даже самого неограниченного

выражения чувств и мыслей. С другой стороны, если существует всеобщее неудовольствие, то, конечно, можно бояться подвергать печальные стороны государственной жизни холодному дуновению критики, и от этого могут произойти опасные симптомы, но что же из этого? Какой-нибудь Луи-Филипп, или генерал Кавеньяк, или Луи Наполеон могут найти в растленном и анархическом состоянии вещей извинение для шпионства, цензуры и воспреещения публичных собраний. Но что же из этого? Если какой-нибудь народ не может быть управляем на основании принципов чистой справедливости, то тем хуже для этого народа. Несмотря на это, принципы останутся верными. Выше (с. 41) уже было объяснено, что несоответствие между совершенным законом и несовершенным человеком неизбежно. Если для какого-нибудь народа произойдет зло от немедленно и полного признания закона равной свободы как по отношению к речи, так и по отношению к действиям, то зло это будет указывать на недостаточное приспособление этого народа к социальной жизни и вовсе не может служить доказательством недостаточности самого закона.

XV | ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРАВА

Если бы того требовали обстоятельства, то к этому изложению можно было бы прибавить еще много других глав подобного же содержания. Если бы это писалось во Франции, то нужно было бы из закона о равной свободе вынести и разъяснить право свободного движения с места на место без дозволения со стороны правительства. Если бы это относилось к китайцам, то, может быть, потребовалось бы представить некоторые доказательства, что человек должен иметь свободу носить платье такого покроя, который ему всего более нравится. В различные времена и в различных местностях может встретиться необходимость развивать подобным же образом закон равной свободы во многих других направлениях. Теперь для нас совершенно излишне снова повторять рассуждения, которыми уже так часто пользовались; то, что мы называем правами, не более как искусственные подразделения общего требования относительно пользования способностями, это — применения такого общего требования к отдельным случаям. Справедливость каждого из этих прав доказывается тем же путем; нужно показать, что относящаяся к этому праву особая деятельность способностей не помешает подобной же деятельности способностей других людей. Читатель уже видел, на каких основаниях устанавливаются этим путем самые существенные права. При установлении более незначительных, которых мы не касались, он может быть предоставлен самому себе.

XVI | ПРАВА ЖЕНЩИН

§ 1. Естественная справедливость не знает различия полов. В ее словаре существует слово «человек», но нет слова «мужчина». Закон равной свободы одинаково относится ко всему роду человеческого, к женщинам точно так же, как к мужчинам. Те же самые априористические суждения (главы III и IV), которые устанавливают закон для мужчин, могут быть применяемы в равной силе и по отношению к женщинам. Нравственное чувство, которое дает мужской душе возможность сообразоваться с законом, существует точно так же и в женской. Следовательно, различные права, выводимые из этого закона, должны применяться одинаково к людям обоих полов.

Такую истину следовало бы считать очевидной, следовало бы предполагать, что стоит только ее высказать, чтобы встретить всеобщее одобрение. Найдется, однако же, много людей, которые или безмолвно, или многоречиво выразят свое несогласие. Трудно себе представить, по каким причинам они так поступают. Они соглашались с аксиомой, что человеческое счастье есть воля Божия, — с этой аксиомой, которая служит первоначальным источником для вывода того, что мы называем правами. И вот остается объяснить, почему различие в устройстве тела и незначительное видоизменение душевных свойств исключают одну половину человеческого рода от пользования благодеянием этого высшего предопределения. Обязанность привести доказательства лежит на тех, которые утверждают существование различных прав; мы поступим совершенно правильно, если будем применять закон равной свободы к людям того и другого пола, пока несправедливость такого образа действий не будет доказана. Мы, однако же, не будем пользоваться этим преимуществом, мы принимаем полемику по этому предмету.

Мы имеем перед собой только три положения. Можно утверждать, что женщины не имеют вовсе прав, что они имеют меньше прав, чем мужчины, и, наконец, что они равны мужчинам.

Человек, который будет утверждать, что женщины вовсе не имеют прав, должен доказать, что Создатель предопределил женщин для того, чтобы они находились в полном произволе

у мужчин, что в распоряжении мужчин должны находиться и их счастье, и их свобода, и их жизнь; другими словами, что они предназначены для того, чтобы считаться существами низшей породы. Мало найдется людей, которые будут иметь смелость утверждать это.

Из второго предположения, что права женщин менее значительны, чем права мужчин, немедленно вытекают следующие вопросы. Если они не так велики, то насколько они меньше? Каково точное отношение между законными правами того и другого пола? Какие общие права у тех и других, и в чем права мужчин превосходят права женщин? Кто может указать нам, каким путем нужно соразмерять права при наделении тех и других? Постановляя вопрос практически, нужно определить каким-либо логическим путем, можно ли оправдать турка, который велел утопить в Босфоре рассердившую его черкешенку? Были ли нарушены права женщин афинским законом, который при известных обстоятельствах позволял гражданину продавать свою дочь или сестру? Можно ли защитить с нравственной точки зрения наш закон, который позволяет умеренно бить свою жену или запереть ее в одной из комнат своего дома? Справедливо ли лишать замужнюю женщину права владеть собственностью? Может ли муж по справедливости отобрать у жены ее заработок против ее воли, как это допускается нашим законом, и т.д.? Вот задачи, подлежащие разрешению, и к ним можно присовокупить множество других им подобных. Следует найти принцип, основанный на природе вещей, которым можно было бы разрешить их с научной последовательностью, разрешить их не на основании утилитарных соображений, но определенным, философским путем. Между теми, которые придерживаются учения, что права женщин должны быть ограниченнее прав мужчин, найдется ли хоть один человек, который в состоянии приискать какой-нибудь подобный принцип?

Если никто не в состоянии этого сделать, то остается только принять третье положение, что права женщин равны правам мужчин.

§ 2. Тем, которые, утверждая, что права женщин не могут быть равны правам мужчин, основываются на душевном превосходстве мужчин, можно возражать различными путями.

Прежде всего можно оспаривать самый факт этого превосходства. Защитник женщин может привести много примеров, где женщины приобрели обширную известность своей деятельностью на поприще политики, наук, литературы и искусств; мир имел множество королей, отличавшихся столько же своим могуществом, сколько и своей проницательностью, начиная от Зеновии и до императриц Екатерины и Марии-Терезии. Соммервиль, Гершель и Цорлин приобрели известность в точных науках; в политической экономии — Мартино; в философии — Сталь; в политике — Ролан. Поэзия имеет своих Тейгс, Хеманс, Ландон и Браунинг; драма — Иоанну Бальи; роман — Остин, Бремер, Гор, Ж. Санд и т.д. без конца. В скульптуре слава заслужена была принцессою; картина вроде «Важного вопроса» достаточно доказывает способность женщин к живописи. На сцене женщины, без сомнения, равны мужчинам, а может быть, за ними должна остаться пальма первенства. К этим фактам можно присовокупить другие важные соображения. Женщины всегда были, да и в настоящее время поставлены в невыгодное положение по отношению ко всем отраслям знания, мысли и искусства. Они не допускаются в академии и университеты, в которых мужчины получают свое воспитание; род жизни, который их ожидает, не представляет такого обширного поля для деятельности честолюбия; на их развитие реже действует величайший из стимулов — нужда; при обычном их воспитании остаются неразвитыми многие из высших способностей человеческих. До настоящего времени распространенный между мужчинами предрассудок относительно «синего чулка» в значительной степени мешал женщинам гоняться за литературными почестями и заставлял даже бояться их. Если мы все это примем в соображение, то поймем, что есть основательные причины, по которым можно сомневаться в превосходстве мужчин над женщинами, и что факт этот вовсе нельзя считать очевидным.

Оставляя все это в стороне, мы будем опровергать положение на основании его же собственных посылок. Пусть будет допущено, что интеллектуальные силы женщины незначительнее сил мужчины, что чувство управляет ею с большей исключительностью, что она более способна увлекаться, что она менее управляется разумом. Если мы со всем этим согласимся, то может ли это все-таки послужить основанием для

учения, что права женщин не могут быть так же распространены, как права мужчин?

1) Если лицам обоих полов нужно отмерять права по соразмерности относительной величины их интеллектуальных сил, то, безо всякого сомнения, по той же мерке нужно отмерять права и отдельным мужчинам. Из этого неизбежно должна выйти та многосложная путаница, о которой уже было говорено (см. с. 114—115).

2) Далее из этого нужно вывести такое заключение. Так как встречаются отдельные женщины с несомненно большими способностями, чем те, которыми обладают мужчины в среднем уровне, то некоторые женщины должны иметь большие права, чем некоторые мужчины.

3) Таким образом, вместо одного известного и определенного размера прав для мужчин и другого такого же размера для женщин, на основании этой гипотезы является бесконечная градация прав, в которой пол уже вовсе не играет никакой роли. Еще раз мы должны обратиться на поиски недостижимого — нас заставляют гоняться за невозможной мерой для оценки способностей и за другим, столь же невозможным мерилом прав.

Эта теория не только распадается в куски от процесса исследования, но если ее очистить от пошлой фразеологии, то она оказывается абсурдом. Что мы разумеем под словом «права»? Слово это обозначает нашу свободу по отношению к упражнению наших способностей. А какой смысл имеет положение, что женщина стоит душевно ниже мужчины? Оно показывает только, что способности женщины менее сильны. Что же значит вывод, что женщина должна иметь меньше прав, потому что ее душевные силы менее значительны? Он значит, что женщина должна иметь меньше свободы упражнять *свои* способности, чем мужчина — свои, потому что способности женщины более слабы.

§ 3. Убеждение носит на себе печать характера, оно, в сущности, есть его произведение. Это достаточно доказывается антропоморфизмом. Желания людей окончательно выражаются в их верованиях, т.е. в их действительных верованиях, а не в нормальных. Разложите на части *теорию вещей* какого-либо человека, и вы найдете, что она основана на фактах, собранных по

внушению его желаний. Пламенная страсть затирает все факты, противные тому, что необходимо для ее удовлетворения, и соединяет те, которые должны служить ее целям, обращает их в орудия, с помощью которых она может достигать этих целей. Нет такого порочного поступка, для которого не находилось бы оправдания у того, кто его совершил, а если поступок часто повторяется, то оправдание обращается в убеждение. Самые низкие поступки, которые записаны в истории, находили себе защитников, даже убийства Варфоломеевской ночи и тому подобное; мало этого, их старались обратить в выполнение воли Божией. Не лишена мудрости басня, изображающая нам волка, который сначала обвиняет овцу, а потом пожирает ее. То же самое постоянно делается между людьми. Каждый завоеватель, прежде чем он поднимал знамя войны, старался уверить себя, что он защищает справедливое дело. Жертвоприношения и молитвы предшествовали всякому военному походу, начиная от кампаний Цезаря и кончая пограничным набегом. «С нами Бог!» — вот общий крик. Каждый из двух сражающихся народов освящает свои знамена; и тот, кто победил, поет *Te Deum**. Атила был убежден, что он имеет «божественное право на господство над землей». Испанцы, поработав индейцев, оправдывали себя обращением их в христианство; они повесили тринадцать не подчиняющихся в честь Иисуса Христа и его апостолов. Мы, англичане, оправдываем наши завоевания в колониях тем, что будто бы провидение Творца предназначило англосаксонскую расу для заселения мира! Ненасытная страсть к завоеваниям обращает избиение людей в добродетель, и неумолимая мстительность обращала убийство в обязанность более чем у одного племени. Ловкое воровство считалось похвальным между спартамцами и таким же считается между христианами, лишь бы оно производилось в достаточно обширных размерах. Пиратство считалось героизмом у Ясона и его дружины; точно так же смотрели на него норманны и не иначе смотрят на него теперь малайцы, и еще никогда не было недостатка в золотом руне для того, чтобы ему послужить предлогом. Среди народов, гоняющихся за деньгами, человек ценится соразмерно количеству часов, проведенных им за делами; в наши дни страсть к приобретению создала апофеоз труда, и даже скряга не лишен нравственного кодекса, которым он

оправдывает свое скопидомство. Управляющие классы оправдывают себя тем, что собственность имеет более права на представительство, чем личность, что преобладание должно оставаться за интересами поземельных владельцев. Бедный вполне убежден, что он имеет право на помощь; монахи считают книгопечатание изобретением дьявола, и многие из современных наших сект полагают, что люди другой веры находятся под властью нечистой силы¹. Для духовенства ничего не может быть яснее того, что установление государственной церкви справедливо и существенно для поддержания религии. Обладатель синекуры приходит в справедливое, по его мнению, негодование, если не обращается внимания на его право собственности в доходах. И таким же образом зарождаются убеждения во всем обществе, с начала до конца.

Может быть, самые поразительные примеры подобных убеждений представляют нам взгляды рабовладельцев, которые утверждают, что негры не принадлежат к существам человеческого рода, и похожее на них верование магометан, что женщины не имеют душ². Во всех этих случаях эгоизм подыскивает достаточно оснований, чтобы делать то, что он хочет; он сопоставляет и искажает, преувеличивает и утаивает и всякими неправдами наконец-таки доходит до желаемого заключения. Конечно, можно сомневаться в том, что люди действительно могут быть убеждены в вещах, которые осязательнейшим образом противоречат самым ясным фактам. Можно утверждать, что те, которые обнаруживают убеждения до такой степени нелепые, должны притворяться. Однако же тем, которые так думают, нельзя не опасаться ошибки. Пусть они припомнят, что и их эгоизм вводил в обман и доводил до не менее грубых нелепостей. Законы Англии и общественное мнение в этой стране поддерживают учения приблизительно столь же иррациональные, как те, которым верить нам кажется невозможным; часто это те же самые учения, но только в несколько смягченном виде. Разве убеждение, что права женщин не равны правам мужчин, не должно

¹ Речь Гарланда на методистском собрании.

² Хотя Вашингтон Ирвинг и доказал, что в Коране нет подобного учения, но он не показал, что оно не разделяется магометанами. Очень может быть, что верования магометан подверглись искажениям точно так же, как и христианские.

быть отнесено к взглядам такого же рода, если его рассмотреть несколько внимательнее? Это просто то же учение, что женщины не имеют души, но только несколько ослабленное.

§ 4. Всем известно, что о нравственном состоянии народа можно судить по тому, как в его среде обращаются с женщинами. Факты, которые приводят к подобному общему заключению, имеются в большом изобилии. Обратитесь, куда вам угодно, — вы увидите всюду, что именно настолько, насколько право сильного определяет отношения между мужчинами, оно определяет и отношения между мужчиной и женщиной. Торжество силы над правом господствует в учреждениях народной политики всегда именно в тех же размерах, как у домашнего очага. Деспотизм в государстве неизбежно соединен с деспотизмом в семействе. Оба одинаково не нравственны по своему происхождению, а потому не могут не существовать рядом. Стоит только назвать Индию, Турцию, Египет, Китай, Россию, феодальные государства Европы, чтобы напомнить массу фактов, объясняющих такое совпадение.

Странно, однако, что мы все почти делаем такое наблюдение, но не применяем его к себе. Мы сидим за чайным столом и рассматриваем народные свойства, мы философствуем о развитии цивилизованных учреждений и, нисколько не сомневаясь, считаем решенным делом, что мы цивилизованны, что порядок вещей, среди которого мы живем, справедливый или, по крайней мере, приблизительно справедливый. Точно так же рассуждали народы в прошлые времена, и все единообразно ошибались. Теперь существует множество людей, которым никогда не приходит в голову, что мы в этом можем ошибаться точно так же. Придая дурное обращение с женщинами на Востоке, находя, что оно указывает на болезненное состояние общественных отношений, множество людей не понимает, что то же самое отношение между политическим и домашним притеснением существует в нашей Англии и в настоящий час; наши законы и обычаи именно настолько нарушают права человечества, давая более богатым частям общества власть над более бедными, насколько они нарушают те же самые права, давая более сильному полу власть над более слабым. Если мы отбросим предрассудки и будем рассматривать все учреждения с той точки зрения,

с которой их следует рассматривать, т.е. будем считать их произведениями народных свойств, то мы вынуждены будем сознаться, что действительно все это должно быть правдой. Закваска старой тирании настолько же обнаруживается в поведении сената, насколько она проявляется и у домашнего очага. Если несправедливость управляет публичной деятельностью людей, то она неизбежно настолько же управляет и частной. Существование факта, что внешние отношения носят на себе печать притеснения, достаточно доказывает, что точно так же положение существует и в быту семейном.

§ 5. Желание повелевать — существенно варварское желание. Оно обнаруживается одинаковую грубость и в указе царя, и в приказах Итона*. Всякое командование неизбежно дико: оно включает в себе призыв к насилию, оно дико и в том случае, если сила необходима. За словами «вы должны» едва скрыто «если вы не хотите, я вас заставлю». Командование — это угрожающее ворчание дикой власти, лежащей в засаде. Правильнее всего его можно назвать насилием в инертном состоянии. Вся его обстановка — его грозные брови, его голос, его жесты — показывают его однородность со зверством нецивилизованного человека. Командование — враг мира; это война, проявляющаяся словами и чувствами, а иногда и поступками. Оно несогласно с основным законом нравственности. Оно есть радикальное зло.

Всякое варварство прошлых времен имеет своего представителя и теперь, в настоящем. Все варварские проявления прошедшего были произведением известных душевных расположений; свойства эти могли быть ослаблены, но они не уничтожились; пока они будут существовать, они должны обнаруживать себя. То, что мы называем повелением и послушанием, — это не что иное, как современные проявления угасших деспотизма и рабства. С философской точки зрения они тождественны. Деспотизм есть не что иное, как обращение чужой воли к исполнению наших желаний; соответствующее ему рабство включает в себе подчинение своей воли желаниям другого. Эти термины употребляются в настоящем их смысле только тогда, когда одна воля вполне управляет другой, если одна окончательно или почти окончательно уничтожает другую. Подчинение одного человека другому, доведенное до крайних

его пределов, скверно; но нехорошо также и всякое другое подчинение, какова бы ни была его степень. Каждый человек должен иметь свободу упражнять свои способности в определенных пределах; мы уже видели (глава VIII), что рабство заключает в себе несправедливость, потому что оно нарушает закон свободы и заставляет человека употреблять свои силы для удовлетворения не своих собственных, а чужих нужд; поэтому не менее несправедливо и все то, где есть командование и повиновение; оно несправедливо по той же самой причине, оно ставит деятельность человека в такое положение, при котором он неизбежно должен служить орудием для удовлетворения потребностей другого. «Вы должны поступать не так, как вы хотите, а так, как я хочу», — вот основание всякого приказания, все равно, будет ли это приказание обращено плантатором к негру или мужем к его жене. Мелкий автократ не удовлетворяется тем, что он один распоряжается собственными своими действиями, он переходит за пределы, отделяющие сферу его деятельности от круга деятельности соседа, он берет на себя также управление его или ее деятельностью. С точки зрения принципа все равно, будет ли такое господство полным или неполным. В том же самом размере, в котором воля одного лица порабощена волей другого, стороны эти должны по отношению друг к другу считаться тираном и рабом.

Без сомнения, много найдется людей, которым это учение не понравится. Многие находят, что повиновение одного человеческого существа другому справедливо и похвально, что это добродетель. Много людей, которых нравственное чувство не возмущается командованием. Подчинение слабого пола сильному кажется многим и законным, и благодетельным. Пусть они не обманывают себя. Пусть они не забывают, что учреждения и убеждения нации зависят от ее свойств. Пусть они помнят, что взгляды людей искажаются их страстями. Пусть они знают, что наше социальное устройство достаточно доказывает, как несовершенно развиты в нас высшие чувства. Вспомним, сколько обычаев, возмущающих нас теперь, считались предками нашими вполне справедливыми; у нас, по крайней мере, столько же обычаев, которые признаются нами справедливыми и которые будут внушать отвращение нашим более цивилизованным потомкам. Нам ненавистны варварские взгляды,

которые запрещали женщине садиться за стол вместе со своим господином и повелителем; когда-нибудь человечество будет смотреть с ненавистью на подчинение жены мужу, которое требуется нашими современными законами.

В другом месте (с. 31—32) мы объяснили, что нравственное чувство только тогда обращается в благонадежного руководителя, когда его внушения разъясняются логикой. Силу авторитета имеют только его первоначальные внушения. Разум должен выводить заключения из основного закона, который порождается нравственным чувством. Заключения эти, если они правильно выведены, должны почитаться безусловно истинными. Если находятся люди, которые не чувствуют несправедливости повелевания, то это еще ничего не значит. Для таких людей нужно исследовать, согласно ли оно с той аксиомой, которая порождается нравственным чувством. При обсуждении его с точки зрения равной свободы оно оказывается прямо несправедливым; тот, кто повелевает, без всякого сомнения, присваивает себе более свободы, чем тот, кем распоряжаются.

§ 6. Будущее убеждение в несправедливости подчинения одного пола другому ясно предсказывается изменениями, которые производятся в человеческих чувствах цивилизацией. В каком бы виде ни проявлялся произвол одного человеческого существа над другим, всегда нетрудно понять, что такой произвол по существу своему есть проявление суровости и грубости. В наше время человек с возвышенными чувствами не любит быть деспотом над своим ближним. Ему неприятно, если перед ним унижается человек, задавленный обстоятельствами. Он далек от желания возвыситься, унижая своего бедного и невежественного соседа; он старается, чтобы в его присутствии сосед этот чувствовал себя свободным, он поощряет его к обращению менее подобоострастному и более исполненному чувства своего достоинства. Он чувствует, что своего ближнего можно поработить повелительными словами и манерами настолько же, как и тираническими поступками, и вот он избегает диктаторского тона речи с теми, которые ниже его. Он не любит даже обращаться с повелительной речью к наемным слугам, которые обязаны служить ему по условию. Он старается скрыть, что он господин, он приказаниям своим дает вид просьб и

постоянно употребляет фразы «если вам угодно» или «покорно вас благодарю».

Дальнейший признак возрастающего уважения к достоинствам другого человека мы видим в поведении современного джентльмена по отношению к своему другу. Всякому известно, что люди, которые находятся друг к другу в отношениях интимной привязанности, избегают самым тщательным образом всего, что придает одной из сторон вид превосходства: если какое-нибудь превосходство существует в действительности, то они стараются вести себя так, чтобы ничто о нем не напоминало. Кто не был свидетелем затруднения, в котором иногда находится более богатый друг, желающий облагодетельствовать своего приятеля и в то же время опасющийся оскорбить его, если он примет положение патрона? Кто не знает, в какой степени разрушились бы взаимные чувства между ним и его другом, если бы он принял на себя роль господина над ним или если бы этот друг вздумал присвоить себе господство?

Когда чувства человеческие усвершенствуются еще более, тогда люди поймут, какая роковая несообразность существует между супружеским рабством, признанным нашим законом, и теми отношениями, которые должны иметь место между мужем и женой. Если человек, сколько-нибудь великодушный от природы, не любит принимать повелительный тон со своим слугой, если для него невыносим тон превосходства в отношениях к своему другу, то насколько же больше отвращения должно внушать ему положение правителя по отношению к существу, на котором сосредоточиваются его нежные чувства, с которым он связан самой сильной из привязанностей, созданных его природой, которого права и человеческое достоинство должны внушать самую деятельную симпатию!

§ 7. Повелевание губительно для привязанностей. Сколько возвышенного чувства, сколько прелести, сколько поэзии мы находим в страсти, соединяющей оба пола! Все это должно увянуть и умереть среди холодной атмосферы владычества. Любовь и принуждение зарождаются в областях нашей природы, отделенных друг от друга далеким пространством, они не могут процветать вместе. Любовь возрастает из лучших наших чувств, корни принуждения — в самых худших. Любовь полна

симпатий, принуждение бесчувственно. Любовь нежна, принуждение грубо. Любовь самоотверженна, принуждение эгоистично. Каким же образом могут они существовать рядом? Одна привлекает к себе, а другое — отталкивает. Действуя таким образом в противоположных направлениях, одно постоянно стремится разрушить то, что создано другим. Пусть тот, кто считает возможным согласить эти две крайности, вообразит себе, что он будет разыгрывать властелина над своей невестой. Неужели он думает, что будет в состоянии поступать таким образом без вреда для существующих отношений? Не следует ли ему скорее предположить, что такое поведение должно дурно отзываться на чувствах обеих сторон? Он должен с этим согласиться. А если с этим согласится, то он не может признать безвредным употребление приказаний после совершения известного обряда и произнесения известных слов, если до этого эти приказания оказывались вредными; неужели предрассудки в нем будут так сильны, что он дойдет до такой непоследовательности?

Превосходство одного пола над другим, превращение свободного и равного отношения в унижительное отношение правителя и подвластного, замещение силы любви господством власти — вот самые могущественные из всех причин, которые производят разочарование и уничтожают блестящие надежды, обыкновенно сопровождающие вступление в брак. Возможность идеальной любви начинается только тогда, когда улучшается то рабское положение, на которое женщина осуждена среди варварских народов; когда это рабское положение уничтожится вполне, тогда идеальная любовь достигнет полного своего развития и сделается постоянной. Это вполне доказывается тем, что нас окружает. Всюду, где в настоящее время существует что-нибудь достойное названия супружеского счастья, мы видим, что жену не принуждают подчиняться мужу. Даже в тех случаях, где принуждение удерживается в теории, оно изгнано из практики.

§ 8. Многие думают, что власть и ее союзник, принуждение, — это единственные средства для удержания порядка среди людей. Для них существует только выбор между двумя крайностями — анархией и правительством. Они верят только тому, что они видят, они не могут себе представить возможности такого

положения, где мир и порядок будут существовать без участия силы или без страха перед могуществом. Подобные люди, безо всякого сомнения, будут защищать учение господства мужа над женой на том основании, что правильные семейные отношения могут существовать только при помощи главенства, сосредоточенного в одном лице. Справедливость учения о равенстве прав между мужчиной и женщиной они будут опровергать непрактичностью его в применении. Они будут утверждать, что если мужа и жену поставить на один уровень, то между ними будет вечный антагонизм: как скоро у них явятся противоположные желания, то каждый будет полагать, что он имеет равное другому право, чтобы сделать по-своему, супружеский союз будет ежедневно подвергаться опасности от раздора, для которого противоположные требования будут источником, порождая нескончаемую борьбу; такое основание для семейной жизни, без сомнения, будет ложным.

Подобное заключение в высшей степени поверхностно. Уже выше было сказано (с. 40—41), что между совершенным законом и несовершенным состоянием людей не может быть ответственности. Чем хуже будет положение общества, тем более истинный закон нравственности будет казаться похожим на мечту. Если предложенное правило поведения вполне применимо на практике, если для своего полного осуществления оно не требует никакого преобразования в человеческой природе, то это скорее послужит доказательством его ошибочности, чем его верности. Наоборот, если между правилом и человечеством в том виде, как мы его знаем теперь, существует некоторое несоответствие, то хотя это обстоятельство и не может быть доказательством истинности правила, но оно до известной степени говорит в его пользу. Если человечество еще недостаточно совершенно, чтобы лица обоих полов могли жить согласно вместе при господстве закона равной свободы, то этим еще вовсе не ослабляется значение и непреложность такого закона.

Никогда не дремлющий процесс приспособления постепенно будет устранять это препятствие к правильным домашним отношениям. Признание нравственного закона и стремление следовать ему всегда идут рука об руку; необходимость такой связи между признанием и стремлением мы уже показали выше. Поэтому равенство прав между супругами сделается все

более и более исполнимым, по мере того как будет распространяться убеждение в справедливости такого отношения. Это истическое столкновение требований на основании изложенного выше возражения, долженствующее породить анархию в супружествах, основанных на законе равной свободы, показывает недостаток в тех чувствах, при которых в душе человека является вера в этот закон: необходимость таких столкновений будет постоянно уменьшаться по мере того, как чувства эти будут возрастать. Из предыдущего (с. 103—105) читателю уже известно, что то же самое чувство, которое заставляет нас охранять наши собственные права посредством симпатического возбуждения, приводит нас к уважению прав наших соседей. При одинаковых условиях чувство справедливости по отношению к нам самим и такое же чувство по отношению к другим находятся между собой в соответствии. Общество, в котором каждый ревностно охраняет свои собственные права, не должно быть вследствие этого ябедническим обществом, потому что в нем неизбежно в тех же размерах уменьшается и стремление к посягательству на права другого. Это доказывается опытом. Нельзя отрицать, что в настоящее время между людьми господствует более стремления к личной свободе, чем во времена феодальные, и в то же время мы видим, что люди обнаруживают менее расположения нарушать чужие права. Изменения в том и другом отношении соответствуют друг другу и всегда должны соответствовать. Итак, если общество цивилизуется до такой степени, что оно поймет необходимость равенства в правах между мужчиной и женщиной, если женщины будут ясно понимать то, что они могут себе требовать по справедливости, если мужчины будут обладать достаточно благородными чувствами, чтобы уступить справедливым требованиям женщин, тогда в человечестве произойдут такие перемены, что равенство прав делается удобоприменимым.

При подобных, окончательно установившихся, условиях супружеская жизнь будет характеризоваться не постоянными ссорами, а взаимными уступками. У мужа не будет желания доводить свои требования до крайности, не обращая внимания на желания жены, у жены не будет зарождаться подобных же наклонностей. Напротив, оба будут внимательно наблюдать, чтобы не перейти за предел своих прав. Каждый будет ревниво

охранять права другого, поэтому ни одному не придется защищаться. Самоотвержение, а не нарушение права, будет руководящим правилом. Борьба будет происходить не из-за права взять верх, а из-за права уступить. Каждый будет опасаться не того, чтобы его право было нарушено, а того, чтобы не нарушить права чужого. Таким образом, вместо домашнего раздора явится такое возвышенное единодушие, о котором теперь не имеют понятия.

В этом нет ничего утопического. Мы можем уже теперь указать на зародыши подобных отношений. Подобные отношения нередко можно встретить между почтенными людьми; почему же они не могут существовать между мужчинами и женщинами? Там и сям мы можем найти даже и теперь брак, где взаимные отношения супругов носят подобный характер. То, что теперь исключение, может со временем сделаться правилом.

§ 9. Против распространения на женщин закона о равной свободе, безо всякого сомнения, будет сделано возражение и с той точки зрения, что в этом случае политические права мужчин должны быть перенесены и на женщин. Без всякого сомнения, это должно быть сделано, и почему же не сделать? Разве потому, что женщины не знакомы с государственными делами? В таком случае их мнения будут мнениями их мужей и братьев, и практический результат этой меры будет состоять в том, что каждый мужчина-избиратель будет иметь два голоса вместо одного. Но, может быть, потому, что они со временем сделаются более сведущими в этом отношении и начнут действовать самостоятельно? Так что же в этом случае они будут приблизительно так же способны умно пользоваться своим правом, как и наши современные избиратели.

Но нам говорят, что назначение женщины — домашняя жизнь, что ее свойства и ее положение не позволяют ей принимать участие в разрешении общественных вопросов, что политика лежит за пределами сферы ее деятельности. Отсюда возникает вопрос: кто может решить, в чем заключается эта сфера? Среди павниев и сиуксов* женщина служит вьючным животным, она должна переносить багаж, таскать домой топливо из леса и совершать все домашние и трудные работы. В рабовладельческих странах сфера деятельности женщины заключается

в работе рядом с мужчинами под кнутом надсмотрщика. В современной Франции в ее сферу входят канцелярские занятия, обязанности кассира и тому подобная ответственная деятельность. В то же время сфера деятельности турецкой и египетской леди не выходит за пределы стен гарема. Пусть же кто-нибудь нам скажет, в чем заключается истинная сфера женщины? Если обычаи человечества так разнородны в этом отношении, то пусть же нам скажут, откуда мы можем убедиться, что тот круг деятельности, который мы предназначили для женщины, должен быть истинной ее сферой, что пределы, которые мы для нее постановили, — именно настоящие пределы. Пусть нам докажут, почему на этом пункте нашей социальной политики мы вполне правы, хотя ошибаемся в столь многих других случаях.

Утверждают, что пользование политическими правами со стороны женщин противно нашему чувству приличий, что оно несогласно с нашими понятиями об особенностях женщины, что оно вполне отвергается нашими чувствами. С этим можно согласиться, но что же из этого? То же самое говорилось в защиту тысячи нелепостей, и подобное возражение так же действительно в одном случае, как и во всех прочих. Если бы человек, путешествующий на Востоке, спросил у турка, почему женщины в его стране закрывают свое лицо, он получил бы в ответ, что ходить с непокрытым лицом считается для них неприличным, что они оскорбляли бы этим чувства зрителей. В России женского голоса нельзя услышать в церкви, женщин не считают достойными «петь хвалу Божию в присутствии мужчин»: пренебрежение к такому правилу считалось бы оскорбительным для чувств общества. Во Франции люди когда-то были так влюблены в невежество, что женщина могла говорить правильно только самые обыкновенные речи, в противном случае ее стыдили ее же подруги; этим удовлетворительно доказывается, что в то время народные чувства порицали в женщине то образование, отсутствие которого порицается нами теперь. В Китае благовоспитанная женщина должна иметь уродливо стиснутые ноги. Чувства китайца в этом отношении так сильны, что ему кажется невероятным, что английская женщина, которая ходит на ногах естественной величины, может принадлежать к высшим слоям общества. Когда-то женщина не могла написать книгу — это считалось неженственным поступком; люди, которые думали

таким образом, без всякого сомнения, в подтверждение своего мнения ссылались на свои чувства. После всего этого люди утверждают, что эмансипация женщины не может иметь справедливого основания, потому что она противна их чувствам!

Мы имеем известные неизбежные и вечные чувства; у нас есть другие, порожденные обычаями, и эти чувства изменчивы и способны исчезнуть. Чувства врожденные и неизбежные можно отличить от условных только одним путем: для этого необходимо обратиться к основным началам. Если чувство соответствует каким-либо неизбежным условиям нашего существования, то следует уважать его внушения. Чувство, противоречащее этим неизбежным условиям, вместо того, чтобы быть с ними в гармонии, не должно иметь для нас значения; на него следует смотреть как на произведение обстоятельств, воспитания и привычки. Насколько бы, следовательно, предоставление женщинам политических прав ни расходилось с нашими понятиями о приличии, мы все-таки должны прийти к заключению, что такая уступка справедлива и хороша, потому что она требуется первым условием для наибольшего счастья — законом равной свободы.

§ 10. Все это показывает нам, что права женщин должны быть признаваемы и отвергаемы наравне с правами мужчин; они происходят из того же самого источника; та же самая аксиома служит им основанием; они доказываются теми же самыми доводами. Далее, несомненно, что закон равной свободы должен быть одинаково применяем и к мужчинам, и к женщинам, потому что при всяком другом образе действия мы запутываемся в безвыходных затруднениях. Идея о неравенстве прав женщин и мужчин была отвергнута нами по причине своей однородности с восточным учением, что у женщин нет души. Мы утверждали, что современное положение женщины необходимо следует считать ложным, потому что тот же самый эгоизм, который искажает наши политические учреждения, неизбежно должен искажать и наши семейные отношения. Подчинение женщин мужчинам отвергалось также потому, что оно предполагает повелевание и этим обнаруживает свое происхождение от варварства. Было доказано, что положение мужчины в качестве господина, а женщины — в качестве подчиненного совершенно не

согласно с возвышенными чувствами, которые должны существовать между мужем и женой. Мнение, что супружеская жизнь практически невозможна при других условиях, мы опровергали, доказывая, что отношение равенства делается возможным тотчас, как скоро справедливость этой идеи будет признана. Наконец, было разъяснено, что возражения, обыкновенно употребляемые против предоставления женщинам политических прав, основаны на чувствах и предрассудках, которые не выдерживают критики.

XVII | ПРАВА ДЕТЕЙ

§ 1. Если мы однажды убедимся в том, что закон наш — истинный закон, если мы уверимся, что он заключает в себе волю Божию, если мы поняли, что он вытекает из природы вещей, то мы должны уверенно следовать за ним всюду, куда бы он нас ни привел. Выше (Лемма II) было доказано, что истинное правило не имеет исключений. Итак, если основной закон, из которого вытекают права взрослых, окажется в то же время источником, из которого нужно выводить права детей, и если приемы при выводах окажутся одинаково правильными и в том, и в другом случае, то нам останется только согласиться с результатом и утверждать, что выводы, касающиеся детей, должны иметь точно такую же силу, как и выводы, касающиеся взрослых.

Закон, провозглашающий, что каждый должен иметь свободу делать все, что он хочет, если он не нарушает равной свободы другого, должен одинаково применяться и к несовершеннолетним, и к взрослым. Чтобы в этом убедиться, стоит обратиться к источнику этого закона. Бог желает человеческого счастья — счастье человека достигается только через посредство его способностей; для достижения этого счастья необходимо упражнение этих способностей; для упражнения способностей необходима свобода действий — вот ступени, которые доводят нас до познания воли Божией к закону о равной свободе. Вся эта аргументация настолько же применима к ребенку, как и к взрослому человеку. Счастье ребенка точно так же требуется волей Божией; ребенок точно так же имеет способности, которые требуют упражнения; ребенку точно так же нужен простор для упражнения этих способностей; следовательно, ребенок может требовать для себя свободы или, как мы выражаемся, права, в тех самых размерах, как и взрослый. Если бы мы даже желали избежать этого заключения, то для нас не представится к тому возможности. Мы должны или вовсе отвергнуть закон, или включить в него и мужчин, и женщин, и людей всех возрастов.

Чистосердечный мыслитель вынужден будет согласиться с этим, если он обратит внимание на множество затруднений, которыми сопровождается всякое другое учение. Как скоро мы будем утверждать, что закон равной свободы применяется

только к взрослым, или, что одно и то же, если мы скажем, что взрослый имеет права, а ребенок не имеет их, то мы тотчас же встречаемся с вопросом: когда же ребенок делается взрослым? В какой период своей жизни человеческое существо переходит из бесправного состояния в состояние полноправное? Никто, конечно, не способен дойти до такой нелепости, чтобы указать вместо ответа на произвольное постановление книги законов. Следует, конечно, обратиться к более важному авторитету, чем к авторитету законных постановлений, и вот спрашивается: на чем же должны быть основаны ответы на эти вопросы, где то отличительное свойство, от которого зависит признание совершеннолетия со стороны закона равной свободы? Может ли несовершеннолетний требовать для себя общие права человечества, когда голос его понижается на октаву? Или когда он начинает бриться? Или когда он перестает расти? Или когда он может поднять сто двадцать пять фунтов? Что следует принимать за основание при определении совершеннолетия: года, или рост, или силу, или способность к деторождению, или интеллектуальное развитие? В пользу каждого из этих признаков, без сомнения, можно сказать многое, но кто может решить, который из них истинный? Что можно ответить на такое возражение, что если выбрать один из этих признаков, то множество людей, которые признаются теперь несовершеннолетними, будут признаны совершеннолетними, и, наоборот, в число несовершеннолетних попадут те, которые теперь всеми признаются за возмужалых?

Это еще не все. Предположим, что каким-нибудь неизвестным теперь логическим путем будет определено, в какой именно день своей жизни человек получит справедливое право требовать для себя свободы, то затем останется еще определить положение, в котором он должен находиться до наступления этого периода. Что же, малолетний вовсе не имеет никаких прав? Если это так, то детоубийство не заключает в себе ничего дурного. Если это так, то следует оправдать разбой в том случае, когда ограбленный не достиг совершенного возраста. Если это так, то ребенка можно сделать рабом. Это прямо следует из того, что было сказано выше (с. 118—119 и 140—141); убийство, воровство, кабала только потому и дурны, что они заключают в себе нарушение человеческих прав; если дети не имеют прав,

то относительно них невозможно и совершать таких преступлений. С другой стороны, можно согласиться с тем, что признается теперь всеми, и утверждать, что дети должны иметь известные права; в настоящее время признается, что несовершеннолетний имеет одинаковое с взрослым право на жизнь, что он имеет что-то, подобное праву взрослого на свободу; если не законодательством, то, по крайней мере, общественным мнением признается, что, подобно взрослому, он может владеть собственностью. В этом случае необходимо разъяснить, почему эти основные права должны быть ему предоставлены и почему ему не должны быть предоставлены другие. Те, которые утверждают, что дети вовсе не должны иметь прав и что, подобно низшим животным, они могут существовать только с дозволения взрослых, те обязаны указать границу этих прав, определить ее и объяснить основание, на котором они ее проводят. Они должны показать, какие права принадлежат детям вообще со взрослыми и почему; они должны объяснить, в чем именно права взрослых превосходят права детей и почему. Ответ на эти вопросы они должны выводить не из утилитарных соображений, а из основного устройства вещей.

Можно утверждать, что отношение между отцом и его ребенком не похоже на отношения между посторонними людьми, так как отец снабжает ребенка всем необходимым для жизни; что вследствие этого закон равной свободы не может быть применяем к подобному отношению. На это следует ответить, что отец, давая ребенку содержание, создает этим для себя известное право, но не право на власть, а право получать такое же обеспечение, если бы он в нем когда-либо нуждался. Если бы безвозмездное одолжение порождало право на власть в этом случае, то оно должно было бы порождать его и во всех прочих; всякий человек, который делается благодетелем другого, получал бы право господства над ним; подобного заключения ни в каком случае нельзя допустить. Если положение отца дает ему право переступать за пределы свободы своих детей, то неизбежно возникает вопрос: до какой степени он может нарушать эту свободу, может ли он ее уничтожить совершенно посредством смертоубийства? Если нет, то нужно определить границу, до которой он может идти и за которую он не может переступить; эта задача так же неразрешима, как и вышеизложенная.

Читатель или должен признать равные права за малолетними и за совершеннолетними, или он должен доказать, что ряд выводов из проявления воли Божией, посредством которого мы доходим до закона о равной свободе, не относится до детей; он должен определенно указать время, когда ребенок делается совершеннолетним, он должен показать, какой размер свободы по природе вещей принадлежит вообще детям и взрослым и какой размер принадлежит только тем или другим — всего этого он разъяснить не может, а потому ему остается остановиться на равенстве прав.

Есть, впрочем, на первый взгляд, благовидный путь для опровержения этих аргументов. Можно утверждать, что у ребенка многие способности будущего взрослого человека находятся в неразвитом состоянии, а так как права по существу своему зависят от способностей, то права детей не могут быть равны правам взрослых, потому что способности их не равны. Это возражение было бы губительно, если бы оно прямо входило в существо вопроса, но оно остается совершенно в стороне и не касается его. Весь размер прав, которым может обладать человек, заключается в неограниченной свободе упражнять *все* свои способности. Когда каждое из двух существ имеет *неограниченную* свободу упражнять *все* свои способности, тогда каждый будет иметь *полный* размер следующих ему прав; права обеих будут *равны*; будут ли при этом их способности равны или нет, это сюда не относится. Сказать, что права одного ограниченнее прав другого, потому что его способности незначительнее, — это значит сказать, что он лишен права на деятельность способностей, которых у него не существует! Странная смесь очевидного с нелепым!

§ 2. Мы предупреждали (с. 54), что в нашем основном начале заключаются зародыши различных неожиданных выводов. С одним из них мы теперь встретились. Мы вынуждены были сделать заключение, резко противоположное убеждению всех людей. Но истина неизбежно должна быть последовательна. Нам остается одно — основательно рассмотреть мнения, порожденные в нас предрассудком, и мы должны ожидать, что найдем их ложными.

Если мы хотим это сделать путем философским, то должны обратить внимание на те влияния, которыми искажаются наши

убеждения, хотя при этом мы рискуем повториться. Вот что нам следует помнить всегда. Мы все признаем отвлеченную истину, что страсти затемняют рассудок, но никогда не даем себе труда исследовать, не влияют ли на нас в известном случае страсти. Мы все нападаем на предрассудки, а все их имеем. Мы видим, как привычки, интересы и тому подобные вещи создают теории окружающих нас людей, но забываем, что наши собственные теории испечены нами таким же образом. Бесперерывно повторяются случаи, где наши чувства против нашей воли склоняют нас в известную сторону. Пристрастие собственника, которое человек чувствует к своим идеям, скрывает перед ним их недостатки точно так же, как чувство материнской нежности ослепляет мать насчет несовершенств ее ребенка. Автор никаким образом не может правильно судить о своем произведении, которое он только что написал; нужно, чтобы прошло столько времени, чтобы он мог прочесть свое произведение, будто оно было написано посторонним лицом, и тогда он открывает недостатки там, где ему все казалось совершенным. Артист только тогда может видеть ошибки своей картины, когда энтузиазм, который его одушевлял, охладился. Мы никаким образом не можем получить правильного понятия о наших поступках или о поступках других по отношению к нам в то время, когда они происходят; только по истечении многих лет мы способны рассматривать их с философской точки зрения. То же самое случается со следующими друг за другом поколениями. Люди прошлого совершенно неверно понимали учреждения, среди которых они жили. Они упорно держались самых ложных принципов и против справедливых вели оппозицию, исполненную горечи; во всех этих случаях они следовали своим привязанностям и своим антипатиям. Вот как трудно человеку отделаться от невидимых оков, надетых привычкой и воспитанием на его умственную силу! Вот до какой степени осязательна некомпетентность народа в правильных суждениях о себе, о своих поступках и мнениях! Факт этот породил даже общественный афоризм: «Ни один век не способен написать свою историю». Афоризм этот довольно ясно выражает всеобщее распространение предрассудка.

Если мы хотим быть мудрыми, то мы должны предположить, что суждения современного общества подвержены тем же самым искажающим их влияниям. Мы должны заключить, что

и в настоящее время, как во времена прошедшие, мнения соответствуют условиям жизни; они выражают только степень цивилизации, которой мы достигли. Мы должны предполагать, что многие из тех убеждений, которые нам кажутся результатами бесстрастного мышления, порождены в нас окружающими обстоятельствами. Мы должны сознаться, что до сего времени ни исполненная фанатизма оппозиция против какого-либо учения, ни суеверная привязанность к другим не могли служить доказательствами верности или ложности этих учений; правильность и ложность известного принципа точно так же мало доказываются силой привязанности и отвращения, которые видны по отношению к нему в какой-либо из наций настоящего времени. Мало этого, нам следует утверждать, что общественное мнение не только может ошибиться, но оно должно ошибаться. Общество не может существовать без известного равновесия между учреждениями и идеями, если ложь проникает насквозь наши учреждения, то она точно так же должна проникать и идеи. Народ настолько же будет отступать от истины в своих убеждениях, насколько он будет удален от совершенства в своем общественном устройстве.

Тем более, в этом случае необходимо хладнокровное внимание. Как уже указано было выше, положение, которое мы высказали, противоречит привычкам, установившимся отношениям и самым любимым убеждениям огромного большинства. Закон равной свободы применяется к детям настолько же, насколько и ко взрослым, следовательно, права детей так же велики, как и права взрослых; употребление принуждения относительно детей нарушает их права и потому заключает в себе несправедливость; поэтому отношения, господствующие теперь между родителями и детьми, неправильны — вот выводы, которые, может быть, немногими будут выслушаны спокойно. Несмотря на это, если только вышеизложенные соображения имеют какое-нибудь значение, мы хорошо сделаем, если мы не обратим внимания на все протесты нашего чувства и вполне поверим заключениям отвлеченной нравственности.

§ 3. Мы говорим, что о свойствах человека можно судить по обществу, которое он посещает. Можно так же сказать, что о степени верности известного убеждения можно судить по

нравственному уровню, среди которого оно господствует. Если мы видим, что известное учение пользуется всеобщим признанием между теми частями человеческого рода, которые стоят на самом низком уровне, что учение это принимается только со значительными ограничениями цивилизованными народами, что вера в это учение уменьшается по мере того, как общество развивается, тогда мы можем быть уверены, что учение это ложное. На основании таких и им подобных доказательств мы отвергли подчинение одного пола другому. В подтверждение того, что подчинение женщины мужчине существенно несправедливо, мы между прочим приводили общераспространенный факт, что порабощение женщины неизменно встречается в таких обществах, которые стоят на низкой ступени развития, что прогресс единообразно сопровождается расширением женских прав и приближением к равенству с мужчиной. Если мы на место слова «женщина» поставим слово «дитя», то можно будет привести точно такие же факты и вывести точно такое же заключение. Если справедливо, что власть мужчины над женщиной была тем более притеснительна, чем грубее был век или чем ниже степень цивилизации народа, то справедливо также, что в тех же размерах и власть родительская отличалась большей или меньшей суровостью и неограниченностью. Пределы эмансипации женщины расширялись постепенно, по мере эмансипации всего общества; вместе с тем в тех же размерах постепенно уменьшалась деспотическая власть старого над молодым. В наш век мы видим постоянно возрастающее признание народных прав и в то же время без шума зреющее понимание прав женщины; рядом с этим развивается и стремление к системам воспитания, соединенным с меньшим принуждением, т.е. к практическому применению прав детей.

Тот, кто нуждается в примерах для объяснения гармонии между политическими и брачными отношениями и отношениями к детям, тот может найти их везде и во всем. Анализируя первобытное состояние людей, мы находим, что общество в этом периоде едва возможно, — так велика притязательность одного человека по отношению к другому; в то же время женщины были в рабстве, и если могли существовать, то обязаны были этим не предоставленным им правам, а терпимости со стороны какого-либо мужчины; дети могли жить только

вследствие подобной же терпимости и по желанию отца приносились в жертву богам.

В классические времена $\frac{5}{6}$ населения находилось в рабстве, и такое положение сопровождалось учением, что сын — собственность и раб своего отца, а жена на основании юридической фикции считается во власти точно так же, как и дети. В Индостане населяющие страну племена пали так низко в политическом отношении, что для них неограниченная монархия кажется единственной возможной формой правления; такое настроение сопровождается сожжением вдов и детоубийством. Ту же самую связь явлений мы видим и в Китае: там вполне авторитарное правление, и господствует общественное убеждение, что со стороны женщины непростительно обвинять своего мужа перед судом; непослушание со стороны сына или дочери считается там преступлением, которое занимает первое место после убийства. Наша собственная история также не лишена подобных примеров. Были времена, когда конституционная свобода существовала у нас только по имени, когда людям отказывалось в праве на свободу речи и убеждений, когда представители народа открыто подкупались, а правосудие продавалось за деньги; то были времена, вполне достойные законных постановлений о рабстве женщин. Зато изучающий их поражается суровостью обращения родителей с детьми и раболепием, которое обнаруживалось сыновьями и дочерьми по отношению к родителям. Семейные отношения конца последнего столетия характеризуются тем, что дети обращались к родителями со словами «сэр» и «мадам», сын или дочь должны были без рассуждений жениться или выходить замуж по назначению отца; в то же время политическая наша жизнь отличается господством аристократии, существованием партии нетерпимых, с лозунгом «церковь и король», и преследованием преобразователей. С того времени и до наших дней постоянно пропорционально уменьшались и суровость отеческой власти, и тягость политического притеснения. Выше было замечено, что та же самая связь замечается между быстрым возрастанием демократических чувств и не менее быстрым развитием более мягких систем юношеского воспитания.

Итак, изложенный выше закон объясняется бесчисленными примерами из истории человечества. Неизменное единообразие

нравственного настроения в социальных, брачных и семейных отношениях неизбежно обнаруживается на всех степенях и при всех видоизменениях человеческой цивилизации. Положение это едва ли даже требовало доказательств, потому что оно вытекает из очевидных истин. Характер человека неизбежно проглядывает во всех его действиях; подобным же образом и характеристические черты народа отпечатываются на всех его законах и обычаях. Все учреждения имеют один общий корень в человеческой природе — вот почему несовершенства этой природы должны одинаково отражаться на всех одновременных учреждениях. Они все вместе должны быть или справедливы, или несправедливы. Зло, которым искажается одно из них, должно исказить все. Изменение, которым вносится преобразование в одну сферу, преобразовывает все. Прогресс, которым совершенствуется одна из них, усовершенствует все.

Следовательно, тот, кто соглашается, что существует несправедливость в отношениях между классами общества, тот, кто полагает, что подобная же несправедливость обнаруживается в отношениях между мужчинами и женщинами, должен неизбежно признать, что такая же несправедливость господствует и в отношениях между взрослыми и малолетними. Он должен согласиться также, что учение о подчиненности детей безусловно принято среди самых варварских народов и постоянно ограничивается под влиянием развития цивилизации и что это обстоятельство служит к полнейшему его опровержению.

§ 4. Если принудительное воспитание справедливо, то оно должно иметь хорошие последствия, а если несправедливо — то дурные. Следовательно, анализируя результаты воспитания, мы получим достаточное число данных за и против учения, что свобода детей должна быть равна свободе взрослого человека.

Можно сильно подозревать, что принудительное воспитание не достигает своей цели, если принять в соображение, что новейшие воспитательные системы, как уже было сказано, явно стремятся покинуть эту методику. Мы имеем основательные причины к заключению, что употребление грубой силы для целей воспитания заключает в себе радикальное зло. Употребление этой силы значительно уменьшилось с тех пор, как в последнее время развитие юношества обратило на себя всеобщее

внимание, как об этом предмете стали писаться книги, стали читать лекции, для его разъяснения стали делать опыты. На этом мы, впрочем, не будем останавливаться — все подобные заключения, выведенные из утилитарных соображений, могут быть оспариваемы; мы будем судить о принудительном воспитании не по тем результатам, которые должны произойти из него по расчетам вероятности, а по тем, которые должны произойти неизбежно.

Цель воспитания — развитие свойств и характера человека. Общее стремление родителей и воспитателей состоит в том, чтобы выработать из ребенка человека с пропорционально развитыми и гармоническими свойствами. Для достижения такого результата стараются уменьшать в нем необузданные склонности, возбуждать неразвитую впечатлительность, усиливать понимание, развивать вкус, поощрять одни чувства и сокращать другие. Следовательно, те, которые защищают употребление власти, а если нужно, то и силы, в обращении с детьми, должны предполагать, что это — самое лучшее средство для развития характера ребенка. Родителям приходится завести известный порядок в детской. Отчасти под влиянием укоренившихся в них взглядов и господствующих обычаев, а отчасти и по склонности, они решают в пользу безусловного деспотизма; слово свое они объявляют высшим законом, они произносят анафему против неповиновения, и розгой решаются окончательно все споры. Подобная система дисциплины признается, следовательно, лучшим приемом для уменьшения необузданных склонностей, для возбуждения неразвитой впечатлительности и т.д., как сказано было выше. Предположите, что мы наблюдаем, как действует этот план воспитания. Беспокойный мальчишка удовлетворяет собственным своим склонностям, не обращая внимания на удобства других; он, может быть, надоедает шумными играми или забавляется тем, что дразнит товарища, или старается присвоить себе одну игрушку, которые предназначены для всех. Вмешательство какого-нибудь рода явно неизбежно. Родители с нахмуренными бровями и грозным голосом приказывают ему отстать; когда обнаруживается что-то вроде неохоты повиноваться, они резко прикрикнут: «Делайте, что вам приказывают!», в случае нужды грозят розгами или темной комнатой, одним словом, употребляют принуждение или грозят

насилием до тех пор, пока добьются послушания. Ребенок поупрямится и уступает, но его мрачный вид показывает возбужденное в нем ожесточение. После этого батюшка с матушкой разводят в камине огонь и самодовольно принимаются за чтение газет; они убеждены, что все теперь в порядке, но, по несчастью, они ошибаются.

Если бы дело заключалось в том, чтобы прекратить шум или механически передать игрушку из одних рук в другие, то, может быть, употребленный прием и оказался бы самым лучшим. Против подобных распоряжений ничего нельзя было бы сказать, если бы только нужно было исполнение приказания и если бы побуждение, под влиянием которого ребенок действовал, не имело никакого значения. Но в том и дело, что в этом случае нужно было достигнуть совершенно другого. Нужно было произвести изменение в свойствах ребенка, а не в его поведении. Тут следовало иметь дело не с поступком ребенка, а с чувствами, из которых проистекал поступок. В этом поступке осязательно обнаружился эгоизм, равнодушие к желаниям других, явная наклонность к тирании, покушение захватить источник благополучия, предназначенный для всех, — одним словом, тут в малых размерах обнаружилась вся та несимпатическая сторона нашей природы, которая служит главным источником наших общественных зол. Чего же нужно было достигнуть в этом случае? Ясно, что нужно было достигнуть изменения наклонностей ребенка. Какая задача подлежала разрешению? Понятно, что нужно было породить такое душевное расположение, которое сделало бы все эти поступки невозможными, если бы оно существовало прежде. К какому концу должно было привести все это? Не подлежит сомнению, что в этом случае нужно было образовать характер, который сам собою порождал бы поведение, обличающее большую степень великодушия. Или, говоря определеннее, нужно было усилить ту симпатию, слабость которой породила дурное поведение.

Симпатия может усиливаться только от упражнения. Каждое наше свойство развивается только посредством своего специального отправления. Мускул развивается от сокращения, интеллектуальная сила — от понимания и мышления, нравственное чувство — путем ощущения. Следовательно, симпатию можно развивать, только возбуждая симпатические ощущения.

Эгоистического ребенка можно сделать менее эгоистическим, только возбуждая в нем сочувствие к желаниям других. Когда этого не сделано, то ничего не сделано.

Рассмотрите же положение, в котором находится это дело. Нужно сделать более гуманным жадного и сухого ребенка, нужно развить в нем зародыш лучших чувств, и для этой цели употребляются нахмуренные брови, грозы и палка! Нас уверяют, что мы должны порождать страдание или возбуждать опасение боли, чтобы развить способность, которая заставляет нас обращать внимание на счастье других. Задача: произвести в душе ребенка симпатическое ощущение; решение: прибить его или пошлите его спать без ужина!

Итак, нам стоит только теории подчинения дать определенную форму, и ее нелепость сделается очевидной. Нам стоит только сопоставить средство, которое употреблено, и результат, к которому оно должно привести, и мы поражены совершенной его негодностью. Вместо того чтобы создать внутреннее состояние, которое производило бы лучшие поступки, принуждение может явно породить только внешние проявления, имеющие грубое сходство с теми, которые создаются истинным чувством. Принуждение в семействе, точно так же как и в обществе, может только ограничить — оно не в состоянии воспитать. Воспоминание о смиренном доме и страх перед полисменом могут ограничить разрушительные наклонности вора, но они не производят никакого изменения в его нравственном настроении; угрозы отца могут заставить ребенка до известной степени внешним образом сообразоваться с правилами честности и прямоты, но они не в силах породить искреннюю привязанность к ним. Кто-то выразился очень правильно, что строгостью можно порождать только лицемеров — это крайний предел ее успехов; она никогда не в состоянии творить обращений.

§ 5. Тем, которые не верят возможности управлять людьми иначе как посредством строгой воли и сильной руки, можно посоветовать посетить дом умалишенных *Hanwell Asylum*. Люди, которые называют себя практическими, которые гордятся своими полудикими теориями и осыпают сарказмами все движения в пользу мира, в пользу отмены смертной казни и т.д., — пусть эти люди посмотрят собственными своими глазами, как

возможно без помощи силы справиться с целой тысячей умалишенных, пусть они увидят и устыдятся. Пусть эти насмешники, которые во всем видят сентиментальность, подумают об ужасах, встречающихся в обыкновенных сумасшедших домах, где господствуют плач, и вздохи, и скрежет зубов, где раздается мрачный звук цепей, где среди ночной тишины слышны крики, заставляющие запоздавшего прохожего убегать от ужаса. Пусть они сравнят со всем этим тишину, довольство, покорность больных, улучшение их душевного и телесного здоровья, более частое выздоровление, которые показались вслед за оставлением системы сумасшедшей рубашки¹, и пусть они устыдятся своих мнений.

Возможно обращаться без принуждения с бедным умалишенным, у которого чувства возбуждены болезненно, у которого рассудок омрачен, которого постоянно раздражают образы больного воображения, у которого душа блуждает в таком безнадежном хаосе, что даже самый жаркий защитник человеческих прав сделает для него исключение. Неужели же после этого нельзя без принуждения вести ребенка? Неужели кто-нибудь будет утверждать, что умалишенными можно управлять посредством убеждения, а детьми — нет? Что метод нравственного влияния — наилучший для тех, которые лишены рассудка, а система физического принуждения — для тех, которые обладают им? Едва ли. Самый смелый защитник семейного деспотизма не будет в состоянии сказать этого. Добросовестным поведением можно заслужить доверие даже со стороны умалишенного. Нежное внимание и симпатическое обращение заставляют душевнобольного, несмотря на омраченный его ум, убеждаться, что он окружен друзьями, а не демонами. Под влиянием такого убеждения этот раб разнороднейших беспорядочных побуждений делается, по крайней мере, относительно более покорным. Насколько же легче будет вести ребенка, если на него будут действовать таким же образом! Заслужите доверие ребенка, убедите его вашим поведением, что его счастье лежит у вас на душе, пусть он сам убедится, что вы умнее его, пусть он на опыте узнает, как полезно следовать вашим указаниям и как вредно пренебрегать ими, и вы можете быть уверены, что вам

¹ См. Dr. Conolly, on Lunatic Asylums.

будет легко управлять им. Влияние вы можете приобрести не путем авторитета, не путем рассуждений, а посредством поощрения. Пусть обнаруживается во всем вашем поведении, что вы к вашему ребенку чувствуете полнейшую дружбу, и вы можете его вести, куда вам угодно.

Малейшее проявление одобрения или неодобрения с вашей стороны будет для него законом. Вы приобрели себе ключ от его чувств; вместо желания мести, которое возбуждается строгим обращением, вы одним словом можете вызвать и слезы, и раскату стыда, и взрыв симпатии, вы можете возбудить такое ощущение, какое вам угодно, — одним словом, вы можете породить что-нибудь похожее на воспитание.

§ 6. Если вы хотите, чтобы мальчик сделался хорошим механиком, вы стараетесь развить его ловкость посредством обучения с ранних лет. Юный музыкант, который готовится быть артистом, каждый день проводит несколько часов, играя на инструменте. Человек, который хочет быть художником, проходит первоначальный курс рисования контуров и теней. Для будущего счетчика необходимо пройти полный курс арифметических упражнений. Соображение развивается изучением математики. Всякого рода воспитание основано на том принципе, что разработка способности должна предшествовать успехам и силе. Результаты повсеместных наблюдений этого рода выражены людьми в пословицах: «привычка — вторая натура», «упражнение ведет к совершенству» — на этих наблюдениях, очевидно, основаны все системы воспитания. Правила педагогики сельской учительницы и выводы какого-нибудь Песталлоцци одинаково проникнуты теорией, что ребенка следует приучать к тем усилиям тела и души, которые будут необходимы для него в последующей жизни. Воспитание имеет в виду или эту цель, или ничего.

Что же всего более необходимо человеку в качестве нравственного существа? Какие из его способностей мы должны развивать всего тщательнее? Не следует ли ответить, что прежде всего надо развить способность руководить самим собой? Эта способность составляет существенную отличительную черту человека от животного. По причине этой способности человека называют существом, одаренным возможностью поучаться из

прошедшего и предвидеть будущее. Развитие этой способности отличает цивилизованного человека от дикаря. Превосходство в этом отношении составит одно из совершенств идеального человека. Воспитание или по крайней мере нравственное воспитание стремится к тому, чтобы уменьшить наклонность человека увлекаться первым впечатлением, отучить его метаться туда и сюда под влиянием разнородных желаний, которые по очереди способны овладевать им, и приучить его к самообладанию, к обсуждению своих поступков, к решениям, созданным с участием всех чувств, зрело обдуманном и хладнокровно постановленным.

Сила самообладания точно так же, как и всякая другая сила, может развиваться только упражнением. Тот, кто хочет управлять своими страстями в зрелом возрасте, должен приучаться управлять ими в течение своей молодости. Взгляните после этого, какую нелепость представляет принудительная система воспитания. Мальчика следует приучать к тому, чтобы он был сам для себя законом, потому что таким образом ему придется жить впоследствии — вместо этого закон для него создается другими. Его следует приготовить к тому дню, когда он оставит родительский кров, его нужно приучить постановлять границы для своих действий и добровольно соблюдать эти границы — вместо этого границы постановляются для него другими, и ему говорят: «Переступайте их на свой риск». Мы имеем перед собой существо, которое через несколько лет делается своим собственным господином, и для того, чтобы приспособить его к этому состоянию, ему дается право распоряжаться собой как можно менее. Во всех других отношениях считается необходимым, чтобы ребенок упражнялся в том, что придется делать взрослому, относительно же самой существенной из всех способностей — способности руководить собою — придерживаются того мнения, что чем менее она упражняется, тем лучше. Немудрено после этого, что люди, которых воспитывали посредством самой строгой дисциплины, часто выходили самыми дикими из дикарей. Такой результат всего скорее можно предвидеть.

Система материального насилия не только не делает детей способными для будущего их положения, она старается сделать их совершенно неспособными. Это была бы лучшая система воспитания, если бы рабство было судьбой ребенка в будущем,

если бы последующую его жизнь ему пришлось провести под управлением русского автократа или американского владельца хлопчатобумажных плантаций; воспитание это приучило бы его к тому полному подчинению, которое необходимо было бы для него впоследствии. Но именно настолько, насколько это воспитание делает его способным к рабству, оно делает его неспособным быть свободным среди свободных людей.

§ 7. Для чего, однако, вообще нужно воспитание? Почему ребенок не может вырасти сам собою и сделаться нормальным человеком? Почему нужно стеснять одни из его наклонностей, развивать в нем другие и искусственным путем придавать его душевным свойствам иную форму, чем та, которую они приняли бы сами собою? Нет ли тут аномалии в природе? Во всех прочих отраслях жизни мы находим, что семя и зародыш достигают полной зрелости без всякой внешней помощи. Бросьте желудь в землю, и в надлежащее время из него вырастет здоровый дуб без всякой помощи, ухода и воспитания. Насекомое проходит все свои преобразования без всякого постороннего пособия; таким образом, оно достигает окончательной своей формы и приобретает все необходимые для него инстинкты и способности. Молодая птица и молодое четвероногое не нуждаются ни в каком принуждении, чтобы приобрести способности и привычки, необходимые для последующей их жизни. Их тела и их души сами собою приобретают полную способность исполнять свое назначение на земле. Как же могло случиться, что только человеческая душа стремится к неправильному развитию? Не существует ли для этого какой-либо особенной причины? Ясно, что это должно быть так, но если это так, то истинная теория воспитания должна понять эту причину.

Не подлежит сомнению, что нравственное устройство человека, приспособляющее его к его первобытной хищнической жизни, отличается от того, которое необходимо, чтобы сделать его способным к жизни общественной, к жизни, порождаемой размножением человеческого рода. В предыдущем (глава II) исследовании было объяснено, что закон приспособления производит переходные формы от одного устройства к другому. Так как мы живем среди этого переходного состояния, то мы должны встречаться с различными явлениями, которые возможно

объяснить только тем, что человечество находится теперь в состоянии, приспособленном отчасти к двум противоположным положениям и не приспособленным вполне ни к одному из них, что оно только в известной степени лишилось свойств, необходимых для дикой жизни, и только в несовершенных размерах приобрело те, которые нужны для жизни общественной. Только что указанная аномалия принадлежит к одному из тех явлений, которые выходят из подобного положения. Наклонность каждого нового поколения к неправильному развитию указывает на степень видоизменения, которое еще необходимо в будущем. В ребенке обнаруживаются свойства первобытного человека во всех тех случаях, когда он требует ограничения. Эгоистические ссоры в детской, взаимные преследования во время детских игр, ребяческая ложь и ребяческое воровство, жестокое обращение с низшими существами, наклонность к разрушению — во всем этом обнаруживается стремление доставлять себе удовлетворение за счет других, все это свойства человека, приспособленные к дикому состоянию, все это делает его неспособным к жизни цивилизованной.

Мы видели, что это несоответствие между свойствами человека и условиями его жизни постоянно уменьшается. Мы видели, что инстинкты должны умирать в нас от бездеятельности, а чувства, вызываемые общественным состоянием, должны развиваться от упражнения, и если законы жизни останутся неизменными, то видоизменения в нашей природе будут происходить до тех пор, пока наши желания будут доведены до полного соответствия с окружающими нас обстоятельствами. Когда, наконец, наступит этот период окончательного развития, где нравственность сделается органическим свойством человека, тогда только исчезнет и аномалия в развитии качеств детей. Юный человек перестанет быть исключением в природе, у него не будет наклонности к такому развитию, которое делает его неспособным к последующей жизни, из него идеальный человек будет вырабатываться сам собою, и каждое его побуждение будет соответствовать требованиям нравственного закона.

Следовательно, воспитание в тех отношениях, в которых оно касается развития характера ребенка, служит только для временной цели и должно под конец исчезнуть вместе со всеми

другими учреждениями, порожденными неприспособленностью человека к условиям общественной жизни. Из этого мы видим, что система воспитания посредством принуждения вдвойне несогласна с нравственным законом. Она не только приводит к прямому нарушению закона, но дело, которое она совершает таким жалким образом, сделается совершенно излишним, когда закон достигнет окончательного своего господства. Насилие в кругу семейства точно так же, как сила судебной власти, есть не что иное, как дополнение безнравственности. Мы нашли, что безнравственность есть ни более ни менее как неприспособленность; недостаток приспособленности должен со временем исчезнуть, и таким образом положение, на котором основывается эта старая теория воспитания, сделается, наконец, ложным. Розги и палки, жезлы и свистки полицейских, ключи тюремщика, сабли, штыки и пушки, которыми нации ограничивают друг друга — все это порождения несправедливости, все это может существовать только до тех пор, пока она существует, и эта родственная связь неизбежно сообщает ей свою долю испорченности. Принуждение зародилось из человеческого несовершенства, оно управляет средствами, взятыми из этого несовершенства, оно лишится своих прав, когда начнется царство справедливости во всех своих проявлениях, в воспитании и всюду; оно по существу своему порочно и дурно.

§ 8. Еще раз мы невольно замечаем неизбежное несоответствие между совершенным законом и несовершенным человеком. Вся кажущаяся утопичность вышеизложенных учений происходит не от заключающейся в них ложности, а от наших собственных недостатков. Некоторая неприменимость не должна сбивать нас с толку, а напротив, ее следует ожидать. Затруднения, которые мы встречаем при стремлении действовать согласно с нравственным законом, прямо пропорциональны расстоянию, которое отделяет нас от вполне нравственного состояния общества, и это как по отношению к детям, так и во всех других отношениях. Нам, однако же, менее всего следует хвалиться этим затруднением или указывать на него для своего оправдания. Правильное отношение наше к этому предмету очень ясно: мы должны выполнять закон настолько, насколько это от нас зависит, и мы

должны быть вполне уверенными, что ограничения, неизбежно порождаемые нашими современными условиями, слишком рано дадут себя почувствовать и обратят на себя внимание.

Между тем не излишне заметить, что самое существенное препятствие к правильному образу действий в деле воспитания заключается скорее в свойствах родителей, чем в свойствах детей. Зло происходит не от того, что ребенок недостаточно впечатлителен к другим влияниям, кроме влияния силы, но от того, что родители недостаточно добродетельны, чтобы произвести эти впечатления. Отцы и матери распространяются о беспокойствах, которые причиняются им поведением детей, но весьма странно, что они при этом всю вину сваливают на дурные наклонности своего потомства и ничего не приписывают своим собственным. Они каются на коленях и называют себя окаянными грешниками, а когда слушаешь их жалобы на дурное поведение их сыновей и дочерей, то подумаешь, что они сами чисты и беспорочны. Они позабывают, что развращенность их детей есть не что иное, как воспроизведение их собственной развращенности. В этих маленьких существах, которых они так много бранят и так часто бьют, они могут увидеть зеркало, где отражается их собственный эгоизм. Они бы удивились, если бы им сказать, что они так же дурно ведут себя по отношению к детям, как дети ведут себя по отношению к ним. Но если бы они чистосердечно разобрали свое поведение, они увидали бы тогда, что половина их приказаний дается для целей собственного их удобства и удовлетворения, а вовсе не из видов исправления. «Я не хочу этого беспокойства!» — кричит отец, которому помешала крикливая детская группа, и когда беспокойство прекращается, он утверждает, что он сделал что-то для водворения в семействе порядка. Может быть, он и сделал, но что? Он обнаружил ту же самую дурную наклонность, которую он старался ограничить в своих детях: он показал решимость жертвовать счастьем других для своего собственного счастья. Наблюдайте также стимул, который заставляет наказывать неповинующееся дитя. Вместо заботы о благосостоянии маленького преступника, строгий взгляд и сжатые губы показывают гнев оскорбленного воспитания; в них выражается скрытая мысль вроде следующей: «Вы — маленький негодяй; мы скоро увидим, кто из нас останется господином». Обнажите корни теории родительской

власти, и окажется, что она вырастает не из любви людей к их детям, а из любви к господству. Тот, кто в этом сомневается, пусть прислушается к выражениям, которые обыкновенно употребляются при выговорах детям: «Как вы *смеете* не слушаться меня?» — и пусть он сообразит, что показывает такое восклицание. Нет, нет, воспитание посредством нравственного влияния несравненно практичнее даже и при настоящих обстоятельствах, лишь бы родители были достаточно развиты, чтобы пользоваться им.

Справедливо, что препятствие до известной степени обоюдное. В известных случаях может оказаться невозможным действовать убеждением даже на лучшие экземпляры детей, которые у нас встречаются, а если иметь дело с посредственной натурой, то возможность обходиться без принуждения должна относительно уменьшаться. Несмотря на это, можно достигнуть всего, что только возможно желать, с помощью терпения, самоотвержения, правильного понятия о душевных движениях детей и некоторой избирательности в выборе средств. Если родители в своих действиях, в словах и в манерах показывают детям, что их чувства вполне справедливы, то только редко может случиться, что они не возбудят соответствующих чувств в душе своего ребенка.

§ 9. Остается обратить внимание еще на одно возражение. Может быть, скажут, что если права детей равны правам взрослых, то и гражданское положение их должно быть одинаково, и они должны иметь столько же политических прав. Это заключение имеет опасный вид, и легко себе представить торжество тех, которые его произносят, и те улыбки, с которыми они распространяются о нелепости подобного вывода. Несмотря на это, ответ тут прост и решителен. Для того, чтобы породить несообразность, необходимо соединение двух вещей; и прежде чем произнести решительный приговор, нужно привести в известность, на стороне которой из двух несообразных вещей находится причина несообразности. В настоящем случае несообразность заключается между учреждением правительства, с одной стороны, и известным выводом из закона о равной свободе — с другой. На которую из этих двух сторон должно падать обвинение в несообразности? В предположенном выше возражении

подразумевается, что несообразность должна падать на вывод, сделанный из закона о равной свободе, а на стороне учреждения правительства должна оставаться правильность. Между тем несообразность находится именно на стороне учреждения правительства. Если бы учреждение правительства было в существе своем правильно, то нужно было бы предположить, что наш вывод ошибочен; но так как оно есть не что иное, как порождение безнравственности людей, то нужно его осуждать за то, что оно несообразно с нравственным законом, а не нравственный закон за то, что он несообразен с этим учреждением. Если бы все повиновались нравственному закону, то не было бы правительства; если бы не существовало правительства, то из нравственного закона нельзя было бы выводить политические права детей. Итак, приведенная нелепость относится к современному дурному устройству общества, а не к ошибке в нашем заключении.

§ 10. Следовательно, мы можем сказать относительно распространения закона о равной свободе на детей, что он предписывается естественной справедливостью и оказывается полезным на основании утилитарных соображений. Мы нашли, что права детей выводятся из той же аксиомы и путем той же аргументации, как и права взрослых. Если мы будем отвергать эти права, то запутаемся в затруднениях, из которых не оказывается выхода. Подчиненное положение детей есть признак дурных и неправильных семейных отношений — это доказывается связью между таким положением детей и варварством, однородностью явлений детской подчиненности и социального и брачного рабства и тем, что подобное зависимое положение постоянно уменьшается с развитием цивилизации. Негодность принуждения в обращении с детьми доказывается тем, что оно вовсе не приводит к той цели, к которой должно приводить нравственное воспитание, — оно не развивает чувств симпатии; оно стремится возбуждать чувство противодействия и ненависти; оно неизбежно мешает развитию самой существенной из наших способностей — способности самообладания. В то же время отсутствие принуждения благотворно действует на высшие чувства и поставляет в необходимость постоянно к ним обращаться; таким образом, оно упражняет эти чувства и совершенствует

характер. В то же время оно приучает ребенка к условиям свободной жизни, которую ему придется вести впоследствии. Оказывается также, что хотя теперь и вполне необходимо нравственное воспитание детей, но такая необходимость только временная, и что, следовательно, истинное учение о правильных отношениях к детям не должно предполагать его вечным, как это делается учением о господстве и подчинении. В заключение мы убеждаемся, что как бы ни было велико несоответствие между сделанными нами выводами и ежедневным опытом, но несоответствие это не должно быть приписано ошибке в выводах, а неизбежности противоречия между совершенным законом и несовершенным состоянием человечества.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XVIII | ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

§ 1. Наше начало есть основное начало. Оно включает в себе первоначальное требование для осуществления воли Божией. Всякое толкование этой воли приводит к тому, что в нем заключается самое неизбежное условие для ее выполнения. Если мы априористическим путем будем стараться понять виды творца, то немедленно придем к закону о равной свободе (глава III). Если мы обратимся вообще к особенностям человеческого устройства, то окажется, что закон о равной свободе прямо из них вытекает (глава IV). Если мы пойдем далее в нашем исследовании и будем изучать устройство человека в его частностях, то откроем в нем способность, которая имеет своим назначением внушать ему идею закона равной свободы и побуждать его к ее осуществлению (глава V). С другой стороны, мы приходим к тому убеждению, что закон этот есть прямой вывод из неизбежных условий существования. К этому приводит нас следующее заключение. Жизнь зависит от известного рода деятельности; уничтожьте вполне свободу упражнять способности, и вы получите страдание или смерть в известной степени. Это справедливо относительно людей всякого рода, как диких, так и цивилизованных, как уединенных, так и живущих в обществе. Прежде чем возможно общество, необходима жизнь; поэтому основной принцип жизни должен предшествовать основному принципу общества: он должен установить этот последний принцип и управлять им. Выражаясь яснее, мы должны сказать: свобода упражнять свои способности есть основное условие индивидуальной жизни; свобода каждого, ограниченная только такой же свободой всех, есть основное условие общественной жизни.

Закон равной свободы имеет больший авторитет, чем все другие законы, потому что он выводится прямо из воли Божией и составляет основание правильного общественного устройства. Цель творения требует, чтобы все было ему подчинено. Учреждения и социальные формы должны вполне приспособляться к его предписаниям. Закон этот существует с начала творения, а учреждения и формы со вчерашнего дня. Закон этот неизменен, а они постоянно изменяются. Он есть часть совершенного, они же принадлежат к несовершенствам. Он будет так же долго

существовать, как будет существовать человечество, а они умрут завтра. Случайное неизбежно должно склоняться перед необходимым; все эти условные учреждения должны непременно подчиняться безусловному нравственному закону.

§ 2. От времени до времени мы указывали на школу политиков, которые считают себя по преимуществу философами и которые отвергают все это. Они не признают высшего авторитета, перед которыми все человеческие учреждения должны преклоняться. Хотя они этого и не высказывают, но по смыслу своего учения они вместе с Архелаем признают, что, в сущности, ничто не может быть правым или неправым; только через посредство решения государства оно делается тем или другим. Если верить им, то от правительства зависит определение, в чем должна заключаться нравственность, а не от нравственности, в чем должно заключаться управление. Они не верят никакому пророческому принципу, которым мы должны руководиться и которого «да» или «нет» для нас обязательно; их дельфийский оракул — палата общин. Руководствуясь их понятиями, можно подумать, что люди живут и двигаются и даже обязаны своим существованием исключительно законодательным дозволениям. Право человека делать то или другое не есть естественное право, а предоставленное ему право. Вопрос о том, имеет ли гражданин право на произведение своих рук, может быть решен только парламентским большинством. Если большинство выскажется утвердительно, то он получит это право, если отрицательно, то нет.

Для читателя, который уже знаком с предыдущим изложением, не нужно опровергать ложность такого учения. Вышеизложенное составляет существенную часть утилитарной теории, несостоятельность которой уже несколько раз была доказана, а с несостоятельностью этого учения должны пасть и все зависящие от него положения. Учение это неоднократно опровергалось в предыдущих главах, а потому положение, что люди не имеют никаких прав, кроме тех, которые состряпаны для них правительствами, могло бы быть оставлено нами в покое. Существуют, однако же, некоторые доказательства неверности этого положения, которые недурно здесь привести. Сначала мы рассмотрим, откуда оно произошло.

§ 3. Когда человек первоначально вступал в состав того органического тела, которое называется обществом, тогда в нем отталкивающая сила была чрезмерно развита, а сила притягивающая была недостаточна. Его страсти были сильны, его симпатии слабы. Наклонности, которые приспособляли его к дикой жизни, неизбежно порождали стремление к войне между ним и его соседями. Первоначальные условия его жизни были условиями вечного антагонизма; и эти привычки антагонизма он, естественно, должен был внести с собою в общественную жизнь. Задиранье, споры, возбуждение гнева и ненависти, месть — вот процессы, которые постоянно происходят среди членов первобытной общины и постоянно разделяют ее. Отсюда происходит и малочисленность состава первобытной общины. Как скоро население возрастало, оно тотчас разделялось. Племена разделялись на роды, от родов отделялись дружины или шайки. Только с развитием цивилизации оказались возможными более обширные союзы. Но даже и эти союзы должны были пройти тот фазис роста, вроде феодализма с его мелкими владельцами и правом частных войн, который опять-таки указывал на большее развитие их центробежной силы.

Для того, чтобы помешать взрыву, сдавливающее начало должно быть пропорционально центробежной силе атомов материи. Точно так же и связывающая сила в обществе должна быть пропорциональна силе, которая расталкивает отдельных его членов, иначе общество это разлетится на части. Для того чтобы произвести даже малочисленные первобытные союзы, должно существовать сильное концентрирующее влияние; сила этого влияния должна была быть строго пропорциональна дикости народа, иначе и эти малочисленные общины не могли бы существовать. Такого рода влияния делаются возможными вследствие чувства благоговения, почитания силы, понятий о верности, одним словом, всего того, что Карлейль называет культом героев. Через посредство этих чувств начинается организация общества. Там, где варварство всего значительнее, там и чувства эти всего сильнее. Отсюда происходит тот факт, что все первобытные предания изобилуют рассказами о сверхъестественных существах, о богатырях и полубогах. Баснословные рассказы о Вакхе и Геркулесе, о Торе и Одине*, о различных богах и полубогах, наполняющих древнейшую историю

всех племен, показывают силу суеверного страха, с которым тогда смотрели на всякое превосходство. Убеждение некоторых островитян Полинезии, что только их начальники имеют души, представляет нам современный пример почти невероятного чувства уважения к высшим, под влиянием которого находится дикий человек. Только таким путем в этом состоянии возможно достижение власти как для правителя, так и для учителя, и для священника. То же самое чувство произвело баснословные понятия о Чингисхане, придало пророческие свойства Зороастру, Конфуцию, Магомету и породило убеждение в непогрешимости папы. Когда оно уже не обожает более силу, оно все-таки придает ей божественные атрибуты. Войти без приказа туда, где присутствует монарх, — это значило в Ассирии навлечь на себя смерть. Неподвижные восточные племена приписывают своим императорам сношения с небом. Шамиль, пророк и властелин черкесов, считался в непосредственной связи с существом божества. Солдаты молятся за царя как за «бога земного». Верность вассала по отношению к своему феодальному владельцу, преданность горного кельта по отношению к своему начальнику — все это были порождения того же самого чувства. Верность считалась тогда самой высшей добродетелью, измена — самым мрачным преступлением.

Это суеверное обожание силы уменьшается с успехами цивилизации. Вместо того чтобы смотреть на монарха как на бога, начинают смотреть на него как на человека, управляющего по воле Божией, как на «помазанника Божиего». Подчинение делается менее раблепным. Подданные не падают ниц перед правителем, рабы не целуют более ног своих господ. Послушание перестает быть неограниченным; люди хотят уже веровать по своему выбору. Постепенно начинает расти то чувство, которое заставляет человека защищать свои права и по симпатии уважать права других; постепенно в человеке укрепляется чувство самообладания, и он делается все более и более способным жить в согласии со своими ближними. Сообразно этому постепенно уменьшается необходимость внешнего давления, а с тем вместе уменьшается и то чувство, которое заставляет его подчиняться этому давлению. Это необходимое последствие закона приспособления. Чувство должно терять силу именно настолько, насколько уменьшается в нем необходимость. По мере того как вырастает новый

регулятор, старый должен отживать свой век. Первое улучшение в системе абсолютного деспотизма состоит в замене отчасти одного руководителя другим. Смешанные конституции показывают пример совместного участия в общественной жизни двух деятелей. Один из этих деятелей приобретает все более господства, а другой дряхлеет: божественное право королей изгоняется, и монархическая власть делается номинальной.

Приспособление людей к общественной жизни сделало уже значительные успехи; необходимость внешнего стеснения уменьшилась, вследствие этого и уважение к власти, которая делает стеснение возможным, значительно ослабло; оно ослабло до того, что ежедневно являются карикатуры на обладателей этой власти, люди слушают национальный гимн с шляпами на головах. Несмотря на это, перемена еще далеко не совершенна. Свойства первобытного человека далеко еще не вымерли в нас. Мы до сих пор переступаем за пределы чужой свободы, мы до сих пор стараемся осчастливить себя за счет нашего ближнего. Наш дикий эгоизм проявляется в торговле, в законодательстве, в общественных учреждениях и даже в развлечениях. Лавочник старается попользоваться на счет покупающей у него леди, покупательница-леди старается лавочника принудить к уступке. Различные классы общества ссорятся из-за того, что они называют своими интересами, и неправда защищается теми, которые от нее выигрывают. Дух каст пытается свои жертвы нравственными пытками с таким же хладнокровием, с каким индеец пытается своего врага. Игроки равнодушно наполняют свои карманы выигранными деньгами; наш биржевой игрок не заботится о том, кто потеряет, лишь бы ему получить свою премию. Люди и до сих пор проявляются немного лучше варваров, одетых в грубую холстину, несмотря на их общественное положение, несмотря на дело, которым они заняты; они одинаково нелепы тогда, когда они постановляют хлебные законы, и тогда, когда они толкаются у дверей театра.

Мы до сих пор требуем цепей; нам нужны правители, которые бы надевали их на нас; нам нужно обожание власти, которое вынуждало бы к повиновению ей. Именно настолько, насколько в нас недостает любви к божескому закону, настолько мы должны призывать страх перед законом человеческим, который бы заступил на его место. В том же самом размере,

в котором закон человеческий необходим для нас, необходимо и уважение к этому закону, которое бы вынуждало повиновение. Люди до сих пор находятся под влиянием этого чувства, и мы должны ожидать, что присутствие этого чувства влияет на их обычаи, верования и на их философию.

Вот каким образом произошло учение об утилитарной идее правительства. Это самое последнее и самое утонченное проявление наклонности восхвалять государство за счет личности. Были написаны книги, чтобы доказать, что государи — безусловный закон для своих подданных: поставьте на место слова «государь» слово «законодательство», и вы будете иметь утилитарное учение. Оно только заменяет божественное право королей божественным правом правительств. Это демократизированный деспотизм. Это среднее между старинным восточным взглядом, на основании которого граждане считались частной собственностью правителя и вовсе не имели никаких прав, и окончательным положением общества, где права признаны будут вполне и будут считаться неприкосновенными. Тут за гражданами признаются права, но только с разрешения парламента. Таким путем указывается естественное место для утилитарной философии; это — явление, сопровождающее наш прогресс от прошедшего рабства к будущей свободе. Это одно из ряда верований, через которые человечество должно было пройти. Оно точно так же естественно для известного фазиса человеческого развития, как и все его предшественники. Оно должно потерять свое значение, как скоро наша приспособленность к общественной жизни увеличится.

§ 4. Одним только путем возможно понять, каким образом учение Руссо об общественном договоре могло распространиться в таких обширных размерах; люди нуждаются в теории какого бы то ни было рода, и если они не имеют ничего лучшего, то готовы привязаться к нелепости. Вера в подобное учение сделается понятной, если мы обратим на это внимание. Люди собраны были вместе под властью правительства и закона. По-видимому, в целом такое устройство должно было оказаться благотворным. Отсюда следовало совершенно естественное, хотя и ложное, заключение, что государственная власть есть нравственное учреждение. Как скоро государственная власть

признается нравственным учреждением, то необходимо дать ей рациональное основание, защищать ее и согласить со справедливостью и истиной. Под влиянием такого стимула создана была теория о первоначальном договоре, заключенном между отдельными личностями, с одной стороны, и обществом или действующими за него агентами — с другой. Личности обязались повиноваться, а общество — охранять повинующихся. Во имя этого предполагаемого договора правительство продолжает пользоваться властью и требовать повиновения.

Что люди не думающие удовлетворились таким объяснением, это неудивительно; но странно, что оно заслужило доверие между людьми развитыми. Стоит только вспомнить о той массе решительных возражений, которые можно сделать против такого учения.

Прежде всего, бросается в глаза то, что это предположение чисто выдуманное. Прежде чем мы подчинимся законодательной власти в силу контракта, заключенного будто бы нашими праотцами, мы, без сомнения, должны иметь некоторые доказательства, что такой контракт действительно был заключен. Однако же доказательств никаких не представлено. Напротив, все факты, которые мы можем привести в известность, скорее убеждают нас, что в первобытных социальных формах, в состоянии диком, патриархальном и феодальном, власти предоставлялось право на безусловное повиновение. Если в таком положении правитель оказывал своему подвластному покровительство, то это только потому, что он мстил за покушение захватить над его подданными такую же власть, какую имел он сам. Такое заключение вполне соответствует тому, что нам известно о верноподданничестве позднейших времен.

Затем, если мы даже предположим, что контракт был заключен, то это не подвинет нас далее, потому что он неоднократно был уничтожен нарушением его условий. Нет ни одного народа, среди которого не бывало бы от времени до времени восстаний, и нет ни одного правительства, которое в бесчисленных случаях не изменяло бы обязанности оказывать обещанное покровительство. Каким же образом договор этот может почитаться обязательным, когда прежде всего неизвестно, был ли он заключен, а затем, если он и был заключен, то он уже нарушен обеими сторонами?

Если мы допустим, что условие было заключено и что не было сделано ничего, что бы окончательно его уничтожало, то и в таком случае следует еще доказать, на каком основании договор, заключенный неизвестно когда и неизвестно кем, может обязывать к повиновению народ, живущий в настоящее время. Переменились династии; одни формы правления заменились другими в течение того времени, которое прошло со дня предполагаемого условия. Давно умерли те люди, которые, по предположению, были договаривающимися сторонами; между ними и современными их потомками жили и умерли бесчисленные ряды поколений. Мы должны, следовательно, предположить, что договор этот переживал все снова и снова ряды умирающих, до которых он относился! Это поистине странная власть, которой обладали наши праотцы: они были способны установить правила для поведения их потомков на все будущие времена! Что бы сказал человек, если бы от него потребовали, чтобы он поцеловал ноги папы на том основании, что его прапрапрапрадед обещал за него, что он это исполнит.

Итак, подобного контракта никогда не существовало. Если бы он существовал, то он был бы уже уничтожен постоянным его нарушением. Если же бы он не был уничтожен, то не мог бы быть обязателен для нас, а мог быть обязательным лишь для тех, которые его заключили.

§ 5. Довольно забавна важность, которую придает себе какой-нибудь Мальволио*; но претензии законодательства идут без всякого сравнения далее. Его претензии похожи на претензии какого-нибудь управляющего, который вздумал бы присвоить себе права собственника только потому, что его бесстыдство, по крайней мере, так же велико, как и эта его страсть. Подобный управляющий вдруг начинает утверждать, что поземельный участок, которым он распоряжается, в сущности передан в его владение, что собственник отказался от всех своих прав для того, чтобы доставить этому участку преимущества его администрации; что этот собственник живет теперь на земле только с дозволения его, управляющего; что впредь он от этой земли не может получать никаких других доходов, кроме тех, которые ему, управляющему, вздумается предоставить. Вот верное подобие поведения правительств относительно народов. Вот учение,

вполне похожее на ту прекрасную теорию, которая вразумляет нас, что люди отказались от естественных своих прав для того, чтобы сделаться членами общества и пользоваться известными общественными преимуществами. Приверженцы этого прекрасного учения, вероятно, будут протестовать против подобного толкования. Протест этот, однако же, не имеет никакого рационального основания, в чем можно убедиться, если учение подвергнуть надлежащему анализу. Начнем для примера:

«Вы предполагаете, что люди, вступив в общество, отказались от первоначальной своей свободы. По смыслу вашей гипотезы, они в это общество вступили добровольно. Так или нет?»

«Так».

«Следовательно, жизнь в обществе, по их понятиям, была лучше, чем та, которую они вели прежде?»

«Без сомнения».

«Почему же она казалась им лучшей?»

«Потому что она представляла более безопасности».

«В каком же отношении более безопасности?»

«Более безопасности для жизни, для собственности, для всего того, что служит к достижению счастья».

«Совершенно так. Цель союза должна была заключаться в достижении большего счастья. Если бы они имели в виду сделаться более несчастными, то они не согласились бы на такую перемену. Согласились бы они или нет?»

«Нет».

«Не правда ли, счастье состоит в надлежащем удовлетворении всех желаний, в надлежащем упражнении всех способностей?»

«Да».

«Такое упражнение способностей невозможно без свободы действий. Желания не могут быть удовлетворены без свободы отыскивать предметы этих желаний и пользоваться ими».

«Справедливо».

«Под словом *права* вы разумеете свободу для деятельности способностей в известных, определенных пределах. Так или нет?» (см. гл. IV, § 2).

«Так».

«Из совокупности ваших ответов выходит, что, на основании вашей гипотезы, люди свободно вошли в общественный

союз; из этого следует, что они вошли в него для приобретения большего счастья; следовательно, они вошли в него для предоставления своим способностям более обширного поля деятельности; опять-таки из этого выходит, что союз заключен для приобретения большей безопасности при этой деятельности, а это значит, что они заключили союз для обеспечения своих *прав*».

«Придайте вашему положению более осязательную форму».

«Прекрасно. Если положение это для вас слишком отвлеченно, то попытаемся создать более удобопонятное. Вы говорите, что политическая комбинация получила предпочтение перед уединенным состоянием человека потому, что она представляла более безопасности для жизни и собственности. Так или нет?»

«Без сомнения».

«Не принадлежат ли претензии человека на его жизнь и на его собственность к его правам и не составляют ли они самых существенных прав?»

«Совершенно справедливо».

«Следовательно, сказать, что люди соединились в общество для того, чтобы предупредить постоянное нарушение их претензий на жизнь и собственность, — это значит сказать, что люди соединились в общество для ограждения своих прав?»

«Это так».

«Следовательно, и тем и другим путем мы приходим к убеждению, что в охранении прав заключалось именно то, к чему стремились люди».

«По-видимому, так».

«Но ведь, на основании вашей гипотезы, люди отказались от своих прав, вступая в общество?»

«Да».

«Посмотрите же, как вы себе противоречите. Вы утверждаете, что люди соединились в общество для более успешного приобретения того, от чего они отказались при своем вступлении в него».

«Очень хорошо; но я, может быть, не сказал, что они отказались от своих прав, но что они вверили свои права».

«Кому они их вверили?»

«Они их вверили правительству».

«Итак, правительство есть что-то вроде агента, употребляемого членами общества для забот об известном вверенном ему

предмете. Предметом этим оно должно распоряжаться в пользу членов общества?»

«Совершенно так».

«Следовательно, оно, подобно всяким другим агентам, может пользоваться своей властью только так, как этого желают те, которые его назначили; оно должно исполнять порученные ему обязанности так, как им угодно?»

«Именно так».

«То, что ему вверено, принадлежит, следовательно, до сих пор первоначальному владельцу. Притязания народа на обладание вверенными ему правами до сих пор вполне справедливы и основательны; народ может потребовать от своего агента все выгоды, которые проистекают из этих прав. Если он захочет, он может снова взять их в свое владение?»

«Это не так».

«Это не так! Почему же он не может потребовать назад свою собственность?»

«Нет. Так как он однажды передал свои права на сохранение законодательству, то он должен довольствоваться такого рода пользованием этими правами, которое дозволяется законодательством».

Таким образом, мы приходим к упомянутому выше интересному учению, что члены общества передали свою собственность (свои права) на попечение управляющего (своего правительства) и что через это они потеряли всякое право собственности на это имущество и не могут от него получать никаких выгод, кроме тех, которые управляющему заблагорассудится им предоставить!

§ 6. Теорию всемогущества правительства нет надобности осаждать извне, она внутри сама себе изменяет. Она сама разрушает себя. Она опровергается своим же основным принципом. Тот самый свидетель, который призывается, чтобы убедить в ее справедливости, обнаруживает ее ложность. Для какой цели предполагается это отречение от своих прав? Цель — установление закона наибольшего счастья для наибольшего числа; утверждают, что для применения этого закона именно и существует правительство, оно должно руководиться предписаниями этого закона; следовательно, это закон, который имеет

больший авторитет, чем правительство; он предшествует правительству, правительство должно ему служить, оно должно ему подчиняться. Каким представится нам этот закон наибольшего счастья наибольшего числа после тщательного исследования? Он совпадает с принципом крайних демократов: все люди имеют одинаковое право на счастье (см. «Учение о нравственном чувстве», § 3). Итак, правительство существует для применения к действительности закона, что все люди имеют одинаковое право на счастье. Таким образом, и в силу этой гипотезы *права* оказываются основанием для существования и окончательной целью правительства; они выше его точно так же, как цель выше средств.

ХІХ | ПРАВО ИГНОРИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВО

§ 1. Если мы примем за основание положение, что все учреждения должны быть подчинены закону равной свободы, то должны согласиться, что гражданин имеет право добровольно отказаться от покровительства законов и объявить себя вне закона. Если каждый человек имеет право делать все, что он хочет, лишь бы он не нарушал равной свободы других людей, то, следовательно, он имеет право разорвать свою связь с государством, он может отказаться от его покровительства и прекратить уплату податей. Совершенно ясно, что, поступая таким образом, он не нарушает свободы других людей. Его положение в этом случае пассивное, а если оно пассивное, то не может быть притязательным. Понятно также, что, не нарушая нравственного закона, нельзя его принудить принадлежать к какому-либо политическому телу; потому что гражданство предполагает уплату податей, а у человека нельзя брать его собственности против его воли, не нарушая его прав (гл. X, § 6). Если правительство ни более ни менее как агент, употребленный известным числом людей, чтобы обеспечить за собой известные выгоды, то из такого отношения по самой его природе следует, что каждый имеет право употребить этого агента или не употреблять его. Если кто-нибудь решится игнорировать эту конфедерацию для взаимной безопасности, то из этого следует только, что он лишается права на все ее услуги и подвергается опасности дурного с ним обращения. Решиться на все это он имеет полное право, если захочет. Без нарушения закона равной свободы его нельзя принудить принять участие в какой-либо политической комбинации, он же может ее оставить без всякого подобного нарушения; следовательно, он имеет право поступить таким образом.

§ 2. «Никакие законы человеческие не могут иметь действительного значения, если они противны законам природы; все законы, которые имеют подобное значение, почерпают свою силу и весь свой авторитет из того же источника естественных

прав». Вот что пишет Блэкстон, за которым должна остаться честь, что он в этом случае видел много далее идей не только своего времени, но, можно сказать, и нашего. Это хорошее противоядие против политических предрассудков, которые распространены в таких обширных размерах. Это хорошее средство для ограничения склонности к обожанию силы, которая до сих пор наводит нас на ложные пути, восхваляя преимущества конституционных управлений точно так же, как она когда-то восхваляла права монархов. Пусть люди научатся понимать, что законодательство не есть «земной Бог наш». Глядя на власть, которую они ему предоставляют, глядя на то, что они от него ожидают, можно подумать, что оно действительно представляется им в таком виде. Пусть они научатся понимать, что оно есть учреждение, которое служит чисто временным целям, что его власть — или похищенная, или, по крайней мере, заимствованная.

Наконец, разве мы не видели (с. 20), что правительство — это по существу своему создание безнравственности? Разве оно не есть порождение зла и разве оно не носит на себе все признаки своего сродства с ним? Разве оно не существует только потому, что существует преступление? Разве оно не сильно или, как мы говорим, деспотично только там, где велико и сильно преступление? Разве мы не видим, что там более свободы и менее управления, где преступление уменьшается? Разве правительство не должно прекратиться тогда, когда прекратится преступление? Оно прекратится потому, что не будет предметов, на которые оно могло бы обращать свою деятельность. Правительственный суд существует не только по причине зла, но через посредство зла. Насилие употребляется для поддержания его авторитета, а всякое насилие заключает в себе преступление. Солдаты, полицейские, тюремщики, сабли, палки, цепи — все это средства для причинения страданий; а всякое причинение страдания, в отвлеченном смысле, заключает в себе неправду. Государство употребляет орудия зла для того, чтобы поработить зло; предметы, с которыми оно имеет дело, настолько же грязнят его, насколько и орудия, которыми оно действует. Нравственность ничего подобного признавать не может. Нравственность — это постановление совершенного закона, она не может поощрять то, что вырастает и живет посредством нарушения

этого закона (глава I). Вот почему законодательная власть никогда не может входить в область этики, она неизбежно должна принадлежать к учреждениям условным.

Пытаться путем основного закона справедливости определить правильное положение, устройство и образ действий правительства — это в известной степени несообразность. Только что было объяснено, что действия этого учреждения несовершенно и по своему происхождению, и по своей природе; каким же образом они могут быть согласованы с совершенным законом? Все, что мы можем сделать, заключается в том, чтобы определить, во-первых, как должно законодательство вести себя по отношению к обществу, чтобы не быть одушевленным злом через одно свое существование; во-вторых, как оно должно быть устроено, чтобы представлять наименее несообразности с нравственным законом, и, в-третьих, какой сферой должна быть ограничена его деятельность для того, чтобы оно не размножило те нарушения справедливости, для предупреждения которых оно предназначено.

Первое условие, которое необходимо соблюсти прежде, чем будет возможно установить какую-либо законодательную власть, не нарушая закона равной свободы, состоит в признании за каждым права игнорировать государство — права, о котором мы будем теперь говорить¹.

§ 3. Защитники абсолютного деспотизма должны, конечно, считать государственную деятельность неограниченной и безусловной. Те, которые полагают, что люди созданы для правительств, а не правительства для людей, должны, конечно, последовательно утверждать, что никто не может выходить по произволу из среды политической организации. Но те, которые говорят, что в народе заключается единственный законный источник власти, что законодательная власть не есть власть начальная, а власть, приобретенная только через предоставленное кому-либо полномочие, — те, конечно, не могут отрицать право игнорировать государство, не запутавшись в нелепостях.

¹ Отсюда может быть выведен один из аргументов в пользу исключительного господства прямых податей. Отказаться от государственных тягостей возможно только тогда, когда все подати будут прямыми.

Если законодательная власть приобретена через поставленное кому-либо полномочие, т.е. право представительства, то из этого следует, что те, которые ее предоставили, должны иметь господство над теми, которым она предоставлена. Если господство в их руках, то, следовательно, они предоставляют это право по своему произволу, а из этого следует, что они могут его и предоставить, и не предоставить, смотря по своему желанию. Называть представительством то, что вырвано из рук людей независимо от их воли, есть нелепость. Если это справедливо относительно всех людей вместе, то оно одинаково справедливо относительно каждого в отдельности. Правительство может действовать по праву, именем народа, только тогда, когда оно получило от него на это власть; точно так же оно может действовать по праву, именем народа, отдельного лица тогда, когда оно им уполномочено. Если *A*, *B* и *V* спорят между собой, следует ли им употребить агента для исполнения известного дела, и если *A* и *B* согласны, а *V* не согласен, то *V* наперекор его желанию, конечно, не может считаться участвующей в условии стороны. То же самое, что здесь справедливо по отношению к трем, будет справедливо и по отношению к тридцати; а если оно будет верно по отношению к тридцати, то почему оно не будет правильно по отношению к тремстам, или к трем тысячам, или к трем миллионам?

§ 4. Самый распространенный из политических предрассудков, о которых выше было говорено, это тот, что большинство всемогуще. Нравственное чувство нашего времени находится под влиянием впечатления, что всегда будет требоваться власть для сохранения порядка и что власть эта будет орудием какой-либо партии; вот почему оно чувствует, что по справедливости власть эта должна быть предоставлена только самой многочисленной половине общества. Пословица «глас народа — глас божий» имеет для него буквальный смысл. Святость, которая приписывается Богу, переносится им на народ, и оно приходит к заключению, что на волю народную, т.е. на волю большинства, нет апелляции. Между тем такое убеждение вполне ошибочно.

Предположите, например, что какое-нибудь законодательство, правильно представляющее собой общественное мнение, вследствие мальтузианских теорий* впадет в панический страх

и предпишет утопить всех детей, рожденных в течение следующих десяти лет. Неужели кто-нибудь найдет возможным оправдать такое распоряжение? Если нет, то ясно, что должна существовать граница для власти большинства. Предположите, что из двух племен, живущих вместе, например, кельтов и саксов, более многочисленное решится обратить другое в рабство. Неужели в этом случае авторитет большинства был бы законным авторитетом? Если нет, то необходимо существование чего-нибудь, чему бы этот авторитет подчинялся. Предположите далее, что все люди, ежегодный доход которых незначительнее пятидесяти фунтов стерлингов, постановят ограничить доход всех прочих до того же размера, а все остальное употребить на общественные нужды. Можно ли считать справедливым такое решение? Если нет, то мы в третий раз должны согласиться, что должен существовать закон, которому бы покорялся народный голос. Какой же это может быть другой закон, если не закон чистой нравственности — закон равной свободы? Те ограничения, которые все чувствуют необходимым постановить для большинства, суть именно ограничения, созданные нравственным законом. Мы отказываем большинству в праве умерщвлять, порабощать, грабить исключительно потому, что убийство, порабощение и грабеж заключают в себе нарушения закона — нарушения слишком крупные для того, чтобы их можно было не понимать. Если большинство неправо, дозволяя себе крупное нарушение закона, то оно неправо и тогда, когда совершает более мелкие. Если воля большинства не может в этих случаях стать выше основного начала нравственного закона, то оно не может стать выше его никогда. Как бы ни было незначительно меньшинство, как бы ни было незначительно предположенное нарушение его прав, но подобное нарушение ни в каком случае не дозволительно.

«Если мы создадим для себя чисто демократическую конституцию, — думает про себя пламенный преобразователь, — то наше правительство будет в гармонии с абсолютной справедливостью». Такое убеждение весьма ошибочно, хотя оно, может быть, и необходимо для настоящего времени. Принуждение никаким путем не может сделаться справедливым. Самым свободным образом правления может почитаться только такой, против которого менее других можно сделать возражений. Когда

большинство управляется меньшинством, мы называем такой порядок тиранией; но управление большинства по отношению к меньшинству — точно так же тирания; вся разница в степени. И в том и в другом случае объявляется: «Вы должны делать так, как мы хотим, а не так, как вы хотите». Если такое объявление провозглашается сотней по отношению к девяноста девяти, вместо того чтобы девяноста девять обращались с ним к сотне, то безнравственность уменьшается всего на одну сотую. Та из двух сторон, которая делает подобное провозглашение, неизбежно нарушает закон равной свободы; вся разница в том, что в первом случае он нарушен по отношению к девяноста девяти, а во втором — по отношению к сотне. Достоинство демократического управления заключается только в том, что оно нарушает права меньшего числа.

Само существование большинства и меньшинства указывает на безнравственное состояние. Мы нашли, что только тогда свойства человека гармонируют с нравственным законом, когда он может быть вполне счастлив, не уменьшая счастья своего ближнего (глава III). Если общественные учреждения устанавливаются посредством большинства голосов, то это указывает на то, что общество состоит из людей с другими свойствами. Это показывает, что желания одних не могут быть удовлетворены без жертвования желаниями других; тут обнаруживается, что большинство, преследуя свое счастье, должно порождать в известном размере несчастье меньшинства. Следовательно, такое положение указывает на органическую безнравственность. Таким образом, мы убеждаемся, с другой точки зрения, что даже самый справедливый образ правления не может быть чуждым злу. Итак, если он не признает права игнорировать государство, то его деятельность будет по существу своему преступная.

§ 5. Из того, что утверждается признанными между нами авторитетами и господствующим мнением, можно равным образом вывести заключение, что человек должен обладать свободой отказать от благодеяний, а через это — и от тягостей гражданства. Наши радикалы, сами не замечая этого, убеждены в основном правиле, которое заключает в себе такое учение; если они не сознают этого, то, по всей вероятности, только потому, что

они не приготовлены к пониманию истин такого крайнего свойства. Постоянно мы видим, что они ссылаются на слова Блэкстона, который утверждал, что «ни одного английского подданного нельзя принудить к уплате каких-либо податей или вспомогательных налогов, даже для защиты королевства и для поддержки правительства, если на эти подати и налоги не последовало его согласия или непосредственно, или через своих представителей в парламенте». Что же это значит? Это значит, говорят они, что каждый человек должен иметь право голоса. Это справедливо; но, кроме того, слова эти имеют еще несравненно большее значение. Если вообще словам можно придавать какой-нибудь смысл, то в этих словах ясно выражено то же самое право, о котором здесь говорится. Тот, кто утверждает, что человека нельзя обложить податями, если он не выразил на это посредственно или непосредственно своего согласия, тот вместе с тем утверждает, что человек может не позволить облагать себя податями, а не позволить облагать себя податями — это значит прервать все сношения с государством. Может быть, на это возразят, что согласие дается гражданином вообще, а не касается отдельных предметов, что относительно каждого гражданина предполагается, что, избирая представителя, он изъявил согласие на все, что сделано будет этим представителем. Предположите, однако, что он вовсе не избирал его, что он, напротив, делал все, что от него зависело, чтобы избран был другой человек с противоположными взглядами; как же рассматривать дело в этом случае? По всей вероятности, на это ответят, что, принимая участие в избрании, гражданин вместе с тем согласился подчиняться решению большинства. А если он вовсе не участвовал в избрании? В таком случае он не может по справедливости жаловаться на подати, которыми он был обложен, потому что он не протестовал против такого обложения. Вот забавный вывод: как бы он ни действовал, а все-таки выходит, что он дал свое согласие; согласие это считается данным и тогда, когда он сказал «да», и тогда, когда он сказал «нет», и тогда, когда он остался вовсе нейтральным! Нельзя не сознаться, что это весьма неловко придуманное учение. Вот перед вами несчастный гражданин, которого спрашивают: хочет ли он заплатить деньги за известное, предполагаемое для него преимущество? Если он употребит находящиеся в его руках средства для того, чтобы выразить свой отказ, или если он не

употребит этих средств, во всяком случае вы будете утверждать, что он в действительности согласился, если только число согласившихся окажется более числа несогласившихся. Таким образом вы вводите неслыханное начало, в силу которого согласие лица А выражается не тем, что скажет А, но тем, что вздумается сказать Б.

Те, кто ссылается на Блэкстона, должны выбирать между этой нелепостью и изложенным здесь учением. Их правило — или чистая бессмыслица, или заключает в себе право игнорировать государство.

§ 6. В наших политических верованиях существует странная несообразность. Современные взгляды, совершенно не схожие друг с другом и по своей сущности, и по своему цвету, у нас сшиваются с системами, которые уже отжили свой век, и с такими, сквозь которые едва там и сям начинает проникать дневной свет. Люди важно излагают эти системы и руководствуются ими, и их вовсе не поражает странность такой смеси. Подобное переходное состояние имеет у нас столько же следов прошедшего, сколько и зачатков будущего: оно порождает уродливые теории, где мы видим неестественный союз старого деспотизма с будущей свободой. Здесь мы видим типы старинной организации, забавным образом прикрытой зародышами новой, здесь мы встречаем особенности жизни, показывающие остатки приспособленности к пережитому уже состоянию и видоизмененными началами, предвещающими что-то будущее. Из всего этого выходит такая хаотическая смесь отношений, что нет возможности сказать, к какому роду явлений должны быть отнесены эти порождения века.

Идеи должны неизбежно носить печать своего времени, а поэтому бесполезно жаловаться на чувство удовольствия, с которым придерживаются этих несообразных убеждений. В противном случае можно было бы пожалеть, что люди не доводят до конца того ряда заключений, который заставил их отчасти изменить свои прежние взгляды. По отношению, например, к настоящему предмету последовательность заставила бы их убедиться, что они не только в вышеизложенном, но и во многих других случаях придерживаются мнений и пользуются аргументами, в которых заключается право игнорировать государство.

Что означает диссентерство?* Было время, когда вера человека и обряды его богослужения определялись законом точно так же, как и светские его дела. Это даже до сих пор так, на основании постановлений, изложенных в нашей книге статутах. Благодаря возрастанию духа протестантизма, мы в этом отношении стали игнорировать государство — отчасти на практике и вполне в теории. Каким образом мы сделали это? Относительно государства мы приняли такое положение, которое при последовательном его развитии привело бы к праву вполне его игнорировать. Взгляните на положение обеих сторон. «Вот ваша вера, — говорит законодатель, — вы должны верить и открыто исповедовать то, что для вас здесь постановлено». — «Я ничего подобного не сделаю, — отвечает нонконформист, — я скорее пойду в тюрьму». — «Ваш духовный устав, — продолжает законодатель, — должен заключаться в том, что мы вам предписали. Вы должны посещать те церкви, которые мы для вас устроим, и принять религиозные обряды, которые в них совершаются». — «Ничто не заставит меня поступать таким образом, — получает он ответ, — я вполне отвергаю вашу власть предписывать мне что-нибудь в этом случае и полагаю сопротивляться до крайней степени возможного». — «Наконец, — присовокупляет законодатель, — мы повелеваем вам, чтобы вы платили столько денег для поддержания этих религиозных учреждений, сколько мы найдем нужным от вас потребовать». — «Вы не получите от меня ни одного фартинга**», — восклицает наш смелый индипендент***, — я бы не согласился на ваше требование даже и тогда, когда бы я верил в учение вашей церкви, а я не верю. Вы можете взять мою собственность только силой, да и тогда я буду протестовать».

Какое значение будет иметь такой образ действий, если его рассматривать отвлеченно? Им изъясняется со стороны личности претензия на право пользоваться одной из своих способностей — религиозным чувством — без препятствий и вмешательства и без всякого ограничения, кроме того, которое может произойти от равных требований со стороны других лиц. А какое значение имеет игнорирование государства? Им точно так же изъясняется только претензия на пользование такого же рода по отношению ко всем своим способностям. Последнее есть ни более ни менее как распространение первого, оно совершенно

с ним однородно, его следует признать истинным, если первое признается истинным, и ложным, если первое признается ложным. У нас признают различие между гражданской и религиозной свободой, но различие это совершенно произвольное. Это части одного целого, и с философской точки зрения не могут быть разделяемы.

«Нет, они могут быть разделяемы, — отвечает возражающий, — первое требование составляет религиозную обязанность, а потому есть исполнение долга. Право служить Богу так, как человек признает себя обязанным это делать — это есть право, без которого он не может исполнять того, что считает повелением Божиим; вот почему совесть предписывает ему охранять такое право». Это довольно справедливо; ну, а если то же самое можно сказать о всякой другой свободе? Что, если охранение этой свободы точно так же предписывается совестью? Разве мы не видели выше, что человеческое счастье — это воля Божия, что достигнуть счастья мы можем только упражнением своих способностей и что упражнение способностей невозможно без свободы (гл. IV). Если такая свобода для деятельности способностей составляет условие, без которого невозможно исполнить воли Божией, то охранение этой свободы составляет обязанность, как это доказывается самим возражающим. Или, другими словами, оказывается, что охранение свободы действий не только может, но и должно лежать на совести каждого. Из всего этого мы ясно убеждаемся, что право игнорировать государство в делах религиозных и светских по существу своему совершенно однородно.

Другая причина, обыкновенно приводимая в виде основания теми, которые отказываются следовать государственным распоряжениям в религиозных делах, может быть рассматриваема таким же образом. Диссентер противится государственным распоряжениям не только вследствие отвлеченных своих взглядов на них, но и потому, что он порицает само религиозное учение, которое ему предлагается. Никакое законодательное предписание не в состоянии принудить его принять то, что он признает ложным убеждением; он помнит обязанность, которая лежит на нем по отношению к его ближним, и отказывается помогать посредством своего кошелька распространению ложного учения. Положение это совершенно понятное. Но

те, которые его придерживаются, или обязаны поступать точно так же в делах светских, или ставят себя в ложное положение. Почему они отказываются быть орудиями для распространения ложных убеждений? Потому, что ложные взгляды противны осуществлению человеческого счастья. На каком основании можно не соглашаться с каким-либо родом деятельности светского законодательства? Основание тут то же: с ним не соглашались потому, что его почитают противным человеческому счастью. Каким же путем можно доказать, что государству следует сопротивляться в одном случае и не следует в другом? Возможно ли, чтобы кто-нибудь после здравого обсуждения был в состоянии утверждать, что следует отказать правительству, если оно требует от нас денег, чтобы учить тому, что, по нашему мнению, произведет зло; но не следует ему отказывать, если оно требует денег, чтобы делать то, что произведет зло? Таково, однако же, плодоносное суждение тех, которые утверждают, что человек имеет право игнорировать государство в делах религии, но не имеет этого права в делах светских.

§ 7. Содержание этой главы еще раз напоминает нам несоответствие между совершенным законом и несовершенным состоянием общества. Степень применимости изложенного здесь принципа изменяется прямо сообразно степени нравственного состояния общества. В совершенно порочном обществе признание этого принципа произвело бы анархию. В обществе вполне добродетельном его признание не только безвредно, но неизбежно. Прогрессивное движение к состоянию общественного здоровья, т.е. к такому состоянию, где меры врачевания, принимаемые законодательством, будут уже излишними — это такое прогрессивное движение, которое приведет к положению, где эти меры будут отложены в стороны, а авторитет, предписывающий их, утратит свое значение. Оба эти изменения неизбежно связаны между собой. Господство нравственного чувства приведет общественные отношения к гармонии и сделает правительство ненужным. То же самое нравственное чувство заставит каждого человека стремиться к распространению своей свободы до пределов полного игнорирования государства, то же самое нравственное чувство будет мешать большинству принуждать меньшинство и сделает управление окончательно

невозможным. Так как все это лишь различные проявления того же самого чувства, то они и должны быть в постоянном соответствии друг с другом; стремление отказываться от права будет возрастать только в том же самом размере, в каком управление будет делаться излишним.

Пусть, впрочем, никто не пугается вышеизложенного учения. Еще много должно совершиться различных перемен прежде, чем оно начнет пользоваться большим влиянием. Вероятно, много лет пройдет прежде, чем право игнорировать государство получит всеобщее признание даже в теории. И еще более времени протечет до того дня, когда право это будет признано законодательством. Даже и после этого оно будет преисполнено различных ограничений по причине преждевременного пользования им. Тяжкий опыт достаточно проучит тех, которые слишком рано откажутся от законного покровительства. У большей части людей любовь к испытанным на деле устройствам так велика и страх, наводимый новыми опытами, так значителен, что они, по всей вероятности, начнут пользоваться этим правом только тогда, когда уже давно возможно было бы пользоваться им с совершенной безопасностью.

XX | УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА¹

§ 1. Одно из самых ясных и самых распространенных заключений, выведенных из закона о равной свободе, — это то, что все члены общества должны обладать одинаковыми политическими правами. Если каждый человек имеет право делать все, что он хочет, лишь бы он не нарушал равной свободы других, то он должен иметь точно такое же влияние на законодательство, как и всякий другой. Ни одно лицо, ни один класс в обществе не могут без нарушения закона приобрести более влияния, чем другие.

Следовательно, очевидно, что чисто демократическое правление есть единственное, которое можно допустить с нравственной точки зрения — единственное, которое не преступно по своему существу. Выше было показано, что никакое правление не может иметь авторитета, основанного на нравственном начале. Самая совершенная форма, которой оно может достигнуть, все-таки будет только проявлением, не возбуждающим более протеста со стороны нравственного закона, где закон этот может оставаться равнодушным — это будет явление, которое он в состоянии терпеть. Первое условие такой формы заключается в том, чтобы принадлежность к числу граждан была добровольная; второе — равенство прав.

§ 2. Факт, что люди в настоящее время эгоистичны, можно считать достаточно доказанным. Создания, одаренные таким свойством, очевидно должны употребить вверенную им власть для извлечения из нее собственных своих выгод. Она послужит для их частных целей — непосредственно или посредством, так или иначе, открыто или тайно. Если мы согласимся с положением, что люди эгоистичны, то мы не можем избежать вывода,

¹ Важность и интерес предмета достаточно объясняют длину этой главы; способ ее изложения может быть слишком популярен для сочинения вроде настоящего, но это объясняется тем же интересом предмета. Две части этой главы уже были напечатаны.

что те, которые обладают властью, употребят ее для своих эгоистических целей, как скоро это будет им дозволено.

Если кому-нибудь нужны факты для того, чтобы убедить-ся в этом, он может найти их на каждой странице первого тома истории, который попадется ему в руки. Под заглавием *Монархия* он может прочесть о ненасытной жадности при распространении государственной территории; о конфискациях имущества подданных; о праве суда, покупаемом наиболее дающим; о постоянном выпуске фальшивой монеты; о ненасытности, которая унижалась до того, что разделяла доходы даже с публичными женщинами.

В феодализме он найдет проявления того же самого духа; дух этот обнаруживается в жестокостях по отношению к крепостным людям, в праве частных войн, в хищнических набегах пограничных жителей, в расхищении имущества евреев, в насильственной дани, которой мучили граждан. Все это указывает справедливость поговорки, которой эта система охарактеризована: «Пусть ты нуждаешься прежде, чем я буду нуждаться».

Желает ли он отыскать подобные же проявления в аристократических учреждениях позднейших времен? Он может их найти во всех государствах Европы: в Испании в течение долгого времени земли дворянства и духовенства были освобождены от всяких прямых поборов; в Венгрии до самого последнего времени люди привилегированные были освобождены от всяких заставных сборов, которые оплачивались только торгующим и рабочим классом; во Франции до первой революции все государственные тяготы лежали на среднем сословии; еще не прошло двух столетий с тех пор, как в Шотландии между землевладельцами существовало обыкновение ловить людей из простого народа и вывозить их для продажи в рабство. В Ирландии до восстания шайка землевладельцев-узурпаторов охотилась за католиками и стреляла в них для развлечения — все это за то, что они имели смелость требовать свою собственность.

Если бы нужны были еще примеры для доказательства, что власть служит эгоистическим целям ее обладателей, то можно набрать их множество из английского законодательства. Возьмите, например, закон, многозначительно прозванный *«черным актом»* (статут 9-й Георга I); на основании этого закона чело-век, переодетый и вооруженный, который найден будет в парке

или в месте, где находились или обыкновенно держатся зайцы и кролики, если его преступление будет надлежащим образом доказано, должен почитаться виновным в государственной измене (т.е. в уголовном преступлении) и подлежит смертной казни наравне с теми уголовными преступниками, которые не пользуются правом на помилование. Другой пример представляют законы о поземельном разграничении; на основании этих законов общинные земли и пастбища распределены между соседними землевладельцами соразмерно количеству их земель, не обращая никакого внимания на права бедных работников. Не мешает также обратить внимание на прием, посредством которого поземельная подать сделалась неизменной и даже уменьшилась в то время, когда все другие сборы чрезмерно увеличились. К этому можно прибавить частные монополии, которые получают от короля *по разным уважениям*, злоупотребления из фонда, предназначенного для общественных школ, учреждение новых мест и пенсий.

Расположение пользоваться властью для достижения своих частных целей проявляется не реже и в наши дни. Оно ясно обнаруживается в том мнении, что право избрания должно быть устроено таким образом, чтобы давать преобладание интересам поземельных собственников. Мы его видим в освобождении фермеров от различных прямых сборов с явной целью — дать им возможность платить более ренты. На него осязательно указывают законы об охоте. Оно обнаруживается в поведении сквайра, который для податей оценивает свой дом в третью часть его стоимости. О нем свидетельствует закон, который постановляет, что поземельный собственник получает уплату по своему долгу прежде других кредиторов, и уполномочивает его непосредственно овладевать собственностью своего арендатора в уплату ренты. О нем нам напоминают законы и подати с отказов и завещаний. В то время как никому не вздумается давать работнику, лишившемуся работы, вознаграждение за его убыток, джентльмен, владеющий синекурой, требует, чтобы его вознаградили деньгами, если его место упразднится. Изобильный источник примеров такого расположения представляет нам дело лиги против хлебных законов. Оно обнаруживается в подаче голосов ста пятидесяти военных и морских членов парламента. Наконец, стремление власть имеющих пользоваться ею для

облагодетельствования своего кармана видно даже из деятельности достопочтенных отцов, служителей Божиих; они составляли духовную комиссию, которая для улучшения своих дворцов употребила деньги, вверенные ее хранению и предназначенные для пользы церкви.

Приводить еще подобные примеры совершенно бесполезно. Хотя не было на свете историка, который бы в этом отношении не мог послужить свидетелем, но факт этот ни на одну йоту не может быть сделан более ясным, чем он ясен уже теперь. Зачем спрашивать о том, предпочитали ли власть имеющие свои интересы интересам других? Насколько мы знаем природу человеческую, они должны были так поступать. Правительство делается необходимым только вследствие той же склонности людей удовлетворять своим потребностям на счет своих соседей. Если бы у нас не было эгоистических стремлений, то законодательные стеснения были бы для нас совершенно излишними. Очевидно, что самое существование государственной власти доказывает, что правители, не подлежащие ответственности, должны жертвовать общественным благом для своих личных целей, и это будет так, несмотря ни на какие торжественные обещания, несмотря ни на какие выражения благовидных мнений, несмотря ни на какие ограничения, устроенные самым тщательным образом, несмотря ни на какие предохранительные меры.

Всякое предоставление законодательства в распоряжение какого-либо класса народа непременно приведет к законам, написанным исключительно в интересах этого класса. Вот почему невозможно избежать заключения, что интересы *всего* общества могут быть обеспечены только тогда, когда власть вверена рукам *всего* народа.

§ 3. Против положения, что для обеспечения справедливости по отношению ко всему народу все члены этого народа должны получить одинаковую власть, возражают, что большинство народа состоит из рабочего класса, и если всем дать одинаковую власть, то на практике из этого выйдет господство рабочих классов. Возражающие таким образом могут еще присовокупить, что в силу эгоистических тенденций, о которых только что говорилось, законодательство, переданное в руки рабочих,

непременно будет служить целям рабочего класса и не будет обращать внимания на претензии собственников.

Те, которые делают подобное возражение, разумеется, не имеют в виду этим выразить, что народ будет пользоваться своей властью так, как могут пользоваться только разбойники. В старинные времена нормандского владычества* соседние дворяне нередко жгли и разоряли города и волости; если бы тогда водворено было народное владычество, то, конечно, возможно было бы ожидать репрессалий и нападений на замки этих феодальных флибустьеров и разбойников. В настоящее время мы имеем полное право заключать, что то же самое развитие общественной нравственности, которое не позволяет современной аристократии прямого грабежа по отношению к народу, помешает так же и народу прямо оскорблять ее права. Вся опасность, которую можно ожидать на основании этого возражения, заключается в том, что рабочие классы будут приносить права богатых в жертву своим желаниям с тем же бездушием, с каким теперь богатые жертвуют ими, и что таким образом создан будет кодекс законов, покровительствующий бедным за счет богатых.

Если бы даже не было ответа на такое возражение, то даже и тогда все это говорило бы в пользу прав народа. Куда приводит такая аргументация в окончательном своем результате? Вот ее заключение: немногие должны продолжать нарушать права большинства из опасения, чтобы это большинство не вздумало нарушать права этих немногих. Сытые, живущие в роскошных дворцах, щеголяющие роскошью своей одежды, занимающие выгодные места и пользующиеся доходными пенсиями — все эти люди, может быть, полагают, что пусть лучше массы народа страдают для их пользы, как это делается теперь, и не хотят рисковать страдать для пользы масс, как это могло бы случиться. Но разве справедливый посредник мог бы решить таким образом? Разве он не сказал бы, напротив, что если отдельные личности того и другого класса пользуются даже одинаковым благосостоянием, то все-таки правильнее будет меньшинство принести в жертву большинству, но оказывается, что потребности большинства удовлетворены несравненно хуже; при таком положении справедливость безусловно предписывает отдать им предпочтение. Если неизбежно, чтобы какая-либо

сторона подверглась несправедливости, то, конечно, несправедливости этой должны подвергнуться сотни богачей, а не тысячи бедняков.

Сверх всего этого, подобное возражение вовсе не так основательно, как оно кажется с первого раза. Сравнительно незначительный класс может соединиться для преследования общих своих интересов, но не таково положение разрозненной массы народа. Легко составить союз для достижения желаемой цели несколькими тысячам людей с одинаковыми интересами, вращающимся в одном и том же кругу, воспитанным в тех же предрассудках, пропитанным теми же верованиями, связанным между собою семейными узами и съезжающим ежегодно в том же самом городе. Но полдюжины миллионов рабочих никаким образом не могут действовать единодушно; они раскинуты на обширном пространстве, снискивают свой хлеб самыми разнообразными занятиями, они принадлежат к различным религиозным сектам, они разделены на две вполне друг на друга не похожие группы: одна из них проникнута чувствами и взглядами, развивающимися от городской жизни, другая разделяет все предрассудки прошедшего, которые еще сохранились в стране. Эта масса слишком велика, слишком разнородна, слишком разрозненна для того, чтобы тут возможен был действительный союз. На это мы имеем убедительные доказательства. В движении чартистов мы видим людей, которые в течение последних двадцати лет постепенно проникались идеей политической свободы, людей, которые были раздражаемы несправедливостью, людей, которым их сограждане показывали презрение, — людей, которым ежедневно приходилось переносить лишения, следовательно, людей, которых с разных сторон множество различных побуждений стимулировало к союзу для достижения того, на что они считали себя вправе. Они имели основательные причины полагать, что достижение их цели доставит им значительные выгоды. Велик ли был, однако же, успех их попытки? Споры, разлад, апатия, противоположные влияния разного рода соединялись для того, чтобы произвести ряд неудач. Массы не могли достигнуть единства действия, необходимого для приведения к окончанию их предположений, несмотря на энтузиазм, который внушался им правым делом; тем менее будут они способны соединиться, если их цель будет бесчестная.

§ 4. Тот, кто возражает против предоставления рабочему населению избирательного права на том основании, что оно безнравственно, тот должен показать состав избирателей, который бы не был безнравственным. Когда утверждают, что народ не способен владеть правом голоса по причине своей подкупности, то, следовательно, предполагают, что можно найти класс общества, который не был бы подкуплен. Оказывается, однако же, что такого класса не существует. Приведите их всех на суд, и ни одна часть общества не получит оправдательного приговора.

Если бы разбирательству суда подвергнуть лавочников, то чем бы они оправдали свои коммерческие приемы? Разве честно подмешивать картофель и квасцы в хлеб? Разве честно прибавлять в пиво соль, табак и семя безвременника? Смешивать свиное сало с маслом. Приготавливать молоко различными известными и неизвестными путями? Подделывать растительные масла, химические продукты, краски, вино — одним словом, все, что поддается фальсификации? Разве существование инспекторов мер и весов указывает на высокую нравственность? Разве честно продавать в лавке товар, достоинство которого ниже образчиков, выставленных в окошке?

Если фабриканты имеют какую-нибудь претензию на чистоту, то они могут встретиться с неприятным намеком насчет обыкновения преобразовывать старые тряпки таким образом, чтобы они входили в состав куска вместе с новой тканью. Могут также быть сделаны неприятные вопросы насчет количества бумаги, вошедшей в состав известных тканей, которые называются цельными шелковыми. Кража моделей также может составить щекотливый вопрос. Обыкновение употреблять гипс для увеличения веса и массы бумаги едва ли можно защищать на основании принципов, изложенных в десяти заповедях.

Приговор, который заслужил бы земледелец, также способствовал бы уменьшению доверия к нему. Несмотря на возвышающее душу влияние, которое поэты приписывают непосредственным сношениям с природой, мы встречаемся с некоторыми несомненными и не совсем благовидными фактами; например, фермеры, по крайней мере в Дорсетшире, были уличены в том, что они вместо заработной платы давали своим работникам испорченную пшеницу и выставляли за нее цены, по которым продавалась вполне годная; такое обыкновение никак нельзя

назвать во всех отношениях добросовестным. До нового закона о бедных во многих округах существовало обыкновение давать работникам на фермах только половинную заработную плату, остальное же выдавалось им из сбора для бедных, над которым их господа имели главный контроль — это факт, вошедший в историю. К этим образчикам нравственности можно было бы присовокупить достойных товарищей, если обратиться к сделкам на лошадиных ярмарках и на рынках, где продается скот.

После такого разбора ни одна профессия не вышла бы чистой. Тот, кто слышит слово «продажность», тотчас неизбежно подумает о сферах закона. Репутация поверенных по делам слишком плоха, чтобы нужно было упоминать об их грехах; даже адвокаты, исключительно занятые публичной защитой, не безупречны. Попытки представить несомненного преступника невинным человеком указывают на весьма сбивчивые понятия о справедливом и несправедливом. Можно здесь упомянуть еще об обыкновении брать плату за дела, в которых они не могут принимать на себя защиту по причине других обязательств, и удерживать эту плату за собой, хотя ими дело и не было сделано. Такие обыкновения едва ли согласны с честностью, необходимой для того, чтобы надлежащим образом пользоваться политической властью.

Если бы нашим членам парламента пришлось принять подобный вызов, то и они также не вышли бы сухими из воды. Постановление, которое делает их недостижимыми для их кредиторов, едва ли согласно с нравственным законом. Оно не указывает также на слишком возвышенное понятие о чести. Не забудем болезнь представительного правления — подкупы. Разве вся ненавистная сторона этих подкупов не должна касаться богатых классов? Неужели вся вина должна вваливаться на одних бедных избирателей?

Те, которые возвращаются в круг титулованных особ, также не могут похвалиться особенной чистотой. Достаточно известно участие их в плутнях на скачках и в полуночных сценах игорных домов. Банкротство Гентингтовера не служит к чести этого сословия точно так же, как и гражданские взыскания, которым его члены подвергаются от времени до времени. Если бы аристократия обладала более правильными понятиями о справедливости, она, по всей вероятности, показывала бы более

уважения к требованиям своих поставщиков; аристократы в качестве дурных плательщиков не могли бы сделаться предметом пословицы.

Наши высшие государственные сановники также участвуют в общей испорченности. Разве дело Мадзини не показало слабости их принципов? Разве провозглашение различных сомнительных правил, как это видно из «Westminster Review», не имеет никакого значения? Разве можно утверждать, что воровать дозволительно, если официальным лицам нужно украсть сведения из письма? Что лгать дозволительно, если они желают скрыть вора, запечатав снова письма? Что подлог дозволителен с целью подделывания печати? Разве наши современные министры лучше, чем их предшественники; если это так, чем объяснить искажение некоторых вест-индских депеш и уничтожение некоторых других?

Пусть никто не протестует против предоставления народу избирательных прав на основании его безнравственности; пусть всякий устыдится собственной своей безнравственности и безнравственности того класса общества, к которому он принадлежит. Пусть беспорочный бросит первый камень. Порок, бесчестность, подкупность проникают во все слои общества. Если рабочим людям следует отказать в политической власти по причине их испорченности, то по той же самой причине в ней нужно отказать и всем прочим классам.

§ 5. Есть люди, которые утверждают, что массы более порочны, чем остальные части общества. Но те, которые высказывают это мнение, доходят до него весьма нелогическим путем. Они обращаются к судебным делам, они просматривают в тюремных списках имена заключенных и их занятия, они призывают на помощь статистику преступлений и находят тут огромное большинство бродяг, рабочих на фермах, каменщиков, пастухов, перевозчиков, носильщиков, фабричных рабочих и тому подобных людей. Из этого они прямо заключают, что класс крестьян и ремесленников стоит в нравственном отношении гораздо ниже других классов общества. Они не принимают в соображение факт, что рабочий народ числом своим по крайней мере в шесть раз превосходит все остальное население вместе. Если бы из дел полиции выбрать все случаи о мошенничестве, о подделке

купцами товарных клейм, о злоупотреблениях канцеляристов, о молодых джентльменах, замешанных в беспорядках во время кутежей, в нападениях на полицию, в оскорблении женщин и т.п.; и если бы все эти случаи умножить на шесть, то они, вероятно, сравнялись бы с числом прочих нарушений закона, о которых поступают ежедневные донесения. О подобном исследовании не заботятся обвиняющие рабочих. Если бы они об этом позаботились, если бы число преступлений, совершенных каждым классом общества, было вычислено по его процентному отношению к числу всех лиц, из которых класс этот состоит, то между различными общественными слоями оказалось бы несравненно менее неравенства, чем полагают обыкновенно.

Сверх того, не следует забывать, что безнравственность средних и высших слоев общества проявляется совершенно другим образом, чем порочность бедных. Люди, пользующиеся большим благосостоянием, не так часто должны доходить до тех значительных преступлений, в которых обвиняются люди из низких слоев общества, потому что они живут в такой обстановке, которая почти вовсе избавляет их от соблазна. Несмотря на это, те же дурные наклонности могут существовать в полной силе и у них, и действительно существуют; немало их дел можно увидеть перед судом закона: злостные банкротства, долговые взыскания, жалобы на восстановление нарушенных прав, ссоры о завещаниях — все это указывает на деятельность страстей, которые при других обстоятельствах произвели бы то, что носит техническое название уголовных преступлений. Люди, которые путем законного сутяжничества отбирают у других их собственность или отказываются удовлетворять законным к ним претензиям прежде, чем они вынуждены будут к этому деятельностью суда, — все это люди, которые в более низких сферах жизни очищали бы кошельки и воровали бы кур. Нравственность нужно измерять побуждениями, а не делами. Если мы таким образом будем оценивать свойства торговых и богатых слоев общества, если мы примем в соображение и относительное их число, как указано было выше, то найдем, что данные, на основании которых рабочим классам приписывается особенно значительная безнравственность, вовсе не достаточны для такого заключения.

§ 6. Нельзя не пожалеть о том, что люди, которые относятся с презрением к массам народа, не имеют ни достаточно

мудрости, ни достаточно чистосердечия, чтобы обратить надлежащее внимание на неблагоприятные обстоятельства, в которые эти массы поставлены. Предположите, что после тщательного рассмотрения всех обстоятельств окажется, что рабочие люди обнаруживают более пороков, чем люди, пользующиеся большим благосостоянием; разве из этого следует, что они более безнравственны? Разве можно упускать из виду излишний соблазн, который выпадает на их долю? Можно ли требовать от них столько же, сколько мы имеем право требовать от рожденных в более благоприятных обстоятельствах? Можно ли с такими же требованиями обращаться к владельцу пяти талантов, с какими мы обращаемся к владельцу десяти? Судьба работника с мозолистыми руками, безо всякого сомнения, слишком достойна сожаления, чтобы присовокуплять к ней тяжкий и несправедливый суд над ним. Быть вполне принесенным в жертву для счастья других людей; обратиться в рабочий инструмент с личиной человека; подчинить все свои способности одному отправлению — работе; все это само по себе можно называть несчастьем, на стремлении к облегчению которого должны сосредоточиваться все наши симпатии. Обратите внимание на свойства, которыми рабочий одарен; на его способности, наклонности, вкусы и на неопределенные желания, которые ими порождаются. Представьте его себе с этими навсегда скрытыми желаниями и вообразите его осужденным на тяжкий труд, дневной, недельный, продолжающийся круглый год, без всякого перерыва, за исключением необходимого для пищи и сна. Подумайте о том, как его соблазняют удовольствия, в которых участвуют его богатые братья и от которых он удален навсегда. Обратите внимание на унижение, которое он должен переносить, потому что на него смотрят как на человека, не имеющего никакого значения между людьми. Вспомните после всего этого, что перед ним нет никакой другой будущности, кроме монотонного повторения того же самого — до самой смерти. Разве это благодетельный для жизни порядок вещей?

Для вас легко, достоуважаемый гражданин, сидя в покойных креслах, упираясь ногами в решетку камина, рассуждать о дурном поведении народа; вам очень удобно порицать его необузданные и порочные привычки; для вас нетрудно быть образцом воздержанности, честности и умеренности. Чем же

другим могли бы вы быть? Вы окружены здесь комфортом, в вашем распоряжении разнородные источники законного счастья, вы имеете репутацию, которую вам надо поддерживать, вы обладаете честолубием, которому хотите удовлетворить, имеете в виду пользоваться благосостоянием во время вашей старости. Было бы стыдно, если бы при всех этих преимуществах вы не отличались сдержанностью и хорошими правилами поведения. Вы окружены семейными радостями, вы одеты чисто и тепло, имеете каждый день если не великолепную, то во всяком случае изобильную пищу. Во время часов вашего отдохновения имеете удовольствия. Для удовлетворения вашего любопытства аккуратно доставляется вам газета; если вы имеете расположение к литературе, можете иметь книг, сколько вам угодно, а если любите музыку, то фортепиано к вашим услугам. Вы имеете средства угощать ваших друзей, и вас угощают в свою очередь. Для вас доступны лекции, концерты, выставки, если вы имеете к ним расположение. Если вам захочется доставить себе праздник, то вы можете это сделать; и вы можете скопить денег, чтобы ежегодно путешествовать на берег моря. Пользуясь всеми этими преимуществами, вы еще ставите себе в достоинство, что вы человек с хорошим поведением! Не велика та похвала, которую вы за это можете заслужить! Если вы не приобрели привычек разврата, где же тут достоинство? Много ли у вас для этого побудительных причин? Немного чести в том, что вы не растрачиваете вашей экономии для чувственных наслаждений, — у вас и без того довольно удовольствий. Но что бы вы сделали, если бы были поставлены на место работника? Как бы добродетели ваши выдержали мучения и слезы бедности? Куда бы девалось ваше благоразумие и ваше самоотвержение, если бы вы были лишены всех тех надежд, которые вас теперь стимулируют; если бы у вас не было лучшей перспективы, чем та, которую имеет работник на ферме в Дорсетшире, получающий семь шиллингов в неделю, или та, которая выпадает на долю вечно нуждающегося ткача чулок, или та, которая достается работнику, страдающему от периодического прекращения работы. Поставьте себя на место работника: от утренней зари до вечерних сумерек вы привязаны к скучной и утомительной работе; вы питаетесь дурной пищей, да и то еще в недостаточном количестве; вы женаты на фабричной

девушке, невежественной и ничего не смыслящей в домашнем хозяйстве; вы лишены всех удовольствий, которые доставляются образованием; не имеете для развлечений никакого другого места, кроме кабака; когда вы будете в таком положении, тогда мы посмотрим, будете ли вы так же тверды в ваших правилах, как теперь. Представьте себе, что свою экономию вы не можете делать, как теперь, из вашего излишка, но должны употреблять на это вашу заработную плату, которая и без того недостаточна для необходимых ваших издержек, и сообразите, достанется ли вам бережливость так же легко, как она вам достается теперь. Вообразите себе, что вы принадлежите к презираемому классу людей, которому присваивают унижительное название «великой неумытой толпы»; человека из этой толпы все считают грубым, глупым, порочным, его постоянно подозревают в дурных намерениях, он лишен гражданского достоинства. Будет ли для вас при этих условиях так же легко достигнуть почетного положения, как теперь? В заключение представьте себе, что вам известно, что способности ваши весьма обыкновенные, что ваше образование равняется почти нулю, а рядом с вами конкурирует бесчисленная толпа, и вы навсегда лишились надежды достигнуть лучшего положения; подумайте, будут ли у вас в этом случае столь же сильные побуждения, как теперь, по отношению к постоянству и предусмотрительности. Сообразите все эти обстоятельства, о благоденствующий гражданин! И скажите потом, действительно ли беспечность и беспорядочные привычки не извинительны для народа?

Как возмутительно слышать речи нахальных самохвалов, которые благодарят Бога, что они не похожи на других людей, и строго осуждают своих бедных сограждан, обремененных тяжелой работой и несущих непосильную долю! Над несчастными собратьями они произносят один валовой приговор и клеймят их за то, что среди своей борьбы за существование они не в силах держать себя с тем чопорным чувством своего достоинства, которое удалось сохранить их строгим судьям. Мерить поведение других людей меркой собственных наших чувств — это одна из величайших нелепостей и в то же время один из тех приемов, которых мы придерживаемся с наибольшим упорством. Обсуждать поступки людей с наружной их стороны, т.е. с той, с которой они нам представляются, вместо того, чтобы рассматривать

их со стороны внутренней, т.е. с той, с которой они представляются самому действующему лицу, — это самый зловерный из абсурдов. Самое нерациональное, что может быть, — это критика, при которой поступки действовавшего лица рассматриваются так, как будто бы оно имеет те же самые желания, надежды и опасения, точно такие же благоприятные условия для воздержания, как и мы. Мы можем понять свойства другого человека только тогда, когда мы отрешимся от своей личности, воспроизведем в себе существо его души, его невежество, его грубость, влияния соблазна и чувство безнадежности, под которыми он находится. Если классы общества, пользующиеся благосостоянием, поступят таким образом, прежде чем они произнесут свое мнение о рабочем человеке, то их решения будут несколько более отзываться тем снисхождением, перед судом которого исчезает множество грехов.

§ 7. К чему, наконец, этот жалкий спор об относительных пороках бедных и богатых? Лучшую пародию в этом случае представили бы два школьника, упрекающие друг друга в недостатках, в которых они оба одинаково виноваты. В то время как негодующий радикализм обличает «пошлых аристократов», аристократы, в свою очередь, распространяются с ужасом о грубости черни. Ни одна сторона не видит собственных своих грехов. Ни одна из них не узнает себя в другой, потому что она является тут в другом наряде. Ни одна из них не может понять, что она делала бы то же самое, что делает другая, если бы находилась в таких же обстоятельствах. Хладнокровный свидетель не будет в состоянии сделать между ними выбора; ему понятно, что эти взаимные обвинения различных классов народа — не более как болезненные симптомы, указывающие на единообразно распространенную безнравственность. Разделяйте людей, сколько вам угодно, на высшие, низшие и средние классы, они все-таки останутся единицами того же самого общества, будут действовать в том же самом духе времени, будут носить на себе один и тот же отпечаток. Механический закон равенства между действием и противодействием встречает аналогию и в нравственной сфере. Поступок одного человека по отношению к другому стремится в окончательном своем результате произвести одинаковое влияние на обоих, все равно, будет ли этот поступок хороший

или дурной. Поставьте людей во взаимное друг к другу отношение, и никакие разделения на касты, никакие различия в благосостоянии не предупредят ассимиляции между ними. Человек, поставленный среди диких, со временем делается таким же диким; пусть его товарищи будут мошенниками, и он начнет мошенничать для того, чтобы защитить себя; окружите его любящими натурами, и он смягчится; между людьми с утонченными манерами он делается более изысканным; эти влияния, которые быстро приспособливают человека к его обществу, более медленным, но верным путем производят общее единообразие национального характера. Такое учение менее всего лишено основания. Обратитесь, куда вы хотите, и всюду найдете множество доказательств. Жестокости правителей древнего Рима вполне соответствуют тем, на которые массы народа с увлечением рассматриваются в цирке. Во время средневековых крестьянских войн бароны мучили возмущившихся, а возмущившиеся мучили баронов с одинаковым, адским зверством. Убийства, несколько лет тому назад совершавшиеся в Галиции, покрыли одинаковым позором и народ, который их совершал, и правительство, которое платило за них с головы. Ассамские начальники, которые получили от Ост-Индской компании вознаграждение за прекращение установленного для них законом права грабежа, были не лучше и не хуже масс народа, среди которого было обыкновением составлять товарищества разбойников. Ту же самую однородность мы видим в России: там все одинаково мошенники; военные начальники грабят солдат при выдаче им провианта, чиновники грабят императора при разных поставках, судьи требуют взяток прежде, чем они начнут производить какое-нибудь дело, полиция имеет тайные сделки с ворами, купцы хвалятся успешным обманом, и так идет далее, до почтовых чиновников и городских извозчиков с их бесконечными плутнями¹. В течение прошлого столетия в Ирландии народ составлял шайки, которые дрались между собой, и мстил через посредство тайных обществ; дуэли составляли удовольствие дворянства и распространялись до такой степени, что адвокат должен был давать удовлетворение свидетелю или доверителю, который оставался

¹ Напоминаем читателю, что «Социальная статика» написана в 1850 г. — *Прим. к русск. изд. 1906 г.*

им недоволен¹. Не забудем, в какой степени это единообразие характера обнаруживается в современном ирландце; среди этого народа оранжисты* и католики обнаруживают точно такое же варварское ханжество, судьи и народ соединяются в партии заговорщиков, отсутствие предусмотрительности крестьянина там может сравняться только с беспечностью землевладельца. Наша собственная история представляет достаточное число подобных же примеров. Когда-то Англия была наполнена разбойниками и бродягами; в массе народа существовала та раболепная услужливость по отношению к смелому грабителю, которую мы и до настоящего времени можем встретить в некоторых местах материка Европы; в то же время и короли забавлялись разбоем; они обманывали своих кредиторов, подделывая монету; они принуждали работников строить дворцы и под страхом тюремного заключения запрещали брать предлагаемую им заработную плату — таким образом выстроен был Виндзорский замок; они захватывали и продавали имущество разных лиц и возвращали собственникам менее трети того, что было выручено при продаже. Во время религиозных преследований католики мучили протестантов и протестанты мучили католиков с одинаковой жестокостью; кавалеры и круглоголовые** обнаруживали относительно друг друга ту же самую мстительность. В настоящее время бесчестность обнаруживается у нас в тех же размерах в подделках отчетов морских портов, в сочинении донесений по делам железных дорог, как и в воровстве со взломом и похищении овец; те, которые находят бессердечие в поступках мелких портных и хозяев, заставляющих их преть в несносном жару, могут встретить то же самое в поведении богатых землевладельцев, которые берут двойную ренту с арендаторов бесплодных участков², и в поведении почтенных леди, которые уменьшают плату

¹ «Пора, — говорил один из ветеранов этой школы, — закончить с судебными делами; теперь при судебной защите явилось новое оружие, которое заменило порох» (*Sketches of Ireland Sixty Years Ago*. («Очерки Ирландии шестьдесят лет тому назад»)).

² «Обыкновенно раздаются участки бедной и бесплодной земли, но через тщательную обработку они скоро достигают высокой степени плодородия. Чем плодороднее они делаются, тем более возвышают ренту с каждого участка. Нас уведомляют, что во владениях герцога в настоящее время существуют участки, которые под влиянием

полумертвых швей¹. Изменения во вкусах и удовольствиях точно так же однообразны во всех слоях общества. В Испании бой быков составляет до сих пор любимое препровождение времени и для королевы, и для ее подданных; точно так же в Англии пятьдесят лет тому назад и пэр, и нищий были одинаково расположены к петушьему бою. Если обратимся к сведениям об охоте и рыбной ловле, то мы увидим, что запоздалые инстинкты дикого человека в одинаковом процентном отношении проявляются во всех классах общества.

Все это достаточно подкрепляет мнение о единообразии в народных свойствах. До тех пор пока производящее его ассимилирующее влияние будет продолжать свое действие, до тех пор безрассудно предполагать, что какая-нибудь часть общества может отличаться в нравственном отношении от остальных. Если мы видим растление в каком-нибудь из слоев общества, то можем быть уверены, что оно одинаково проникает все слои; это, без всякого сомнения, симптом дурного состояния общественного тела. Если зараза растления существует в одной части политического тела, то никакая другая часть не может оставаться здоровой.

§ 8. Если утверждают, что рабочим нельзя предоставить конституционной власти, потому что они невежественны, то,

такой же конкуренции, какая встречается и относительно ферм, приносят его светлости ренту от двух до трех и даже до четырех фунтов стерлингов с акра» («Times Agricultural Commissioner on the Blenheim Estates»).

¹ См. Письма «о работе и о бедном». Вдова одного служащего говорила: «Обыкновенно леди гораздо требовательнее купечества; о да, купечество обыкновенно гораздо снисходительнее смотрит на женщин, работающих иголкой, чем леди. Я знаю одну хозяйку заведения, которая отказала одной леди, желавшей, чтобы ей работали рубашки за девять пенсов (25 коп.). Она сказала, что не может навязывать бедному рабочему народу такую тяжелую работу по такой низкой цене» («Morning Cronicle», 16 ноября 1849 г.). Продавец крестовника и дерна для певчих птиц говорил: «Леди очень жестоки относительно бедных людей. Они стараются заставить меня сделать уступку, в особенности по отношению к дерну. Они уверяют меня, что могут купить полдюжины за один пенс, и я вынужден им уступить три или четыре» («Morning Cronicle», 20 ноября 1849 года).

следовательно, предполагается, что существующие ныне избиратели просвещенны. Сделав такое предположение, возражающие против народных избирательных прав спокойно утверждают, что было бы весьма неpolitично произвести неурядицу между владельцами и нанимателями квартир, приносящих десять фунтов в год дохода, между поземельными собственниками и арендаторами, если к ним примешать массы людей, погруженных в совершенное невежество.

Как бы это ни было горько, но необходимо уничтожить иллюзию насчет того, что будто бы настоящий состав избирателей отличается таким похвальным превосходством. Под словом «невежество» в настоящем случае нужно понимать недостаток тех сведений, которые необходимы гражданину для надлежащего, сознательного отправления обязанностей избирателя; никакое другое определение этого слова не может быть здесь допущено. Но если это так, то признавать невежество исключительной принадлежностью тех, которые ныне лишены права голоса, — значит делать крупную ошибку. Если бы мы не имели никаких других доказательств подобного невежества, то для того, чтобы убедить в нем, достаточно было бы указать на поведение наших избирателей во время выборов. Важные заключения можно было бы сделать из раболопного духа, обнаруживающегося при выборе аристократических представителей. Можно ли считать достаточно развитыми избирателями тех, которые в состоянии восхититься и увлечься при одном звуке титула, для глаз которых геральдический герб имеет неотразимую прелесть, которые при подаче своего голоса измеряют достоинство кандидата количеством принадлежащей ему земли? Можно усомниться в проницательности людей, которые постоянно жалуются на тягость податей и в то же время посылают в парламент целые толпы сухопутных и морских офицеров, которые имеют прямой интерес в постоянном увеличении сборов. Чтобы получить надлежащее понятие о правильности претензий современных монополистов политической власти, стоит прислушаться к дебатам у арендатора базарной гостиницы или к речам в тех обществах, где излагается политическая мудрость избирателей. Не распространяясь об этих общих соображениях, мы вникнем немного в существо мнений о государственных вопросах, принадлежащих торговому классу, и посмотрим,

имеют ли люди с подобными мнениями право на репутацию людей просвещенных.

До Адама Смита законодатели и экономисты полагали, что «деньги — богатство» и считали это очевидной истиной. Сообразно этому всеми принятому учению писались законы в парламенте, и с общего согласия они направлены были к тому, чтобы привлечь и удержать в стране как можно более звонкой монеты. Милль во введении к своему последнему сочинению утверждает, что мнение это в настоящее время исчезло*. Может быть, оно действительно исчезло в среде философов, но оно до сих пор преобладает в торговом мире. Мы слышим, что известные законы восхваляются потому, что они направлены будто бы к усилению «обращения монеты», если мы будем анализировать периодически повторяющуюся тревогу по тому случаю, что будто бы «деньги вышли из страны», то увидим, что такое обстоятельство рассматривается как бедствие само по себе, а вовсе не как признак, указывающий, что в стране есть недостаток в известном, существенно необходимом товаре. Не существует ли здесь потребность в некотором развитии просвещения?

Многие почтенные люди делают наблюдение, что увеличивающееся потребление всюду сопровождается благосостоянием; отсюда они выводят заключение, что потребление благотворительно само по себе, что оно не есть посредственный результат, а причина благосостояния. Присутствуя при пожаре или наблюдая безумную расточительность какого-нибудь мота, они утешают себя рассуждением, что все это «полезно для торговли». Если здравые политические сведения необходимы, чтобы сделать человека способным к праву голоса, то все это опасные избиратели.

В среднем классе весьма распространено мнение, что сосредоточение значительной части имущества, производимого обществом, в руках непроизводительных классов не заключает в себе существенного вреда для остальных. Так как имущество это в виде денег опять переходит к производительным классам, то это все равно, как будто бы оно вовсе и не было в руках непроизводительных. Мы видим, что даже известный политэконом доктор Чаммерс утверждает, что выгоды поземельных собственников не уменьшают средств общества, потому

что доходы эти расходуются на прокормление и поддержку промышленников, в вознаграждение за их услуги; подобное заключение приводит к тому, что в окончательном результате все равно, будут ли А и прислуживающие ему Б, В и Г жить от произведений своего собственного труда или они будут пользоваться произведениями чужих рук¹.

Другое ложное понятие, одинаково распространенное среди бедных и богатых, состоит в убеждении, что спекуляции хлебных торговцев вредны для общества. Многие благомыслящие люди преисполнены такого негодования против этой торговли, которая, по их мнению, есть не что иное, как невыносимая жестокость, что почти невозможно убедить их в выгодах, которые доставляются народу полной свободой торговли в этом случае, точно так же как и во всех прочих. Их озлобление не дает им возможности понять факт, что если бы цены не поднимались немедленно после недостаточного урожая вследствие обширных закупок хлеба капиталистами, то народ непременно стал бы потреблять эти произведения в обыкновенных размерах, и дело кончилось бы тем, что запас был бы уничтожен задолго до следующего сбора. Они не понимают, что эта торговая операция по своим последствиям одинакова с уменьшением порций, выдаваемых экипажу корабля в таких случаях, когда запас недостаточен для его прокормления до конца путешествия. Это очень серьезная ошибка, если она разделяется избирателями, в особенности если многие из них вздумают предупредить закупки хлеба законными наказаниями!

Известно, какие грубые учения преобладают относительно во власти законодательства поощрять различные отрасли промышленности — относительно покровительства земледелию и

¹ Не подлежит никакому сомнению, что мнение, опровергаемое Чаммерсом, будто доход землевладельца вполне потребляется им одним, есть ложное мнение. Оно справедливо объясняет, что большая часть этого дохода употребляется в поддержку тех, которые посредственно или непосредственно удовлетворяют нуждам землевладельца. Но Чаммерс упускает из виду факт, что если бы землевладельца не было, то те, которые оказывают ему услуги за пропитание и поддержку, обратили бы свои услуги на пользу тех производителей, от которых землевладелец получает свой доход, и что от потери этих услуг страдает общество.

других «покровительств». Не одни только фермеры находятся в заблуждении, полагая, что посредством парламентских узаконений можно сделать их отрасль навсегда более цветущей, чем остальные отрасли промышленности; благовоспитанное городское население разделяет такие же иллюзии. Они совершенно забывают, что если известную отрасль торговли сделать искусственным образом более доходной, то к отрасли этой бросится столько конкурентов, что ее предполагаемые выгоды будут в скором времени сведены к общему уровню и что временно они будут даже ниже этого уровня. Итак, разве не справедливо, что и в лавке, и на ферме, и у мастера-ремесленника одинаково нуждаются в воспитателе?

Мы встречаемся с самыми дикими взглядами по отношению к вопросам об обращении монеты и капиталов. Мы смеемся над простотой прошлых времен, когда стесненное голодом население приписывало высокие цены на хлеб жадности хлебников и мельников; однако же можно найти немало аналогии между такими взглядами и теми, которые приписывают народные бедствия дурной монетной системе. Бедный человек, когда он чувствует недостаток пищи, потому что ему приходится платить за хлеб вдвое более, чем прежде, прямо приписывает зло торговцу хлебом. Точно так же многие торговцы приписывают свое стеснение в торговле трудности, с которой дается кредит банкиром или с которой получаются деньги под векселя; отсюда они заключают, что все происходит от недостатка орудия мены, т.е. монеты. Им точно так же, как и их голодному прототипу, неизвестно, что первоначальная причина зла заключается в недостаточности сделанного народом запаса питательного вещества и других предметов. Предполагать, что посредством выпуска банковых билетов можно помочь всеобщей нужде, — значит делать такую же ошибку, какую делает отыскивающий перпетуум мобиле: это значит надеяться создать силу из ничего.

Таким образом, оказывается, что доказательством посредством *tu quoque** можно вполне нейтрализовать заключения, выведенные из предположения о безнравственности рабочих классов, и что тем же путем можно дать вполне убедительный ответ против возражения, что право голоса не может быть распространено на массу народа по причине его невежества. Если

массе народа не будет предоставлено право голоса по причине недостатка его сведений, то по той же самой причине это право голоса должно быть отнято у существующих избирателей. Если относительная компетентность обоих классов народа при пользовании политическими правами должна определяться размерами их сведений — разумеется, политических сведений — то преимущество, которое в этом случае имеют современные избиратели, вовсе не достаточно, чтобы дать им исключительное право при выборах. Мы убедились, что значительная часть этих избирателей имеет ложное понятие о самих существенных общественных вопросах — о свойствах народного богатства, о том, что полезно для торговли, об отношениях между производительными и непроизводительными классами, о предметах, касающихся народного продовольствия, поощрения торговли, обращения товаров и т.д. Где же их значительное превосходство над теми, которые не имеют права избрания? Если несколько ремесленников приняли чрезмерную конкуренцию за причину зла, вместо того чтобы понять, что она — только признак этого зла, то это заблуждение разделялось значительным числом образованных людей. Если работники имеют неправильный взгляд на машины, то такой же взгляд имеют все фермеры и многие купцы. Если между рабочими массами распространено ложное мнение, что фабриканты могут по своему усмотрению возвышать и понижать заработную плату, то подобное же мнение весьма распространено между их богатыми соседями. Каким же образом можно ссылаться на невежество народа, отказывая ему в праве голоса?

§ 9. Доказательства в пользу демократии стараются опровергнуть, утверждая, что этот образ правления был уже испытан и оказался неудовлетворительным. Но можно ли назвать действительно демократическими те правления, на которые указывают в этом случае? Существовала ли когда-нибудь истинная демократия? Можно ли найти ее в настоящее время? Мир нередко видел учреждения, которые старались ей подражать; но нельзя согласиться с тем, чтобы истинная демократия когда-либо существовала, — по крайней мере она не существовала достаточно долго время, чтобы можно было судить о ее результатах. При тех условиях, в которых жило до настоящего времени

человечество, ее существование даже не было возможно. Это тотчас делается ясным, как скоро мы обратимся к определениям. Демократия в собственном смысле есть политическая организация, приспособленная к жизни, согласной с законом равной свободы. Если это так, то нельзя назвать демократическими правлениями такие, какие были в Риме и в Греции, где четыре пятых или одиннадцать двенадцатых населения находились в рабстве. Точно так же нельзя назвать демократиями средневековые итальянские учреждения, где власть принадлежала только дворянам и гражданам городов. Нельзя считать также демократиями швейцарские кантоны, где постоянно существовал класс людей, не имевший гражданства и который был лишен всяких политических прав. Их можно назвать расширенными аристократиями. Все равно, будет ли отказано во власти большинству или меньшинству, подобное исключение по духу своему носит на себе одинаковый характер и одинаково не согласно с понятием о демократии. Человека, который украл пенс, мы считаем точно так же бесчестным, как и того, который украл фунт. Мы называем его этим именем, потому что его поступок одинаково указывает на недостаток чувства собственного достоинства. Точно так же мы должны всякое правление считать аристократическим, если от участия в нем исключается какой-нибудь класс людей, все равно, будет ли этот класс значителен или ограничен.

Обыкновенно ссылаются на Соединенные Штаты и утверждают, что существование рабства есть один из аргументов против демократии. Те, которые поступают таким образом, делают странную ошибку. Если придать этому мнению определенную форму, то оно по справедливости может послужить для логики образцом абсурда. Псевдodemократия признается не имеющей достаточно демократического характера, и отсюда выводится заключение, что демократия — вещь дурная! Какой-нибудь Аутолик восхваляет честность и выставляет себя образцом этой честности; но вот он пойман на месте преступления в то время, как очищал карманы своего ближнего, из этого выводится заключение, что честность должна быть впредь отвергаема! Иосиф Сюфос постоянно говорит о «благородных чувствах» и ведет, по-видимому, нравственную жизнь. Оказывается, однако же, что он обманывает своих друзей; когда открывается, что он

такой негодай, восклицают: «Что за отвратительная вещь эта нравственность!»

Мы не будем более рассматривать всего, что говорится о неудаче демократических правлений, мы согласимся, что они действительно не удавались; согласимся также, что от времени до времени существовали формы правления, близкие к демократии, — мало этого, мы допустим, что во время революций подобные правления имели преходящее существование. Все это, однако же, ничего не доказывает. Какая же из попыток человеческих не приводила сначала к неудаче? Разве упорное преследование цели, несмотря на ряд неудач, не есть естественная история всякого успеха? Разве процесс, через которых мы проходим, когда учимся ходить, не представляет нам собою типа всех человеческих опытов? Хотя мы видим, что ребенок делает сотни бесполезных попыток удержать равновесие, однако же мы из этого не заключаем, что он осужден навсегда ходить на четвереньках. Руководствуя воспитанием ребенка, мы не перестанем в этом случае повторять ему «попытайся еще раз», несмотря на то что видели с его стороны ряд неудач. Совершенно справедливо, что нельзя основывать своего заключения на предполагаемой аналогии между ростом отдельной личности и развитием государства, хотя оба эти явления управляются одним и тем же законом человеческого развития и хотя, по всей вероятности, между ними существует естественная аналогия. Однако же сравнение это можно употребить не без основания, чтобы показать, что неудачи прошедших усилий, сделанных обществом, чтобы стать в прямое положение демократии, ни в каком случае не доказывают, что положение это ему несвойственно.

Такие неудачи следует предвидеть на основании нашего учения. Мы видели, что усовершенствованная форма правления применима только тогда, когда люди будут уже высоконравственного типа; что свобода может развиваться только по мере того, как уменьшается потребность в опеке; что совершенная форма общественного устройства может осуществиться только при появлении совершенного человека. Демократическая форма составляет высшую ступень, до которой может достигнуть управление, это не последний фазис цивилизации, но все-таки предпоследний; в руках диких и полудиких людей она неизбежно должна приводить к неудачам.

Итак, мы утверждаем, что все неудачи демократических учреждений, на которые указывают, должны быть приписаны вовсе не несостоятельности принципа демократического управления, а совершенно другим причинам. Мы показали также, что быстрое возвращение народов к прежним порядкам, после того как они во время революций учреждали демократии сравнительно более чистого типа, вовсе не противоречит нашему положению.

§ 10. Применима ли демократия в известном, данном случае — это вопрос, который всегда разрешается сам собою. Физиолог показывает нам, что в животном организме мягкие части определяют формы, принимаемые твердыми; точно так же справедливо, что в общественном организме с виду твердая организация законов и учреждений видоизменяется, по-видимому, бессильной его частью — свойствами общества. Социальные учреждения — это кости общественного тела, а национальная нравственность — это его жизнь. Кости разовьются и получат свободный, здоровый рост, если нравственность — эта жизнь общественного тела — будет мощная и крепкая; в противном случае они примут формы болезненные и уродливые.

Мы видели, что жизненный принцип общества есть закон равной свободы; мы видели далее, что ему соответствует способность, порождающая нравственное чувство; эта способность — деятель, который дает человеку возможность ценить этот закон, любить его и следовать ему в своих действиях (гл. IV и V). Мы видели, что для осуществления божественной мысли наибольшего счастья человек должен быть так устроен, чтобы каждый держался в пределах своей сферы деятельности и оставлял неприкосновенными подобные же сферы других (глава III); далее мы видели, что инстинкт собственной нашей свободы и симпатия, которая заставляет нас уважать подобную же свободу наших ближних, составляют тот механизм, посредством которого подобный порядок вещей может быть установлен. Когда эти чувства не развиты, тогда убеждения, законы, обычаи и приемы народа будут характеризоваться стремлением налагать свою руку на другого; лишь только они будут действовать с надлежащей силой, организация общества и поведение отдельных его членов придут в гармонию с социальным

законом. Политические формы указывают размер силы, с которой действует этот душевный механизм; они в известном отношении дополняют его; они дурны, в них принуждение играет значительную роль, как скоро деятельность этого механизма недостаточна; они улучшаются по мере того, как развивается его влияние. Вот почему демократия как одна из самых высших социальных форм и по отношению к своему происхождению, и по отношению к своей применимости неизбежно совпадает с господством нравственного чувства. На это мы указывали уже несколько раз, но не излишне будет рассмотреть причины этого явления с большим вниманием, чем это делалось нами до сих пор.

Прежде всего, следует заметить, что желание политического равенства вовсе не существует на низших ступенях цивилизации в то время, когда процесс приспособления не произвел еще значительных перемен. Между египтянами, персами и ассирийцами не было никаких движений для достижения представительного управления; там все споры сосредоточиваются на том, кому быть тираном. Подобное же положение мы видим в настоящее время у индийцев Азии. Русские находятся в том же фазисе развития: они так мало заботятся о гражданской свободе, что избегают всякого, кто говорит о справедливости и восстает против тирании, они смотрят на него как на несчастливое недовольное. То же душевное настроение мы видели на первых ступенях нашего собственного развития. В средние века верность по отношению к феодальному владельцу считалась долгом, а требование личной свободы — преступлением. Тогда никому и не снились права людей. Революции того времени были не более как династические ссоры; они вовсе не имели того характера, который получили в последнее время, когда превратились в покушения сделать правительство более народным. Если мы взглянем в перемены, которые происходили между давно прошедшим и настоящим временем, если мы обсудим свойства современных нам идей и движений — заявления прав, стремления к свободе прессы, освобождение рабов, уничтожение законов, ограничивающих права людей по религиозным причинам, законы об избирательных реформах, чартизм и т.д.; если мы обратим внимание, как во всем этом все более и более проявляется дух симпатии к ближнему, как дух

этот обнаруживается с постоянно возрастающей силой и распространяется повсеместно, тогда мы убедимся, что тут проявляется известная нравственная перемена в человеке. Перемена эта объясняется развитием той способности, которая стремится к осуществлению закона равной свободы. Мы поступим вполне основательно, если усмотрим в ней способ, посредством которого эта способность старается приводить специальные учреждения в гармонию с упомянутым законом. Другими словами, все эти явления — не что иное, как усилия нравственного чувства к осуществлению демократических учреждений.

Если демократия производится этим деятелем, то через его посредство она должна также сделаться удобоисполнимой. В противоположность монархическому правлению, народный образ правления есть такая форма, которая налагает на личность менее ограничений. Говоря о ней, мы употребляем термины «свободные учреждения», «гражданская свобода», «самоуправление»; все они выражают ту же мысль. Однако же уменьшение внешних ограничений возможно только в тех же самых размерах, в которых увеличиваются внутренние. Поведение человека должно управляться или извне, или изнутри. Если управление изнутри не действительно, то должно существовать дополнительное управление извне. Если, наоборот, люди вполне удовлетворительно управляют собой изнутри, то правительство делается излишним, и все люди будут совершенно свободны. Основная способность для управления собой есть нравственное чувство (глава V); итак, степень свободы каждого данного народа должна соответствовать нравственному чувству, распространенному в его среде. Только когда влияние этого нравственного чувства преобладает в значительных размерах, является также возможность к введению свободы столь обширной, какая существует при демократии.

Наконец, преобладание той же самой способности составляет единственную гарантию для устойчивости демократических учреждений. В народе она порождает то, что мы называем ревнивым охранением своей свободы, — бдительную решимость сопротивляться всякому нарушению своих прав. В то же время среди людей, обладающих властью, она создает такое уважение к этим правам, которое поставляет неодолимую преграду всякому желанию нарушить их. Наоборот, если у управляемых

недостает инстинкта свободы, то они до тех пор будут равнодушно смотреть на постепенную узурпацию их преимуществ, пока из этого не произойдет непосредственных для них неудобств; а правители, со своей стороны, не будут стесняться в деле узурпации, потому что они будут страдать недостатком симпатичного внимания к правам народа. Посмотрим, каким образом ведут себя при представительных формах правления люди, которые отличаются друг от друга такими противоположными свойствами. В среде народа, который не приспособлен к такой форме, граждане лишены стремления требовать для себя равенства, они не заботятся о том, чтобы пользоваться своими избирательными правами, они сомневаются в выгодах такой деятельности и даже хвалятся тем, что не вмешиваются в общественные дела¹. Если нападать только посредственно на предоставленные им преимущества, то они будут смотреть с крайне легкомысленной беспечностью на приведение в действие мер самого изменнического свойства. Только в одних открытых нападениях на свободу они способны понять стремление к нарушению. Так как они своим преимуществам придают мало значения, то их легко подкупить. Если им угрожают, то они не обнаруживают намерения упорно сопротивляться, как делают люди, обладающие инстинктом свободы, но уступают и покоряются. Когда у них обманом отберут какое-нибудь право гражданства, то они вовсе не заботятся о том, чтобы приобрести его снова. Если пользование каким-нибудь из подобных прав сопряжено для них с известной тягостью и немедленным лишением, то они рады от него отделаться, они готовы даже просить, чтобы их избавили от выбора представителей, как это делалось многими общинами в былые времена в Испании и Англии. Вместе с тем согласно закону об однородности общества, о котором мы говорили выше, имеющие власть в тех же размерах склонны к нарушению свободы. Они охотники до тайных заговоров против свободы, употребляют устрашение, подкуп и постепенно устанавливают относительно более тягостное и принудительное управление. Такой реакционный процесс вовсе невозможен среди народа, у которого достаточно развита

¹ Примером может послужить поведение прусских избирателей со времени последней революции.

способность, порождающая стремление к осуществлению закона равной свободы. Человек с истинно демократическими чувствами любит свободу, как скряга любит золото; он ее любит ради нее самой и вовсе не обращая внимания на выгоды, которые от нее могут произойти (гл. V, § 4). Он бдительно охраняет то, что ценит так высоко; он тотчас заметит всякую попытку к ограничению свободы; он сопротивляется покушениям против нее тотчас же, как скоро они начинаются; если кто-нибудь присваивает себе не следующие ему преимущества, он немедленно обращается против него и требует отчета в его поступках. Поведение, двусмысленное в самой незначительной степени, возбуждает его подозрения, и они не дадут ему покоя до тех пор, пока хоть что-нибудь останется неразъясненным. С инстинктивной проницательностью он тотчас пронюхает злоупотребление и как скоро раскроет его, не отстанет до тех пор, пока оно не будет уничтожено. Как скоро предлагается мера, в которой заключается скрытая опасность для его свободы или для свободы других и в которой таится зародыш неответственной власти, он тотчас раскрывает это и отказывается в своем согласии. Его пугает предложение предоставить законодательству право лишать кого-либо избирательного голоса; он понимает, что такое право, употребленное против одного, может быть употреблено против многих. Он понимает нелепость называть правительство ответственным, если министр этого правительства может втянуть нацию в распрю из-за какой-нибудь ничтожной территории, прежде чем народ узнает что-нибудь об этом. Он не нуждается в ряде заключений для того, чтобы понять, что предоставление представителю собрания права продолжить свое существование и свою привилегию от трех до семи лет заключает в себе нарушение принципов представительства: он инстинктивно чувствует это; никакие благовидные патриотические цели, никакие уверения в бескорыстных намерениях не остановят его оппозиции, и он не допустит такого опасного примера. Еще более возбудится его внимание, если от него потребуют денег и дадут ему понять, что впоследствии при случае ему будет объяснено, какое из этих денег сделано употребление. Он не позволит поймать себя в ловушку жалких извинений насчет требований государства и т.п., и не оставит сам себя в дураках. С неудовольствием выслушает он подобные объяснения

и упорно будет отказывать в такой просьбе; он будет утверждать, что ограждение прав людей — самое существенное или, скорее, единственное «требование государства». Он постоянно будет озабочен искоренением зачатков притеснения; он будет уничтожать злоупотребления, пока они еще в зародыше; он будет, если возможно так выразиться, останавливать посягательства прежде, чем они начнутся. Если общество состоит из людей, одушевленных подобным духом, то существование свободных учреждений обеспечено.

Итак, политическая свобода, как мы уже сказали, есть внешнее проявление внутреннего чувства. Она зависит от нравственного чувства и при своем зарождении, и во время своего применения, и для постоянного обеспечения своего существования. Высокая форма социального устройства, подобная демократии, может удержаться только тогда, когда нравственное чувство достигнет наибольшего своего развития и приобретет преобладающее влияние.

§ 11. Вот истинный ответ на вопрос, который теперь так часто повторяется: применим ли в настоящее время чисто народный образ правления? Чувство, через которое порождается состояние полной политической свободы — это то же самое чувство, которое и поддерживает ее; отсюда прямо вытекает заключение, что если оно достаточно сильно, чтобы ее породить, то, следовательно, оно достаточно сильно и для того, чтобы ее поддержать. Постоянное существование подобных учреждений возможно исключительно только в том случае, когда народ спокойно идет к заключению, что демократические учреждения — самые справедливые, если он хладнокровно решит, что учреждения эти должны быть применены или, другими словами, если из хода обстоятельств будет видно, что установление этих учреждений не есть случайность, но результат преобладания вышеобъясненных чувств.

Вполне согласно с этой истиной мнение, которое, по счастью, в настоящее время сделалось преобладающим, что единственно действительный путь для совершения политических перемен — путь мирный. Люди убеждаются, что свобода, приобретенная мечом, постоянно утрачивается снова; она сохраняется только тогда, когда приобретена мирной агитацией;

отсюда прямо можно вывести заключение, что единственный правильный путь для проведения реформ — это средства, согласные с нравственным законом, средства, в которых не заключается никакого нарушения этого закона. Хотя это заключение и совершенно правильно, но до него еще не доходили философским путем. Не объяснялось, почему это именно так. Менее всего справедливо обыкновенное предположение, что утрата свободы, приобретенной силой, заключает в себе род возмездия. Нельзя сказать, что пролитие крови искажает учреждения, которые приобретены с его помощью; нельзя также сказать, что учреждения, установленные мирным путем, сохраняются потому, что они именно таким образом установлены; но следует сказать, что способ, которым произведена перемена, указывает на свойства народа и на то, способен он или не способен к новой социальной форме. Чтобы разъяснить это, достаточно короткого анализа нравственных условий, которые обнаруживаются при этих различных приемах политических преобразований.

Когда старый порядок разрушен силой, то нет никакой гарантии в том, что новый, поставленный на его место, будет удовлетворять потребностям времени. Подобная катастрофа доказывает только то, что страдания, причиняемые прежним порядком, сделались совершенно невыносимыми. В применении к подобным конвульсивным движениям слова Сюлли, приведенные Бёрком, заключают в себе совершенную истину: «Во время восстания народом никогда не руководит желание нападать; если он восстает, то только потому, что не в силах более терпеть». Озлобление против деятеля, который причиняет страдания, — это такая страсть, которая настолько же проявляется у животных, насколько и у людей; социальная революция, произведенная под влиянием такого деятеля, по всей вероятности, не в состоянии будет привести к такому порядку вещей, который был бы прямо приспособлен к обстоятельствам народной жизни. Человек, который во время минутной вспышки гнева бросает на землю вещь, сильно его рассердившую, но об утрате которой он все-таки будет очень жалеть, — вот образец, до известной степени объясняющий поведение народа, возбужденного подобным образом. Народ возбужден, и причина его гнева совершенно справедлива; влияние, которое имел на него авторитет власти, ослаблен; чувство обожания силы замолчало;

то, что мы называем верностью и что есть не что иное, как ука-
зание на известное соответствие между свойствами народа и
управлением, под которым он находился, отсутствует в это вре-
мя. Все эти чувства затоплены вздымающимися волнами его
гнева. Когда после разрушения старого порядка вещей почувст-
вуется необходимость в новом, то этот новый является создан-
ным в состоянии возбуждения, и весьма невероятно, чтобы он
был действительно в гармонии с характером народа. Мало это-
го, не подлежит никакому сомнению, что этот новый порядок
не будет соответствовать народным свойствам; учреждения, со-
зданные в это время, будут носить на себе печать тех чувств, ко-
торые преобладали в минуты волнения; чувства эти будут дале-
ко отличаться от тех, которые обнаруживались народом прежде,
и от тех, которые очень скоро возвратятся к нему. Зародыши
чувств, предназначенных установить в будущем действитель-
ную политическую свободу, возбуждаются к преждевременной
деятельности происшествиями дня, они кажутся и сильнее, и
более распространенными, чем это есть в действительности;
вместе с тем чувства, которыми поддерживался прежний по-
рядок, совершенно скрываются. Форма правления, созданная
при этих обстоятельствах, вполне соответствует исключитель-
ному настроению духа того времени, и если бы возможно бы-
ло постоянно поддерживать такое настроение, то и правление
могло бы продолжать действовать. Но скоро народные чувства
войдут в обыкновенную свою колею, несообразность между но-
выми учреждениями и старыми свойствами начнет обнаружи-
ваться, и явится возврат к прежнему.

Если на эти факты смотреть с точки зрения изложенного
здесь учения о деятельности нравственного чувства, то сдела-
ется еще более ясным, что свободные учреждения, созданные
путем насилия, неизбежно преждевременны. Какие явления
должны предшествовать этим социальным потрясениям? Им
должны предшествовать мучения сильно распространенной и
глубоко пустившей свои корни несправедливости. Какие свой-
ства обнаруживает такая несправедливость? Ясно, что это свой-
ства людей, у которых существенный недостаток в чувствах,
удерживающих от посягательства на другого, — свойства, по-
казывающие недостаток способностей, необходимых человеку
для общественной жизни, свойства, показывающие отсутствие

инстинктов, необходимых для осуществления закона равной свободы. Следовательно, ужасный кризис был произведен беззастенчивой притязательностью, с одной стороны, и преступной уступчивостью и раболепным подчинением — с другой. Путем революции народ может переделать свое правительство, но он не может переделать самого себя. Он, может быть, несколько изменится, переживая эпоху такого страстного возбуждения, но в существе члены этого народа останутся тем же, чем они были прежде. Старые процессы должны в них возобновиться. Как скоро прошла буря, снова появится и прежняя притязательность, и прежнее равнодушие; они будут продолжать идти по этому пути, пока постепенное обременение народа новыми тягостями не доведет его если и не до такого же скверного положения, как прежде, то до положения, которое немногим от него отличается.

Совершенно противоположное обнаруживается при политических улучшениях, произведенных мирным путем. Они принадлежат к более высокому фазису цивилизации. Прежде всего, страдания народа оказываются относительно более слабыми, они перестают быть невыносимыми, возмутительными. При тех же условиях это указывает на уменьшение размеров несправедливости; уменьшение объема несправедливости показывает, в свою очередь, что нравственное чувство приобрело большую энергию и большее значение. Таким образом, обстоятельства, предшествовавшие мирной агитации, уже в известной степени служат тому, чтобы обеспечить успех за свободными учреждениями, приобретенными этим путем. Из процесса, которым довершается эта революция, лишенная кровавых сцен, уже обнаруживается самым ясным образом, что в народе существуют свойства, необходимые для окончательного успеха. В чем заключается условие жизненности подобного движения? Какая скрытая сила производит его, дает ему рост и способствует его победе? Ясно, что тут действует то чувство, которое ведет к осуществлению закона равной свободы. Упорное требование политического равенства — это только признак возрастающей его деятельности. Преобразовательной силой теперь является уже не голод, не желание избавиться от мучений, не жажда мести, но хладнокровная, менее всего мечтательная решимость вынудить признание человеческих прав и

человеческой свободы. Нужен живучий источник энергии, совершенно отличный от того, который возбуждает ярость восстания, чтобы довести до успешного конца эту битву мнений, с ее продолжительными проволочками, с ее доводящими до отчаяния затруднениями, где придется выдерживать и насмешки, и сбивающие с толку искажения. Вместо мимолетного припадка гнева тут деятелем должно явиться постоянное, все более и более усиливающееся чувство. Агитация — это способ его упражнения. Люди, у которых это чувство преобладает, развивают его в остальных. Они говорят для них речи, пишут для них свои статьи, собирают митинги, чтобы эти чувства могли в них проявиться. Они возбуждают их, обличая несправедливости; чтобы заставить их действовать, они обращаются к их совести. Они вызывают такие чувства наружу, обращаясь ко всему, что в людях есть справедливого, чистого и прямодушного. Чтобы возбудить в них отвращение, они изображают картины рабства и тирании; они убеждают их, что состояние полной свободы — есть единственное, которое можно любить и призывать с надеждой. Они стараются внушить им чувство святости человеческих прав. После того как люди в течение многих лет направлялись и стимулировались таким образом, чувства эти достигают достаточно сильного проявления, и является реформа. Не забудьте, что чувства эти исходят из той же самой комбинации способностей, которая, как мы видели, поддерживает свободные учреждения и делает их применимыми. Каждая из подобных агитаций есть род школы для пользования тем видом свободы, к которому она приводит. Сила, необходимая для приобретения этой свободы, соответствует размеру силы, необходимой для пользования ею. На основании закона форм общественной жизни эти формы выражают собой народные свойства. Появляясь на свет, они носят на себе печать этих свойств. Они могут существовать только до тех пор, пока свойства эти дают им жизненную силу. Общее неудовольствие прежними учреждениями показывает, что свойства народа требуют лучших. Если народ для достижения этих лучших учреждений устраивает ассоциации, содержит пропагандистов, во время каждой сессии законодательного собрания осаждает его петициями и до тех пор повторяет все это, пока накопленная сила общественного мнения сделается неудержимой, то можно считать вполне

доказанным, что производящееся преобразование находится в истинной гармонии с потребностями времени. Новые учреждения не будут порождением исключительного настроения народного духа — они будут выражать обыкновенное его состояние, а потому, безо всякого сомнения, окажутся приспособленными к нему.

§ 12. Вот поощрение для робких реформаторов. Люди с правильным взглядом на вещи не нуждаются в таком подробном разборе для укрепления своих убеждений. Математик не прибегнет к циркулю, чтобы убедиться в верности доказанной им задачи. Человек со здравым чувством не нуждается в дальнейших свидетельствах после того, как он разъяснит себе указания нравственного закона. Для него достаточно понять справедливость дела. Он никогда не поверит, что если справедливая цель достигается справедливыми средствами, то из этого может выйти что-нибудь вредное или дурное. Вот единственное душевное настроение, достойное того, чтобы его называть религиозным. К несчастью, большинство не одарено такими благонадежными убеждениями, а потому предписания естественной справедливости необходимо подкреплять дополнительной аргументацией. Неверующий нравственный скептицизм утилитарного учения требует опровержения. Вышеизложенные соображения обращены к тем, которые заражены этим учением; пусть они убедятся, что им нечего опасаться обнаруживать демократические симпатии, которые в них существуют, что им следует употребить теперь же всю свою энергию на пользу народного дела; они должны знать, что если справедливые учреждения будут достигнуты справедливым путем, то они должны неизбежно процветать.

§ 13. Теперь ясно, что право, выводимое из закона равной свободы — право каждого гражданина на равную долю политических прав, — не перевешивается ни одним из тех требований благоразумия, которые против него предъявляются. Мы нашли, что до тех пор, пока эгоизм делает управление необходимым, он вместе с тем должен вносить растление во всякое управление, за исключением такого, в котором все люди имеют своих представителей. Было доказано, что мнение, будто бы предоставление

всеобщего права на подачу голосов даст состав избирателей с более низким уровнем нравственности, совершенно неосновательно, потому что все классы общества безнравственны, и если принять в соображение численность и обстоятельства жизни каждого класса, то, по всей вероятности, окажется, что они безнравственны в одинаковой степени. По рассмотрении дела оказывается, что и возражения, ссылающиеся на народное невежество, — обоюдоострый меч, потому что по отношению к сведениям, необходимым для правильной подачи голоса, массы, входящие в состав избирателей, так же невежественны, как и те, которым не предоставлено этого права. Для подкрепления возражений приводилось указание, что были деланы попытки ввести истинно демократические учреждения, но попытки эти оказались неудачными. Указание это основано на примерах, не подходящих к делу; а если бы и был приведен правильный пример, то и он бы ничего не доказывал. Наконец, и в этом случае оказывается точно так же, как и в других, что возможность осуществления нравственного закона соответствует тому, насколько люди приблизились к вполне нравственному состоянию; политические учреждения неизбежно приспосабливаются к народным свойствам. Поэтому мы можем сказать горячему демократу: «Будьте уверены, что демократия осуществится, как скоро народ будет достаточно хорош для этого», — а тем, которые отличаются недостатком смелости: «Не бойтесь, демократия не явится слишком рано, если только народ дойдет до нее мирным путем».

XXI | ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА

§ 1. Выше (гл. XIX, § 2) было сказано, что нравственность по отношению к правительству может только ограничивать: она относится к нему отрицательно, а не положительно; на все вопросы она отвечает, указывая только исключительные условия существования, устройства и деятельности государства, при которых оно может быть терпимо с нравственной точки зрения. Так как нравственный закон вполне игнорирует правительство, то он не может нам дать никакого указания по отношению к тому, что следует делать этому правительству; он может сказать нам только, чего ему не следует делать. Из предыдущего видно, почему наука нравственности вне этого предела не может дать нам никаких точных сведений. Мы уже объяснили, что каждый человек должен иметь право отказаться от государства, что, следовательно, на государство нужно смотреть как на организацию, созданную добровольным союзом людей; по отвлеченному о нем понятию оно ни в чем не должно отличаться от всякой другой ассоциации, а потому и нет необходимости говорить о специальных его отправлениях. Члены его могут возложить на него всякую деятельность, которая не заключает в себе нарушения нравственного закона.

Итак, нравственный закон не может быть для нас в этом случае прямым руководством: для достижения истины мы должны идти побочными путями, насколько они окажутся для нас доступными. Вопрос этот не может считаться вопросом чистой нравственности и потому не может быть разрешен точным, научным способом; можно достигать только решений приближенных. К счастью, мы можем идти в этом случае различными путями, и так как все эти пути приводят к одному и тому же заключению, то заключение и приобретает через это что-то вроде достоверности. Мы употребим последовательно каждый из этих приемов.

§ 2. Для того, чтобы показать, что какая-нибудь вещь вполне удовлетворяет своему назначению, мы употребляем слова

«хорошая», «совершенная», «вполне удовлетворительная»; то же самое свойство мы обозначаем в человеке словом «нравственный». Вещь, которая вполне соответствует своему назначению, не может быть улучшена; нельзя себе представить более совершенным человека, который и без того непосредственно, по инстинктивному стремлению выполняет волю Божию. Человек, который вполне может удовлетворить всем своим потребностям собственными силами, способности которого вполне соразмерены с тем, что ему следует делать, такой человек должен быть назван органически нравственным. Дана предопределенная цель — счастье; даны условия, при которых счастье это может быть достигнуто, и совершенство будет состоять в обладании такими силами и склонностями, которые вполне приспособлены к этим условиям. В то же время нравственный закон может только указывать то направление, в котором достигается удовлетворение условиям. Следовательно, для правильно устроенного человека он не нужен, и всякая внешняя помощь не только бесполезна, но даже вредна: здоровое тело не нуждается в костылях, в тонических и стимулирующих средствах, оно в себе самом имеет все, что нужно для нормальных отправлений; точно так же и нормально развитой характер не требует искусственной помощи; он отвергает ту помощь, потому что она заранее занимает место в той сфере, которая нужна будет для нравственного отправления его способностей. Напротив, если устройство человека и условия его жизни не находятся между собой в гармонии, тогда является потребность во внешнем деятеле, который бы заступил место недостающей внутренней способности. Эти временные силы, заменяющие недостаток способности, помогают несовершенному человеку исполнять закон своего существования, т.е. то, что мы называем нравственным законом, и в то же время получают от этого закона известный рефлексивный авторитет. Авторитет этот изменяется сообразно тому, насколько они служат требованиям закона. Каковы бы ни были особые отправления правительства, но ясно, что оно служит одним из средств для достижения такой цели, т.е. искусственной помощи. Оно самое существенное из всех подобных средств.

Для большей ясности все это может быть изложено таким образом. Если на правительстве лежит какая-нибудь

обязанность, то обязанность эта должна заключаться в услуге известного рода — оно должно приносить пользу. Но человеку можно оказать только такую услугу и принести только такую пользу, которая будет помогать ему исполнять закон его существования. Если мы накормим голодного, если мы вылечим больного, если мы защитим слабого, если мы укротим порочно-го, то во всех этих случаях мы делаем человека более способным или принуждаем его в большей мере сообразоваться с условиями совершенного счастья. Мы увеличиваем сообразность поступков человека с условиями совершенного счастья и через это создаем их сообразность с нравственным законом. Если, следовательно, всякая польза, принесенная людям, способствует выполнению нравственного закона, то и польза, приносимая правительством, должна иметь то же самое свойство.

Как скоро мы в этом согласимся, то нам останется исследовать, каким образом можно оказывать выполнению нравственного закона самые существенные услуги. Понятно, что возможность осуществления должна служить основанием для осуществления. Прежде чем поступок совершится, нужно, чтобы созданы были условия, при которых он сделается выполнимым. Прежде чем мы скажем «сделай это», нужно, чтобы существовало основание сказать: «это можно сделать»; прежде чем мы создадим кодекс для правильного употребления способностей, нужно создать условия, при которых употребление способностей будет возможно; условие, при котором употребление способностей осуществимо, состоит в возможности приобретать предметы, служащие для этого употребления, предметы пожеланий; эта возможность получается чрез то, что мы называем свободой действий — свободой вообще. Выполнение нравственного закона делается возможным посредством того же самого, посредством чего является возможность к употреблению своих способностей. Итак, свобода — это самое существенное требование для выполнения нравственного закона. Следовательно, если нужно помочь человеку при выполнении нравственного закона, то первое и самое существенное для этого требования состоит в обеспечении за ним необходимейшего условия — свободы. Помощь в этом отношении должна предшествовать всякой другой помощи, без нее никакая другая помощь невозможна. Как скоро мы какой-нибудь способности

отказываем в свободе деятельности, то мы уже никаким образом не можем помочь ей в ее отправлении до тех пор, пока эта свобода не будет восстановлена. Следовательно, в ряду всех учреждений, которые создаются несовершенно человеком для того, чтобы восполнить недостатки его природы, на первом месте должно стоять то, которое имеет своей целью оградить его свободу. Вместе с тем свобода, которая может быть обеспечена за каждым гражданином, ограничивается равной свободой, обеспеченной за всеми другими. Такое одинаковое обеспечение неизбежно и для удовлетворения нравственного закона, и для выполнения одновременных справедливых претензий, обращенных к учреждению его клиентами. Отсюда мы должны заключить, что самое существенное отправление того учреждения, которое мы называем правительством, заключается в обеспечении от нарушения закона равной свободы.

Мы уже видели выше неудовлетворительность попытки определить обязанности государства на основании предположения об условии, заключенном будто бы между лицами, впервые составившими общество, об общественном договоре (гл. XVIII, § 3). Политические учреждения не устанавливались людьми после хладнокровного обсуждения и соглашения; они доросли до них бессознательно; по всей вероятности, они не имели никакого понятия об условиях общественной жизни прежде, чем они очутились среди этих условий. Но если бы гипотеза первоначального договора имела даже смысл, то и в таком случае она нам ни к чему не служит. Было бы крайней нелепостью утверждать, что обязанности, наложенные дикой ордой на своего начальника или на совет начальников, должны неизбежно быть обязанностями правительства на все времена. Для нас будет гораздо поучительнее разъяснить себе, что должно было действительно происходить во младенчестве цивилизации, вместо того чтобы строить теоретические предположения, ни на чем не основанные, о том, что могло будто бы происходить. Возвращаясь к § 5 гл. XVIII, читатель убедится, что если люди остались жить в обществе, то этим доказывается преимущество, которое они отдавали такой жизни перед жизнью уединенною. При такой жизни они находили для себя более удовлетворения. Следовательно, подобное состояние представляло больший простор для деятельности их способностей; оно

представляло более прочные гарантии для такой деятельности, более безопасности по отношению к их претензиям на жизнь и собственность, то есть по отношению к их правам. Если люди продолжали жить в обществе только потому, что в среднем уровне оно более обеспечивало их права, чем прежнее их положение, то из этого прямо следует заключить, что обеспечение прав составляет специальную обязанность общества, которую оно должно исполнять, в корпоративном своем составе, по отношению к отдельным личностям. Потребность в известном отправлениях, которая породила какое-либо явление жизни, указывает, что отправление — это самое существенно необходимое из отраслей деятельности учреждения. В первобытном состоянии не были развиты все те способы удовлетворения потребностей, которые принесены к нам цивилизацией; поэтому общество существовало тогда исключительно вследствие защиты, оказываемой им своим членам, при приобретении всего необходимого для достаточной деятельности способностей. Защищать людей, когда они достигают того, что удовлетворяет их способностям, — это значит отстаивать их права. Если общество обязано своим происхождением тому обстоятельству, что оно отстаивало права своих членов, то на защиту этих прав и следует всегда смотреть как на самую главную его обязанность.

Такое положение подтверждается направлением деятельности всего человечества в этом отношении. Народы далеко расходились между собой во взглядах на пределы законодательной власти, но все они признавали, что власть эта должна защищать своих подданных против посторонних притязаний. В различных странах и в различные времена на государство возлагались сотни разнородных обязанностей; не было двух государств, которые вполне соответствовали бы друг другу по числу и по свойствам своих отпращиваний; некоторыми обращалось особенное внимание на такие предметы, которые у других были в полном пренебрежении и потому оказывались вовсе не существенными; в то же время была одна обязанность, общая им всем, — это обязанность защиты. Если бы этот факт стоял одиноко, то развитый до крайности скептицизм мог бы найти в нем случайность. Но так как он совпадает с заключениями, выведенными выше из природы человеческой и из неизбежных условий происхождения общества, то мы уверенно можем смотреть на этот факт как

на дальнейшее доказательство, что обязанность государства заключается в защите, в принуждении к выполнению закона равной свободы; оно должно отстаивать человеческие права или, как мы обыкновенно выражаемся, творить суд.

§ 3. После того, как мы дали ответ на вопрос, что следует делать государству, возникает другой: какие самые действительные меры для достижения этой цели? За положением, что обязанность творить суд есть специальное назначение государства, следует необходимый его спутник, другое положение, что государство должно употребить самый лучший способ для выполнения этой обязанности. Все это приводит к вопросу: какой же это способ?

На основании нашей гипотезы, связь между каждой личностью и обществом, составляющим политическую организацию, должна быть добровольная. Учреждение, которое имеет целью обеспечить для человека свободное пользование его способностями, уже по смыслу своего назначения должно только предлагать гражданину свои услуги; оно не может принуждать его принимать эти услуги. Если оно это делает, то противоречит самому себе, оно нарушает ту самую свободу, которую должно охранять. Если мы предположим, что гражданство принято добровольно, то нам останется определить, какие условия подразумевались сами собою при соглашении между государством и его членами. Отношение это можно представить себе двояким образом. Соглашение может быть таково, что всякий, кто нуждается в помощи судебной власти, должен вознаградить ее за это; или может быть постановлено, что каждый, кто платит постоянно известную сумму для содержания судебной власти, имеет право на ее услуги, как скоро в них нуждается. Первый из этих способов оказывается вовсе не применимым; ко второму до известной степени приспособляются существующие учреждения. Во всяком случае предполагается, что обе стороны выполняют свои обязанности надлежащим образом, что покровительство, которое оказано, и подать, которая уплачена, равноценны друг другу; что отдельное лицо, которое предпочтет пользоваться покровительством государства, не будет отказываться от справедливого участия в государственных тягостях; что государство, если оно обложено тягостями, не будет отказывать в покровительстве.

Такое объяснение условий соглашения, предполагаемых при вступлении в гражданство, очевидно само по себе; однако же оказывается, что судебная практика очень мало этим руководствуется. Наша юриспруденция смотрит на дело весьма односторонним образом. Она обнаруживает достаточно энергии, когда дело идет о требованиях государства по отношению к подданным, но когда, наоборот, дело идет о требованиях подданных по отношению к государству, тогда в ней проявляется относительная беззаботность. Нельзя сказать, чтобы она не признавала права плательщика податей на ограждение его государством; но право это признается ею только отчасти. Она успешно защищает каждого просителя против известных нарушений прав, которые совершенно произвольно причислены к преступлениям; но зато она предоставляет гражданину защищаться, как он умеет, против других нарушений. Суд входит в разбирательство самого незначительного оскорбления, если оно причинено известным образом, и восстанавливает право без всяких поборов; но если оскорбление нанесено другим способом, то придется перенести его молча. Как бы ни была велика его важность, но если оскорбленный не имеет туго набитого деньгами кармана и достаточно смелости, то он должен отказаться от восстановления своего права. Если человеку надвинут шляпу на глаза, то закон усердно возьмется за его дело, обидчика приговорят к пене и к уплате убытков, без сборов с обиженного. Но если вместо того, человек подвергнется несправедливо тюремному заключению, то его вежливым образом отошлют к адвокату и уведомят, что за нанесенное ему оскорбление он может получить возмездие судебным порядком; это значит, что если он богат, то он может рискнуть понести двойной убыток или сквитаться, а если он беден, то должен остаться при нанесенном ему оскорблении и не имеет даже шансов богатого на вознаграждение. Если у подданного очистят карманы обыкновенным путем, то правительство оказывает ему безвозмездную защиту; но карманы можно обирать и разными косвенными способами, в этих случаях правительство будет празднать на нарушение закона до тех пор, пока его не заинтересуют посредством значительных денежных жертв. Оно бросится на защиту гражданина, у которого полумертвый от голода бродяга украл несколько реп; землю же, на которой эти репы растут,

можно украсть, нисколько не рискуя, если ограбленный владелец не имеет друзей и денег¹. Есть просьбы, которые стоит только произнести, и правительство тотчас вступает в виде констеблей, законников, судей и тюремщиков; к другим оно глухо до тех пор, пока деньги не сделают его более снисходительным. В одном случае оно является защитником оскорбленного; в другом оно покидает свое оружие и принимает роль посредника в то время, когда притеснитель и притесненный поражают друг друга ударами. Относительно известных прав гражданина оно стоит на страже и кричит «кто идет?» всякий раз, когда кто-нибудь попытается к ним сунуться, но другие права можно попирать ногами, не опасаясь никаких обвинений.

Такой способ исполнения условия между гражданином и государством должен показаться довольно странным человеку, которого суждение не притуплено обычными взглядами. Немудрено, если он всю эту сделку назовет мошенничеством; если он будет утверждать, что его собственность была отобрана у него под ложными предлогами. Он может спросить: «Для какой цели подчинялся я вашим законам, если вы мне отказываете в тех преимуществах, которые были за это обещаны? Разве я не выполнил всех условий? Вы требовали денег — я заплатил по вашему требованию до последнего фартинга, несмотря на обременительность ваших налогов. Вы требовали от меня общественной службы — я с удовольствием исполнил ваше желание. Теперь же, когда я со своей стороны требую от вас, чтобы вы мне дали то, за что я приносил все эти жертвы, вы начинаете обманывать. Я полагал, что вы будете стражами с глазами Аргуса и сотней рук Бриарея**, что вы постоянно будете охранять мои интересы, что вы всегда будете готовы быстро вступаться за них и защищать их, что я могу обладать утешительным сознанием совершенной безопасности от всяких оскорблений, что никакое подобное оскорбление не может быть мне нанесено ни во время сна, ни во время бдения, ни тогда, когда я погружен в занятия,

¹ Правда, проситель, который может присягнуть, что он не имеет пяти фунтов стерлингов, может вести дело *in forma pauperis***. Привилегия эта оказывается, однако же, почти всегда мертвой буквой. Тяжбы, начинаемые таким образом, обыкновенно проигрываются, потому что те, которые ведут их, должны действовать безвозмездно и потому ходатайствуют по ним небрежно.

ни тогда, когда я увлечен удовольствиями. Теперь же я нахожу, что не только возможно различными способами нарушать мои права, не привлекая вашего внимания, но даже и тогда, когда я вам говорю о нанесенном мне оскорблении и требую вашего вмешательства, вы закрываете дверь перед моим носом и до тех пор отказываетесь выслушивать мою жалобу, пока я не расположу к себе чрезмерным вознаграждением одного из ваших слуг, имеющего доступ к вашему уху. Как я должен понимать подобные поступки? Разве ваши доходы не достаточны для вознаграждения вас за издержки, какие необходимы, чтобы справедливость оказывалась во всех случаях? Если это так, то почему же вы не говорите, сколько вам надо, чтобы вы могли увеличить ваш доход? Или вы не умеете делать вашего дела? Если так, то скажите откровенно, что вы неспособны. Во всяком случае, дайте нам что-нибудь точное и определенное, а не эту смесь противоречий, эту несообразность между обещаниями и исполнением, это обирание денег и невыполнение обязательства».

§ 4. Довольно замечательно, что люди с такой апатией смотрят на современное негодное отправление суда. Даже совершенно непонятно, каким образом мы, независимые, решительные англичане, мы, любители самоуправления, так ревниво наблюдающие за всеми злоупотреблениями, как мы при всех способах, которые имеем для разъяснения, порицания и отмены законодательных постановлений, каждый день видим гигантские злоупотребления нашего суда и ничего не делаем для их исправления. Мы поступаем таким образом, несмотря на нашу способность к организации и к агитации, несмотря на воспоминание о недавних наших победах при отмене хлебных законов, при освобождении рабов, при эмансипации католиков. Нельзя даже сказать, чтобы злоупотребления эти оспаривались, — все с ними соглашались. Опасность иметь дело с судом вошла в пословицу. Имена его служителей употребляются для олицетворения жадности и надувательства. Решения их служат типом произвола и случайности. Во всех кружках общества существует по этому предмету одно мнение, и каждый человек может привести новые доказательства для его подтверждения. В одном месте нам сообщают, что триста фунтов стерлингов были издержаны для того, чтобы возвратить собственность ценою в сорок

шиллинг; в другом — что дело было проиграно потому, что не было принято вместо показания под присягой торжественное объявление. Ваш сосед с правой стороны может вам рассказать, что судья отвергнул обвинение вследствие возражения, что перед числом не было помещено слов «год Господа нашего»; другой ваш сосед, с левой стороны, повествует, как недавно был освобожден от наказания вор, укравший грызуна особой породы (морскую свинку), потому что грызун этот был признан породой крысы, а крыса не может быть предметом собственности. Сегодня вам рассказывают историю бедного человека, который намеренно был разорен богатым врагом, запутавшим его в процесс; на следующий день вам сообщают о девочке, которую продержали в тюрьме в течение шести недель, потому что она не могла представить обеспечения относительно явки в суд в качестве свидетеля против человека, который ее оскорбил¹.

Вот господин, у которого отобрали половину его собственности, потому что он не решился отыскивать ее обратно по суду из опасения потерять еще больше; вот его менее благоразумный товарищ, который сделал такой же опыт, как и человек, утверждавший, что он только два раза был на краю разорения: в первый раз — когда проиграл процесс, а второй когда выиграл тяжбу. Со всех сторон вам рассказывают о мошенничествах, о притеснениях, о мести, совершенных во имя справедливости; о несправедливостях, которые переносятся потому, что недостает денег, чтобы купить восстановление права; о правах, которые не отыскиваются потому, что бесполезно тягаться с сильным узурпатором. Вам говорят о тяжбах в суде канцлера, которые переживали всех тяжущихся; о целых состояниях, употребленных для установления какого-нибудь права; о землях, утраченных через несоблюдение какой-нибудь формальности. Затем следует целый список жертв: люди, которые доверились, были обмануты; седовласые старики, которые кое-что скопили тяжкими лишениями и все должны были употребить для умощения какого-нибудь ходатая по делам; несостоятельные должники, истощенные, со впалыми щеками, которые потеряли все потому только, что пытались получить то, что им следует; люди, дошедшие до того, что им пришлось жить от благотворительности

¹ Случай, имевший место в Винчестере в июле 1849 г.

своих друзей; другие, которым пришлось умереть смертью нищего; немало и таких, которых страдания довели до сумасшествия и которые в отчаянии совершали самоубийство. Все партии единогласно выражают свое неудовольствие, а несправедливости продолжают, и ничто не полагает им границы!

§ 5. Впрочем, нет недостатка и в таких людях, которые защищают этот порядок вещей, которые положительно утверждают, что правительству следует таким несовершенно образом исполнять свое социальное отправление. С одной стороны, они утверждают, что отправление правосудия составляет существенно необходимое условие для жизни цивилизованного общества, а с другой — находят, что могут быть случаи, где суд, ко вреду людей, отправляется чрезмерно хорошо! Они говорят: «Если бы суд был дешев, то все захотели бы им пользоваться. Если бы можно было получать справедливое удовлетворение без всякого затруднения, то удовлетворение требовалось бы во всех случаях нарушения права. К властям обращались бы в десять раз чаще, чем теперь. При малейшем поводе люди начинали бы законное преследование; тяжбы расплодись бы до того, что лекарство было бы хуже болезни».

Вот аргумент в пользу современного порядка — этот довод заключает в себе или грубую нелепость, или совершенно неосновательное мнение. Если большое накопление тяжб вследствие безвозмездного суда считать основанием для сохранения современного порядка, то это значит — утверждать, что зло от восстановления справедливости во всех случаях значительнее, чем зло, которое причиняется нарушением прав. Одно из двух — или граждане будут, как теперь, в огромном большинстве случаев молча переносить ущерб в своих правах, или права эти должны разбираться безвозмездно. Защитники современного порядка предпочитают первое из этих положений. Если десять тысяч тяжб хуже, чем десять тысяч несправедливостей, то одна тяжба хуже, чем одна несправедливость. Отсюда следует общий принцип, что обращение к закону за защитой заключает в себе большее зло, чем нарушение права, на которое приносится жалоба. А отсюда уже прямо выходит, что лучше всего не иметь никакого суда! Чтобы избежать такой нелепости, утверждают, что при настоящем порядке вещей восстанавливаются все

значительные несправедливости, что дороговизна производства мешает только незначительнейшим из них попадать в суд и что, следовательно, нельзя выводить приведенного здесь заключения. В таком случае остается одно из двух: нужно утверждать, что из девяти десятых населения, слишком бедного, чтобы обратиться к помощи суда, никому не причиняется значительного гражданского оскорбления; или нужно утверждать, что не бывает случаев, где с человеком поступают так несправедливо, что доводят его до крайней бедности и лишают его этим возможности отыскивать свои права по суду, хотя это значит отвергать очевидное, так как именно таким путем наносят самые тяжкие оскорбления. В то же время нужно отвергать, что абсолютно незначительные несправедливости, причиняемые массам, не имеют относительно важного значения, что также противно очевидности.

Но это еще не все. Нет никакой необходимой связи между доступностью суда и увеличением числа тяжб. Доступность может привести и к противоположному результату. Такое предсказание уничтожается общей ошибкой при подобных расчетах. Когда определяют последствия какого-нибудь нового учреждения, то обыкновенно предполагают, что все прочие обстоятельства останутся в том же виде; в этом-то предположении именно и заключается ошибка. Предполагается, что при введении дешевого суда нарушения прав будут так же часты, как теперь. Всякий беспристрастный наблюдатель должен убедиться, что большинство случаев нарушения гражданских прав совершается в настоящее время вследствие недействительности судебной защиты: «плохой суд плодит несправедливость» (*For sparing justice feeds iniquity*). Если мошенник знает, что его трудно уличить, то это соблазняет его мошенничать. Если бы суд не был так дорог и правосудие так шатко, то нечестные купцы никогда бы не решались на множество нарушений справедливости, которые допускаются ими теперь. Богатые не обижали бы бедных, если бы обиженные имели практические средства для защиты. Посмотрите, сколько безнаказанности наши судебные учреждения обещают человеку, который задумал обидеть своего ближнего. Если жертва, на которую он обратил свои взгляды, бедна, то, по всей вероятности, она не будет начинать тяжбы — вот первое поощрение. Если жертва имеет достаточно

денег, но, подобно огромному множеству людей, очень боится суда, то она, по всей вероятности, перенесет судьбу без сопротивления — вот второе поощрение. Наконец, нашему народу известно, что если жертва решится на иск, то судебные решения подвержены большим случайностям, и ловкий способ может часто дать виноватому возможность освободиться — в этом еще более поощрения. Сообразив таким образом все обстоятельства, он решается рискнуть. Он бы на это никогда не решился, если бы законное покровительство было сколько-нибудь действительно. Если бы суд был быстрый, безвозмездный и надежный, то исчезли бы все эти возможности и вероятности, которые соблазняют ныне на незаконные дела. Почти прекратились бы умышленно совершаемые нарушения гражданских прав. К суду обращались бы только тогда, когда обе стороны искренно почитают свое дело правым, а число подобных случаев сравнительно незначительно. Если бы легко было добиться суда и правды, то число тяжб не только не увеличилось бы, но, по всей вероятности, оно бы уменьшилось.

§ 6. Степень, до которой отношения между людьми справедливы или несправедливы, зависит не от той или другой системы суда. Корни тут несравненно глубже. Народные свойства решают дело относительно форм суда точно так же, как и относительно образа правления. Сила какого-нибудь механического устройства зависит не от достоинств его рисунка, а от твердости материалов. Если механик не сообразил, выдержат ли отдельные части сделанного им механизма упирающую на них силу, то мы назовем его не знающим своего дела, хотя бы план составлен был им превосходно, расположение частей было прекрасное и равновесие сил совершенное. То же самое можно сказать и о том, кто создает учреждения. Если народ, с которым он имеет дело, не имеет требуемых свойств, то самая ловкая комбинация не приведет ни к чему. Нам никогда не следует забывать, что учреждения создаются из людей, что люди тут — столбы, болты, связи и прочие части, составляющие механизм; группируйте и связывайте их как вам угодно, но в окончательном результате успех и неуспех учреждения будет все-таки зависеть от их природы. Всегда есть известный предел наименьшего сопротивления; если люди недостаточно развиты, то они уступят

на этом пределе; уступив, они опустятся к состояниям, требующим от них меньшего напряжения сил. Все это, между прочим, можно отнести и к судебному устройству. Как бы оно ни было превосходно задумано, но результаты его будут хороши только в той же мере, в какой сам народ хорош. Орудия, которыми оно действует — судьи, присяжные, констебли, тюремщики и т.д. — все это единицы из народа: в среднем уровне они будут иметь те же самые несовершенства, которыми отличается народ; как бы ни было совершенно устройство, которое им придется приводить в исполнение, но недостатки их характера сведут его к среднему нравственному уровню общества.

Обыкновенно не обращают внимания на то, что суд может быть хорош только в той именно степени, в какой люди сделались справедливыми. «Будь только у них суд присяжных!» — говорят некоторые, рассуждая о русских. Но ведь они не могут его иметь. Он не может существовать между ними. Если бы он и был учрежден, то бы не действовал. У них недостает той честности и правдивости, которая необходима для его успеха. Чтобы быть годным, это учреждение точно так же, как и всякое другое, должно быть произведением народных свойств. Не учреждение присяжных производит справедливость, но чувство справедливости порождает учреждение присяжных и создает из него орган, посредством которого оно проявляется: орган этот не может действовать, если нет того чувства, для которого он должен служить проводником. Эти социальные формы, которые нам кажутся такими существенными, имеют вполне второстепенное значение. Что выигрывали римские плебеи от того, что они имели известные преимущества, если патриции могли мешать им пользоваться этими преимуществами, если они могли их даже замучивать до смерти? Какую пользу могли принести некоторые справедливые законы, находившиеся в нашей книге статут-ов, какую пользу могли принести чиновники, назначенные для исполнения этих законов, если нужно было требовать посредством Великой хартии [волностей], чтобы справедливость не продавалась, не откладывалась и чтобы в ней не отказывали? Даже в настоящее время какая польза от того, что люди признаны равными перед законом, если судьями управляют их симпатии к известным классам общества, если они с джентльменом обращаются с меньшей строгостью, чем с ремесленником? Мы жестоко

ошибаемся, если полагаем, что мы, по нашему произволу, можем улучшить отношение людей. Сэр Джеймс Макинтош говорит о конституциях, что они не делаются, но растут; то же самое можно сказать о всех общественных учреждениях. Неверно, будто однажды люди сказали «да будет закон», и явился закон. Отправление суда было сначала неприменимо, утопично; применимость его увеличивалась только по мере того, как люди делались менее дикими. Старая система решения споров посредством поединка и новая через посредничество государства — существовали рядом во все времена. Мало-помалу одна оттесняла другую, перерастала ее. Только после того, как уже сделано было несколько шагов вперед, гражданская власть была признана всеми за охранителя прав. Феодальный барон со своими замками и своей дружиной сам защищал свои права; он счел бы для себя унижением просить законной помощи. Даже после того, как он признал своего сюзерена высшим посредником, он продолжал защищать свое дело на бранной арене силой своей руки и своего копья. Припомним, что подобные обычаи до сих пор существуют и между лордами, и между работниками; что до сих пор считается позорным для джентльмена прибегать к суду, чтобы уклониться от дуэли; что народ до сих пор имеет свои кулачные бои, которые он старается скрывать от полиции; и мы убедимся, что система суда не может сделаться действительной прежде, чем люди сделаются хорошими. Только после того, как общественная нравственность приобретет силу, гражданская власть может сделаться достаточно могущественной, чтобы выполнять самые простые свои отправления. До этого она не может даже сдерживать бандитов; наперекор ей продолжают пограничные набеги; на нее нападают в ее собственных укреплениях, подобные примеры случались у нас еще два столетия тому назад, припомним уайтфрайерских воров. При старинных правительствах творившие суд были скорее врагами, чем друзьями общества; законные формы обыкновенно употреблялись для целей притеснения. Дела решались по протекции, за взятки и по интригам, выходившим из передних важных лиц. Судебное учреждение не выносило тяжести своего дела. Ионафан Вильд, судья Джефрис и даже лорд-канцлер Бэкон служат для нас доказательством, что вообще растление, распространенное в народе, делает недействительными отдельные отрасли суда.

Действительность современных и будущих судебных учреждений, конечно, должна определяться теми же самыми влияниями. О наших судебных учреждениях мы можем сказать то, что Эмерсон весьма удачно выразил по отношению ко всяким учреждениям вообще: они приблизительно хороши, насколько свойства людей позволяют им быть хорошими. Если мы читаем об оранжистских судьях, которые являются скорее притеснителями, чем защитниками; о полисменах, которые действуют на основании тайного уговора, чтобы добиваться осуждений и получать за это повышения; о суде, называвшемся дворцовым судом, где судьи старались решать в пользу просителя для того, чтобы тяжущиеся начинали у них иски, то мы убеждаемся, что и теперь, как и в прежние времена, справедливость в судах страдает от безнравственности века. Несмотря на это, вероятно, что мы созрели для лучших учреждений, чем те, которыми пользуемся. Это доказывается всеобщим неудовольствием, с которым смотрят на современное состояние — настроение это предсказывает перемену. Невероятно, однако же, чтобы изложенный выше порядок отправления суда был осуществим в настоящее же время. Он даже еще не признан в теории, и современное население стоит гораздо ниже того положения, которому свойственны подобные учреждения. Это, однако же, вовсе не основание для того, чтобы не добиваться признания подобных учреждений. То, что было сказано в предыдущей главе о справедливом образе правления, можно применить здесь к справедливой системе суда. Применимость этого учреждения определяется возможностью его введения мирным путем.

§ 7. Хотя предыдущие соображения и рассеивают туман политических предрассудков, через который государство и зависящие от него учреждения представляются в таком искаженном виде, однако же они в таком виде возбуждают затруднительный вопрос. Именно тогда, когда дикость и бесчестность людей делает справедливый суд наиболее необходимым, он невозможен: его удобоприменимость увеличивается только по мере развития в людях чувства справедливости. Когда правдивость делается всеобщим свойством и дозволит судебным учреждениям достигнуть совершенства, тогда учреждения эти, очевидно, должны оказаться излишними. После этого остается спросить:

возможно ли вообще для государства отправление правосудия? Может ли оно обеспечить для народа пользование своими правами в больших размерах, чем это возможно было бы для него без государственной помощи? Не следует ли нам прийти к такому заключению, что оно отнимает у людей столько же свободы в одном направлении, сколько дает им в другом? Не есть ли это мертвый механизм, созданный нравственным чувством народа, — механизм, который нисколько не увеличивает и не уменьшает силы этого нравственного чувства; который поэтому не в состоянии изменить окончательных результатов, порождаемых чувством?

Эта идея может показаться очень странной; она даже озадачивает с первого взгляда. Мы до такой степени привыкли рассматривать государство как охранительное учреждение, что постоянно забываем, до какой степени оно вместе с тем служит орудием для нарушения прав. Вопрос, не равняются ли приблизительно благотельные последствия от прав, охраненных государством, вредным последствиям его нарушений, кажется нам смешным. Однако же, если мы сличим долг с платежом, то подобное сравнение покажется гораздо менее нелепым. Мы не будем говорить о правительствах Востока, которые за самые ничтожные услуги, оказываемые ими при обеспечении безопасности, имеют обыкновение захватывать всякого рода собственность под разными предлогами, если несчастному владельцу не удалось успешно скрыть свое имущество; свои притеснения они доводят до того, что им приходится весной возвращать пахарю часть семян, которые ими отняты были у него осенью. Мы не будем говорить о средневековых системах управления, где человек должен был покупать покровительство, отказываясь от своей свободы. Мы избираем по возможности самые благоприятные положения. Мы рассмотрим относительно лучшие из известных нам управлений; мы определим, с одной стороны, оказанное благодеяние, а с другой — причиненное зло, и сравним их. К деятельности, обязывающей граждан, нужно причислить действительные меры, принимаемые полицией для ограждения личности и собственности и для предупреждения оскорблений; нужно принять также в соображение ограждение от гражданских оскорблений, которое все же доставляется нашими судами, несмотря на все их недостатки, доставляется, правда,

только отчасти. Ко всему этому нужно присовокупить обыкновенно присущее нам сознание безопасности, которое дает нас возможность безбоязненно посвящать себя ежедневным заботам, — это сознание, порождаемое в нас существованием действительной гражданской власти, имеет несравненно большее значение, чем два предыдущих отправления. Если мы сделаем из этого значительный вычет, падающий на долю неудачной деятельности, то все-таки еще останется большой перевес добра, за который государство имеет неоспоримое право требовать себе уважения. Посмотрим теперь другую сторону медали. На первом месте стоит гигантская несправедливость, причиненная девятнадцати двадцатым общества, у которых отнято поземельное владение посредством нарушения права людей на пользование землей (глава IX): ответственность за это должна лежать на гражданской власти, она отчасти даже участвует в пользовании отобранным, она сделала этот захват законным и защищает его как действительное право. Затем следует нарушение права большинства, подчиненного меньшинству и принуждаемого к повиновению законам, на которые от него никогда не испрашивалось согласия. К этому нужно присовокупить тиранию, соединенную с национальной защитой, — набор для флота и милиции, вербовка солдат и матросов, которые должны постоянно отказываться от своей свободы и нередко даже жертвовать своей жизнью. Следует также припомнить, что наши права нарушаются торговыми стеснениями; людям не только мешают покупать и продавать там, где они желают, но им даже воспрещают предаваться известным занятиям прежде, чем они купят у правительства дозволение. Не нужно забывать также наказания и пени, которые до последнего времени имели такое важное значение, нарушая религиозную свободу; ассоциация для уничтожения государственной церкви показывает, что эти наказания и пени вовсе не исчезли. К этим нарушениям наших прав должно прибавить множество мелких стеснений, которыми мы окружены, и все это сопровождается никогда не прекращающимися набегами на нашу собственность через посредство сборщиков податей, таможенных и акцизных чиновников, церковных старост и собирающих подать для бедных. Зло мы должны измерять теми пределами, какими оно ограничивает деятельность способностей; с этой точки зрения, мы сложим все, что

перечислили по отношению к полезной и вредной деятельности государства, и сравним между собой полученные суммы. С одной стороны, государство отчасти спасает нас — заметьте, только отчасти — от нападений, грабежей, убийств, мошенничества и тому подобных насилий и обид, которым подвергала бы нас существующая между людьми безнравственность, не будь этого учреждения. Размер этих правонарушений нужно распределить между всем обществом и на протяжении жизни каждого гражданина и затем создать себе понятие о среднем уровне ограничений для свободной деятельности, которые были бы ими произведены. С другой стороны, само государство нарушает человеческую свободу, монополизируя землю, узурпируя власть, ограничивая торговлю, обращая в рабство и обрекая на смерть тысячи солдат, разоряя сотни, которых оно должно было защитить, покровительствуя известной вере и известным классам, налагая обязательное исполнение общественных должностей, налагая более незначительные стеснения, слишком многочисленные для того, чтобы их можно было перечислить. Кроме того — и всего более — оно обременяет граждан безжалостными поборами, которые у семи восьмых всей нации отнимают значительную часть дохода, и без того недостаточного для самого необходимого. Эти сборы в больших размерах и весьма действительно ограничивают сферу, необходимую для развития деятельности и естественных свойств граждан. Теперь нам следует эти многочисленные ограничения свободной деятельности способностей привести к такому же среднему уровню, как и предыдущие, и затем задать себе вопрос, равны ли эти средние выводы или нет. Неужели подобный вопрос действительно так нерационален? Разве ответ на него не возбуждает сомнений?

Нисколько; если взглянуть в дело хорошенько, то ответ даже не сомнителен. Вполне верно, что правительство вовсе не в состоянии изменить общий размер совершаемых несправедливостей. Нелепо было бы предположить, что оно может это сделать, что посредством какого-нибудь искусственного хитросплетения мы можем избежать последствий, вытекающих из нашей собственной природы. Чудеса, какие, при поверхностном взгляде, по-видимому, производит гражданская власть, совершаются ею точно так же, как фокусником его сверхъестественные подвиги. Для человека невозможно создать силу. Он

может только изменить способ ее проявления, дать ей другое направление, распределить ее. Сила, которая двигает его паровозами и локомотивами, не создана им; вся она лежала в бездейственном состоянии в каменноугольных копях. Он телеграфирует посредством силы, которая освобождается во время окисления цинка; эта сила не может доставить более того, что дается числом соединяющихся атомов. Даже энергия, которую он обнаруживает, двигая своей рукой, производится химическим средством, лежавшим в той пище, которую он ел. Все, что он может сделать, это воспользоваться силами, оставшимися в бездействии. Это настолько же справедливо по отношению к этике, насколько и по отношению к физике. Нравственное чувство есть сила. Посредством этой силы действия людей удерживаются в известных, определенных границах; никакой законодательный механизм не может увеличить ее результаты ни на йоту. Размер, в котором эта сила недостаточна, будет соответствовать размеру, в котором ее дело останется несделанным. Мы должны страдать в том же самом размере, в котором у нас недостает качеств, требуемых нашим положением. Природу нельзя обойти. Человек, который вздумал бы избавиться от влияния силы тяжести, поставив свои члены в какое-нибудь особое положение, будет разочарован точно так же, как и те, которые надеются избежать веса своей испорченности посредством политической организации какого-нибудь рода. Сознательно или бессознательно, тем или другим путем, но каждая частица зла должна явиться в свет; она проявится или в осязательной форме, или под каким-нибудь покровом. Философский камень конституции не может породить золотое поведение посредством свинцовых инстинктов. Никакой аппарат из сенаторов, судей и полицейских не может заменить недостаток внутреннего чувства, которое управляет нами. Никакая законодательная работа не может вытянуть недостаточную нравственность до того, что она сделается достаточной. Самая ловкая административная штука не спасет нас от самих себя.

Но значит ли это, что правительство вовсе не может приносить пользы? Отнюдь нет. Оно не может изменить общего размера несправедливости, которую придется перенести, но оно может изменить ее распределение. Такое изменение и составляет то, что оно делает. С помощью правительства люди равномернее

распределяют зло, которое им приходится переносить; они рассыпают его более единообразно по всему обществу и на протяжении жизни каждого гражданина. Полная свобода деятельности способностей, прерываемая полным лишением этой свободы и стесняемая постоянным опасением такого лишения, заменяется здесь постоянным, но зато неполным ограничением свободы. Вместо единовременных потерь жизни, членов и всех средств существования, которым каждый может подвергнуться в состоянии анархии и которым многие подвергаются, люди при политической организации переносят постоянные нарушения своих прав, но в форме более мягкой. Зло, которое прежде было случайно, но совершенно уничтожало, теперь постоянно, но зато сносно. Это система взаимного застрахования против нравственных бедствий. Люди не могут предупредить пожаров и кораблекрушений, но они охраняют друг друга против разорения тем, что несут убытки сообща и распределяют вред, ими причиненный, на продолжительные периоды времени. Точно так же люди, соединяясь для созидания судебных учреждений, не могут уменьшить объема несправедливости, которую им придется перенести, но они могут застраховать друг друга против ее роковых результатов и делают это.

§ 8. Утверждая, что существенное отправление государства состоит в ограждении людей, в охранении их прав и в осуществлении закона равной свободы, мы через это не только налагаем на него обязанность ограждать каждого гражданина от нарушений его прав соседом, но и защищать его наравне со всем обществом против внешних нападений. Внешняя сила может нарушить права народа настолько же или гораздо более, чем шайка преступников, поэтому правительство должно защищать граждан как в том, так и в другом случае. Защита — вот чего добиваются люди, создавая политическую комбинацию; она должна быть оказана против всяких врагов, как внутренних, так и внешних. Не подлежит никакому сомнению, что война безнравственна. Но так же безнравственно и насилие, употребляемое при исполнении судебных решений; так же безнравственно и всякое принуждение. Нравственный закон точно так же, несомненно, нарушен действием судебной власти, как и действием защищающейся армии. В принципе, нет никакой разницы между

ударом полицейского жезла и между ударом солдатского штыка. Оба они заключают в себе нарушение равной свободы по отношению к лицу, против которого они направлены. В обоих случаях у нас оказывается достаточно силы, чтобы заставить себе покориться, и не все ли равно, будет ли употреблена эта сила человеком в синем или в красном мундире? Полисмены — это солдаты, которые действуют поодиночке; солдаты — это полисмены, которые действуют сообща. Первых правительство употребляет для нападения на десять тысяч преступников, которые ведут одиночную войну против общества; оно обращается к последним, если ему угрожает столько же преступников в виде регулярного войска. Итак, сопротивление внутренним и внешним врагам имеет одну и ту же цель — ограждение прав людей, оно производится теми же самыми средствами — силой, оно однородно и по своей природе; одно не заслуживает большего порицания, чем другое. Ужасы поля сражения обнаруживают в концентрированном виде ту же самую безнравственность, которая вообще присуща правительству и связана со всеми его отправлениями. То, что так ясно обнаруживается во время военных действий, одинаково справедливо и по отношению к гражданским: зло делается для того, чтобы побороть зло.

Оборонительная война — единственная, к которой относятся вышеизложенные рассуждения. Ее необходимо терпеть как наименьшее из двух зол. Есть люди, которые порицают ее безусловно и полагают, что иностранное нашествие нужно встречать отсутствием сопротивления. Против такого мнения можно сделать различные возражения.

Во-первых, действуя последовательно, они должны вести себя точно таким же образом и относительно своих сограждан. Они не только должны переносить мошенничество, нападение, грабеж, раны, не оказывая никакого деятельного сопротивления, но они должны отказываться от всякой помощи со стороны гражданской власти, потому что тот, кто действует силой через посредство своего ближнего, несет за это столько же ответственности, как если бы сила эта была употреблена им самим.

С точки зрения установления между людьми и нациями мирных отношений такое учение должно казаться излишним и утопическим. Если все согласится не нападать, то они настолько же будут в мире друг с другом, как и тогда, когда они все

решатся не сопротивляться. Таким образом, учение, воспрещающее сопротивляться, налагая на людей крайне тягостную обязанность, оказывается по своему существу не более действительным для прекращения войны, как и учение, воспрещающее нападать.

Сверх того, принцип, воспрещающий сопротивление, нельзя вывести из нравственного закона. Нравственный закон говорит: «Не нападайте». Он не может сказать: «Не сопротивляйтесь»; потому что сказать это — значило бы предположить, что его предписания нарушены. Мы уже объяснили (глава I), что нравственность определяет образ действий совершенных людей; она не может обсуждать обстоятельства, вытекающие из несовершенства. То правило, которое достигнет всеобщего распространения, когда люди будут тем, чем они должны быть, должно быть справедливым правилом, не правда ли? Наоборот, правило, которое, при подобном положении, делается неисполнимым, будет ложное? Прекрасно. При идеальном состоянии все будут повиноваться закону, воспрещающему нападать, это будет жизненный принцип поведения всякого человека, его будут вполне выполнять, он будет жить и править людьми; в то же время при подобном состоянии закон, воспрещающий сопротивляться, неизбежно делается мертвой буквой.

Наконец, можно доказать, что воспрещение сопротивления включает в себе абсолютное зло. Нам не следует беззаботно оставлять свои права. Нам не следует передавать свое прирожденное право для достижения мира. Мы настолько же обязаны уважать справедливые требования других людей, насколько мы должны защищать свои собственные. То, что священо в лице других людей, священо и в нашей собственной личности. Разве в нас нет способности, которая заставляет нас чувствовать и искать своего права на свободу действия и тем самым, в силу рефлексивной деятельности, дает нам возможность понимать и оценивать равное право наших ближних? Разве мы не убеждаемся, что эта последняя способность может действовать с надлежащей силой по отношению к другим только тогда, когда она сильно проявляется по отношению к нам самим (гл. V, § 6)? Разве возможно утверждать, что нам следует внимательно прислушиваться к ее симпатическим внушениям и пренебрегать внушениями, прямо до нас касающимся? Рассуждая

таким образом, мы должны предполагать, что в нравственной природе человека заключается неизлечимый недостаток; нужно предположить, что то же самое чувство, которое в одном случае должно руководить нами, будет сбивать нас в другом. Нет, нам не следует оставаться бездейственными, когда на нас нападают. Только при надлежащем охранении наших прав для нас возможно будет исполнение всех наших обязанностей. Без свободы действия, без прав мы не можем вполне упражнять наши способности; если мы не можем вполне упражнять своих способностей, то мы не можем исполнять волю Божию; если мы дозволим лишать себя того, без чего мы не можем выполнять воли Божией, то мы на деле пренебрегаем этой волей.

Но как же, ведь всякое принуждение безнравственно? Разве отсюда не следует, что безнравственно употреблять насилие для того, чтобы сопротивляться нарушающим наши права? Безо всякого сомнения. Итак, что бы мы ни выбрали, во всяком случае мы поступим дурно? Совершенно так. Закон справедливого образа действий нарушен, и за ним следует безвыходное затруднение. Действие и противодействие должны быть равны. Удар, нанесенный нравственности в лице оскорбленного, не может закончить дела: за ним неизбежно должно следовать отражение. Первое зло порождает равносильное ему второе, и это второе последует во всяком случае, будет ли сопротивление или не будет его. Такое положение покажется странным, и, может быть, многие встретят его с недоверием; несмотря на то, его следует сделать. Все, что мы можем сказать об этом кажущемся парадоксе, — это то, что он нам показывает, какой нравственный хаос порождается в действиях, когда правильное равновесие людских отношений однажды нарушено.

Все это приводит нас к следующему заключению: принцип, воспрепятствующий сопротивлению, неверен с нравственной точки зрения; верен только принцип, воспрепятствующий нападению. Следовательно, правительство может по справедливости защищаться против иностранного нашествия. Такой образ действия, безо всякого сомнения, должен быть признан преступным с отвлеченной точки зрения, но преступность эта точно такая же, как и та, которая заключается в отправлении правосудия, — это та же самая преступность, которой правительство служит неизбежным последствием.

§ 9. Что касается до международного посредничества, то о нем можно сказать то же самое, что и о свободной конституции, о хорошей системе судебного устройства — возможность осуществления в этом случае есть вопрос времени. Те же самые причины, которые когда-то делали всякое правительство невозможным, служили до настоящего времени препятствием к его распространению до таких обширных размеров. Федерация народов, всемирная община может существовать только тогда, когда приспособление людей к общественному состоянию достигнет значительного совершенства. Мы уже увидели (гл. XVIII, § 3), что на первой ступени цивилизации возможны только незначительные общины, потому что расталкивающая сила слишком велика, а притягивающая — слишком слаба. Изменение в свойствах людей делает постепенно из триб, сатрапий*, родов, феодальных владений — государства и народы; дальнейшее изменение в этих свойствах приведет и к дальнейшему распространению союза. Кажется вероятным, что уже близко время, когда это осуществится. Об этом можно заключить по тому, как благоприятно смотрят теперь на подобное учреждение. Его осуществление предвещается сознанием того, как оно было бы желательно. Мы видим, что человечество быстро дорастает до такого осуществления; на это указывают нам лиги всеобщего мира, предложения одновременного обезоружения, международные адреса, постоянное учащение дружеских отношений. Хотя братство народов и оказывалось неисполнимым до сих пор, хотя, может быть, оно неисполнимо и в настоящий момент; но оно сделается исполнимым через усилия, которые для этого употребляются. Филантропический энтузиазм, над которым так смеется наша светская мудрость, составляет существенную часть того процесса, который должен привести к желаемой цели. Может быть, один из самых знаменательных признаков приближающейся перемены заключается в распространении вышеизложенного учения о незаконности сопротивления. Конечно, нет ничего утешительного в том, что между нами размножаются люди, которые забывают свои обязанности относительно самих себя, чтобы принять это ультрагуманное учение. Тем не менее, как ни велика нездоровость этого учения, но оно выходит из хорошего источника. Это не иное что, как чрезмерное проявление той симпатии, которая превращает

дикаря в человека, созданного для общества, которая из грубого делает снисходительного, из несправедливого — правдивого. Вместе с другими признаками времени оно предвещает приближение лучших отношений между народами. Обращая свои взоры к какому-нибудь всеобъемлющему федеральному учреждению, мы не должны забывать, что устойчивость такой сложной политической организации требует приспособления к нему не только одной, но многих наций.

XXII | ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА

§ 1. Каждое отправление должно иметь свой орган, и каждый орган должен иметь свое отправление — вот закон всякой организации. Чтобы дело было сделано хорошо, аппарат должен иметь особую приспособленность к этому делу; такая приспособленность приводит к неспособности исполнять всякое другое дело. Легкие не могут переваривать пищу, сердце не может дышать, желудок не может обращать кровь. Каждый мускул, каждая железа должны иметь свой особенный нерв. Каждый фибр в теле имеет свой канал, по которому до него доходит пища, и другой, по которому эта пища уходит; он имеет деятеля, который заставляет его усвоить эту пищу — деятеля, который заставляет его исполнять его особое отправление; он снабжен механизмом для удаления негодной материи; все эти части для него крайне необходимы, и без каждой из них он не может обойтись. Существенная разница, которую мы находим между созданиями низшего и высшего типа, заключается в том, что в одних для жизненной деятельности нужны немногие простые агенты, тогда как в других каждое из жизненных отправлений разлагается на множество сложных частей, и каждая из этих частей имеет особого для себя деятеля. Тот же самый принцип мы видим в организациях другого порядка. Фабрикант, употребляя каждого работника для отдельного дела, может значительно увеличить производительную силу всего заведения, и в этом случае он будет действовать на основании того же самого правила: для каждого отправления нужен отдельный орган. Если мы сравним коммерческое устройство деревни с таким же в городе, то мы найдем, что в деревне мелочной торговец торгует всем, а в городе купец посвящает себя лишь торговле известного рода; отсюда мы заключаем, что аппарат высшего развития для распределения удобств жизни отличается разделением на специальности. Язык представляет собой пример той же самой истины. В первобытном своем состоянии он состоит из

простых неопределенных слов, употребляемых безразлично для выражения разнороднейших мыслей и понятий; в современном своем виде он состоит из многочисленных «частей речи». Процесс развития тут приводил к тому, что слова постепенно разделялись на классы, предназначенные для различных целей. Язык делается все более способным к исполнению своего назначения только по мере того, как совершался этот ход развития.

Нельзя ли после этого подозревать, что предназначение отдельного отправления для каждого отдельного органа составляет необходимое условие для годности всякого устройства? Если мы с началом этим встречаемся всюду, куда бы мы ни обратили наше внимание, если мы видим, что это закон не только для организмов, создаваемых природой, но и для организаций, которые, вследствие нашего поверхностного взгляда на вещи, называются нами искусственными, то не следует ли предположить, что это, по всей вероятности, всеобщий закон? Не будет ли он также и законом учреждений? Не будет ли он законом государства? Не должны ли мы ожидать и по отношению к правительству, что специальное приспособление к одной цели сделает неспособным к выполнению всяких других? Точно так же вероятно, что, возлагая на правительство прибавочные отправления, придется пожертвовать надлежащим исполнением его специальных функций. Не следует ли из этого заключить, что правительство не должно браться за такую прибавочную деятельность?

Но оставим в стороне аналогии и рассмотрим непосредственно, не теряет ли в самом деле государство возможности исполнять свое основное назначение, как скоро оно принимает на себя какие-нибудь посторонние обязанности. Что мы называем государством? Государство — это политическая ассоциация людей. Каким образом составлена эта ассоциация? Добровольно. Для какой цели? Для взаимной защиты. Итак, вот наше определение: государство есть общество людей, добровольно соединившихся для взаимной защиты. Следовательно, при правильном устройстве условия, среди которых эта добровольная ассоциация предлагает свои услуги, должны быть таковы, чтобы она была способна ограждать в возможно больших размерах. Если она поступает иначе, если она сосредоточивает свою деятельность на предметах несущественных, которые

помешают некоторым людям принимать ее услуги, или на предметах, которые без нужды будут компрометировать свободу людей, принявших эти услуги, то она в тех же самых размерах явно изменяет своему назначению. Каждый раз, когда государство принимает на себя постороннее дело, оно поступает именно таким образом. Люди, соединенные вместе для известного специального назначения, никогда не будут в состоянии единодушно обратиться к преследованию другой цели. До тех пор, пока наше товарищество взаимной защиты будет ограничиваться ограждением прав своих членов, оно может быть уверено, что в его состав войдет вся нация; каждый нуждается в подобной организации, и огромное большинство людей согласится пожертвовать чем-нибудь для того, чтобы доставить себе такую гарантию. Но лишь только прибавится к этому то или другое постороннее отправление, как немедленно явится большее или меньшее разногласие. Несогласное меньшинство будет, вероятно, состоять из партий: одна посмотрит на задуманную новизну с таким отвращением, что скорее будет готова отделиться, чем согласиться на нововведение; более многочисленная партия будет роптать на отягощение новыми поборами для цели, исполнения которой она не желает, но все-таки подчинится, не решаясь лишиться выгод покровительства. Относительно обеих этих партий государство не исполняет своих обязанностей. Одну оно отталкивает от себя невыгодными условиями; у другой оно вымогает излишние жертвования сверх того, что необходимо для выполнения основного его отправления; таким образом, оно делается нарушителем прав вместо того, чтобы быть их защитником. Посмотрите, в каком виде это дело представится, если на него смотреть с точки зрения отдельной личности.

«В настоящем году ваши поборы значительно больше прошлогодних, — жалуется гражданин правительству. — Отчего это?»

«Побор с ваших доходов, — отвечает правительство, — увеличился вследствие сумм, вотируемых для устройства новых школ, для жалованья учителям и учительницам».

«Школы, учителя, учительницы — что мне до них за дело? Я полагаю, вы не обремените меня платой в их пользу? Неужели вы это сделали?»

«Да».

«На каком же основании, я никогда вас не уполномочивал на это?»

«Это так, но парламент или, другими словами, большинство нации решило, что воспитание юношества должно быть возложено на нас. Они уполномочили нас на взимание такой суммы, какая необходима будет для выполнения этого поручения».

«Предположите, однако же, что я хочу сам наблюдать за воспитанием своих детей»

«Вы это можете сделать, если вам угодно; но вы должны платить за преимущество, которое мы вам предлагаем, все равно, воспользуетесь вы им или нет. Вы должны платить даже и тогда, когда вы не имеете детей!»

«А если я откажусь?»

«В таком случае нам бы следовало поступить на основании прежних примеров и наказать вас. Но так как теперь обстоятельства переменились, то мы объявим только, что вы отказались от покровительства законов».

«Нет, я не имею никакого желания поступить таким образом; я не могу в настоящее время обойтись без вашего покровительства».

«Прекрасно, в таком случае вы должны согласиться на наши условия, вы должны заплатить вашу долю в новой подати».

«Посмотрите, в какое вы меня ставите затруднение. Так как я не решаюсь отказаться от покровительства, для которого я вступил в политический союз, то я или должен отдать часть своей собственности ни за что, или, если я буду настаивать на получении какого-нибудь вознаграждения, мне придется отказаться от того, к чему меня побуждают естественные мои склонности. Послушайте, ответите вы мне на несколько вопросов?»

«Без сомнения».

«Какое ваше назначение в качестве национальной исполнительной власти? Не защита ли прав тех, кем вы назначены, или, другими словами, не обеспечение ли каждому самой полной свободы при употреблении своих способностей, пока такая свобода согласна с равной свободой всех остальных?»

«Да, было решено таким образом».

«Было также постановлено, что вы можете уменьшать эту свободу лишь в таких размерах, в каких это необходимо для сохранения остального. Не так ли?»

«Это, очевидно, следствие первого решения».

«Совершенно справедливо. Теперь позвольте вас спросить, что такое эта собственность, эти деньги, которые вы требуете от меня в виде прибавочного налога? Разве это не именно то, что дает мне возможность приобретать пищу, одежду, жилище, развлечения — словом, то, от чего зависит деятельность громадного большинства моих способностей?»

«Конечно, то самое».

«Следовательно, уменьшать мою собственность — это значит уменьшать мою свободу при употреблении моих способностей, не так ли?»

«Очень ясно».

«Итак, этот новый ваш налог на деле уменьшит мою свободу при употреблении моих способностей».

«Да».

«Очень хорошо, но разве вы теперь не видите тут противоречия? Вместо того, чтобы меня защищать, вы нападаете на меня. Вы отнимаете то, что вы должны были гарантировать мне и другим. Ваша специальная обязанность состоит в наблюдении, чтобы свобода каждого человека при преследовании им предметов своих желаний оставалась нестесненной и чтобы она ограничивалась только равной свободой других. Уменьшать размеры этой свободы посредством налогов или гражданских стеснений в больших размерах, чем неизбежно для выполнения вами вашего назначения — это дурно, это прямо противоречит вашему назначению. Ваш новый налог уменьшает эту свободу более, чем безусловно необходимо, и, следовательно, не может иметь оправдания».

Таким образом, мы убеждаемся в том, что было сказано выше: как скоро государство выходит из роли защитника прав, оно утрачивает способность к их ограждению. Оно не может покуситься ни на одну добавочную услугу без того, чтобы не произвести разногласия; сообразно размерам этого разногласия государство уклоняется от цели, для которой оно было учреждено. Если оно примет много добавочных обязанностей, то едва ли окажется в нем хоть один человек, который бы не протестовал против сборов, наложенных для выполнения одной или нескольких из них; не найдется, следовательно, почти ни одного человека, относительно которого государство не делало бы

в известной степени совершенно противоположного тому, для чего оно предназначено. Между тем существенно необходимо, чтобы было выполнено именно то, к чему государство предназначено, потому что возможность общества является только при выполнении этой обязанности; посторонние же возложенные на него вещи несущественны, так как общество может обойтись и без них. Существенное не должно приноситься в жертву несущественному, а потому государство должно ограничиться охранением прав.

§ 2. Можно утверждать, что зло, сделанное правительством в том случае, когда оно выходит за пределы своих первоначальных обязанностей, только кажущееся. Если оно уменьшает сферу деятельности человеческой в одном направлении, то оно увеличивает ее в другом. «Все эти добавочные отправления, — может сказать возражающий, — удовлетворяют потребностям общества тем или другим путем, следовательно, они помогают людям выполнять свои желания и таким образом доставляют им большую свободу для деятельности способностей. Если вы утверждаете, что, отнимая у человека его собственность, государство *уменьшает* свободу деятельности его способностей, так как уменьшает его средства для этой деятельности, в таком случае вы по справедливости должны согласиться, что государство *увеличивает* силу личности по отношению к деятельности ее способностей, если оно доставляет ей известные предметы ее желаний, если оно устраняет препятствия, которые отделяют ее от этих предметов, или если оно каким-нибудь другим способом помогает ей достигать своих целей. В этих случаях государство на деле увеличивает свободу личности».

На все это следует ответить, что если мы средства человека уменьшаем с одной стороны, чтобы увеличить их с другой, то это будет добро, сопровождаемое злом. Мы не должны забывать, что если общество достигает известного результата посредством правительства, то сила его при этом не только не увеличивается, проходя через административный механизм, но уменьшается от трения. Очевидно, что правительство не может создать орудия для деятельности способностей, оно может только дать нам другое распределение. Нетрудно сказать, что именно можно произвести посредством такого искусственного

устройства. Определите размер возможностей для удовлетворения своих потребностей, который отнят был у гражданина в виде увеличенных поборов; высчитайте значительный вред, происшедший от официального вмешательства, и лишь из оставшего, преобразованного в новую форму, составитя то, что будет ему возвращено. Из всего этого выходит нечто, приводящее к утратам. В результате оказывается, что если правительство покушается служить обществу, принимая на себя добавочные отправления, то оно не исполняет своих обязанностей по отношению к тем, которые на это не согласны; оно не вознаграждает за такие неудобства теми прибавочными преимуществами, которые доставляются остальным; этим остальным государство дает одной рукой менее, чем берет другой.

§ 3. Мало этого, дело, в сущности, оказывается несравненно более убыточным, чем можно было бы подумать на основании всего, что сказано было выше. Выходит, что даже и то одолжение со стороны правительства, о котором только что шла речь, есть не что иное, как иллюзия — перед ним стоит минус, может быть, незаметный для массы, но достаточно ясный для того, кто подвергнет дело анализу. Эта верховная опека государства выражает идею утилитарной философии; по ее мнению, государство не только должно гарантировать людям беспрепятственную возможность отыскивать свое счастье, оно должно продвигать их этим счастьем и приносить его им на дом. Нет положения, которое бы в большей мере само разрушало себя, потому что оно более всякого другого расходится с существом дела. В начале этой книги (Учение о нравственном чувстве, § 2) было уже объяснено, что человек есть собрание сил, приспособляющих его к окружающим обстоятельствам. Каждая из этих сил или способностей при нормальном своем развитии доставляет ему посредством своей деятельности такое удовлетворение, которое входит в состав его счастья. В то же время деятельность каждой способности служит к поддержанию сил всего человека; таким образом, она дает другим способностям случай, в свою очередь, исполнить их отправления, так что каждая может через это доставлять ему удовольствие. Если все способности находятся в здоровом друг к другу отношении, то каждая из них служит всем и, обратно, все вместе поддерживают каждую.

Мы лишаемся возможности жить, если этот механизм оказывается недостаточно действительным. Мы можем жить полной жизнью, то есть пользоваться полным счастьем, только при полном соответствии между способностями и потребностями. Выше было сказано, что совершенный человек — это человек, вполне способный сам себя удовлетворять, человек во всех отношениях приспособленный к обстоятельствам, человек с такими желаниями, которые побуждают его ко всем действиям, выгодным не только в настоящее время, но и в будущем. Понятно, что человек, который устроен таким правильным образом, не требует себе помощи. Делать для него что-нибудь посредством искусственного деятеля — это значит сокращать деятельность какой-либо из его сил, оставлять эту силу без упражнения и уменьшать таким образом его счастье. Для правильно развитых граждан помощь государства вдвойне вредна. Оно обижает их и тем, что от них берет, и тем, что для них делает. Требуя денег на содержание агентов, оно потребляет средства, необходимые для упражнения известных способностей, а посредством этих агентов вытесняет другие способности из предназначенной для их деятельности сферы.

«Но ведь люди несовершенны; ведь они не отличаются здоровым развитием; их способности не находятся в гармонии с их потребностями; и при настоящем состоянии правительство через свое вмешательство не занимает поле деятельности, необходимое для способностей». Совершенно справедливо; но если нам прежде всего следует желать сделаться тем, чем мы должны быть, то мы должны стараться достигнуть этой цели так скоро, как только возможно. Нам следует ступить на путь приспособления. Мы должны утрачивать свойства, приспособлявшие нас к первобытному состоянию; нам нужно приобретать то, что даст нам способности, необходимые для настоящего положения. Итак, следует спросить, облегчается ли эта перемена рассматриваемыми здесь механическими приемами, которые должны помочь нашей слабости? Конечно, нет. Одна минута размышления, и мы убедимся, что они замедляют этот процесс. Всякому известно, что запрос и предложение — это закон жизни точно так же, как и закон торговли. Сила является только тогда, когда на нее есть требование; неразвитая способность может развиться только под влиянием строгой дисциплины нужды. Вы

хотите извлечь из ничтожества и развить какое-нибудь слабое чувство? Для этого вы должны заставить его действовать; пусть оно делает требующее от него дело, как может и как умеет. Нужно, чтобы оно всегда было деятельно, всегда в напряжении, чтобы оно постоянно ощущало неудобства своей неспособности. Если с ним будут обращаться таким образом, то в течение поколений оно достигнет достаточного развития; то, что было когда-то невозможным для него делом, сделается потребностью, источником здравого и приятного возбуждения. Но если между способностью и ее отправлением протиснется какой-нибудь государственный механизм, то процесс приспособления будет остановлен. Рост прекратится, и вместо того начнется упадок. Зародыш деятеля погибнет немедленно, как скоро на его месте явится какая-нибудь комиссия или присутственное место, или состав чиновников; сила так же скоро утрачивается бездеятельностью, как приобретается деятельностью. Человечество перестает приспособляться к естественным требованиям общественного состояния и вместо того принимает форму, приноровленную к требованиям искусственным. Вследствие этого останавливается тот прогресс, который должен создать совершенного человека, характеризующегося тем, что он сам способен удовлетворять всем своим потребностям; или, другими словами, все это останавливает выполнение условий, необходимых для достижения совершенного счастья. После всего сказанного ясно, что правительство, как уже объяснено было выше, поступает в этом случае не только наперекор своему назначению, ибо отбирает у граждан собственность в больших размерах, чем необходимо для целей защиты, но еще дает взамен нечто такое, что включает в себе новый ущерб.

§ 4. Есть, впрочем, одна способность или, лучше сказать, есть комбинация, способность, которую государство может с успехом заменить, по крайней мере, настолько, насколько это от него зависит; именно, государство может заменить недостаток тех способностей, без которых само общество невозможно. Ясно, что если какое-нибудь создание должно приспособиться к новым условиям существования, то прежде всего необходимо, чтобы оно было поставлено в эти условия. Выражаясь точнее, мы должны сказать, что человека можно приспособить к условиям

общественной жизни только тогда, когда мы будем его удерживать в среде общества. Как скоро мы в этом убедимся, то из этого уже прямо мы можем вывести заключение, что так как людям недоставало прежде, да и до сих пор недостает тех чувств, которые необходимы для справедливого поведения и для предупреждения постоянного антагонизма между личностями, то необходим искусственный деятель, который удерживал бы их вместе и не давал бы им разойтись и уединиться. Только посредством процесса приспособления могут произойти те свойства, вследствие которых социальное равновесие будет устанавливаться само собою. Пока процесс этот продолжается, необходимо, чтобы существовало учреждение, которое соединяло бы людей в общество и которое мешало бы всяким поступкам, грозящим этому обществу уничтожением. Такое учреждение нам представляется в правительстве.

Наше заключение будет в своем существе одинаково, будем ли рассматривать правительство с этой точки зрения или с той, с которой мы смотрели на него прежде. Если правительство посвятит себя тому отправлению, для какого оно здесь предназначается, т.е. если оно будет держать людей в том состоянии, к которому им следует приспособиться, то оно вместе с тем будет исполнять назначение, имевшееся для него в виду по другим причинам — оно будет защитником. Отправлять правосудие, охранять права людей, предупреждать несправедливые нападения — все это означает делать общество возможным, делать людей способными жить вместе, держать их в соприкосновении с новыми условиями жизни. Мы видим, что и та, и другая аргументация выходит из одного корня, и это должно убедить нас, что каким бы путем мы ни определяли обязанности государства, но государство не может выйти из пределов этих обязанностей без саморазрушения. Если мы будем считать государство защитником по своему призванию, то мы найдем, что с того момента, как оно принимает на себя что-нибудь, кроме защиты, оно нападает, вместо того чтобы охранять. Если мы будем рассматривать государство как одно из орудий приспособления, то мы увидим, что оно замедляет это приспособление вместо того, чтобы его ускорять, как скоро оно не ограничивается удержанием людей в состоянии общества, а принимает на себя другие задачи.

§ 5. Мы достаточно привели положительных доказательств, обратимся к отрицательным. Философы, придерживающиеся утилитарного учения, утверждают, что на государстве лежат еще другие отправления, кроме обязанности охранять права людей. Какие же это отправления? Если кто-нибудь утверждает, что указанные выше границы государства проведены неверно, то само собою возникает требование: укажите же, где должна быть эта граница? На такой вопрос утилитарная философия никогда не была в состоянии дать ответа. То, что она считала определением границ, вовсе не заключало в себе никакого определения. Уже в начале этого сочинения (Утилитарная философия, § 1 и 2) было доказано, что сказать «государство должно делать то, что полезно», или «оно должно стремиться к производству наибольшего счастья», или «оно должно способствовать общему благу» — это все равно, что не сказать ничего, потому что на эти предметы существуют бесконечно разнообразные взгляды, и выражениям этим придается самый разнородный смысл. Определение, которого выражения неопределенны, — это нелепость. Толкование слова «польза» зависит от личного мнения; поэтому сказать, что правительство должно делать то, что «полезно», — это значит сказать, что правительство должно делать то, что, по нашему мнению, ему следует делать!

Итак, мы требуем определения. Где надлежащая граница между двумя крайними пределами государственной деятельности, между возложением на него *всего* и *ничего*? Бесчисленные отрасли деятельности неограниченного законодательства; на которой же из них ему следует остановиться? Следует ему простираť свое вмешательство до того, что оно будет определять способы мануфактурного производства, вмешиваться в приемы сельского хозяйства и в домашние дела, как это делалось когда-то? Недавно еще законодательство вмешивалось в торговлю, до сих пор оно вмешивается в воспитание, многие желают, чтобы оно обращало внимание на общественное здравие; в Китае оно наблюдает за костюмом, в Австрии — за литературой; в число отраслей его деятельности входит и благотворительность, и нравы, и удовольствия, должно ли все это принадлежать к сферам его опеки? Если его деятельность не может быть обращена на все эти предметы, то на которых из них она должна остановиться? Если спутавшийся исследователь будет

искать убежища в авторитете, то он найдет примеры не только такого, но несравненно большего вмешательства. Если, по его мнению, желательно, чтобы государство вмешивалось в дела промышленного производства, то он для этого найдет бесчисленное множество примеров. Ему стоит пристать к мнению тех, которые недовольны портным, раздающим свои заказы для работы вне мастерской, или тех, которые желают прекращения работ в рабочих тюрьмах, конкурирующих с вольными ремесленниками, или тех, которые хотят ограничить работу детей в приютах, отбивающих занятие у швей; за примерами же дело не станет. Вот закон Генриха VII, который указывает народу, на каких ярмарках он должен продавать свои имущества. Эдуард VI постановил закон, что ростовщики должны платить сто фунтов стерлингов штрафа; Яков I определил, какое количество эля следует давать на пенни; Генрих VII воспретил под страхом наказания продавать булавки, «у которой нет двойной головки, крепко приделанной к ножке и хорошо отполированной, ножка должна быть хорошо обрезана и с хорошо и кругло опиленным и заостренным концом». В подкрепление своего мнения такой исследователь может привести законы, которые определяли заработную плату, — законы вроде постановления 1533 года, которым устанавливались для фермеров случаи, когда посев льна и конопли должен быть обязательным; законы, воспрещавшие употребление предметов, ныне весьма распространенных; так, в 1597 году было воспрещено употребление кампешевого дерева*. Если ему нравится распространение опеки до таких размеров и если он примет идею Луи Блана, что «правительство должно почитаться главным руководителем производства», то он, быть может, захочет довести опеку до того, до чего она когда-то доходила во Франции, где фабрикантов ставили к позорному столбу за недостатки в употребленных ими материалах и красках, где накладывали пени, если обьярь делалась из более худого материала, чем предписано было законом, а камлот** оказывался ненадлежащей ширины, где невозможно было по своему произволу выбирать место для своих заведений, нельзя было работать во всякое время года и на всякого рода людей. Можно ли считать такое вмешательство заходящим слишком далеко? Если так, то мы, может быть, будем снисходительнее к германским постановлениям, которые воспрещали сапожнику за-

ниматься своим ремеслом, если его способности не удостоверены назначенными для этого присяжными, которые человеку, избравшему какое-либо ремесло, навсегда воспрещали заниматься другим, которые воспрещали иностранному промышленнику или ремесленнику без дозволения поселяться в германском городе? Если промышленная деятельность требует регламентации, то не лучше ли также заботиться о надлежащем снабжении работников делом и поощрять ленивого, чтобы он производил в достаточных размерах? Как поступать нам в этом случае с нашим бродячим населением? Не следует ли нам придерживаться мнения Флетчера из Сальтона, который с жаром защищал учреждение рабства в Шотландии, по его мнению, это было бы благодеяние для многих тысяч народа, которые теперь умирают за неимением хлеба? Может быть, мы примем аналогическое мнение Карлейля, который желал помочь бедствиям Ирландии, организовав из народа регулярные полки землекопов? Как следует поступать при определении часов работы? Согласившись на просьбу фабричных рабочих, не следует ли нам удовлетворить требованиям булочных подмастерьев? Если мы удовлетворим булочных подмастерьев, то отчего же не внять требованиям Кобдена и не обратить внимания на претензии работников при стекольном производстве, или рабочих, занимающихся удалением нечистот, или тех, которые находятся при чугунном деле; отчего не исполнить желаний шеффилдских точильщиков ножей и желаний всех других классов, включая сюда отягощенных работой членов парламента?! Когда работа будет распределена, число рабочих часов установлено, когда торговля регламентирована, тогда нам останется решить, до каких пределов государство должно наблюдать за душевными движениями народа, за его нравственностью и здоровьем. После этого является вопрос о воспитании; мы удовлетворим преобладающему желанию об учреждении правительственных школ и о назначении учителей, получающих содержание из государственных сборов, мы примем план Юарта* и учредим общинные библиотеки и музеи. Затем, не следует ли нам войти в обсуждение дополнительного предположения о назначении профессоров для чтения народных лекций? Если согласятся с этим предложением, то не следует ли приступить к исполнению плана сэра Дэвида Брюстера, который желает, чтобы от государства были назначены люди,

исключительно посвящающие себя науке — интеллектуальное духовенство; они должны будут развивать великие истины, лежащие в лоне времен и пространства¹. Учредив таким образом интеллектуальное духовенство и создав товарищества для духовенства религиозного, мы присовокупим к ним учреждение духовенства медицинского. Такое учреждение защищается некоторыми бездушными медиками, и для него создан даже зародыш в союзе докторов; вот прекрасный элемент, который довершит троицу. Когда нам удастся этим путем поручить больного попечению общественных чиновников, то последовательно мы должны принять и систему правительственных похорон, предложенную мистером Г. А. Уокером; на основании этой системы лица, обладающие властью, должны в особенности заботиться о том, чтобы беднейшие из их братьев приличным и торжественным образом препровождались до могилы; в известных случаях они должны безвозмездно выдавать суммы для погребения. Когда коммунистический план, предлагающий заботиться обо всем, что нужно для каждого человека, будет доведен в своем исполнении до таких размеров, тогда нам нужно будет еще обсудить вопрос о народных удовольствиях. Не взять ли пример с Франции и не давать ли субсидии опере, не учредить ли здания для общественных балов, не давать ли безвозмездных концертов и дешевых театральных представлений, не платить ли из государственной казны жалованье актерам, музыкантам и церемониймейстерам, не позаботиться ли нам в то же время о надлежащем направлении народного вкуса, как предполагается настоящим нашим правительством в деле о подписчиках Союза изящных искусств? Говоря о вкусах, мы, естественно, должны вспомнить об одежде, в которой возможно было бы сделать различные улучшения посредством законодательных предписаний; например, можно было бы уничтожить шляпы. В этом отношении мы имеем очень хорошие исторические примеры. Эдуард IV налагал пени на тех, которые носили плащи и шинели, несогласные с указанными образцами, и ограничивал чрезмерную длину носков сапог. Карл II постановлял законом, в каком одеянии следовало его подданных класть в гроб. На здоровье также следует обратить внимание: при этом

¹ См. Address to the British association at Edinburgh, in 1850.

мы с пользой можем пересмотреть древние статуты, которые ограждали желудки народа и ограничивали издержки его стола. Припомним, как вредно действует на здоровье наше фешенебельное обыкновение поздно ложиться спать; нельзя ли тут с пользой возвратиться к древнему обычаю норманнов и определить время, когда люди должны тушить огни и ложиться спать в постель? Не благодетельно ли будет для нас следовать мнению Бособра, государственного человека, утверждавшего, что «во время созревания плодов нужно наблюдать, чтобы народ не ел ничего неспелого»? Для довершения этой опеки недурно было бы последовать примеру датского короля, который давал своим подданным наставления, как им следует чистить пол и полировать свою мебель.

Подобными вопросами нетрудно наполнить целый том; к ним можно присовокупить бесконечное число второстепенных, которые должны возникнуть при применении главных. После этого можно себе составить понятие о том лабиринте, среди которого утилитарная философия должна найти для себя прямой путь. Откуда она возьмет для себя нить? Как она объяснит, чем руководствоваться при решении вопроса, что нужно и чего не нужно возлагать на государство? Как она выразит свое определение? Если она хочет избегнуть обвинения в политическом эмпиризме, то она должна указать нам какой-нибудь научный прием, которым можно было бы определить в каждом случае, желательна или нежелательна правительственная опека. Перед нами бесчисленный ряд ступеней, лежащих между одной крайностью — полного невмешательства — и другой, где гражданин превращается во взрослого ребенка в нагруднике и с рожком. Тот, кто утверждает, будто государство должно идти далее защиты, обязан точно обозначить границу для деятельности и привести существенные основания, почему она должна быть проведена тут, а не в другом месте.

§ 6. Рядом с затруднением при решении вопроса, что следует делать государству, является другое: какими путями оно должно действовать? Сложим с утилитарной философии половину бремени, предположим, что на вмешательство государства в известном отношении последовало единодушное согласие. После этого мы спрашиваем: какими путями должно быть исполнено

возложенное поручение? Вполне ли вы уверены, что оно будет исполнено удовлетворительно? Убеждены ли вы, что ваш аппарат не сломится при исполнении своего дела? Убеждены ли вы, что он приведет к желаемому результату? Убеждены ли вы, что он не запутается в лабиринте, в котором столь многие уже потерялись? Нет недостатка в примерах, которые способны служить для нас предостережением. «Мы уничтожим ростовщиков», — сказали себе средневековые правители. Они делают попытки, и выходит совершенно противоположное тому, к чему они стремились. Оказывается, что всякая регламентация, касающаяся лихвенных процентов, только увеличивает тягость роста и делает его условия более обременительными. «Мы хотим уничтожить протестантизм», — говорили друг другу католики материка. Опыт сделан, и оказалось, что вместо этого они поселили в Англии зародыши той промышленной организации, которая в значительной степени превзошла их самих. «Хорошо было бы дать рабочим классам определенное местопребывание», — рассуждали законодатели, сочинявшие законы о бедных, и, разработав мысль, они создали паспортную систему с ее толпами бездомных работников и с ее разрушенными хижинами. «Мы должны уничтожить публичных женщин», — решили берлинские власти в 1845 г.; они закрыли публичные дома. А в 1848 г. официальные и больничные списки показали, что положение дел теперь несравненно хуже, чем прежде¹. «Если мы обязали лондонские приходы содержать и воспитывать принадлежащих к ним бедных детей не в городе, а в окрестных селениях, — говорили государственные люди времен Георга III, — в таком случае мы значительно способствовали сохранению жизни этих детей, содержащихся на счет приходов». С этой целью создан закон 7 Геог. III. Началось воспитание ребят на фермах, которое окончилось тутингской трагедией*. Неужели такие предостерегающие опыты не заслуживают внимания? Но, может быть, философ, придерживающийся утилитарного учения, придает цену только тем фактам, которые помещены в синих книгах** и в документах торгового департамента?

Может ли он также отвечать за удовлетворительную деятельность административного механизма? Обыкновенно замечают,

¹ Донесения д-ра Фр. Н. Беренда, см. Medical Times, 16 марта 1850 г.

что общественное дело исполняется хуже всякого другого дела, и замечание это вовсе не лишено основания. Примеры этого он может видеть в деятельности известного управления, ведущего свои дела таким образом, что ценное поместье Нью-Форест приносило стране ежегодный убыток в три тысячи фунтов стерлингов. Оно дозволило бесчестному агенту вырубить Салей-Форест и вырубленное растратить. В 1848 году оно предоставляло отчет только еще за март 1839 года. Он может прочесть и о беспорядках адмиралтейства — о дурно построенных, развалившихся, снова переделанных и кое-как зачиненных судах. Почти миллионный капитал был употреблен на постройку железных военных пароходов; теперь оказывается, что пароходы эти не могут выносить пушечных выстрелов. Обнаруживается беспечность, которая довела до того, что национальные доки и морские арсеналы «на семь лет отстали от всех других». Тут перед нами скандальная причудливость, вроде постройки тюрьмы с затратой 1200 ф. ст. на каждого заключенного; а там — беспечность, дозволяющая важным государственным бумагам гнить среди хлама. Вот матрос, от которого государство требовало каждый месяц шесть пенсов на госпиталь, никогда не существовавший, и которого пенсия из фонда для матросов купеческого флота не может и в сравнение идти с той, какую бы он получил из обыкновенного страхового общества; а вот, напротив, монетчик, который получает более четырех тысяч фунтов в год за то, за что было бы совершенно достаточно заплатить десятую долю. Официальную медленность мы видим в случае с каталогом музеума, подвигающимся вперед лишь черепашим шагом; официальную нераспорядительность — в устройстве зданий парламента, не приспособленных к тому, чтобы в них говорить; официальную испорченность — в неизменно оппозиционном отношении акцизного, таможенного и почтового начальства ко всяким улучшениям. Неужели все это не внушает опасений философу с утилитарным взглядом на вещи? Но, может быть, он считает себя человеком, по преимуществу руководящимся опытом, и полагает, что вообще опыт говорит в его пользу?

Может быть, он не слышал, что из десяти механических открытий обыкновенно девять неудачных и что даже десятое становится удобоприменимым лишь после того, как будет удален бесконечный ряд препятствий, о которых никогда и не снилось

изобретателю? Если же он это слышал, то неужели он полагает, что понять свойства человеческие легче, чем свойства железа и меди, что механизм, устроенный из живых людей, проще, чем неодушевленная машина, и что порождения законодательства не могут приводить к точно таким же неудачам, как и попытки механика?

§ 7. «Верить в неограниченное могущество политической машины — значит увлекаться великой иллюзией», — говорит Гизо. Это справедливые слова; подобная вера заключает в себе не только великую, но и опасную иллюзию. Дайте ребенку преувеличенное понятие о могуществе своих родителей, и он скоро с криком потребует, чтобы они достали ему луну. Пусть народ верит всемогуществу своего правительства, и можно быть уверенным, что он произведет революцию, стараясь достигнуть невозможного. Если народ, с одной стороны, будет иметь сильно преувеличенное понятие о том, что может сделать для него государство, а с другой — увидит жалкие подделки последнего, то из этого неизбежно должны родиться чувства, крайне враждебные общественному порядку; эти чувства, присоединяясь к неудовольствию, произведенному другим образом, должны порождать вспышки, которых бы не было при иных обстоятельствах.

Убеждение касательно всемогущей власти политической машины не родилось вместе с людьми; они научились этому. Но откуда же они научились? Очень ясно, откуда: им постоянно толковали о всеобщей законодательной опеке; они слышали претензии, которые заявлялись государственными людьми; они с детства видели, что всякого рода отправления производились официальным путем посредством правительства. Идею, которую Гизо в своем критическом разборе последних происшествий во Франции называет великой иллюзией, — эту самую идею он вместе с другими испытывал на деле. Идя по стопам своих предшественников, он применял на практике и в некоторых случаях даже расширил систему официальной опеки, родоначальницу этой идеи. Мудрено ли, что люди получили преувеличенное понятие о государственной власти, если они окружены были такой обстановкой, как французы? Они жили под регламентацией целого легиона префектов, субпрефектов, инспекторов, контролеров, интендантов, комиссаров и других

чиновников числом до 535 000; они воспитаны были правительством, и правительство же обучало их религии; они должны были просить его согласия каждый раз, когда они хотели тронуться из дома; они не могли напечатать афиши без дозволения властей, они не могли пустить в обращение газету после запрещения цензора; они ежедневно встречались с правительственной регламентацией по отношению к железным дорогам, по инспекции и управлению горным делом, по устройству мостов, постройке дорог, возведению памятников, их заставляли смотреть на правительство как на покровителя наук, литературы и изящных искусств, как на источник почестей и наград; они видели в нем фабриканта, выделяющего порох, опекуна, наблюдающего за воспитанием лошадей и овец; они видели его в роли общественного заимодавца, купца, монополизировавшего для себя торговлю нюхательным и курительным табаком; всюду встречались они с вмешательством правительства, начиная с выполнения публичных работ и кончая санитарной инспекцией публичных женщин. После того как они составили себе такое понятие, не естественно ли было с их стороны желать, чтобы государство окружало их недостижимыми благами? Мудрено ли, что они были недовольны, когда правительство этого не исполняло, и пытались силой принудить его к удовлетворению своих желаний? Очевидно, отвечать следует утвердительно. А если так, то можно без преувеличения сказать, что правительство, переступая границу свойственной ему сферы деятельности, порождая «великую иллюзию», т.е. убеждение, что политическая машина обладает всемогуществом, само создает естественную предтечу учений вроде систем Луи Блана и Кабэ и той путаницы, какая должна произойти от покушения применить эти учения на деле посредством государственных агентов.

Система вмешательства грозит безопасности социального равновесия еще с других сторон. Это очень дорогая система: чем далее она развивается, тем более требуется для государства доходов; а всем известно, что тягостные подати неизбежно производят неудовольствие. Далее, это система по существу своему деспотическая. Распоряжаясь всем, она неизбежно должна стеснять людей: она уменьшает свободу их деятельности и тем ожесточает против себя. Она оскорбляет бесчисленностью своих предписаний и ограничений, возбуждает неудовольствие как

заявлениями о своей помощи всем и каждому, так и своими запрещениями, которые не дают людям возможности по-своему помочь собственной нужде; она досаждала гражданам толпами чиновников с диктаторскими наклонностями, которые постоянно становятся между людьми и теми целями, которые эти последние преследуют. Немалую долю в произведении французской революции следует приписать регламентации, которая затрудняла во Франции ход промышленности в течение последнего столетия. Государство тогда постановляло, какие лица могут быть употреблены в производствах известного рода, на какие предметы должна обращаться производительность, какого рода материалы следует употреблять, каковы должны быть размеры производства; инспекторы разбивали станки и жгли произведения, сделанные не по правилам, установленным законом: улучшение считалось противозаконным поступком, а на изобретателей накладывались штрафы. Та же самая опека послужила одной из причин, подготовивших падение правительства Луи-Филиппа: при нем без разрешения правительства нельзя было разрабатывать руду; книгопродавец или типографщик должен был закрыть свои заведения, коль скоро ему не выдавалось более дозволенного свидетельства; считалось преступлением взять из моря ведро воды. Понятно, все это порождает раздражение.

Итак, если мы будем смотреть на правительство как на орудие для удержания людей в состоянии общества, то мы найдем, что всякое его покушение перейти в своей деятельности за эти пределы прямо уменьшает его силы, отвлекая их от надлежащего направления, и, кроме того, косвенным образом подвергает опасности и само правительство, и его истинное отправление.

§ 8. Нам еще остается обратить внимание на беспредельную самонадеянность, которая выражается в претензии регулировать все поступки людей посредством законов. Если ее выставить в настоящем свете, то претензия эта выражает собой притязание исправить недостатки основной сущности вещей. Говорят, кто-то жалел, что с ним не посоветовались, когда создавался мир, дескать, он мог бы дать хороший совет; эта беспримерная самоуверенность доставила своему обладателю историческую известность. Жалкое, самоуверенное ничтожество! Но не

то же ли самое делает ежедневно огромное большинство наших государственных людей и политиков? Да и то ли еще! Вышеупомянутый субъект хотел лишь дать совет, они же вовсе не ограничиваются одной подачей совета: они вступаются в само дело; они берут в свое заведование то, что, по их мнению, Бог устроил дурно, и принимаются за исправление! Для них ясно, что провидение плохо позаботилось об общественных потребностях и отношениях и что если бы не их бдительный надзор, то все бы пошло вкривь и вкось. Эти люди не думают о тех скрытых влияниях, которые предназначены для устранения всякого несовершенства. Они берутся поправить ошибки Всеведущего и пополнить недостатки посредством какой-нибудь комиссии, шта-та чиновников или парламентского постановления.

Какое жалкое зрелище представляется человеку, который, по выражению Бэкона, сделался «служителем и истолкователем природы», когда он видит, как эти политические прожектеры с их неуклюжими механизмами стараются заменить собой великий закон существования. Такой человек перестал смотреть на одну поверхностную сторону вещей и выучился наблюдать тайные силы, которыми они держатся. После терпеливого изучения начал он раскрывать общие законы в хаосе явлений, среди которых родился; там, где все казалось смешанным и в беспорядке, он стал различать неясные очертания гигантского плана. Ничего бесцельного, ничего случайного — всюду порядок и законченность. Исключения исчезают одно за другим и заменяются одной, всеобщей системой. То, что казалось аномалией, вдруг является вполне отвечающим глубокой мысли, теряет вид исключительности и входит в ряд однородных явлений. Всюду мы находим одно и то же жизненное начало — вечно действующее, всегда достигающее цели, обнимающее все до мельчайших подробностей. Рост не прекращается; медлен, но всемогущ. В одном месте он обнаруживается быстро развивающимися очертаниями; в другом, где потребность менее значительна, показывается лишь в виде тонкого волокна зачинающейся организации. Неодолимый, хотя и трудно уловимый, этот источник перемен является в глазах подобного наблюдателя той силой, которая ведет вперед и народы, и правительства, несмотря на их теории, проекты и предрассудки. Эта сила высасывает жизнь из их хваленых учреждений, скручивает своим

дыханием их государственный пергамент, парализует издавна уважаемые авторитеты, стирает законы, как бы глубоко они ни запечатлелись, заставляет государственных людей отказываться от своих мнений и заставляет краснеть пророков; она сводит в могилу любимые обычаи, стирает руководящие примеры; она производит революцию в целом ходе вещей прежде, чем люди в состоянии это заметить, и наполняет мир новой жизнью высшего порядка. Это могущественное движение направлено к совершенству, к полному развитию, к добру во всей его чистоте. Этот всеобъемлющий прогресс подчиняет себе все небольшие неправильности и ретроградные движения точно так же, как кривизна земли подчиняет себе горы и долины. Даже в зле человек науки приучается познавать усилие к добру. Более всего его поражает прирожденное всему сущему свойство самоудовлетворения, простота принципов, посредством которых исправляются происшедшие недостатки. Принципы эти одинаково обнаруживаются и в равновесии, какое устанавливается само собою при пертурбациях в мире планет, и в излечении оцарапанного пальца; они обнаруживаются во взаимно уравнивающих силах социальных систем и в развитии слуха у слепого, в приспособлении цен к произведениям и в акклиматизации растений. С каждым днем перед таким наблюдателем раскрываются новые красоты. Каждый новый факт уясняет известный сознанный закон или раскрывает незамеченное совершенство. Во время исследования перед его глазами развивается картина все более и более возвышенной гармонии и водворяет в его сердце все более и более глубокую веру.

И вот среди удивления, среди благоговения, которое овладевает ученым, он внезапно видит какого-то легковесного господчика, который оповещает миру, что хочет положить заплату на прореху, оставленную природой! Вот находится человек, который среди окружающих его чудес осмеливается объявлять, что он и какие-то его товарищи сложили вместе свой разум и нашли путь для исправления устроенного Богом! Эти исправители не имеют почти никакого понятия о том предмете, с которым им придется иметь дело; вы это тотчас же увидите, как скоро начнете знакомиться с их философией. А между тем, имея только они возможность выполнить все свои претензии, они бы сделались самозванными опекунами всего мира! Эти люди так

мало верят законам природы и так уверены в себе, что будь это только возможно, они сковали бы вместе землю и солнце из опасения, чтобы центростремительная сила не оказалась недостаточной! Полагаться можно лишь на деятелей, назначенных парламентом; только тогда, когда бесконечно сложное человечество будет подчинено их глубокомысленной регламентации, когда о нем будет заботиться их всеобъемлющий ум, только при таких условиях мир будет именно тем, чем ему следует быть! Вот сущность удивительного взгляда на вещи этих исправителей вселенной.

§ 9. Мы можем рассматривать дело с какой угодно точки зрения — с нравственной, научной или со стороны удобоисполнимости; можем смотреть на него как на вопрос политической рассудительности или даже по отношению к религии и религиозному чувству; но во всяком случае мы найдем, что невозможно защищать учение, возлагающее на правительство другие обязанности, кроме обязанности покровителя. С одной стороны, мы видели, что если рассматривать ограждение прав как специальное назначение государства, то нельзя допустить, чтобы оно принимало на себя какие-либо другие отправления, так как это не может быть сделано без утраты сил, необходимых для его специального призвания. Если, с другой точки зрения, мы будем смотреть на государство как на вспомогательное средство для приспособления, то найдем, что оно не может выйти из пределов своей обязанности ограничения человеческой свободы, не превращаясь в препятствие для этого приспособления. Таким образом, во всяком случае оказывается, что уничтожение предположенной здесь границы для законодательного вмешательства равносильно уничтожению на деле всяких границ, равносильно предоставлению гражданской власти поля деятельности, для которого нельзя назначить никаких пределов, если только не подразумевать под этим выражением ограничения чисто произвольного и вовсе не философского характера. Сверх того, если бы даже можно было отделить надлежащим образом какие-либо добавочные обязанности от остальных и признать их удобными для включения в сферу правительственной деятельности, то и тогда их нельзя было бы оставить за правительством, так как опыт показывает, что оно — крайне

плохой исполнитель в этих случаях. Далее обнаруживается еще одна дурная сторона системы развития официальной опеки: она невыгодна по отношению к устойчивости социального равновесия. Наконец, система эта отвергнута нами, потому что она заключает в себе нелепое и даже нечестивое притязание.

Вот общие основания, которые были приведены для доказательства положения, что государство должно охранять, но не выходить за пределы охранения. Для мыслителя, привыкшего к отвлеченностям, доводы эти будут, может статься, достаточно убедительными; найдутся, однако же, и такие читатели, в глазах которых они будут иметь относительно мало веса; для того, чтобы убедить этих последних, необходимо разобрать в отдельности все случаи, в которых обыкновенно защищается законодательная опека. Приступим.

XXIII | РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

§ 1. Меры, изменяющие естественный ход промышленности и торговли, бывают двух родов. Они могут заключаться или в искусственных стимулах, или в искусственных ограничениях — в поощрении или в стеснении.

О поощрениях здесь следует сказать то же, что сказано было в предыдущей главе об искусственных преимуществах вообще: государство не может доставлять их, не противодействуя косвенно прямым своим отправлениям. Отбирать у граждан собственность для поощрения известных отраслей производства будет неправым поступком даже и тогда, когда собственность эта вознаграждается соответствующим благом, потому что такой образ действия не требуется для надлежащего ограждения прав граждан. В настоящем случае сверх того оказывается, что подобная мера не только не доставит им соответствующего блага, но ограничит еще более деятельность способностей, так как неустройство в коммерческих отношениях — ее (меры. — *Прим. корр.*) постоянный спутник. Поэтому ее по справедливости нужно считать вдвойне неправой. Ныне вера в меркантильные поощрения почти уже уничтожилась, и нет надобности подкреплять это отвлеченное заключение дополнительными рассуждениями.

Едва ли нужно говорить, что стеснения несравненно более несправедливы, чем поощрения. Право мены выводится из закона равной свободы (гл. XIII), а потому оно так же священо, как и всякое другое право: оно в одинаковой степени должно существовать как между членами различных народностей, так и между членами одной и той же нации. Нравственность не знает географических границ и различия рас. Вы можете поместить людей на противоположных сторонах реки или горной цепи, можете разделить их водным пространством, можете заставить их, если хотите, говорить на различных языках, можете различно окрасить их кожу; но вы не можете изменить основного начала их отношений. Начала эти вытекают из человеческого

устройства; их не могут переделать случайности внешних условий. Нравственный закон — космополит, он не уважает национальностей. Между людьми-антиподами — как по местности, где они живут, так и во всяком другом смысле — должно быть то же самое равновесие прав, как и между людьми во всех отношениях близкими друг к другу.

Следовательно, правительство нарушает право людей на свободу деятельности каждый раз, как воспрещает коммерческие отношения между двумя нациями или ставит препятствия на пути этих сношений. А если так, то оно делает прямо противоположное своему назначению. Мы нашли, что обязанность государства состоит в том, чтобы обеспечить для каждого человека самую полную свободу деятельности его способностей, какая только согласна с равной свободой всех других. Запрещения и стеснения по отношению к торговле и промышленности не только не обеспечивают такой свободы, но отнимают ее. Принуждая к подобным стеснениям, государство из охранителя прав превращается в их нарушителя. Если для гражданской власти, предназначенной к ограждению нас от убийства, преступно сделаться убийцей; если для нее преступно воровать, так как она должна уничтожать воров, то не меньшим с ее стороны преступлением должно считаться лишение каким бы то ни было образом людей свободы при отыскании предметов своих желаний, потому что ее назначение — обеспечивать эту свободу. Убийство, грабеж, порабощение, цепи торговой регламентации — все это однородные преступления со стороны власти, они различаются только степенью. В одном случае власть вполне уничтожает возможность упражнять способность, в другом она делает это только отчасти. Строгая этика одинаково должна осуждать ее в обоих случаях.

§ 2. Многие будут поражены таким взглядом на дело, но пусть они подумают о том, откуда происходила и чем сопровождалась эта торговая регламентация. Они найдут, что и по своему происхождению, и по своему применению такая регламентация должна стоять в ряду всех других видов зла. Уже несколько раз мы говорили о том, что все несправедливые обычаи и учреждения получают свой порочный образ от нравственных недостатков народа, среди которого существуют, и потому должны

быть однообразно проникнуты такой порочностью. Так как общественные законы, верования и учреждения вытекают из солидарных между собой свойств, то все современно существующие общественные законы, верования и учреждения должны носить в себе одинаковые характеристические черты. Кроме того, всякий прогресс должен обнаруживаться в их среде повсюду одновременно. Истина эта была уже достаточно разъяснена (гл. XVI, § 4 и гл. XVII, § 3). Мы видели, что тирания в государственном управлении, в отношениях между господином и рабом, в религиозной организации и церковной дисциплине, в брачных отношениях, в обращении с детьми постоянно процветала и уменьшалась одновременно и в равной мере во всех своих видах. К той же самой категории должны мы отнести и тиранию в торговых законах. Несмотря на второстепенную важность этого предмета, в нем оказывается, однако, тот же самый процесс природы: мы найдем, что, начиная от тех времен, когда вывоз составлял уголовное преступление, и до современной эпохи свободной торговли постоянно существовала строгая пропорциональность между суровостью меркантильных ограничений и стеснительностью ограничений вообще; точно такую пропорциональность мы видим между возрастанием коммерческой и всякой другой свободы.

Чтобы убедиться в этом, достаточно нескольких примеров. Во времена Эдуарда III мы встречаем автократическое управление в делах церкви, в государстве и в замках феодалов. Вот какими это сопровождалось явлениями. Для того чтобы иностранцы приходили к нам и покупали на наших рынках, государь этот воспретил своим подданным вывозить предметы торговли «под страхом смертной казни и конфискации» и вдобавок еще постановил, что «закон этот должен оставаться неизменным и не может быть отменяем ни им самим, ни его наследниками». Тот же самый дух деспотизма мы видим и в постановлениях, требовавших, чтобы континентальные купцы во время своего пребывания в стране жили вместе с известными инспекторами, которые должны были наблюдать, чтобы они продали свой товар в течение определенного времени и на вырученные деньги накупили английских произведений; инспекторы должны представлять казне периодический отчет о барышах каждого купца. Заметим мимоходом, что учреждения эти после их

отмены долго оплакивались почитателями мудрости предков; о них жалели более, чем сколько в наши дни известная партия скорбела об отмене таможенных пошлин. В то же время работников принуждали брать заранее определенную заработную плату и ради равновесия отношений предписывали купцам цены на предметы необходимости. В то время, когда самые стеснительные из этих предписаний выходили из употребления, менее тягостные продолжали существовать; оставались воспреещения лихвенных процентов, предписания фермерам, распоряжения о похоронной одежде, инструкции фабрикантам и т.п., о чем говорилось в последней главе. Все приведенное выше служит достаточным доказательством, что стеснительность меркантильных законов страны изменяется с притеснительностью ее учреждений вообще и с размером произвола в ее управлении. Поэтому мы не станем входить в дальнейшие подробности; не станем распространяться насчет тех несносных стеснений, которые когда-то приходилось выносить промышленным классам Франции и которые совпадали с самым жестоким деспотизмом двора и феодальной тиранией, еще продолжавшей в то время свирепствовать в провинциях; мы не будем также проводить параллели между политическим и коммерческим рабством, которая угнетает Францию до сих пор, несмотря на ее революции; умолчим о такой же связи событий в Пруссии, Австрии и других государствах, управляемых подобным же образом. С другой стороны, если мы обратимся к летописям прогресса и взглянем на те перемены, какие имели место в течение немногих последних лет и какие и теперь еще осуществляются, то мы должны заметить подобное же сродство между более развитым чувством справедливости, обнаруживающимся в политических учреждениях, и тем, которое проявляется в делах церковных, в семействе и коммерческом кодексе.

Торговые ограничения принадлежат к одному роду явлений с неответственным правительством и рабством. Тупое понимание и недостаточная симпатия по отношению к правам людей — вот источники всякой тирании и бесчестности, под каким бы названием эти последние не являлись. Вмешательство в свободу мены — точно такое же несомненное порождение этих причин, как и самые зловерные нарушения человеческих прав; мы встречаем их постоянно вместе. Хотя мнение народа и не

относит вмешательство в область промышленности и торговли к преступлениям, но по своему происхождению и по своей природе правонарушения подобного рода тесно с ним связаны.

§ 3. Есть еще одна точка зрения, с которой можно смотреть на эту регламентацию торговли вместе с другими однородными изобретениями для ведения общественных дел. Все это по существу своему — идолопоклонство. Поклонение мертвым, бессильным вещам, сделанным человеческими руками, еще не исчезло; напрасно люди льстят себе этой надеждой: оно не может исчезнуть, оно никогда не исчезнет совершенно. Элементы человеческой природы постоянны, изменение касается только их отношений. Даже в самом отдаленном будущем можно будет указать на типические остатки всякой когда-либо существовавшей наклонности. Ошибочно полагать, будто человечество во все не изменяется; но ошибочно также воображать, что оно так изменилось или когда-нибудь изменится, что не останется никаких следов его прежних свойств.

Определяя идолопоклонство научным образом, мы должны сказать, что это есть такой образ мыслей, где причина всякого явления приписывается силе существ. Такое мирозерцание есть результат первых обобщений неразвитого интеллекта. Он заметил, что перемены производятся видимыми, осязаемыми предметами, и вывел заключение, что все перемены производятся таким же образом. Дикарь много раз видел, что действия известных факторов сопровождаются известными явлениями, и вот в душе его возникает убеждение, что всякое явление производится особым деятелем. Законы душевных отправлений делают такой взгляд неизбежным; если все известные причины представлялись в виде личных деятелей, то и все неизвестные причины будут пониматься таким же образом. Отсюда исходит первоначальный фетишизм. Камень, брошенный известной рукой, кусок дерева, вспыхивающий от жара, животное, оказавшееся вблизи какой-нибудь естественной катастрофы — вот предметы, которые принимаются за действующую силу. Обнаружилось явление, наблюдается очевидная перемена в состоянии известного предмета — прошедший опыт навязывает мысль, что перемена эта неизбежно должна быть произведена каким-нибудь деятелем; тот же опыт указывает, что

деятель неизбежно должен быть существом, притом таким, которому на основании прошлого опыта всего вероятнее приписать подобную роль; за отсутствием других существ свойство деятеля приписывается дереву, из которого выходит пламя, или камню, производящему удар. На дерево, на камень смотрят как на деятеля неизвестной силы, способного причинять зло, ему молятся, его задабривают.

Однако с первых же шагов по этому пути начинают уже накапливаться факты, которые должны поколебать эту теорию бытия, а со временем и вовсе ее уничтожить. Если первобытный человек приписывает все явления деятельности живых существ, то он непременно должен самим существам этим приписывать такие же свойства, какие он видел у других — у людей, у животных. Он рассуждает так, как необходимо должен рассуждать: он заключает о неизвестном по известному; неизвестных производителей перемен он должен представлять себе во всех отношениях такими же, какими он знает известных; мы находим, что он действительно и поступает таким образом. Он представляет себе эти существа или в образе людей, или в виде зверей, или смесью тех и других; он воображает, что у них такие же страсти и такие же привычки, как у него самого. Он замечает, что все известные ему существа имеют одно общее свойство — изменчивость желаний. Он не видит ни одного существа, которого образ действий был бы так однообразен, что можно было бы положительно сказать, как оно будет вести себя вперед. Он видит, что известные естественные явления, которые он сначала приписывал живым существам, постоянно повторяются и идут одним и тем же порядком безо всякого исключения: солнце однообразно всходит и заходит, тела падают на землю. Это колеблет его понятие о личном деятеле. Это совершенное однообразие действий редко отличается от того, что ему известно обо всех знакомых ему существах; оно вполне отличается даже от того понятия, какое он себе составил о существе. Через наблюдение над самыми обыденными феноменами из жизни природы опыт навязывает ему идею о постоянном ходе явлений — о том, что мы выражаем словом «закон». Мало-помалу понятие о безличных деятелях заменяет основное понятие о личных. Это преобразование в его мирозерцании ограничивается сначала взглядом на причины ежедневных

явлений, но со временем распространяется на все большее и большее число случаев. С увеличением населения возрастает число наблюдателей, а с тем вместе — и запас уясняющих фактов; тогда единообразный ход явлений, противоречащий понятию об особых деятелях, разъясняется далее. Область так называемого сверхъестественного шаг за шагом уступает место тому, что зовут естественным. Старая теория уничтожается, однако же лишь по отношению к тем явлениям, правильный ход которых достаточно доказан. Так, в Греции Фалес полагал, что существуют законы природы, но, несмотря на это, признавал, что магнит имеет душу. Во всех необыкновенных случаях, там, где связь между причиной и действием не сделалась общеизвестной, т.е. где обстоятельства не разубеждают в первоначальном убеждении насчет специальных деятелей, убеждение это сохраняется. После того, как обыкновенные явления давно уже приписываются *свойствам вещей* или, говоря другими словами, *безличным деятелям*, случается, что более выходящие из ряда объясняются по-прежнему: случилось затмение — солнце съедено драконом; землетрясение — Бог ворочается во сне; эпидемия приписывается волшебству; светящийся болотный газ считают «Вильямом с огнем»; несчастье на скотном дворе или в пивоварне приписывается злым шуткам домовых; существуют сказания о мостовых великанах и чертовых мостах. Там, где связь между причиной и следствием очень отдаленна и неясна, например, во всех том, что касается судьбы человека или известных телесных страданий и расположений, там склонность приписывать результат силе существ продолжает проявляться даже и тогда, когда наука сделала уже большие успехи. Таким образом, мы находим, что старинный фетишизм проявляется и в наши дни в уважении, которое оказывается изуродованным мелким деньгам, бородавкам, подвергавшимся наговорам, и предзнаменованиям.

Фетишизм продолжает существовать, как было уже сказано, в таких формах, где трудно и подозревать его существование. Множество весьма уважаемых общественных учреждений порождено было этой первобытной склонностью приписывать всякую причину специальному деятелю и неспособностью создавать себе идею силы, независимой от деятельности индивидуума. Само собой понятно, что происходящее в народной

жизни будет объясняться сообразно тому, насколько в среде этого народа приписывается естественным явлениям личное или безличное происхождение; и так как результаты нравственной жизни менее очевидны, чем результаты физической, то склонность видеть причины перемен в личных деятелях будет тут значительнее. Старинное убеждение, что король может устанавливать цену денег, крик «возвратите нам наши одиннадцать дней!», который слышался после перемены стиля — все это указывает на людей, неспособных приписывать перемены в общественных делах другим деятелям, кроме видимых и осязаемых. Для таких душ совершенно недоступна мысль, что существует всюду распространенное невидимое влияние, которое определяет условия купли и продажи граждан и сделок с иностранными купцами и устанавливает их самым выгодным для всех сторон образом; мысль эта им так же чужда, как первобытным грекам чужда была мысль о физической причинности¹. Первобытные греки полагали, что все процессы в природе совершаются по распоряжениям нескольких предназначенных для этого индивидуумов; точно так же и народ в средние века был убежден, что парламентские законы и деятельность правительств могут обеспечить правильное производство и распределение предметов потребления. Представление о том, что торговые отношения устанавливаются правильно через посредство естественной, неразрушимой силы, было недоступно его пониманию; в его голове постоянно гнездилась мысль, что торговля может правильно установиться лишь посредством силы, принадлежащей известному материальному учреждению, созданному законодателями, которого члены одеты в официальный мундир, возвеличены придворными льстецами и украшены «драгоценностями, состоящими из длинных пяти слов»².

Со сложными явлениями торговли случилось, однако же, то же самое, что и с более простыми явлениями жизни неорганической. Постоянство в их последовательном ходе разрушило постепенно учение о зависимости этих явлений от деятельности отдельных личностей. Неодолимая сила очевидности, наконец,

¹ См. Грот. История Греции.

² Метафора, выражающая отношение немецких чиновников к своим титулам.

установила веру в закон спроса и предложения точно так же, как тысячи лет тому назад она установила веру в закон тяготения. Развитие науки политической экономии есть новая победа веры в безличных деятелей над верой в личных. Ее следует рассматривать как звено в ряду перемен, начавшихся с первой победы философии естественных наук над предрассудком.

§ 4. По счастью, теперь уже не нужно подкреплять учение о свободной торговле соображениями здоровой политики. Со времени Солона люди постоянно пытались вводить улучшения в естественные законы торговли и, наконец, начали убеждаться, что такие покушения более чем бесполезны. Политическая экономия исполнила свое главное призвание: она показала нам, что в этом случае самое лучшее — предоставить дела их собственному течению. Такое убеждение еще более укрепилось в нас возрастающим чувством справедливости. Мы узнали по опыту, что из несправедливых постановлений может происходить одно только зло — закон, неизменность которого отцы наши испытывали во многих случаях, и самим нам придется испытать еще в очень и очень многих. Это был еще один урок, показавший нам всю необходимость уважать принципы отвлеченной справедливости. Если правильно смотреть на дело, то окажется, что лига против хлебных законов, с ее лекциями, газетами, чудовищными митингами и тоннами брошюр, учила народ правилу, которое и без того должно бы быть для него ясным, — правилу, что нарушение человеческих прав не может породить никакого добра. Чтобы мы хоть отчасти поняли это, нужен был для нас горький опыт и чудовищная масса толков и убеждений. Если мы еще себе не разъяснили, справедливо это или нет по отношению к другим предметам, по крайней мере, мы теперь вполне убеждены в справедливости сказанного правила по отношению к торговле. В этом случае мы наконец-таки заявили, что впредь будем следовать закону равной свободы.

XXIV | РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

§ 1. По принятому обычаю нам необходимо заняться здесь положением, которое читатель мог уже вывести сам из главы XXII, именно: правительство поступает несправедливо, употребляя часть своих доходов или часть народного имущества на распространение христианской ли, другой ли какой религии. Если, подобно нашему, правительство насильно отнимает у граждан деньги для того, чтобы поддерживать национальную церковь, то оно виновно в нарушении тех прав, которые обязано охранять; оно совершает преступление против свободы деятельности способностей, защита которой составляет его назначение. Выше было показано, что если правительство уменьшает свободу деятельности подданного более, чем это нужно для охранения остальных, то оно нападает, вместо того чтобы защищать. Государство такими мерами понуждает граждан отказываться от его помощи, если право такого отказа за ними признано (а рассматривая вопрос с отвлеченной точки зрения, это так и должно быть); оно без нужды стесняет свободу тех, которые от него не отказываются, и в том же самом размере нарушает свои обязанности. Если мы применим к этому случаю общие принципы, установленные выше, то найдем, что государство не может принимать на себя религиозную проповедь, не мешая прямо своим настоящим отправлениям и не уменьшая отчасти своей способности к их выполнению.

§ 2. Поведение английского духовенства представляет нам интересный пример того, каким образом люди, раз отказавшись с негодованием от известных убеждений, принимают их снова, только в слегка замаскированном виде. Учения римской церкви, против которых наше духовенство так яростно проповедует, защищаются им же в применении к своей собственной вере. Всякая Государственная церковь в существе своем — то же папство. У нас есть свой Ватикан — дом Св. Стефана*. Разница только в том, что наш первосвященник состоит из нескольких лиц. Наша тройная тиара разделена на части: одна приходится на долю

монарха, другая достается пэрам, а третья — палате общин*. Это, однако, не составляет резкого различия. По существу своему папством будет всякая претензия на непогрешимость. С точки зрения принципа все равно, заявлено ли такое притязание одним или несколькими людьми. Если удивительное требование: «вы должны верить тому, что мы признаем за истину, а не тому, что сами считаете правдой» исходит от парламентского большинства, то оно, без сомнения, менее оскорбительно, чем когда исходит от одного лица. Но все-таки возникает вопрос: по какому праву люди эти делают такое провозглашение? Откуда они взяли свою непогрешимость?

Нет надобности доказывать, что правительство, устанавливающее религию, изъявляет этим претензию на непогрешимость. Прежде чем будет установлена церковная организация, необходимо составить себе ясное понятие о том, к чему она должна привести. Прежде чем назначены будут для проповеди священники с жалованьем от государства, необходимо решить, что они будут проповедовать. Кто же должен решать в этом случае? Ясно, что государство. Оно должно само выработать веру; если же не само выработать, то назначить для этой цели одного или нескольких людей. Оно должно каким-нибудь путем открыть истину и отделить ее ото лжи; стало быть, оно не может избежать и сопряженной с этим ответственности. Если государство станет само устанавливать учение, которое должно преподаваться, государство за него отвечает. Если оно препоручит избрание учения другим, опять-таки ответственность не уменьшается, так как, во-первых, от негоизошло назначение тех, которые выбирают, и, во-вторых, оно одобрило их выбор. Сказать, что правительство должно установить и поддерживать систему религиозного воспитания, — это значит сказать, что из всех вероучений, которых придерживались и придерживаются люди, оно должно выбрать самое истинное. Оно должно решить, какая вера лучше — римско-католическая, греко-православная, лютеранская или сделать выбор между системой доктора Пюзея, высокой и евангелической церковью**;

оно должно определить, когда следует нас крестить: в детстве или в совершенном возрасте? На чьей стороне истина: на стороне тринитариев или унитариев?*** Как спасаются люди: верой или делами, попадут ли неверные в ад или нет? Должны ли священники проповедовать

в белой или черной одежде? Основана ли конфирмация на Евангелии или нет?* Следует ли праздновать дни святых или не следует? Возрождает ли крещение или не возрождает (еще недавно были мы свидетелями дебатов по этому вопросу)? Когда государство разрешит все эти вопросы, раздробившие человечество на бесчисленное множество сект, тогда оно должно объявить, что его решение непогрешимо, что оно не подлежит спору, что оно безапелляционно. Тут нет выбора. Если государство не поступит таким образом, то оно само себя осудит на нелепейшую несообразность. Только на основании предположения о непогрешимости государства его церковная деятельность будет казаться сколько-нибудь сносной. На каком же другом основании может оно взимать поборы и десятины с диссентера? Какой ответ может оно дать на его возражения? «Совершенно ли вы убеждены в истине вашего вероучения?» — спрашивает диссентер. — «Нет, — отвечает государство, — я не совершенно уверено, но почти уверено». — «Если так, то вы можете и ошибаться, не правда ли?» — «Могу». — «Может быть так же, что истина будет на моей стороне, не правда ли?» — «Дело возможное». — «Однако же вы грозите наказать меня за раскол! Вы захватываете мое имущество; вы заключите меня в тюрьму, если я стану сопротивляться; и все это для того, чтобы проповедовать доктрину, которая, по собственному вашему признанию, может быть ложна! Другими словами, для того, чтобы уничтожить проповедь учение, которое, по вашему же сознанию, может заключать в себе истину! Как вы это оправдываете?» Нет ответа. Итак, ясно, что если государство считает себя вправе вмешиваться в религиозную сферу, то оно может это сделать лишь под условием, что его учение вне области ошибок. Раз оно говорит таким образом, оно приравнивает себя ко всей дисциплине и к учению римско-католической церкви. Государство признает свою веру такой, что в ней сомневаться невозможно; оно считает себя призванным распространять эту веру и считает обязанностью употреблять для этого самые действительные меры; оно должно низвергнуть всех других, противных ему проповедников, потому что они узурпируют принадлежащее ему место и мешают принятию непогрешимого учения, оно должно употребить столько насилия, сколько для этого необходимо — следовательно, должно заключать в тюрьму, налагать

пени, а если нужно, то употреблять и более строгие наказания, дабы ложь была уничтожена, а истина восторжествовала. Оставаться на полпути невозможно. Раз на государстве лежит обязанности вести людей по пути к небесам — оно не может позволить, чтобы некоторые склонялись на другой путь. Очевидно, что оно совершит преступление, если не наложит небольшого наказания на земле и не отвратит через это от многих вечного осуждения в будущей жизни за ложную веру. Не подлежит сомнению: оно должно делать или все, или ничего. Если государство не имеет претензии на непогрешимость, то оно не может устанавливать национальной религии; а если, устанавливая государственную религию, государство таким образом заявит претензию на непогрешимость, то оно должно принуждать всех исповедовать эту религию. Итак, мы приходим к тому, что было сказано: всякая государственная религия по существу своему — то же папство.

§ 3. Между мыслящими людьми постепенно стало распространяться убеждение, что государственная церковь — не столько религиозное, сколько политическое учреждение. «Кто не видит, — спрашивает Локк, говоря о духовенстве, — что эти люди гораздо более служители правительства, чем служители Евангелия?» Вероятно, во времена Локка немного было людей, которые видели это; но теперь их много. Нельзя сказать, чтобы упомянутый факт вполне отрицался даже приверженцами государственных религиозных учреждений, и может случиться, что вы убедитесь в этом из послеобеденного признания какого-нибудь политика подобного рода. «Говоря между нами, — скажет он вам шепотом, — эти церкви и приходы, со всеми своими принадлежностями, созданы не для таких развитых людей, как мы с вами; мы видим дальше и можем обойтись без всего этого; но нечто в этом роде необходимо для поддержания порядка в народе»¹. Затем он начнет вам доказывать, до какой степени услуги религии составляют действительную узду, сколько они порождают подчинения и довольства, и насколько власть духовенства над прихожанами укрепляет руку светского правительства. До какой степени распространен подобный взгляд

¹ Все это было действительно сказано автору.

на вещи, можно видеть из действий и предложений наших государственных людей. Как иначе объяснить признанную готовность наших политических руководителей всех партий обеспечить римско-католическую церковь в Ирландии, только бы позволила им это английская религиозная публика? Какие другие цели, кроме политических, могут побуждать Ост-Индскую компанию, этого государственного наместника, давать джагернаутскому храму ежегодную субсидию в 23 000 рупий и возвращать эти деньги посредством сбора с пилигримов? Или что могло побудить цейлонское правительство сделаться охранителем зуба Будды и назначить буддийских священников?¹

§ 4. Что касается духовенства, которое отстаивает государственную церковь и доказывает, что она необходима для поддержания религии, то оно тем самым осуждает собственное свое дело, произносит приговор против собственной веры, как негодной, и обвиняет себя в лицемерии. Как они признают, что эта вера, которую они ценят так высоко, должна умереть естественной смертью, если им не будут платить за ее пропаганду?! Весь этот народ, о спасении которого они, по их словам, так заботятся, должен быть обречен на гибель, если будут уничтожены места приходских священников, каноников и епископов? Разве то апостольское вдохновение, которое, по их словам, унаследовано ими, принесло с собой так мало апостольской ревности, что, не будь обеспеченных приходов и десятин, не было бы и проповеди? Или те, которые объявляют при своем посвящении, что они чувствуют «внутреннее призвание от Святого Духа», теперь уже находят, что их внутренне призывает лишь звон золота? Если бы все это исходило не от них самих, они тотчас же, конечно, закричали бы о клевете! Что скажут они после этого о своей пастве? Разве она так мало заботится о вере, которой ее обучали, что ей не может быть вверено поддержание этой веры? Неужели христианство, пользовавшееся в течение столетий церковным уходом, так неглубоко пустило корни в сердца людей, что должно увянуть и погибнуть без орошений со стороны правительства? Неужели мы должны думать, что эти постоянные

¹ См. письмо сэра Коллина Кэмбела к лорду Станлею от 2 мая 1845 года.

молитвы и совершения таинств, поучения и увещания, посещения с религиозной целью и чтения Евангелия не произвели даже настолько энтузиазма, что они могут держаться сами собой? Неужели результат десяти тысяч проповедей в неделю так ничтожен, что слушатели не согласятся дать деньги, необходимые для поддержания священства? Господи Боже мой, да если все это действительно так, то на что же годна религиозная система подобного рода? Ее адвокаты такого сорта, что им стоит только раскрыть свои документы, чтобы показать несостоятельность собственного дела. Они своим поведением доказывают или бессилие проповедуемой веры, или негодность своих проповедей! Итог и сущность их просьбы о государственной пропаганде вероучения заключается в признании, что этому последнему не удалось одушевить священство своим духом самопожертвования, что ему не удалось забросить в душу этих ханжей хоть искру собственного внутреннего величия и благородства!

§ 5. Излишне далее распространяться об этом вопросе в настоящем, милостью Божией, тысяча восемьсот пятидесятом году, с его горгамскими религиозными спорами, пюзеитскими отщепенцами, римско-католическими и рационалистскими расколами, неурядицей внутри церкви и враждебными ассоциациями извне. Происшествия убедили большинство мыслящих людей, они убедили даже многих из числа духовенства, что государственная поддержка для какого бы то ни было вероучения есть зло и что в Англии, по крайней мере, она в скором времени прекратится. Для убеждения тех, кто не видит этого, существуют целые тома, наполненные фактами, и совершенно излишне прибавлять к ним что-нибудь. Для нашей цели совершенно достаточно подкрепить выведенные раньше отвлеченные положения заключениями, к которым мы пришли в настоящей главе: государство не может установить религии, не претендуя на непогрешимость, и что тот, кто признает такое учреждение необходимым для какой бы то ни было религии, осуждает эту последнюю.

XXV | ЗАКОНЫ О БЕДНЫХ

§ 1. Если государство принимает на себя обязанности всеобщего обеспечения бедных, то оно точно так же, как и при всякой другой посторонней деятельности, неизбежно нарушает принцип, по которому роль его ограничивается в пределах справедливости исключительно защитой. Если государство требует от гражданина известного взноса для вспомоществования бедным — взноса, не нужного для защиты человеческих прав, то оно, как мы уже видели, действует противно своему истинному отправлению и уменьшает свободу деятельности способностей, которую должно защищать. Может быть, найдутся люди, которые, не обращая внимания на изложенные выше объяснения, станут утверждать, что правительство, удовлетворяя потребностям бедного, расширяет свободу деятельности его способностей, так как дает ему то, без чего деятельность этих способностей невозможна; что, таким образом, если при этом сфера деятельности платящих сборы и уменьшается, зато вместе с этим увеличиваются пределы деятельности тех, между которыми сборы распределяются. Подобное воззрение на дело заключает в себе смешение двух совершенно различных вещей. Специальное назначение гражданской власти заключается в том, чтобы вынудить выполнение основного закона. Она должна заботиться, чтобы каждый человек мог делать все, что хочет, пока не нарушает равной свободы других. Обеспечить за каждым человеком право беспрепятственно преследовать в определенных пределах предметы своих желаний — вовсе не значит обеспечить для него удовлетворение. Из двух личностей одна может пользоваться с успехом своей свободой деятельности, может найти то удовлетворение, которое отыскивала, может накопить ценности, равняющиеся многим удовлетворениям, т.е. собственность; в то же время другая, несмотря на равные преимущества, может вовсе не достигнуть своих целей. Результаты эти нисколько не касаются государства. Все его призвание заключается в наблюдении за тем, чтобы каждому гражданину было предоставлено пользование для своего удовлетворения всеми силами и случаями, какими он может обладать. Если государство берет у благоденствующего для того, чтобы давать неимущему,

то оно нарушает свою обязанность по отношению к одному и делает более, чем следует, относительно другого. Оно, как уже выражено было в другом месте (гл. XXII, § 1), разрушает жизненный закон общества и производит то, что не вызывается жизненной его силой.

§ 2. Взгляд, популяризированный Коббетом, что всякий имеет право на необходимые средства для существования, получаемые от земли, ставит в ложное положение тех, которые его разделяют. Стоит попросить их объяснить подробнее, и они сядут на мель. Согласитесь с их принципом, скажите им, что вы признаете правильность их основания, и затем задайте им вопрос, разрешение которого неизбежно прежде, чем их претензия может быть удовлетворена, потребуйте от них точного определения этой претензии; спросите, что такое необходимые средства для существования? Они ничего не смогут ответить. Они должны молчать. «Что же это, — продолжаете вы, — картофель да соль, с рубищами и грязной лачугой? Или это хлеб со свиным салом и изба из двух комнат? Достаточно ли куска мяса по воскресеньям? Или нужно каждый день мясо и пиво? Требуется ли чай, кофе и табак? И если требуется, то в каком количестве? Достаточно ли голых стен и каменного пола? Или необходимы ковер и бумажные обои? Существенно ли необходимы башмаки? Или можно одобрить шотландское обыкновение? Следует ли платью делать из бумагеи? Если нет, то какого достоинства должно быть сукно?» Словом, укажите точно, что такое значит необходимое содержание, и какое место оно занимает между двумя крайностями — нищетой и роскошью? Они опять-таки должны молчать. Вы убеждаете, объясняете, что ничего не может быть сделано прежде, чем получится удовлетворительный ответ на вопрос. Вы доказываете, что претензия должна получить определенную понятную форму прежде, чем можно приступить к ее выполнению. «Каким же образом, — спрашиваете вы, — узнаем мы, достаточно ли назначено или слишком много?» Опять молчание. Ответ действительно невозможен. Мнений можно представить сколько угодно, но ни одного точного, единодушного ответа. Один полагает, что все, что можно требовать по справедливости — это обеспечение одного существования. Другой желает

несколько более крайне необходимого. Третий утверждает, что нужно доставлять и какие-нибудь радости в жизни. Некоторые из самых последовательных доводят учение до его законных результатов и удовлетворяются лишь общей собственностью. Кто решит между этими противоположными взглядами? Или, лучше сказать, как согласить тех, кем они высказываются? Может ли кто-нибудь из них доказать, что его определение основательно, а мнение других ложно? Он должен, однако же, это сделать, если хочет доставить торжество своему взгляду. Прежде чем наш мыслитель предъявит в верховном суде нравственности иск против общества, он должен изложить во всех подробностях свою просьбу. Сделает он это — он имеет право требовать, чтобы его выслушали. Если он этого не сделает, он, очевидно, должен получить отказ.

То же самое можно сказать и о праве на работу — этом французском переводе учения, положенного в основу наших законов о бедных. Критика, подобная вышеизложенной, поставила бы его защитников в такое же затруднение. Есть еще путь, которым можно доказать несостоятельность сказанных учений, как в том виде, который они приняли в Англии, так и в том, какой они имеют на материке. Этот прием можно здесь употребить с успехом.

Сначала нам следует точно определить смысл выражения «право на работу». Если мы хотим избежать двусмысленности, то нужно выразиться точно — «право на получение работы»; тут требуется не свобода труда — об этом никто не спорит, здесь требуется случай работать, требуется, чтобы для человека постоянно имелось занятие с вознаграждением. Мы не будем распространяться о том, что слово «право» употреблено здесь в совершенно ином смысле, чем тот, какой ему придается обыкновенно. Словом, этим не обозначается здесь чего-либо присущего человеку, им обозначают явление, зависящее от внешних обстоятельств. Им не обозначается чего-либо, чем лицо владеет в силу своих способностей, но нечто вытекающее из его отношений к другим. Тут правом называется не то, что верно по отношению к человеку как к отдельной личности, а то, что может быть верно по отношению к нему лишь в качестве члена общества. Этим именем обозначается здесь не такое явление, которое предшествует обществу, но такое, которое является

неизбежно против него; им не выражается претензия на свободу известного собственного действия, но претензия на чужое действие в пользу другого человека. Все это, однако, не должно нас задерживать; мы примем это выражение так, как оно употреблено, и посмотрим, что из этого выйдет, если мы доведем доктрину до крайних пределов. Если ремесленник заявляет притязание на то, чтобы его снабжали работой, то он предполагает, что существует известная власть, на которой лежит обязанность снабжать его делом. Что же это за власть? Он отвечает, что власть эта — правительство. Но ведь правительство не есть власть основная, это — власть, полученная по доверенности, следовательно, такая, которая исполняет только поручение своего доверителя; она должна действовать в том направлении, какое ей будет указано доверителем приказаний. Кто же этот доверитель? Общество. Итак, выражаясь точно, мы должны сказать, что наш ремесленник считает общество обязанным искать ему работу. Но он сам — член общества; он, следовательно, часть того тела, которое, по его выражению, должно отыскивать для всех работу. Итак, он имеет свою долю в обязанности отыскания работы для каждого. В то время как все люди обязаны отыскивать работу для него, на нем лежит обязанность помогать в отыскании работы для всех. Если мы назовем его сограждан буквами алфавита, то его теория будет заключаться в следующем: А, Б, В, Г и прочие члены нации обязаны давать ему работу; он вместе с Б, В, Г обязан давать работу А; вместе с А, В, Г и прочими он обязан давать работу Б; вместе с А, Б, Г и прочими он обязан давать работу В; вместе с А, Б, В и прочими он обязан давать работу Г; и так далее, можно перечислить все десять или двадцать миллионов, из которых состоит общество.

Из вышеизложенного мы видим, как легко отличать воображаемые права от действительных. Их нет надобности опровергать — они сами себя опровергают. Иллюзии разбиваются, если их подвергнуть испытанию посредством точного определения. Подобно мыльному пузырю, их пленительный блеск скоро течет и исчезает в руках того, кто захочет их схватить.

Нам, однако же, не следует упускать из вида, что если все эти теории законов для бедных и коммунистические учения, все эти мнения о правах человека на необходимое обеспечение и

на работу сами по себе и ложны, то, тем не менее, они весьма родственны истине. Все эти попытки суть не что иное, как безуспешное усилие выразить право на землю, присущее каждому родившемуся на нашей планете: его нельзя отправить без дальних хлопот обратно на тот свет; те, кто владеет благами земли, не могут игнорировать его пребывание в нашей среде. Другими словами, упомянутые теории суть попытки дать выражение мысли, заключающейся в законе: все люди имеют равное право на пользование землей (глава IX). Немудрено, если эта идея приняла такой грубый вид. Неизбежно должно было родиться неопределенное понятие о том, что есть нечто дурное в современных отношениях массы человечества и что это дурное касается взглядов на землю и жизнь. Когда люди оградили себя от наибольшей из несправедливостей — от рабства, тогда они со временем должны были непременно почувствовать чудовищность явления, вследствие которого из десяти человек девять могли существовать на земле только потому, что их тут терпели остальные, они не имели бы даже такого пространства, где бы могли стать, раз им не дозволили бы этого те, которые присвоили себе исключительное владение земной поверхностью (гл. IX, § 2). Все эти люди были лишены права на приобретение необходимых средств для своего существования; им отказали в пользовании теми созданными природой источниками, из которых можно почерпнуть необходимое для жизни; мало этого, они даже лишены права выменивать свой труд на предметы первой необходимости без дозволения своих более счастливых соседей. Неужели это справедливо? Неужели можно почитать нормальным порядок, при котором большинство не имеет никакого права на существование, кроме того, какое зависит от доброй воли и удобств меньшинства? Неужели можно согласиться с тем, что все эти бездомные «люди не должны были являться на свет, где все места уже заняты?» Наверное, нет. А если нет, то в каком же положении окажется дело? В ответ на все эти вопросы, навязывавшиеся людям в более или менее определенной форме, явились, между прочим, учения о праве на необходимое содержание и о праве на работу. Если мы должны отвергнуть их за несостоятельность, все же нам придется признать в них не достигнувшее своей цели усилие нравственного чувства выразить требование естественной справедливости.

§ 3. Многие полагают, что закон о бедных достаточно оправдывается тем злом, которое сделано было народу, когда у него насильно отобрали его прирожденные права на землю. Люди, держащиеся такого взгляда, находят, что это учреждение, предназначенное для раздачи вознаграждения — определение, весьма благовидное для подобной доктрины. Но если его рассматривать как аргумент в пользу национальной организации для вспомоществования бедным, то оно не выдержит критики. Против него можно возразить, что политика, которая старается противодействовать одной несправедливости, причиняя другую, и которая увековечивает эти взаимные несправедливости, не зная, уравнивают ли они друг друга или нет, что такая политика, по меньшей мере, крайне сомнительна. Это возражение имело бы значение даже и тогда, если бы нельзя было привести лучший оснований. Зачем возводить в систему болезненное состояние? Рано или поздно нужно будет изменить положение дел, при котором большинство личностей, составляющих политическое тело, не имеют прямого доступа к источникам жизни. Конечно, для людей будет трудно установить нормальные условия. Нельзя даже определить, сколько пройдет поколений, прежде чем задача эта будет разрешена. Но когда-нибудь она разрешится непременно. Между тем исправление зла, причиненного современным несправедливым отношением человечества к земле, отдалается всяким учреждением, которое скрывает его недостатки. «Великодушный закон о бедных» предлагается открыто в виде лучшего средства для успокоения раздраженного народа. Рабочие дома призрения употребляются для смягчения самых резких симптомов общественных болезней. Приходскими сборами покупается молчание. Человек, желающий радикального излечения народных болезней, и в особенности устранения атрофии одного класса и гипертрофии другого вследствие неправильных отношений к земле, поступит непоследовательно, если станет защищать компромисс такого бы то ни было рода.

Притом же закон о бедных вовсе не заключает в себе орудия для распределения вознаграждения. Вспомоществование бедным не составляет такого назначения ни в отношении к тем, которые платят, ни в отношении к тем, которые получают. Имей подать для бедных сказанный характер вознаграждения, она

должна была бы падать целиком на землю; однако же на самом деле это не так. Кроме того, та часть, которая падает на землю, должна бы взыскиваться исключительно с узурпаторов и их потомков. Но и это действительно иначе. Согласно гипотезе, тягость не должна бы падать на невинных. Между тем она падает: подать для бедных оплачивается поземельной собственностью, которая уже несколько раз перешла из рук в руки посредством купли. При сказанном характере тягость не должна бы падать на тех, которые сами были обобраны. Однако же она падает: большинство плательщиков этой подати не принадлежат к поземельным владельцам. Но по смыслу гипотезы все те, которые устранены были от наследия в дарах природы, должны бы получить часть в этом так называемом вознаграждении. Но и этого на самом деле нет: лишь там и сям кое-кто получает его. Система эта, следовательно, не выполняется ни в каком отношении. Она не достигает первоначальных нарушителей. Вместо них облагаются сборами невинные. Снова обирается значительная часть тех, у которых права были уже обобраны. Затем лишь немногим из остальных перепадает кое-что из собранного.

§ 4. Обыкновенно закон о бедных защищается на том основании, что он необходим для смягчения народных страданий. Немудрено, если такого рода причины приводятся человеком, принадлежащим к господствующей церкви; но если на них ссылается диссентер, как это часто бывает, то нельзя не увидеть в этом странной непоследовательности. Множество возражений, делаемых диссентерами против господствующей веры, одинаково применимы и к господствующей благотворительности. Диссентер утверждает, что несправедливо облагать его сбором для поддержания религии, догматов которой он не признает. Но разве нельзя на том же основании протестовать против сбора, назначенного для применения системы вспомоществования бедным, которую плательщик порицает? Он не признает за епископом и духовенством права указывать ему в делах религии, что он должен принять и что отвергнуть. Почему же он не оспаривает права какой-нибудь комиссии или приходского совета выбирать за него достойных благотворительности и отвергать тех, которые будто бы недостойны? Если он отступает от государственной церкви на том основании, что при добровольной

и естественной поддержке религия приобретает более всеобщее значение и преданность ей является более искренней, то не следует ли ему отказаться также и от закона для бедных, потому что добровольная благотворительность должна произвести более обширные и более удовлетворительные результаты? Если он находит, что государство, которое проповедует какую-либо веру, вносит этим в ее среду растление и уничтожает ее естественное влияние, то не должен ли он сказать то же самое о зле пауперизма, которым сопровождается государственное вспомоществование бедным? Его неконформизм в делах *веры* не должен ли сопровождаться неконформизмом в *добрых делах*? Его современные мнения так между собой несообразны, что согласить их нет никакой возможности. Он сопротивляется всякому покушению вмешаться в его *выбор* по отношению к религии, но подчиняется деспотическим предписаниям касательно применения религиозных требований в жизни. Он отвергает право законодательства объяснять теорию, но находит необходимым, чтобы оно руководило им в *практике*. Согласование таких положений невозможно себе представить. Тот, кто убежден, что духовным недостаткам можно помочь лишь посредством государственной церкви, тот имеет еще как будто основание предполагать, что посредством такого же учреждения можно помочь и нуждам телесным. Но человек, защищающий свободу выбора, должен уж оставаться при этом принципе во всех случаях.

§ 5. Должны ли страдания несчастного получать облегчение вследствие возвышенных внушений благотворительности или вследствие страха, внушаемого строгими предписаниями закона? Это вопрос вовсе не маловажный. При разрешении задачи, которым из этих путей бедность может получить более облегчения, мы должны принять в соображение не только возможный результат для страдальца, но и влияние, которое это дело имеет на помогающего. При настоящем состоянии общества отношение между благодетелем и облагодетельствованным есть отношение, возвышающее душу. Благотворительность по своей природе существенно способствует цивилизации; она до известной степени укрощает дикие наклонности, которые еще остались в нас, противодействует холодному и жесткому состоянию чувств, какое порождается деловой жизнью; она

крепче затягивает цепи взаимной зависимости, сдерживающие людей. Ощущение, сопровождающее всякий благородный поступок, прибавляет лишний атом к созданию души идеального человека. Каждая жестокость непременно изменит свойства человека таким образом, что она оттянет его вниз и приблизит к варварству; точно так же каждый хороший поступок неизбежно изменит свойства человека к лучшему и подвинет его к совершенству. Следовательно, всякое облегчение бедности, совершенное путем симпатии, вдвойне действительно. Оно не только устраняет зло, требующее помощи, но, кроме того, еще помогает человечеству принимать формы, при которых зло это когда-нибудь устранился.

Системы, вынуждающие помочь бедным путем закона, производят совершенно иное влияние: их результаты прямо противоположны. «Милосердие и благодать души не создаются принуждением, — говорит поэт. — Они падают, как благодетельный дождь с неба. Они приносят благословение и тому, кто дает, и тому, кто получает». Закон же о бедных пытается сделать людей милосердными насильно: у сопротивляющегося он вымогает и заставляет и благотворимого, и благотворителя равно проклинать такое благотворение; проклятия одного оттенены недовольством и беспечностью, проклятия другого — жалобами и часто возвращающейся горечью.

Самый беспечный наблюдатель должен был заметить это превращение бальзама в яд. Посмотрите на плательщика, когда ему докладывают о появлении сборщика податей. В его глазах вы не увидите выражения милосердия, порожденного мыслью, что дело идет о внесении счастья в жизнь страждущего; нет улыбки, которая бы показывала, что все эгоистические заботы забыты на мгновение, нет мягкости в голосе, признака взволнованного чувства сострадания, нет ничего подобного. Мы скорее встретим омраченное лицо, нахмуренные брови, мгновенное исчезновение обычного мягкого выражения. Податной лист просматривается отчасти со страхом, отчасти с досадой; слышится ропот насчет того, что так скоро после последней уплаты опять приходят за деньгами, кошелек вытаскивается из кармана медленно, каждая монета передается с неудовольствием, со сборщиком обращаются с сухой вежливостью, и когда он уйдет, то нужно некоторое время прежде, чем к плательщику

возвратится обычное хладнокровие. Может ли во всем этом что-нибудь напомнить добродетель, «вдвойне благословенную»? Обратите еще внимание на то, как эта благотворительность, созданная парламентским актом, стесняет лучшие чувства людей. Перед нами почтенный и достаточный гражданин, человек, не лишенный чувства, щедрый, где это нужно, даже великодушный, когда его сострадание возбуждено. Вообразите, что в его дверь стучится нищий или во время прогулки к нему обращается истомленный бродяга. Что он сделает? Выслушает ли он, разузнает и поможет там, где нужна помощь? Нет, он в большинстве случаев обрежет просителя на первом же слове: «Я ничего не могу вам дать, вы должны обратиться в ваш приход». Он совершенно равнодушно захлопнет дверь или уйдет прочь. Если затем он вспомнит, что во взгляде просителя было нечто грустное, то эта беспокойная мысль устраняется размышлением, что пока есть закон о бедных, этот человек не может умереть с голоду и что будет еще время рассмотреть его просьбу, когда он обратится за вспомоществованием. Таким образом сознание, что существуют законные меры для обеспечения бедного, действует на чувства симпатии как усыпительное средство. Если бы не существовало такого удобного извинения, то, вероятно, поведение гражданина было бы иное. Вероятно, взяло бы верх сострадание или, по крайней мере, заставило бы обратить внимание на встретившийся случай. Страждущему не пришлось бы обратиться в присутствие, где раздаются деньги для бедных: он не получил бы подачки, выданной холодно из кассы и принятой без благодарности; начались бы отношения, полезные для обеих сторон. Великодушие возвысило бы душу одного, а для другого цена помощи удвоилась бы словами утешения и одобрения; она кончилась бы, может быть, тем, что несчастный был бы поставлен в положение, при котором он может обеспечивать себя сам.

Едва ли можно найти более действительное средство для отдаления друг от друга и уменьшения их взаимного сочувствия, чем эта система государственной милостыни. Быть благотворителем через посредство другого? Может ли быть что-нибудь вредное для лучших человеческих инстинктов? Это учреждение, где посредством нескольких периодически уплачиваемых шиллингов гражданин может отделаться от всех своих

обязанностей по отношению к благотворительности, требуемой от него в пользу братьев. Быть может, его мучает совесть? Так вот его успокоительное: его можно купить, заплатив столько-то с фунта своего дохода. Если наш гражданин равнодушен к благосостоянию других, то его бездушные простятся ему за аккуратный платеж сборов. Смотрите, что, в сущности, гласит объявление этой системы: «Самый деловой и дешевый способ для джентльменов — оказывать благотворительность. Милостыня раздается патентованным учреждением, предназначенным для того, чтобы благодетели не могли замарать пальцы и избавились от всего неприятного для их обоняния. Добрые дела исполняются по контракту. Вернейшее средство против упреков совести — средство, которое можно иметь всегда под руками. Нежные чувства избавляют за ежегодную плату от чересчур утомительного упражнения».

Вместо нежных, возвышенных и симпатичных отношений, какие должны бы существовать между богатым и бедным, является холодный, безжизненный механизм, связанный регламентами и сухими, писанными на пергаменте актами. Дело ведется членами комиссий и присутственных мест, канцеляристами и сборщиками, которые выполняют свои обязанности как ремесло. Оно приводится в движение посредством денег, взятых силой у всех классов общества без различия. Вместо сладкого, гармонического голоса чувств, возбужденных благотворными делами, мы слышим резкий нестройный крик, исходящий из среды, которая может производить только фальшивые звуки; каждое действие, выходящее из этого источника, начиная сбором денег и кончая их распределением, производит ропот, неудовольствие и озлобление. Это — источник, порождающий ссоры из-за власти, споры о правах, мрачные взгляды, зависть, тягбы, подкупы, мошенничество, ложь, неблагодарность. Это — средство, заменяющее и, следовательно, усыпляющее благородные свойства человеческой души и поощряющее низкие.

Вот еще пример, который показывает нам, каким образом в каждом отдельном случае подтверждается истина, выраженная выше в общей форме: как скоро правительство переступает за пределы своей обязанности охранения прав людей, оно непременно замедляет процесс приспособления. В самом деле, деятельность какой способности заменяется законом о бедных?

Деятельность симпатии, т.е. именно той способности, которую нужно упражнять более всех других, которая отличает цивилизованного человека от дикого, которая порождает идею справедливости, заставляет людей относиться с вниманием к взаимным своим претензиям, словом, делает общество возможным. Цивилизация есть история возрастания этой способности; будущие улучшения в состоянии людей более всего зависят от увеличения ее силы; ее окончательное преобладание обеспечит человеческую нравственность, свободу и счастье. Закон о бедных отчасти заменяет эту способность. Своей деятельностью он уменьшает обращенные к ней требования, ограничивает ее проявления, препятствует ее развитию и таким образом замедляет процесс приспособления.

§ 6. Мы видим, что во всей природе существует строгая дисциплина, которая хотя несколько жестока, но весьма благодетельна. Состояние всеобщего взаимного преследования, которое мы встречаем среди низших пород создания, сбивает с толку многих достойных людей. Однако же это, в сущности, самая милосердная комбинация, какая только была возможна при данных обстоятельствах. Гораздо же лучше, чтобы жвачное было убито каким-нибудь хищным, когда от лет лишается сил и когда его жизнь перестает быть удовольствием, чем чтобы оно вело существование тягостное по причине слабостей и болезней и умерло бы от голода. Уничтожением всех таких особей не только прекращается существование прежде, чем оно делается отяготительным, но еще дается простор молодому поколению, способному к полной жизни. Таким образом порока хищных способствует счастью посредством замены одних особей другими. Кроме того, хищные не только похищают из стад травоядных особей, переживших лучшую пору своей жизни, но истребляют также болезненных уродов и тех, которые менее других отличаются быстротой и силой. Посредством такого очистительного процесса и посредством боя, встречающегося всюду между животными в период течки, предупреждается всякое ухудшение расы, всякое размножение плохих особей и обеспечивается телосложение, вполне приспособленное к окружающим обстоятельствам и обуславливающее наибольшее счастье.

Развитие высших ступеней творения представляет прогрессивное движение по направлению к такому порядку вещей, при котором счастье было бы возможно без уменьшения его вышеупомянутыми ретроградными явлениями. Задача эта должна получить свое окончательное выполнение в природе человеческой. Цивилизация есть последняя ступень усовершенствования этой породы. Идеальный человек есть существо, в котором выполнены все условия совершенства. Пока мы не дошли до этого положения, благосостояние существующего человечества и достижение крайнего предела совершенства обеспечивается той же самой благодетельной, но строгой дисциплиной, которой подчинен весь одушевленный мир. Дисциплина эта была безжалостна при выполнении своего доброго дела: это закон преследования счастья, который никогда не отступает от своего пути, чтобы избежать частного и временного страдания. Бедность неспособного, несчастье, постигающее неблагодарного, нищенское положение ленивого, отсечение в сторону слабого сильным, ввергающее стольких людей в бедственное и безвыходное положение, — все это заранее предопределенное поле благотворительности, одаренной широким взглядом и далекой проницательностью. По-видимому, жестоко, если ремесленник должен терпеть голод по причине неловкости, которую он не может одолеть, несмотря на все усилия; жестокий жребий выпадает на долю работника, которого болезнь сделала неспособным конкурировать с его более сильным согражданином и который должен переносить вытекающие отсюда лишения; по-видимому, несправедливо, что вдовы и сироты должны вести борьбу за жизнь и смерть. Но если мы будем рассматривать эти случаи не отдельно, а в связи с интересами всего человечества, то эта жестокая судьба окажется преисполненной великой благодати; это та же самая благодать, которая готовит преждевременную могилу детям больных родителей и делает жертвами эпидемий слабоумных, невожатых и ослабленных.

Есть много хороших людей — людей, чувства которых могут доставлять нам истинное удовольствие, но которым недостает нервной силы, чтобы открыто посмотреть в глаза этому делу. Симпатии к современным им страданиям делают их неспособными правильно оценивать окончательные результаты:

подчиняясь непосредственным впечатлениям, они действуют весьма нерассудительно и, наконец, даже жестоко. Мы не сочувствуем нежности матери, которая закармливает своего ребенка лакомствами и, наверное, доведет до того, что он заболит. Что могло бы быть нелепее милосердия медика, который дал бы развиться болезни в своем пациенте до рокового исхода только потому, что не хотел причинить ему страданий посредством операции? Филантропия, которая предупреждает бедствия в настоящем и тем причиняет большие несчастья будущим поколениям, не менее ложна. Все защитники закона о бедных должны быть причислены к этого рода людям. Горькая нужда есть самый сильный стимул для ленивого, самая могучая узда для безрассудного; и этого-то стимула друзья бедных хотят лишить нищую братию потому только, что он там и сям порождает жалобы. Они слепы к тому факту, что по естественному ходу вещей общество постоянно извергает нездоровых, тупоумных, ленивых, бесхарактерных и бесчестных членов. Эти немыслящие, хотя и благонамеренные люди защищают вмешательство, которое не только мешает очистительному процессу, но еще увеличивает вырождение расы. Они абсолютно поощряют размножение легкомысленных и неспособных людей, предлагая им неперемное обеспечение; они мешают размножению способных и предусмотрительных, увеличивая затруднения при содержании семейства. Заботясь о предупреждении в сущности полезных страданий, какими мы окружены, они оставляют попомству постоянно возрастающее бедствие.

Если мы возвратимся к высшей точке зрения, то найдем, что милостыня, вынужденная законом, мешает процессу приспособления еще другим и несравненно более вредным путем. Чтобы приспособиться к общественной жизни, человек не только должен сбросить с себя дикость, но он должен приобрести способности, необходимые для цивилизованной жизни. Прилежание должно быть развито, в умственных силах должны произойти те видоизменения, какие сделают их годными для нового их назначения; но прежде всего должна быть приобретена способность жертвовать незначительным немедленным благом для большего в будущем. Переходное состояние неизбежно должно быть состоянием несчастных. Бедствия должны неизбежно проистекать от несообразности между устройством человека и

условиями его жизни. Все зло, от которого мы страдаем и которое непосвященному кажется очевидным последствием той или другой причины, есть не что иное, как неизбежный спутник совершающегося теперь процесса приспособления. Человечество втискивается в неизбежные условия своего нового положения, из него выделяются соответствующие этому положению формы, а проистекающие отсюда несчастья оно должно переносить как умеет. Процесс *должен* совершиться, и страдания неизбежно *следует* перенести. Никакая сила на земле, никакой закон, как бы ловко он ни был придуман государственными людьми, никакой всеизлечивающий коммунистический рецепт, ни одна из реформ, какие когда-либо были и будут предприняты, — ничто не уменьшит этих страданий ни на йоту. Они могут быть усилены и часто действительно усиливаются. Предупреждая такое усиление, филантроп имеет перед собой обширное поле деятельности. С подобной переменной сопряжен нормальный размер страданий, который ни в каком случае не может быть уменьшен без изменения самого закона жизни. Всякая попытка его смягчить приведет еще к большему отягощению. Закон о бедных или иное благотворительное учреждение могут лишь отчасти и на время приостановить переходное состояние. Они могут избавить некоторых членов общества от тягостных страданий, сопряженных с преобразованием. В самом счастливом случае эти меры отсрочат страдание, которое все-таки придется перенести. Чаще же всего выходит гораздо хуже: тут разрушается то, что уже было сделано. Нельзя вступить в естественный ход приспособления без того, чтобы не сделать шага назад. Каждый раз непременно произойдет в некотором размере утрата уже происшедшего приспособления; а между тем рано или поздно все-таки придется пройти весь процесс. После каждого шага назад нужно будет приобретать утраченное и снова переносить сопряженное с этим страдание. Таким образом, закон о бедных не только замедляет приспособление, но необходимо увеличивает сопряженные с ним страдания.

С первого взгляда приведенные выше соображения кажутся одинаково применимыми ко всякого рода помощи, оказанной бедному, т.е. как к добровольной, так и к принудительной. Совершенно справедливо, что ими порицается всякая частная благотворительность, которая дает облагодетельствованным

возможность уклониться от неизбежных условий нашего общественного состояния. Против этого ни один благоразумный человек не будет спорить. Всякий должен порицать то беспечное разбрасывание денег, которое довело до совершенства организованную систему нищенства. Этот образ действий создал то положение, при котором ловкое выпрашивание сделалось более выгодным, чем обыкновенная ручная работа; он породил подражание параличу, эпилепсии, холере и бесконечному множеству болезней и уродств; он стал причиной, что устроены особые лавки для продажи и отдачи на подержание различных одежд, приспособленных к обману, и что установилась базарная цена в 9 пенсов за день на детей, возбуждающих жалость. Вышеизложенные соображения относятся исключительно к этой легкомысленной благотворительности. Но они отнюдь не возражают против благотворительности, которая помогает людям стать на свои собственные ноги; они скорее ее поощряют. Помощь, дающая людям возможность самостоятельно обеспечивать себя, представляет обильное поле для проявления человеческих симпатий. Различные случайности дают достаточно жертв для законной деятельности великодушия. Всем павшим по непредвиденным обстоятельствам, всем потерпевшим неудачу по недостатку недоступных для них знаний, разоренным бесчестностью других, страдающим от давно питаемых и неосуществившихся надежд, — всем подобным людям может быть оказана помощь без вреда для какой бы то ни было из сторон. Можно дать случай поправиться даже расточителям, в памяти которых запечатлелись тяжкие перенесенные ими страдания, убедившие их в неизбежности условий жизни, каким они должны подчиниться. Даже и этого рода улучшения человеческих состояний должны до некоторой степени мешать приспособлению; но в большинстве случаев они подвигают дело в одном направлении более, чем замедляют его в другом.

§ 7. Итак, против закона о бедных можно возражать даже тогда, когда он выполняет свое назначение, т.е. уменьшает современные страдания. Но как же смотреть на него, когда мы найдем, что в действительности он ничего подобного не делает, даже не может делать? Это мнение, пожалуй, покажется парадоксальным, но оно заключает в себе несомненную истину. Чтобы

убедиться в этом, наблюдатель должен перестать сосредоточивать свое внимание на одной стороне явления — на пауперизме и на оказанном ему вспомоществовании; он должен обратиться к другой — к сборам и к тем лицам, которые в окончательном результате от них страдают. Тогда он найдет, что всякое предположение, будто бедствия уменьшаются благотворительностью, узаконенной парламентом — иллюзия. Это делается очевидным, если мы объясним влияние сказанного закона на отношение между трудом и его результатами.

В определенное время в руках и в распоряжении средних и высших классов находится известное количество предметов необходимого потребления и предметов, которые можно выменять на это необходимое. Необходимые предметы нужны в известном размере для самих этих классов; они и потребляются ими в этом количестве — вполне или только приблизительно, не обращая внимания на то, будет ли производство достаточно или недостаточно. Всякое изменение в количестве необходимых предметов и равных им ценностей должно, следовательно, касаться остальной части, т.е. той, которая не потребляется этими классами для поддержания личного своего существования. Эта остальная часть продуктов раздается ими народу в вознаграждение за работу этого последнего; работа отчасти употребляется для произведения нового запаса необходимых предметов, а отчасти — для изготовления предметов роскоши. Чем меньше, следовательно, будет этих распределяемых в среде народа необходимых предметов, тем больше будет в нем недостаток. Ясно, что при таком положении новое распределение этих продуктов посредством законодательной власти не может сделать достаточным то, что было прежде недостаточно. Власть может только заменить одних нуждающихся другими. Если она достаточно снабдит тех, у которых было мало, то неизбежно должна создать на место этих других нуждающихся. В том же самом размере, в котором закон о бедных смягчает нужду в одном месте, он неизбежно производит ее в другом.

Если для кого-нибудь такое отвлеченное рассуждение неубедительно, то, может быть, сомнения будут устранены более наглядным изложением. Сборщик подати для бедных берет у гражданина известное количество денег, равняющееся количеству хлеба и одежды, необходимых для одного или

нескольких нуждающихся. Если бы эти деньги не были взяты, то он употребил бы их на покупку предметов излишних, на такую покупку, которую он сделает и теперь; или он внес бы эти деньги в банк, а банкир отдал бы их взаймы фабриканту, купцу или промышленнику. Таким образом, в окончательном результате деньги были бы розданы в виде заработной платы или производителю излишнего, или промышленному работнику, получившему плату из займа, сделанного у банкира. Но так как эта сумма взята была в виде подати для бедных, то те, которые получили бы из нее заработную плату, останутся без такой платы. Если предметы необходимости будут этим путем отданы бедному, то ремесленник, который получил бы их в вознаграждение за свои произведения, будет нуждаться. Таким образом, как уже было сказано выше, все дело сводится к тому, что одни нуждающиеся личности заменяются другими.

Выходит даже нечто гораздо худшее. Выше было сказано, что закон о бедных, замедляя процесс приспособления, увеличивает бедствия, которые должны когда-нибудь произойти; теперь мы видим, что он увеличивает и современные бедствия. Не надо забывать, что из денег, отбираемых ежегодно для поддержания бедных, значительная часть была бы употреблена на содержание работников при новых производствах: при дренаже земли, при постройке машин и т.п. Спрашивается, чему же тут удивляться, как это делают у нас иные, если существует столько бедствия, несмотря на ежегодное распределение пятнадцати миллионов дозволенным подаванием, благотворительными обществами и соединенными приходами для применения закона о бедных? Ведь, чем значительнее будут суммы, розданные безвозмездно, тем в более скором времени увеличатся страдания. Чем значительнее будет число безвозмездно содержимых при том же населении, тем ничтожнее число живущих работой; чем ничтожнее число живущих работой, тем ограниченнее производство предметов первой необходимости; чем ограниченнее производство предметов первой необходимости, тем значительнее будет бедствие.

§ 8. Итак, мы видим, что положение, выведенное из закона о государственных обязанностях и запрещающее общественную поддержку нуждающегося, подкрепляется различными

независимыми от этого соображениями. Критический разбор показывает несостоятельность предполагаемых прав, на основании которых защищается закон о бедных. Точно так же неправилен взгляд, который выставляет закон о бедных как средство вознаграждения за зло, причиненное народу через отобрание у него земли. Мнение, что материальной нужде можно пособить лишь посредством установленных законом учреждений, оказывается вполне аналогическим с мнением, что духовные недостатки нуждаются в религии, определенной законодательным путем. Поэтому люди, настаивающие на достаточности добровольных усилий в одном случае, должны настаивать на том же и в другом. Механическая благотворительность, предназначенная для замены благотворительности, исходящей из сердца, явно неблагоприятна для развития у людей симпатических чувств и потому противна процессу приспособления. Установленная законом благотворительность мешает приспособлению еще и потому, что становится между народом и условиями, к которым ему следует приспособиться, и таким образом отчасти мешает влиянию этих условий. К довершению всего мы находим, что закон о бедных не только неизбежно обречен на недостижение своей цели — уменьшения народных страданий, но что он должен непременно увеличить эти страдания: он увеличит их непосредственно, ограничивая производительность предметов необходимого потребления, и посредственно — развивая недостатки людей, которые придется когда-нибудь исправлять болезненно-тяжкой дисциплиной.

XXVI | НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Понятие, которое мы составили себе об обязанностях государства, воспрещает этому последнему вмешиваться в сферы религии и благотворительности; на том же самом основании оно воспрещает ему заниматься воспитанием. Если правительство отбирает у человека собственность в большем размере, чем это необходимо для ограждения его прав, то оно нарушает эти права, делает прямо противоположное тому, что оно должно делать. Если государство отбирает у кого-либо его достояние для воспитания его собственных или чужих детей, то оно делает сбор, совершенно не нужный для ограждения прав, следовательно, сбор несправедливый.

На это можно возразить, что ограждение прав детей также лежит на обязанности государства и что вмешательство государства требуется таким ограждением. Совершенно справедливо, что права детей должны быть охраняемы, но дело в том, что пренебрежение воспитания последних не заключает в себе нарушения их прав. Уже неоднократно объяснялось, что то, что мы называем правами, есть не более как произвольные подразделения всем присущей свободы употреблять свои способности. Только то можно назвать нарушением этих прав, что действительно уменьшает свободу, что полагает предел власти, естественно присущей каждому, преследовать предметы своих желаний. Родители, не заботящиеся о воспитании своих детей, не делают подобного нарушения. Свобода упражнять свои способности остается неприкосновенной. Если ребенка не обучают, то этим нисколько не отнимается у него свобода делать все, что он хочет, и поступать так, как он признает за лучшее: подобная свобода — вот все, что требуется естественной справедливостью. Мы должны помнить, что всякое нападение, всякое нарушение прав по существу своему деятельно; всякое же пренебрежение, всякая беспечность и опущение неизбежно бездеятельны. Следовательно, как бы ни было дурно, если родители не исполняют своих обязанностей, как бы сильно это ни порицалось второстепенной нравственностью, но этим не нарушается закон равной свободы; другими

словами, такое неисполнение не входит в ту сферу предметов, на которые государство должно обращать внимание.

Если бы нужно было дальнейшее опровержение, то этому может послужить испытание посредством точного определения. Мы только что нашли, что подобное испытание оказалось гибельным для права бедных на вспомоществование; сейчас мы найдем, что оно настолько же губительно и для права на воспитание. Что такое воспитание? Каким образом определить границу нравственной культуры, какой каждый гражданин может по справедливости требовать от государства, и отделить ее от той, до которой права его не простираются? Где лежит эта граница между первоначальной школой, заведомой учительницей, и самым обширным университетским курсом? Что это за особенное свойство чтения, письма и арифметики, которое дает будущему гражданину право на их приобретение? И почему он не имеет такого же права на географию, историю, рисование и естественные науки? Учить считать нужно потому, что это полезно? Но ведь плотник, каменщик скажут нам, что геометрия точно так же полезна; красильщик и белильщик полотна найдут, что полезна химия; полезна также и физиология, что вполне доказывается болезненностью, написанной на столь многих лицах. Следует также учить астрономии, механике, геологии и всем сродным с ним наукам — все ведь они полезны? Где та единица меры, посредством которой можно было бы определить относительное достоинство различных родов знаний? Если же мы предположим, что такое определение возможно, то каким образом доказать, что ребенок имеет право требовать от гражданской власти знаний именно известного, а не меньшего достоинства? Когда те, которые требуют государственного воспитания, будут в состоянии с точностью определять, что именно следует дать, когда они будут согласны между собой насчет того, до чего простираются права юношества и где они прекращаются, тогда и возможно будет их выслушать. Но пока они не исполнят этого невозможного дела, до тех пор нельзя будет поддерживать их требования.

§ 3. Если бы сторонникам государственного обучения и удалось установить определенные требования в этом отношении, то они все-таки запутались бы в собственных сетях. Что мы подразумеваем, говоря: правительство обязано воспитывать народ? Почему

следует его воспитывать? Что такое воспитание? На все эти вопросы можно дать один ответ: народ нужно сделать способным к общественной жизни, из него нужно сделать хороших граждан. Но кто же решит, что такое значит «хороший гражданин»? Правительство — другого судьи не представляется. Кто решит, каким образом можно образовать «хороших граждан»? Опять-таки правительство, опять нет другого судьи. Следовательно, разбираемое положение может быть выражено таким образом: правительство должно обращать детей в хороших граждан, определяя по своему произволу как это понятие, так и способ, каким нужно детей обращать в таких граждан. Оно должно сначала составить себе определенное понятие об образцовом гражданине и затем установить такую систему дисциплины, которая наилучшим образом будет производить граждан по этому образцу. Систему эту оно должно приводить в исполнение насильственно и до крайних пределов. Если государство будет поступать иначе, то оно допустит образование худших людей, чем какими, по его мнению, они должны быть, и, следовательно, не выполнит лежащих на нем обязанностей. Оно будет иметь право строго выполнять всякий план, какой признает лучшим; каждое правительство должно будет поступать так, как поступают деспотические правительства на материке Европы и в Китае. Французское распоряжение, на основании которого никто не может открыть частную школу без разрешения министра и по силе которого всякая школа может быть закрыта простым министерским предписанием, — это шаг по истинному пути, и недостаток этой меры заключается лишь в том, что она останавливается на полдороге; ясно, что правительство не может позволить другим выполнять то, к чему оно одно имеет призвание, не подвергая опасности надлежащее исполнение дела. Воспрещение всяких частных школ, как это еще недавно было в Пруссии, ближе к цели. Австрийское законодательство также осуществляет идею государственного воспитания довольно последовательно: оно опекает духовную культуру нации с достаточной строгостью. Так как сильные умственные напряжения считаются там вредными для хорошего гражданина, то преподаванию метафизики, политической экономии и тому подобных наук ставят известные преграды. Некоторые ученые сочинения запрещены. Назначена награда за задержание людей, распространяющих Библию. Власти

предпочитают поручать истолкование этой книги своим чиновникам — иезуитам. Впрочем, с полной логической последовательностью идея эта выполнена только в Китае. Там правительство публикует список сочинений, которые дозволено читать; так как самой высокой добродетелью оно считает повиновение, то дозволяет лишь такие сочинения, которые благоприятствуют деспотизму. Опасаясь за неопределенные последствия нововведений, оно запрещает преподавание всего, что не исходит от него самого. Чтобы произвести образцовых граждан, оно строго блюдет за их поведением. С величайшей точностью определены правила, как сидеть, стоять, ходить, говорить, кланяться. Ученикам запрещено играть в шахматы, в мяч, пускать змея, играть в волан, играть на духовых инструментах, воспитывать животных, птиц, рыб или насекомых: все эти удовольствия, видите ли, развлекают душу и развращают сердце.

Подобное точное определение, распространяющееся на каждое действие и не терпящее никаких возражений, и есть настоящее осуществление учения о государственном воспитании. Тут речь не о том, правилен или ложен взгляд государства на идеал гражданина, умно или глупо избраны методы воспитания. Согласно гипотезе, на государство возложено известное отправление. Оно не находит никакого уже указанного пути для выполнения этой обязанности. Следовательно, ему остается только выбрать тот путь, который кажется ему самым удобным. Так как нет никакого высшего авторитета, который мог бы оспаривать или утверждать его решение, то оно вправе безусловно приводить в исполнение свой план, каков бы он ни был. Из предположения, что государство должно учить религии, следует вывод, что государство должно решать, какая вера истинная и каким образом следует ее проповедовать; а из положения, что государство должно воспитывать, неизбежно выходит заключение, что оно должно решать, в чем заключается воспитание и каким образом нужно вести это дело. То же строгое папство, которое является логическим последствием в первом случае (гл. XXIV, § 2), оказывается столь же неизбежным и в последнем.

§ 4. Кому не известно, что любовь к детям есть одна из самых могущественных наших страстей? Иметь детей — это почти общераспространенное желание. Во все времена философы

описывали, а поэты воспевали силу любви, выражающуюся в блестящих глазах матери, горячность ее поцелуя, ее страстные ласки, ее неутомимое терпение и вечно возбужденное внимание. Всякий мог заметить, до какой степени это чувство берет верх над всеми другими. Посмотрите, с каким живым удовольствием мать присутствует при несравненных подвигах своего перворожденного. Обратите внимание на гордость, с которой показываются каждому посетителю проделки маленького мальчугана, указывающие будто бы в нем скороспелого гения. Наблюдайте тот живой интерес, который принимается отцом в душевном благосостоянии более взрослых детей, и тот страх, с которым он смотрит на их жизненный путь. Побуждения, происходящие из его естественных привязанностей, часто еще усиливаются рассуждением, что комфортабельность его жизни в старости зависит, быть может, от успеха его детей.

«Служители и толкователи природы» обыкновенно думали, что эти чувства могут приносить некоторую пользу. До сих пор они постоянно полагали, что удовольствие, которое доставляют матери успехи ее маленьких детей, служат стимулом для развития ею их душевных свойств; что честь, которую отец приписывает себе, когда дети его отличаются похвальными поступками, служит для него поощрением при их образовании, и что горе, которое родители для себя предвидят, когда их дети окажутся дурно воспитанными, служит добавочным стимулом для надлежащей о них заботливости. Наблюдатели были того мнения, что в этих сильных чувствах и во взаимной зависимости членов семейства заключается чудесно устроенная цепь впечатлений, рассчитанная на то, чтобы обеспечить душевное и материальное развитие за следующими друг за другом поколениями. В простоте своей веры они заключили, что такие меры, принятые божеским провидением, совершенно достаточны для этой цели. Но если послушать защитников государственного воспитания, то окажется, что эти наблюдатели, по-видимому, ошиблись. Указанное состояние чувств совершенно недостаточно для достижения желаемого — комбинация привязанностей и интересов вовсе не была предназначена для такой цели или, что одно и то же, в ней вовсе не было цели. За недостатком природного устройства для обеспечения требуемого законодатели предлагают нам чертеж государственной машины с надлежащим объяснением. Машина

эта состоит из учителей, надзирателей, инспекторов и советов; все это создается посредством должного числа поборов и в полном изобилии снабжается сырым материалом в виде маленьких мальчиков и девочек. Из этого сырья нужно выделывать население благовоспитанных мужчин и женщин с тем, чтобы они были «полезными членами общества»!

§ 5. Утверждают, что родители, и в особенности те из них, которых дети всего более нуждаются в воспитании, вовсе и не знают, что такое значит хорошее воспитание. «В деле воспитания, — говорит Милль, — вмешательство государства имеет для себя оправдание, потому что тут интересы и понятия потребителя не представляют достаточного обеспечения для достоинств товара».

Странно, что такой рассудительный писатель удовлетворился столь негодным доводом. Ведь предполагаемая неспособность народа послужила основанием для всех вмешательств государства. На том основании, что покупатели не в состоянии отличать хорошие произведения от дурных, явилась та сложная регламентация, которая обременила французскую мануфактурную промышленность. Употребление известных красок воспрещалось в Англии, потому что народ не умеет достаточно хорошо их отличать. Наставление, как делать булавки, было составлено под влиянием мысли, что опыт не научит покупателей выбирать лучшие из них. Испытание ремесленника в его искусстве, как это делается в Германии, необходимо для того, чтобы оградить потребителей. Главным основанием для государственной религиозной проповеди послужило убеждение, что массы не могут отличить истинной веры от ложной. Нет ни одной жизненной отрасли, над которой по подобным же причинам не устанавливалось или не может быть установлено государственного контроля. Годзон Рог публикует памфлет с целью доказать зло, которое причиняется бедным и невежественным домовладельцам посредством фальсификации молока; он предлагает назначить государственных чиновников для испытания молока и конфискации того, которое окажется дурным; он желает, чтобы полиция инспектировала коровьи хлева и удаляла больной скот, чтобы от правительства была устроена для коров больница с состоящими при ней ветеринарами. Назавтра может явиться писатель, который докажет нам,

что дурной хлеб гораздо вреднее дурного молока, что он распространен не менее последнего и что различать его качества несравненно труднее, — отсюда будет выведено заключение, что пекарни должны подлежать надзору властей. Далее потребуются чиновники с гидрометрами и химическими реагентами для того, чтобы перебалтывать в чанах пивоварен. За этими охранителями покупателей неизбежно последуют другие, которые должны будут надзирать за торгующими вином. И так далее, и так далее, пока все отрасли производства будут надлежащим образом инспектированы, и мы приблизимся к положению, похожему на состояние рабских государств, где «одна половина общества занята наблюдением за тем, чтобы другая исполняла свои обязанности». Основание для каждого нового вмешательства будет все то же: «интерес и суждение потребителя недостаточны для обеспечения хорошего качества произведений».

Против этого, может быть, возразят, что польза государственного контроля зависит от обстоятельств; что суждение потребителя совершенно достаточно по отношению к известного рода произведениям и в то же время неудовлетворительно по отношению к другим; что воспитание принадлежит именно к числу последних, так как определить его достоинство — вещь крайне трудная. В ответ на подобное возражение можно сказать, что все вмешательства по очереди оправдывались таким же образом. Ужасающие размеры обманов, невообразимые затруднения при раскрытии этих последних, огромное количество фактов, показывающих неспособность покупателей защищать себя, — вот обычные доводы защитников всякой официальной регламентации. И каждый раз, как дело идет об установлении официальной опеки, утверждают, что именно в этом случае без нее никак нельзя обойтись. Но каждый же раз опыт убеждает в несостоятельности такого вмешательства и показывает, что в конце концов *интерес потребителя* составляет не только удовлетворительную гарантию для обеспечения достоинства потребляемых вещей, но лучшую из гарантий. Благоразумно ли после этого в сотый раз верить этим благовидным, но обманчивым заключениям? Не рациональнее ли предоставить выбор товара — воспитания, наравне с всякими другими товарами, на произвол покупателя, несмотря на все факты, говорящие, по-видимому, против этого?

Наше заключение покажется еще более благоразумным, если мы убедимся, что люди вовсе не такие плохие судьи в деле воспитания, как это кажется. Невежественные родители обыкновенно достаточно проницательны, чтобы отличить влияние дурного и хорошего воспитания; они судят о нем по детям других и действуют на основании этого суждения. Им легко следовать примеру более сведущих и посылать своих детей в те же школы. Они могут выйти из затруднения, прибегая к советам, и всегда найдутся люди, способные и склонные дать необразованным родителям благонадежный ответ насчет достоинства учителей. Наконец, им остается испытание посредством цены. В деле воспитания, как и во всяком другом деле, цена — достаточно верный указатель достоинства; это указатель ясный для всех классов; бедные люди инстинктивно руководствуются им в делах школы: известно, что они относятся очень холодно к дешевому или безвозмездному обучению.

Нельзя согласиться с необходимостью вмешательства даже и тогда, когда мы допустим, что недостаток правильного суждения весьма значителен, хотя на самом деле он вовсе не доходит до таких крайних пределов, как полагают. Зло это постоянно исправляется, исправлялось и будет исправляться, как и всякое другое подобное ему зло. Подрастающее поколение будет лучше своих родителей понимать, в чем заключается хорошее воспитание, а их потомки будут иметь еще более ясный взгляд на дело. Кто медленность такого процесса признает достаточным основанием для вмешательства, тот последовательно должен защищать и всякое другое вмешательство. Невежество, служащее обыкновенно предлогом для всей государственной опеки, излечивается всюду лишь весьма постепенно. Часто нужны целые поколения, чтобы исправить ошибки потребителей и производителей. Усовершенствования в торговле, промышленности и особенно в земледелии идут почти незаметным шагом. Возьмите, для примера, последовательный ход урожаев. Если такая медленность служит основанием для вмешательства в одном случае, то почему же ей не послужить и для других? Почему фермы не инспектируются правительством? Необходимы ведь *столетия*, прежде чем современные открытия будут приняты фермерами повсеместно.

Если бы мы удовлетворительно понимали, что общество растет, а не строится, что это вещь, которая вырабатывается сама

собой, а не делается искусственно, то мы ошибались бы реже. Тогда мы бы знали, что несовершенства, происходящие от неспособности масс различать хорошее и дурное воспитание, следует точно так же перерасти, как и всякие другие несовершенства.

§ 6. Люди, находящие, что в деле воспитания «интерес и суждение потребителя недостаточны для обеспечения хорошего производства», и доказывающие этим необходимость государственной опеки, выставляют положение весьма сомнительного свойства. Положение это гласит, что в данном случае достаточную гарантию представляют «интерес и суждение» правительства, а между тем есть весьма основательные причины оспаривать подобное мнение; если же принять в соображение будущее, то можно даже утверждать, что участие правительства представляет несравненно менее гарантий.

Задача состоит в приискании наилучшего средства для развития души. Это одна из самых трудных задач, не вправе ли мы даже сказать, что это — труднейшая из задач? Две вещи необходимы для ее разрешения: во-первых, нужно знать, что следует сделать из души; а затем — каким образом достигнуть того, что следует. Такова задача. Посмотрим теперь, каковы исполнители. Все они, безо всякого сомнения, — люди воспитанные (в обыкновенном смысле этого слова), многие из них — люди доброжелательные, часть из них — заботлива и весьма немногие — философы; но во всяком случае это люди, по большей части рожденные в довольстве или, по выражению англичан, «с серебряной ложкой во рту», и которые, следовательно, смотрят на человеческие дела так, как они отражаются в этих ложках, т.е. несколько наизворот. Большинство из них ведут весьма комфортабельную жизнь и потому всегда расположены находить «мир как он есть» наилучшим из миров. Что касается до их вкусов, то после государственных дел этих господ всего более пленяет стрельба куропаток и охота за лисицами. Что касается предметов их гордости, то они состоят в обширных поземельных владениях и длинной генеалогии. Если же в фамильном гербе имеется надпись вроде «бей крепко» или «надевай цепи», так уж это верх счастья. Их общественный идеал — или сентиментальный феодализм, или состояние, похожее на современное, где народ относится почти к лучшей части общества и доволен «той участью, какою

Господу угодно было его наградить», или, наконец, такое устройство, при котором каждый работник является произвольной машиной, так чтобы можно было достигнуть возможно большего накопления богатств. Прибавьте к этому, что они удерживают смертную казнь и посылают своих детей в школы, где господствует телесное наказание и в которых они сами были воспитаны, — вот вам их взгляд на нравственную дисциплину. Спрашивается, можно ли положиться на суждение таких людей по отношению к предмету потребления — воспитанию? Конечно, нет.

Еще менее можно положиться на их интерес. Хотя он совершенно противоположен интересам народа, но ему неизбежно будет отдано предпочтение. Эгоистические стремления, которые сознательно и бессознательно управляют правителями во всех случаях, будут управлять ими и тут. Иначе не может и быть, пока люди будут такими, каковы они теперь. Подати разлагаются у нас неравномерно, право правительства распределено в среде народа очевидно неправильно, непотизм* наполняет все доходные места Греями и Эллиотами, люди безо всяких заслуг получают роскошные пенсии, практикуется система экономии, которая распускает солдат и оставляет на жаловании офицеров. Сверх того, всем известно, как подаются голоса членами парламента из поземельных собственников и клерикалов, а также из военных и морских офицеров. При подобных условиях можно быть совершенно уверенным, что государственное воспитание будет направлено в пользу тех, в чьих руках власть, а не в пользу народа. Ожидать чего-либо другого — значит впадать в старую ошибку и надеяться, что терновник принесет виноград. Надеяться, что при настоящем положении вещей те же самые влияния, которые исказили все другие учреждения, не исказят и этого! Да можно ли найти более утопичное ожидание?

Таким образом, будь даже справедливо, что в деле воспитания «интерес и суждение потребителя не представляют достаточной гарантии для доброкачественности товара», все же отсюда не следует как очевидный результат, чтобы их нужно было заменить «интересом и суждением» правительства. Можно утверждать, что все вышеизложенное доказывает только неспособность к народному обучению существующих правительств, но вовсе не доказывает неспособности правительства, нормально устроенного; потому что; если мы хотим определить, что правительству

следует делать, то должны предположить его таким, каким оно должно быть. Но ведь в настоящем случае сделано такого рода предположение, для опровержения которого необходимо стать на уровень современных обстоятельств: законодательная опека требуется на основании недостаточности «интереса и суждения» того народа, который *теперь* существует, поэтому, анализируя это предложение, нужно брать и правительство таким, каким мы его *теперь* видим. Исходной точкой наших суждений мы потону не можем брать такое правительство, каким оно должно быть, что прежде, чем оно достигнет идеала, исчезнет всякий недостаток «суждения и интереса» со стороны народа.

§ 7. Устанавливать национальную организацию для духовной культуры народа и поручать правительству опеку над этой организацией будет дурной политикой еще и потому, что всякая такая организация по духу своему консервативна, а не прогрессивна. Это повсюду неизменно повторяющаяся истина. Всякое учреждение обнаруживает инстинкт самосохранения, исходящий от заинтересованных в нем лиц. Так как обеспечение их жизни зависит от этого учреждения, то они, естественно, стремятся его поддерживать. Корни всевозможных установлений — в прошедшем и настоящем, но никогда не бывают в будущем. Всякая перемена угрожает им; она их видоизменяет и под конец должна их уничтожить; поэтому они единообразно сопротивляются всяким преобразованиям. С другой стороны, воспитание, заслуживающее этого имени, тесно связано с переменной — это передовой его пионер, это никогда не дремлющий агент переворотов; оно вечно приспособливает людей к более совершенным состояниям и делает их неспособными к состояниям существующим. Поэтому неизбежна вражда между учреждениями, существование которых зависит от продолжения настоящих положений, и воспитанием, которое должно быть орудием для приспособления людей к другим состояниям.

Начиная с египетского духовенства и до нашего времени, все корпорации: политические, духовные и воспитательные — обнаруживали одинаковый дух. Уже за триста лет до Рождества Христова афинский сенат не позволял открывать школы без разрешения. В Риме свобода преподавания подвергалась стеснениям два раза до Рождества Христова, при императоре

Юлиане. Аналогическая политика существующих континентальных правительств показывает, как живуче подобное направление. Общая распространенность цензурных учреждений доказывает то же самое. Знаменитое изречение императрицы Екатерины, высказанное ее первому министру, показывает, как правители смотрят на распространение знаний*. Принимаясь за воспитание, правительства делают это с целью предупредить то самородное воспитание, которое грозит их господству. Доказательством может служить Китай, где так усердно развиваются идеи вроде следующих: «О, как славны дела правительства, о, как велико то уважение, которое мы должны оказывать чиновникам правительства!» Подобный образ действия довольно ясно указывает на свою цель. Другим примером может служить Австрия, где, согласно воле императора Франца, воспитание народа было вверено иезуитам** для того, чтобы они «посредством пропаганды предрассудка противодействовали пропаганде свободы»¹. Нет недостатка в признаках того же самого духа и в Англии. На это весьма ясно указывает покушение, сделанное во дни Коббета, с целью стеснить дешевую литературу. Воспрещено было продавать еженедельные издания дешевле шести пенсов. Тот же дух обнаружился в неохоте, с которой уменьшена была штемпельная пошлина с периодических изданий, когда отстаивать прежний размер сделалось уже бесполезным. Оно проявляется и в двуличности законодательства, которое объявляет себя поощрителем народного просвещения и вместе с тем продолжает ежегодно взимать миллион с четвертью фунтов стерлингов в виде «налога на знание».

Всякому известно, как недоброжелательно смотрят все духовные корпорации на распространение просвещения. Упорство, с которым брамин борется против истин современной

¹ Если верить Уайльду, который писал до последней революции, то план этот выполнялся успешно. Он в виде панегирика австрийской системе воспитания возвещает нам, что народ «не вздыхает там о политической свободе, потому что ничего о ней не знает. Мудрое правительство не позволяет, чтобы души народа были воспаляемы теми проповедями на темы о язвах общества, которые в конце концов породили среди наших соотечественников лихорадку недовольства и непочтительности, которой последствия так ясно видны теперь в Великобритании!»

науки, фанатизм, с которым ученый-магометанин игнорирует всякие другие книги, кроме Корана, предрассудок даже против имени философии, который питается в нашей собственной религиозной корпорации, — все однородные примеры, указывающие на действие инстинкта самосохранения. Общий стимул, побуждавший к действию во всех этих случаях, был совершенно ясно выражен монахами, когда они говорили: «Мы должны уничтожить печать, или печать уничтожит нас». В другой раз он был выражен тем французским епископом, который объявил системы Белла и Ланкастера изобретениями дьявола. Пусть никто не воображает, что ревность воспитания, обнаруженная в последнее время духовенством, указывает на новый дух в его среде. Если вспомнить горечь, с которой духовные нападали на воскресные школы при их возникновении, и затем обратить внимание, как они ревностно конкурируют теперь с диссентерами при обучении бедных, то поведение их станет довольно ясным: они стараются выбрать из двух зол меньшее. Они сознают более или менее определенно, что прогресс в воспитании неизбежен, и им ничего не остается, как только желать по крайней мере воспитывать народ в чувствах привязанности относительно церкви.

Эта склонность к стеснению выразится еще нагляднее, если обратить внимание на то, что та же самая организация, которая предназначена для распространения знания, может в известных руках служить к его уничтожению. Утверждают, что Оксфорд был последним учебным заведением, где философия Ньютона была признана. В жизнеописании Локка мы читаем: «Был собран митинг начальников заведений в Оксфорде, на котором было предложено порицать и затруднять чтение этого опыта («О рассудке человека»); после различных дебатов было решено не выражать публично своего порицания, но каждый начальник заведения должен стараться предупреждать его чтение в подведомственном ему месте». В Итоне во времена Шелли химия была запрещена, и даже химические руководства были изгнаны. Единообразное обыкновение этого рода заведений отказываться от всяких нововведений таково, что они всегда делают улучшения в способах преподавания или в выборе предметов после всех других. Университеты с презрением отвергали естественные науки. Власти коллегий долго сопротивлялись — и активно, и пассивно — введению физиологии, химии, геологии

и т.п. Науки эти введены были поздно, да и то лишь постепенно, под влиянием конкуренции соперничавших с ними заведений и из опасения, как бы их не заменили эти последние.

Хотя сила инерции может быть очень полезна в своем месте, хотя отпор тех, в чьих руках власть, имеет свое назначение, хотя нам не следует нападать на инстинкт самосохранения, который дает учреждениям их жизненную силу, так что поддерживает их даже во время запоздалой дряхлости, однако же благоразумие не позволяет искусственно увеличивать естественную деятельность этого инстинкта. Для прогресса в нашей социальной экономике совершенно необходимы как консервативные так и преобразовательные силы, но в высшей степени противно здоровой политике давать одной из них искусственное преимущество над другой. Установить же государственное воспитание — значит поступить именно таким образом. Самая организация, созданная для преподавания, и правительство, которое ею руководит, непременно будут стремиться к тому, чтобы современные порядки остались неизменными. Давать им опеку над духовной жизнью народа — значит давать им возможность подавлять стремления к порядку, долженствующему стать на место настоящего. Эти учреждения станут вводить именно такую культуру, которая будет им казаться согласной с их собственным существованием; они будут сопротивляться введению культуры, подвигающей вперед общество и тем самым грозящей им разрушением в самом их основании; другими словами, они будут сопротивляться именно такому образованию, которое имеет наиболее цены.

Люди легковверные, может быть, надеются, что правило это хоть и было до сих пор неизменно, но в будущем изменится. Пусть они не обманывают себя. Правило это не умрет до тех пор, пока люди склонны преследовать частные свои интересы за счет общего блага, другими словами — пока государство будет необходимо. Наклонность эта станет проявляться, конечно, с меньшей резкостью, по мере того как люди будут делаться менее эгоистичными. Но в той же мере, в какой добросовестность их будет несовершенна, ими будут управлять их личные интересы, и в том же размере учреждения будут противостоять прогрессу.

§ 8. Случалось ли когда-нибудь читателю видеть мальчика в пылу первого припадка страсти к садоводству? В это время он пред-

ставляет занимательный и поучительный вид. Положим, что в его исключительное распоряжение предоставлена часть жилой изгороди и какая-нибудь пара квадратных ярдов*. Тотчас в мальчике обнаруживается немалая доля чувства собственного достоинства и довольно гордое сознание собственника. Пока он находится под влиянием энтузиазма, он не может наглядеться на свою территорию. Каждый товарищ, каждый посетитель, с которым позволительна такая вольность, может быть уверен, что получит приглашение: «Пойдем посмотрим мой сад». Замечательно, с какой сосредоточенной заботливостью наш юный собственник наблюдает за развитием немногих жалких растений. Он раза три или четыре в день бегаёт смотреть их. Их развитие кажется ему возмутительно медленным. Каждое утро он надеется найти в них какую-нибудь перемену, но, увы, все представляется ему именно в том виде, в каком было накануне. Когда же, наконец, появятся цветы? Уже неделю тому назад какая-нибудь преждевременная почка предвещала ему наслаждение — увидеть в своем саду первый цветок, а она все еще не распускается! Наверное, тут что-нибудь да не так! Быть может, листья мешают ей развиваться? Да, конечно, это и есть настоящая причина! Таким образом, можно держать пари десять раз против одного, что вы когда-нибудь застанете вашего молодого садовника усердно раскрывающим чашки почек; может статься, он даже постарается расправить некоторые из лепестков.

Такое же детское нетерпение обнаруживается в чувствах значительного числа наших защитников государственного воспитания. И эти защитники, как наш мальчик, обнаруживают недостаток веры в природные силы, даже незнание того, что такие силы существуют. И в них видно то же самое недовольство predetermined ходом прогресса. И тот, и другие хотят искусственным способом помочь тому, что считают недостатком природы. В течение этих последних лет обращено было внимание людей на важность народного воспитания. То, к чему они до сих пор относились равнодушно или враждебно, вдруг сделалось предметом энтузиазма. Они ожидают предполагаемых результатов со всем рвением новообращенных, со всей несообразностью надежд новичка, со всем нетерпением только что возникшего желания. Поддаваясь безрассудству, свойственному подобному состоянию души, они недовольны,

что прогресс от всеобщего невежества ко всеобщему просвещению не совершился в течение одного поколения. По-видимому, каждому должно быть ясно, что все великие перемены, совершающиеся в нашем мире, совершаются единообразно и медленно. Поднимаясь на один или на два фута* в течение столетия, образуются материки. Дельты отлагаются в течение десятков тысяч лет. Для преобразования голой скалы в плодородную почву необходимо бесчисленное множество веков. Изучение убедит всякого, что в развитии общества действует тот же самый закон. Для уничтожения рабства потребовалось время от Рождества Христова до наших дней, и все-таки рабство еще не уничтожено вполне. Сотни поколений жили и умерли, прежде чем совершился переход от иероглифического письма к печати. Столь же медленным путем развивались науки, торговля и механическое искусство. И после этого люди чувствуют себя разочарованными, так как недостаточно было пятидесяти лет для окончательного просвещения народа! В течение этих пятидесяти лет сделано было далеко более, чем мог бы ожидать хладнокровный мыслитель и чем можно было бы предсказать на основании прошлого прогресса человечества. И все же этот нетерпеливый народ порицает систему добровольного воспитания и считает ее ошибкой. Презрительно отвергается процесс естественный, самородный — процесс самостоятельного развития потому только, что он не произвел полного преобразования в течение времени, которое составляет один какой-нибудь день в жизни человечества! А затем, дабы исправить некомпетентную в этом деле природу, развитие должно быть ускорено законодательными поделками!

§ 9. Есть одно обстоятельство, которое могло бы служить извинением для всяких попыток распространять просвещение искусственными средствами. Полагают, что воспитание предупреждает преступления. Таким образом, искусственное его распространение предлагается для уменьшения числа преступников. «Мы полагаем, — говорит Маколей, — что тот, кто имеет право вешать, должен также иметь право воспитывать»¹. В письме мисс Мартино, касающемся системы манчестерского округа,

¹ Цитируется из одной речи, произнесенной в Эдинбурге.

между прочим говорится: «Я не вижу, чтобы политическая экономия могла что-нибудь возразить против общего обложения сборами в пользу народного образования. Эта подать стоила бы нам очень дешево, если бы была отнесена к полицейским сборам. Она стоила бы нам гораздо менее, чем мы платим теперь за разврат юношества». В обеих приведенных цитатах выражается убеждение, что воспитание должно быть употреблено правительством как мера предупреждения преступлений.

Несмотря на все наше уважение к авторитетам, высказавшим это мнение, мы все-таки должны его оспаривать. Мы не имеем никакого основания утверждать, что народное просвещение, в обыкновенном смысле этого слова, предупреждает преступления. Вновь и вновь появляющиеся газетные статьи, в которых с таким торжеством выставляется отношение между образованными и необразованными преступниками, конечно, ничего не доказывают. Прежде чем можно будет вывести из них какое-нибудь заключение, нужно доказать, что эти образованные и необразованные преступники принадлежат к двум одинаковым частям общества, что они по положению своему схожи между собой во всех других отношениях, кроме образования, что их общественное состояние и их занятия одинаковы, наконец, что они пользуются теми же преимуществами и окружены тем же соблазном. На самом же деле не только ничего этого нет, но даже и подобного чего-либо не существует. Масса невежественных преступников принадлежит к части общества, которая поставлена в самые тяжкие условия, а немногие образованные находятся в условиях относительно благоприятных. Из подобных сравнений можно было бы с такой же логической точностью вывести заключение, что источником преступлений служит недостаток животной пищи, жизнь в дурно вентилированных помещениях или употребление грязного белья; если расспросить обитателей тюрьмы, то оказалось бы, без всякого сомнения, что большинство из них жило в подобных условиях. Невежество и преступление — это не причина и следствие, но совпадающие результаты одной и той же причины. Если человек оказывается совершенным невеждой, то это значит, что он жил в среде, где всего более побуждений к преступлениям; если просвещение коснулось кого-либо только отчасти, то это показывает принадлежность к классу, несравненно

менее подвергающемуся соблазнам, а полная образованность есть признак постоянной жизни за пределами всех обыкновенных побуждений к преступным деяниям. Следовательно, невежество может быть только *признаком* существования влияний, порождающих преступления, по крайней мере, по отношению к статистическим данным. Оно настолько же может быть названо причиной преступлений, насколько понижение барометра может считаться только причиной дождя.

Если только факты тут что-нибудь значат, то они не только не доказывают, что нравственность возвышается образованием, но доказывают совершенно противное. Из одного рапорта Иосифа Кингсмилля, главного капеллана пентонвильской тюрьмы, видно, что число образованных преступников относится к необразованным точно так же, как число образованных людей вообще — к числу невежественных; между тем, руководствуясь вышеизложенными соображениями, мы должны были бы ожидать, что относительное число получивших воспитание преступников будет незначительнее, потому что у них менее соблазна. Из правительственных отчетов видно, что число несовершеннолетних преступников в столице с каждым годом постоянно возрастало с тех пор, как создано было учреждение школ для неимущих. Число совершенно безграмотных преступников постоянно уменьшалось: в 1844 году их было 24 856, а в 1848 — 22 986, уменьшение составляло 1888 человек. В то же время число преступников, умевших читать и писать, хотя и не всегда в совершенстве, возрастало: в 1844 г. их было 33 337, а в 1848 — 36 229, в тот же самый период времени увеличение составило 2857 человек («Morning Chronicle», 25 апреля 1850 г.). Приведенные цифры взяты из ряда статей под заглавием «Труд и бедность». В другом месте этих статей говорится: «Горнозаводское население севера находится на очень низком уровне по отношению к образованию и к развитию умственных сил; вместе с тем в Англии нет местности, где бы совершалось менее преступлений, так что факт этот прямо противоречит общепринятому учению о связи между невежеством и количеством преступных покушений» («Morning Chronicle», 27 декабря 1849 г.). В тех же статьях говорится о женщинах, работающих в Южном Уэльсе на железных заводах и в каменноугольных копях: «Их невежество ужасно, в то же время по отчетам видно,

что между ними совершается замечательно мало преступлений» («Morning Chronicle», 21 марта, 1850 г.).

Если этих свидетельств недостаточно, то их можно подкрепить ссылкой на Флетчера. Может быть, ни один современный писатель не занимался этим вопросом так внимательно, как автор, на которого мы ссылаемся. Перечисляя результаты своих исследований, он говорит:

1. Если мы станем сравнивать число заключенных по уголовным делам в округах, отличающихся между собой по степени просвещения, то найдем, что в годы, наиболее выгодные для промышленности (1842—1844 гг.), отношение оказывается в пользу округов наиболее просвещенных, впрочем, в весьма незначительной степени. В период времени, более благоприятный для промышленности (1845—1847 гг.), результат не в пользу просвещенных округов и на этот раз в более значительных размерах. Если сравнивать более просвещенные части каждого округа с менее просвещенными, то в течение обоих периодов окончательный результат говорит против просвещенных, хотя в последнем периоде он вчетверо значительнее, чем в первом.
2. Сколько бы мы ни исправляли данные касательно возраста населения в различных округах, с целью смягчить факты относительно многочисленности несовершеннолетних преступников, все же это нисколько не изменит первоначального свидетельства статистики против просвещения: все, что могло иметь какое-нибудь серьезное значение в этом случае, было принято в соображение, когда делались выводы.
3. Таким образом, если сравнивать данные, касающиеся у нас и в других странах Европы уголовных преступлений, с одной стороны, и статистики образования — с другой, то мы не можем сделать никаких основательных выводов в пользу нравственного влияния просвещения, и мало окажется результатов против него»¹.

¹ Summary of the moral statistics of England and Wales. By Joseph Fletcher.

Ко всему этому можно присовокупить свидетельства Гюрреа и Дюпена, которыми доказано, что самые просвещенные части Франции отличаются наибольшим количеством совершенных преступлений.

Дело тут в том, что между нравственностью и современными системами воспитания не существует никакой связи. Одно развитие интеллектуальных сил не имеет почти ни малейшего влияния на поведение человека. Между тем современное воспитание почти исключительно сосредоточивается на этой цели. Верования заставляют удерживать памятью и хорошие принципы, заучивать наизусть; таким же образом учат тому, что справедливо и что несправедливо. Все это никак не может привести к уничтожению дурных наклонностей. Несмотря на то, несмотря на опыт, сделанный людьми в качестве граждан и родителей, они продолжают упорно ожидать от обучения именно такого влияния. История рас и индивидуумов показывает, что в большинстве случаев заученные правила нравственности не имеют ровно никакого влияния; там же, где они имели кажущееся действие, результат произведен не ими, а однородными с ними чувствами, существовавшими прежде. Интеллект — не сила, а орудие: он не движется и не действует сам по себе, он приводится в движение силами, которые стоят за ним. Сказать, что люди управляются рассудком, — это так же нерационально, как сказать, что люди управляются глазами. Рассудок есть глаз, тот глаз, которым естественные желания отыскивают путь к своему удовлетворению. Воспитание делает из него только более совершенный орган, делает зрение более точным и далеким, но вовсе не изменяет тех желаний, которым этот орган должен служить. Насколько бы мы ни расширяли его поле зрения, все же *направление* его деятельности будет определяться страстями: *страсти* укажут предметы, на которых ему придется остановить свое внимание. Интеллект будет употребляться для достижения тех целей, которые создадут себе инстинкты и чувства; культура увеличит только ловкость этого средства при их достижении. Можно утверждать, что просвещение делает человека более способным оценивать дурные последствия, сопряженные

с худыми поступками, и в известном смысле это справедливо. Но такое влияние может быть лишь весьма поверхностным. Человек убедится, что более грубые преступления обыкновенно влекут за собой возмездие в том и в другом виде, но он не поймет значения мелких. Таким образом, его грехи примут лишь более макиавеллиевский характер.

Если бы знание и проницательность делали людей хорошими, то Бэкон был бы честен, а Наполеон справедлив. При недостатке хороших свойств самый совершенный интеллект не может давать правильного направления, потому что его оценка искажается преобладающими страстями. Сильные страсти не стесняются даже и тогда, когда ясно предвидят дурные последствия. Иначе как объяснить, что люди напиваются, хотя очень хорошо знают, что за этим последуют страдания и стыд, а у бедного человека — еще голод и нужда? Студенты, изучающие медицину, знают лучше других молодых людей дурные последствия развратной жизни, а между тем они ведут себя не менее легкомысленно и даже еще легкомысленнее этих последних. Лондонский вор, бывший на исправительной мельнице раз десять, тотчас опять начинает воровать, как скоро сделается свободным. Люди, которые в течение всей своей жизни учились христианству, ведут себя вовсе не как христиане, несмотря на их веру, что за таким поведением последует страшное наказание.

Странно, право, что мыслящие люди до сих пор считают возможным предупреждать преступления посредством образования, тогда как факты, ежедневно встречающиеся на улице, в любой конторе, в семействе, убеждают в противном. Целые полчища учителей, на которых смотрели с безотчетным благоговением, не были в состоянии очистить общество в течение восемнадцати столетий; и где же вероятность, чтобы задача эта могла быть выполнена другими подобными же армиями преподавателей, на которых никто не смотрит такими глазами? Убеждение, сопровождаемое влиянием сверхъестественного авторитета, не могло заставить людей действовать так, как было желательно, как же после этого ожидать, чтобы одно убеждение без всяких особых влияний достигло такой цели? Уж если надежда на вечное блаженство и страх вечных мучений не делают людей добродетельными, едва ли похвалы и упреки школьного учителя подействуют с большим успехом!

Причина такой неудачи — весьма основательная: это невозможность самого предприятия. Представлять себе, что в настоящее время можно предупредить преступление каким бы то ни было образом, — значит впадать в одну из тех утопий, к которым причастны наши современники, хвалящиеся своей практичностью. Тут не поможет ни государственное воспитание, ни тюремная система молчания, ни система отделения, ни какое бы то ни было другое ухищрение подобного рода. Преступление неизлечимо, один только процесс приспособления человечества к общественному состоянию может его уничтожить. Преступления суть постоянно возобновляющиеся проявления прежней неприспособленной природы человека, это указания на свойства, несогласные с окружающими условиями, и их количество, и качество могут уменьшаться лишь по мере того, как будет уменьшаться это разногласие. Надеяться на уменьшение преступления посредством какого-нибудь быстродействующего приема — значит надеяться на уничтожение тем же способом всякого зла — законов, правительства, податей, бедности, каст и т.п., потому что все эти явления имеют ведь один общий корень с преступлением. Невозможно преобразовать поведение людей без преобразований в их природе, а эта последняя может изменяться только посредством медленно цивилизующих нас сил; ожидать изменения другого рода — значит предаваться мечтам. Приемы дисциплины или культуры могут принести пользу только тогда, когда они изменяют органические свойства народного характера, а такие изменения могут быть произведены ими лишь в весьма незначительных размерах. Необходимые преобразования главным образом производятся никогда не прекращающимся влиянием на человека окружающих его обстоятельств — давлением на него новых условий жизни; деятели же, придуманные людьми, не могут произвести ничего подобного даже и тогда, когда они будут вполне удовлетворительно исполнять свое дело.

Заметим мимоходом, что насколько воспитание *может* произвести нравственное влияние, оно произведет его только тогда, когда будет действовать более на чувство, чем на рассудок. Мы сделаем доброе дело не тогда, когда дадим ребенку *понять*, что хорошо и что дурно, а тогда, когда дадим ему это *почувствовать*, когда мы его заставим *любить* добродетель и

ненавидеть порок, когда взрастим в нем благородные *желания* и заглушим дурные, если мы вызовем к жизни не проявлявшееся до сих пор чувство, если мы дадим симпатическому стимулу перевес над эгоистическим, — словом, если мы приведем его душу в такое состояние, при котором справедливость будет для нее *естественным, самородным и инстинктивным* образом действия. Ничего подобного не может быть произведено упражнениями в катехизисе и преподаванием нравственных кодексов. Только заставляя людей *чувствовать*, можно изменить их свойства. Идеи, воспринимаемые рассудком, не имеют никакого влияния на поведение, если не встречают соответствующих им внутренних чувств и не могут пустить в них свои корни: тогда они забываются, как скоро человек вступает в жизнь.

Может статься, скажут, что государство в состоянии ввести способ воспитания, подобный только что описанному, и производить те впечатления, которые одни имеют влияние. Не подлежит никакому сомнению, что поступать таким образом — во власти государства, но да защитит нас небо от всех *законодательных* попыток воспитывать путем ощущений!

§ 10. Остается еще одно возражение. После тщательного анализа мы пришли к заключению, что посредством закона о бедных правительство не может излечить нищеты, а может только перенести ее с одной части общества на другую (гл. XXV, § 7). Всмотревшись ближе, мы найдем, что правительство, в сущности, лишено *всякой возможности* воспитывать, ибо, воспитывая одних, оно способствует загробению других. Такое положение поразительно и невероятно, но это лишь на первый взгляд. Если бы люди, прежде чем начать действовать, взяли на себя труд определить, в чем состоит воспитание, то они, вероятно, поняли бы, что правительство не может им в этом случае оказать никакой истинной помощи. К несчастью, они всем этим пренебрегали; они сосредоточили свое внимание исключительно на воспитании, *которое дается в школах*, и упустили из виду вопрос о том, как отражаются их планы на воспитании, *которое начинается там, где кончается посещение училища*. Им, впрочем, очень хорошо было известно влияние этой дисциплины ежедневных обязанностей; они знали, что действие ее значительно сильнее влияния учителя. Вы могли часто слышать от них самих подобное

замечание. Но с рвением, свойственным всяким прожекторам, они до того сосредоточились на изучении действия создаваемого ими механизма, что совершенно позабыли о реакции.

Которое из разнородных свойств человеческой природы наиболее для человека необходимо? Отсутствие какого качества порождает всего более нищеты? Недостаток какой способности ощущается так сильно непредусмотрительными массами? Недостаток самообладания — недостаток способности жертвовать незначительным современным благом для большего в будущем — вот где существенная потребность. Работник, наделенный достаточным самообладанием, никогда бы не оставлял в публичном заведении заработную плату, получаемую им по субботам. Ремесленник, умеющий владеть собой, никогда не растрчивал бы всего, что он получает в счастливые дни, и не оставался бы таким образом без обеспечения в будущем. Большее самообладание предупредило бы неблагоприятные браки и не порождало бы нищенского населения. Не будь пьянства, расточительности и неправильного размножения, общественные страдания были бы незначительны.

Каким же образом можно увеличить самообладание? Тут один только тяжкий опыт может сделать что-нибудь. Воспитание тех, кто нуждается в развитии этой способности, должно быть предоставлено дисциплине естественного хода вещей, они должны перенести все последствия, проистекающие из их недостатков. Страдания, причиняемые неблагоприятием — вот единственное средство для его излечения. Исправить человека от дурных наклонностей можно только тогда, когда он будет поставлен лицом к лицу со строгой необходимостью, когда он почувствует всю неизменность, всю неумолимость ее законов. Выше было сказано (гл. XXV, § 6), что всякое вмешательство в отношения между человеком и условиями его существования, всякое смягчение их последствий посредством законов для бедных и тому подобных вещей — все это только препятствует действию лекарства и делает зло более продолжительным. Мы никогда не должны забывать основного закона природы, которым требуется приспособление к обстоятельствам, каковы бы они ни были. Если вместо того, чтобы ставить людей в соприкосновение с настоящими условиями их жизни, мы поставим их в искусственные, то они приспособятся к этим ложным положениям. Затем им будут предстоять все бедствия нового приспособления к условиям действительности.

Из всех побуждений к развитию самообладания едва ли не самым сильным является чувство родительской ответственности. А если так, то ослаблять это чувство — значит принимать самую действительную меру против развития способности владеть собой. В справедливости этого мнения мы легко убедимся, наблюдая, как легкомысленные браки поощряются законом для бедных. Точно такое же действие производит и воспитание через посредство правительства — с той только разницей, что воспитание, слагая с родителей лишь часть ответственности, вредит несравненно менее, чем вспомоществование бедным, всецело принимающее на себя содержание их детей. Чем более государство сделает для семейства, тем более уменьшатся расходы женатого человека за счет холостого, т.е. тем более увеличится соблазн для вступления в брак. Пусть никто не думает, что если рабочему человеку предлагается безвозмездное, по-видимому, воспитание для его детей, то это не будет иметь никакого влияния на его соображения, когда он захочет жениться. Обратите внимание на те штуки, какие выделывают с нами сильные страсти в то время, как мы советуемся со своим рассудком, заметьте, как они утраивают и заставляют молчать противные им более слабые чувства, с каким пренебрежением обращаются с опровергающими их доводами, как они, защищая свое дело, принимают самые ничтожные доказательства за основания «столь же сильные, как слова Священного Писания», примите все это во внимание, и вы, без сомнения, убедитесь, что во время соображений человека, находящегося в подобном состоянии, возможность образовать своих детей за общественный счет будет иметь значительное влияние на его решение. Мало этого, такая возможность послужит ему одной из побудительных причин для того, чтобы следовать своим стремлениям. Человеку случается съесть более, чем следует; он знает, что для него вредно так много есть, но делает это, потому что обед дорогой, и ему хочется вознаградить себя за потраченные деньги. Точно так же может поступить ремесленник, который женится при господстве системы правительственного воспитания: он найдет для себя извинение в том, что если бы он не женился, то ему все-таки пришлось бы платить сбор на народное воспитание, и притом без пользы для себя.

Государственное воспитание заставляет следовать минутным внушениям не только в этом случае. В течение всей жизни

родителей оно будет иметь неблагоприятное влияние на развитие самообладания. Желание дать детям своим школьное образование сильно обуздывает непредусмотрительность бедного; этот стимул будет уничтожен. Иной человек так слаб, что едва в состоянии удерживаться от какой-нибудь порочной или эксцентричной наклонности; в этой борьбе его всего сильнее поддерживает мысль, что, не совладав с собой, он не будет в состоянии обучать свое семейство грамоте, между тем как такое обучение составляет для него предмет гордости. Коль скоро эта узда ослабнет, он падет. В деле самообладания он не только перестанет совершенствоваться, но подвинется назад и вместо того, чтобы поставить свое потомство на более высокую степень цивилизации, поставит его на более низкую.

Таким образом, государство, как было сказано выше, может воспитывать в одном направлении только за счет загробления, в другом — может увеличивать количество знаний лишь за счет нравственных совершенств. Оно замедляет развитие свойства, в котором чувствуется всеобщая необходимость и отсутствие которого обуславливает существование бедности, разврата и преступлений. И все это делается для того, чтобы дать какие-нибудь обрывки научных знаний.

Какой контраст между этими жалкими ухищрениями людей и удивительным механизмом, созданным природой и действующим в тиши! Природа принимает в расчет все силы и употребляет их с экономией, доведенной до совершенства. Она одинаково извлекает пользу и из действия, и из реакции. В ее руках страстная привязанность человека к своему потомству делается двигателем культуры в двух направлениях, развивая одновременно и родителей, и детей... и придавая им более совершенные формы. Наблюдатель поражается красотой зрелища, видя, как могущественнейший из инстинктов подвергает людей дисциплине, которой они, может быть, не поддались бы ни при каких других условиях. И это-то искусно сплоченное устройство государственные люди пытаются расшатать; они самонадеянно утверждают, что их патентованный механизм будет действовать гораздо лучше!

§ 11. Мы видим, что предписания отвлеченно выведенного закона подтверждаются посторонними соображениями

в настоящем случае точно так же, как и во всех предыдущих. Предполагаемое право государства на воспитание опровергается тем, что при логически последовательном его развитии оно приводит к совершенно нелепым требованиям. Затем его неосновательность доказывается невозможностью обозначить для него точные границы. Но если бы даже и было возможно, то сказанное право все-таки нельзя защищать потому, что оно налагало бы на государство обязанность деспотически проводить свой взгляд на систему воспитания, а на подданных — обязанность подчиниться такому деспотизму. Мнение, будто воспитание нельзя рассматривать с той же точки зрения, с какой рассматриваются другие отрасли человеческой деятельности, потому что в этом случае «интерес и суждение потребителя недостаточно обеспечивают достоинство товара», опровергается на том основании, что из этого довода уже неоднократно делались весьма сомнительные выводы — он употреблялся в различных случаях и постоянно оказывался несостоятельным. Нельзя также допустить, что «интерес и суждение» правительства достаточно обеспечивают успех воспитания. Напротив, опыт показывает, что интересы правительства и всех его учреждений прямо противоположны основной цели воспитания, достойного этого имени. Мнение о необходимости государственного воспитания на том основании, что всякое другое воспитание оказывается неудовлетворительным, доказывает лишь близорукий взгляд на прогресс человечества; им выражается странное сомнение в достаточности естественных деятелей как распространителей просвещения среди людей, хотя деятели эти возвели человечество на настоящую высоту и теперь разливают в его среде свет в недостижимых размерах. Положение, будто воспитание предупреждает преступления, также не может считаться извинением для вмешательства, так как оно не подтверждается ни теорией, ни практикой. Сверх того, оказывается, что подобное учреждение — не что иное, как мертвая машина, которая в одном виде дает силу, поглощаемую им в другом, и в результате получается одна отрицательная величина, производимая трением. Машина эта не может приняться за дело воспитания, не уничтожая той силы, которая теперь ведет к этой цели; она, следовательно, вовсе не способна воспитывать.

XXVII | ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

§ 1. Колония есть община. Поэтому вопрос, имеет ли государство право основывать и управлять колониями, практически равняется вопросу, имеет ли одна община право основывать другие и управлять ими. Вопрос этот касается не одних только отношений между членами общества и его властями: тут еще примешивается интерес людей, стоящих вне этого общества; поэтому такой вопрос в известном отношении не входит в состав предметов, подлежащих здесь нашему рассмотрению. Принцип, которым мы руководствуемся, укажет нам, однако же, и в этом случае вполне верный путь исследования.

Что правительство не может управлять делами колонии, содержать для нее судебный штат, полицию, гарнизон и прочее, не нарушая прав метрополии, — это едва ли требует доказательств. Ведь оно нарушает свои обязанности всякой издержкой для этой цели, будет ли такая издержка, подобно нашей, составлять более трех с половиной миллионов фунтов стерлингов или всего несколько тысяч. Мы видели, что права человека нарушаются государством всякий раз, когда у него отбирается более собственности, чем это необходимо для наибольшего обеспечения его безопасности. Удовлетворять же колониальным издержкам невозможно, не отбирая у граждан их собственность. Следовательно, издержки эти не имеют оправдания.

Иной спорщик станет, пожалуй, утверждать, что если законодательная власть метрополии содержит в колониях подчиненное ей законодательное учреждение, то она только исполняет по отношению к поселенцам первоначальную свою обязанность покровительства, а эти последние имеют право на подобную защиту. Но ведь обязанности общества относительно самого себя или, другими словами, правительства по отношению к своим подданным таковы, что не позволяют ему принимать на себя подобную ответственность. Коль скоро назначение правительства в том, чтобы охранять выполнение закона равной свободой, то оно не может одну часть подданных обложить большим сбором, чем необходимо для их собственной защиты, а другой

оказывать покровительство по цене более низкой, чем действительная. Охранять же эмигрантов за счет оставшихся — значит поступать именно таким образом. Ограждение, доставляемое народом в качестве корпорации каждому из своих членов, связано с известными условиями. Гражданин должен платить свою долю издержек, должен отправлять известные политические обязанности и жить в определенных географических пределах известной территории. Если гражданин отправляется в другое место, то нужно предполагать, что он сообразил, с одной стороны, все выгоды эмиграции, а с другой — все невыгоды, сопряженные с лишением гражданства, и он нашел перевес на стороне преимуществ, ожидающих его при перемене места. Во всяком случае, он не может доказать, что общество, отказываясь посылать своих служителей к антиподам для его охранения, нарушает признанный или предполагаемый контракт.

Сверх того, так называемое колониальное управление невозможно без нарушения прав колонистов. Если переселенцы, как это обыкновенно бывает, управляются властями, посланными из метрополии, то закон равной свободы нарушается этим точно так же, как и всяким автократическим правлением. Если им предоставляется управлять своими делами по собственному усмотрению, а за метрополией остается только право вето, то этим все же не устанавливается справедливости, так как члены старой общины будут в этом случае иметь более свободы, чем члены новой. Если, наконец, новая община управляется точно так же самостоятельно, как и старая, то она фактически перестает быть колонией и превращается в отдельную нацию. Только в одном случае возможно законодательное единство между метрополией и колонией без нарушения закона, а именно: если они составят одно государство и с каждой стороны посылаются представители в одно общее собрание для управления целым. С теоретической точки зрения такое устройство будет совершенно справедливо, оно даже нашло себе применение во Франции, а все-таки его неполитичность слишком очевидна для того, чтобы обратить на него серьезное внимание. Предположить, чтобы Англия писала законы для народа, живущего в Австралии, на мысе Доброй Надежды, в Новой Зеландии, в Канаде, на Ямайке и т.д., и чтобы эти местности, в свою очередь, давали законы для Англии и друг друга — это так же практично, как

предложение, чтобы мясник наблюдал за правильной сортировкой у торговца сукном, чтобы продавец сукна составил прейскурант для торговца пряностями, а этот последний давал бы наставление булочнику, как печь хлеб.

Итак, невозможно допустить политической связи между метрополией и колониями, именно вот почему: в том виде, в каком она обыкновенно поддерживается, подобная связь неизбежно нарушает права членов обеих общин, справедливость же может быть восстановлена не иначе, как с помощью учреждения, невыполнимого до нелепости.

§ 2. Папа Александр VI с крайней бесцеремонностью разделил неизвестные страны земли между испанцами и португальцами. Испанцам он подарил все открытые и неоткрытые земли идолопоклонников, которые лежат на запад от известного меридиана, проведенного через Атлантический океан; португальцам — все, что лежит на восток. Королева Елизавета также, очевидно, не считала нужным особенно церемониться, уполномочивая сэра Хэмфри Джилберта на «открытие и завладение отдаленными идолопоклонническими странами и в прилегающих к ним морях». Не менее бесцеремонности обнаружил и Карл II, когда дал Винтропу, Мейсону и другим власть «убивать, резать и уничтожать всеми удобными путями, всякими мерами и способами всех и каждого, как отдельное лицо, так и многих лиц, которые бы впредь покусились или предприняли что-либо, клонящееся к разрушению, захвату или вреду предположенных в Коннектикуте колоний или к беспокойству жителей». Все экспедиции с колонизационной целью до настоящего времени сохраняли отвратительное сходство с образом действия морских разбойников. Сюда принадлежат все захваты в Америке, французские приобретения в Алжире и Таити, английские завоевания в Синди и Пенджабе*. Эти бессовестные поступки сопровождались, однако, как это обыкновенно бывает, заслуженным возмездием. Ненасытная жадность, слепая страсть хватать все, до чего достают руки, породили крайне ложные убеждения и доводили народы до гибельных поступков. «Богатство людей измеряется количеством владеемой ими земли, — рассуждали политики, — увеличение поземельного владения очевидно равняется увеличению богатства. Следовательно, что же может быть яснее?

Всякое приобретение новой территории выгодно для народа». Введенные в заблуждение такой аналогией и прищипориваемые страстью к приобретению, мы захватывали одну провинцию за другой, не обращая никакого внимания на постоянные потери, которыми все это сопровождалось. Действительно, очень трудно было себе представить, чтобы из этого могли происходить потери. Прибавка в какой-нибудь вещи должна обогащать — это кажется каждому до того очевидной истиной, что людям никогда не приходило в голову спросить себя, какой окажется результат, если прибавленная величина будет отрицательная. Даже теперь, когда обществом начинает овладевать сомнение, инстинктивное стремление не оставлять уже захваченного так сильно, что оно не допускает изменения в политике. В настоящем своем положении мы похожи на ту обезьяну, про которую рассказывается в басне: эта почтенная дама запустила руку в кувшин с плодами и захватила столько, что не могла вытащить руку обратно; она, однако же, и не думала оставить захваченного и должна была тащить кувшин за собой. Скоро ли мы достигнем чего-нибудь лучше такой обезьяньей мудрости? К счастью, прежний дух пиратства начинает в нас ослабевать. Завоевание не прославляется более, как это было прежде, и мы перестаем смотреть на него как на средство для национального возвеличения. Приобретение новых территорий в Индии считалось злополучной необходимостью и печалило всех. Опыт учит нас, что отдаленные владения суть тягость, а не приобретение. Прежняя побудительная причина к государственной колонизации, ненасытная страсть к новым завоеваниям скоро будет разрушена убеждением, что политика захвата новых территорий есть политика настолько же дурная, насколько и несправедливая.

§ 3. Воровские наклонности составляли истинную побудительную причину всех колонизационных набегов, начиная Кортесом и Писарро и до наших дней. Обыкновенно они прикрывались каким-нибудь звучным именем, маскировались блестящей ложью и в глазах людей принимали даже величественный вид — до того искусно их украшали грандиозностью цели; целью же выставлялось обыкновенно распространение религии или развитие торговли. В наше время в особенности любили прибегать к последнему предлогу. Открытие новых рынков — такова была

цель, о которой люди громко заявляли друг другу. И в самом деле, после «расширения пределов государства» колониальное законодательство более всего руководствовалось такой целью. Оценим этот взгляд законодателей.

Святые люди, которыми так изобиловали средние века, кажется, находили особенное наслаждение в том, чтобы показывать свои сверхъестественные силы при самых ничтожных случаях. Обыкновенный их подвиг состоял в удлинении бревен, которые при постройке церквей сделаны были плотником слишком короткими. Некоторые имели обыкновение призывать огонь с неба для того, чтобы засветить свечи. За неимением места, куда бы положить свое платье, один святой превратил луч солнца в вешалку. Про святого Колумбана рассказывают, что он чудесным образом удалил червей от своей капусты. Эти примеры великих мер, употребляемых для достижения незначительных целей, можно сопоставить с усилиями правительств для обеспечения колониальной торговли: нелепость тех и других различается лишь по отношению к ее размерам. Они одинаково характеризуются смешной несообразностью между массой проявившейся силы и поводом, по которому она проявляется. В том и в другом случае неестественный деятель употребляется для достижения цели, которой очень легко было бы достигнуть и с помощью средств, вполне естественных. Торговля — вещь весьма простая; она является сама собой всюду, где только есть место для ее существования. Несмотря на то, государственные люди нашли, что ее следует породить посредством гигантского и дорогостоящего механизма. Торговля тогда только выгодна для страны, когда она за переданное посредственно или непосредственно возвращает товары большей ценности, чем можно было бы получить иным способом. Но государственные люди не признают этих пределов ее прибыльности. Им кажется, что всякое новое место для сбыта английских произведений есть драгоценное приобретение, во сколько бы сбыт этот ни обошелся стране. Видите вы этот жалкий, дрянной островок или эту дикую территорию? Нужды нет, что местность нездорова, бесплодна, представляет суровые условия для жизни или даже вовсе необитаема; но на нее можно наложить руку по праву открытия или путем завоеваний и дипломатических сношений, тотчас совершается завладение, назначается губернатор со значительным жалованием, около него

собираются чиновники; затем являются форты, гарнизоны, охранительные суда. С течением времени возникает ссора с соседними народами, влекущая за собой вторжение, войну; это вызывает постройку новых укреплений для защиты; нужны новые силы, новая трата денег. На все протесты против таких неправильных издержек один ответ: «Обратите внимание, в какой степени это расширяет нашу торговлю». Мы жалуемся на 800 000 фунтов, брошенных для укрепления Гибралтара и Мальты, на ежегодный расход в 130 000 фунтов для защиты Ионических островов, на содержание 1200 солдат в таком никуда не годном месте, как Бермудские острова, на гарнизоны острова св. Елены, Гонконга, Гельгоlanda и пр.* Нам отвечают, что все это необходимо для защиты нашей торговли. Против возражений относительно ежегодной издержки в 110 000 фунтов на управление Цейлоном** считается достаточным ответом, что Цейлон покупает у нас произведений на огромную сумму 240 000 фунтов в год. Когда критикуется политика, удерживающая Канаду с помощью ежегодного расхода в 800 000 фунтов, то отвечают, что это составляет всего тридцать процентов из тех денег, которые употребляются жителями этой страны на покупку наших произведений¹. Находитесь ли вы под влиянием страха, что долги Ост-Индской компании когда-нибудь падут на английский народ, порицаете ли издержку в 17 000 000 фунтов для ведения афганской войны, сетуете ли на 1 000 000 фунтов, растрачиваемых ежегодно в Синдии, на огромные суммы, потребляемые для порабощения Пенджаба, — против всего этого вечно одно и то же извинение: подобными путями мы ведь расширяем нашу торговлю. На том же основании занимаются леса Борнео, пустынные земли кафров и бесплодные возвышенности Фолклендских островов***. Самая крайняя расточительность извиняется, когда за этим следует незначительный запрос на товары. Извинение принимается даже в том случае, когда запрос явился вследствие потребности снабжения гарнизона: потребовались, например, стекла для окон в бараках, крахмал для офицерских рубашек, рафинированный сахар для стола губернатора; все это перечисляется с величайшей тщательностью в таблицах департамента

¹ Относительно всех этих и тому подобных фактов см. речи сэра Молесворта, произнесенные в течение заседаний 1848 и 1849 годов.

торговли и служит поводом к выражениям радости по случаю увеличения нашего вывоза!

§ 4. Мы тратим так много денег не только для *незначительного* выигрыша, мы тратим их *без всякой прибыли*; мало этого, мы достигаем нашими издержками лишь новых *убытков*. Выгодная торговля с колониями должна установиться естественным образом. Чтобы ее достигнуть, не нужно тратить ни одного пенса на колониальную администрацию. Всякая торговля, которая не устанавливается сама собой, не выгодна, а убыточна. Если какая-нибудь колония торгует только с нами, то для этого могут существовать две причины: или мы производим предметы ее потребления по более дешевой цене, чем всякая другая нация, или принуждаем ее жителей покупать у нас эти предметы, хотя они могут приобрести их дешевле в другом месте. Если мы можем продавать по самым дешевым ценам, то будем исключительно снабжать рынки колонии даже и тогда, когда она будет независима. Если мы не можем продавать дешевле других, то мы, без всякого сомнения, наносим себе косвенным образом такой же вред, как и поселенцам. Мак-Куллох говорит: «Всякая страна обладает известными естественными и приобретенными способностями и условиями, которые дают ей возможность производить предметы известных отраслей промышленности с большим успехом, чем это возможно для всякой другой местности. Если на рынке колонии метрополия не может продавать требуемые от нее товары дешевле других, то из этого прямо нужно заключить, что она не только не обладает превосходством, но работает при невыгодных условиях. Если мы насильственным образом устраиваем в колониях рынок для товаров, которые не могли бы продать при других условиях, то тем самым употребляем часть нашего капитала и труда менее выгодным способом, чем они употребились бы при естественном ходе вещей». Мы наносим себе убыток, производя товар, который для нас было бы гораздо выгоднее покупать, и к этому мы прибавляем еще другой вред: чтобы успокоить колонистов, нам приходится покупать у них произведения, которые мы с большей выгодой могли бы купить в другом месте. Вот результаты, к которым приводят страстно желаемые нами монополии: мы переносим двойной убыток.

Это — еще один урок, показывающий нам, с каким уважением мы должны относиться к предписаниям справедливости и какой всеобщей применимостью они отличаются. Выгодными для нас оказываются именно те торговые сношения с колониями, которых мы можем достигнуть, следуя внушениям справедливости, все же, которыми она нарушается, доводят до убытка.

§ 5. Если мы от своих собственных интересов перейдем к интересам колоний, то и там встретим одни лишь дурные результаты. Материнское покровительство метрополии очень привлекательно с виду, но в то же время крайне обманчиво. Если мы от слов перейдем к делу, то найдем в нем очень мало материнского чувства. Указания опыта в этом отношении изложены с большей откровенностью в декларации американской независимости. Говоря о короле, в котором олицетворяется метрополия, поселенцы выражаются так:

«Он препятствовал правильному отправлению суда, отказывая в своем согласии законам, необходимым для установления судебных властей.

Он создал множество новых должностей, наслал сюда толпы чиновников, которые отягощали народ и поглощали средства, необходимые для его существования.

Он содержал среди нас в мирное время постоянные армии без согласия наших законодательных собраний.

Он входил в союз с другими с целью подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и не признанной нашими законами; он давал свое согласие на мнимозаконодательные (а в сущности — основанные на присвоенной власти) постановления этих других. Этим путем в нашей среде был учрежден постой для значительного числа войск.

Войска эти были ограждены судом, представлявшим насмешку над правосудием, от наказаний за убийства, какие могли иметь место по отношению к жителям штатов.

Прекращена была наша торговля со всеми частями света.

На нас наложены были подати без нашего согласия.

Мы во многих случаях лишены были благодетелей суда присяжных, и т.д., и т.п.

Хотя, вообще говоря, в настоящее время в нашем законодательстве относительно колоний нельзя уже встретить такой

бесчеловечной тирании, тем не менее стоит только заглянуть в газеты, выходящие в наших заморских владениях, чтобы убедиться, что департамент колоний не приносит им особособ счастья.

В сорока шести разбросанных владениях, которыми нас обременили государственные люди, мы постоянно встречаемся с хроническим раздражением различной степени, которое проявляется то в прошениях, то в открытых восстаниях. Два взрыва в течение пятнадцати лет совершенно ясно указывают чувства, господствующие в Канаде; чувства эти не только продолжают существовать, но растут. Кап Берс произвел в течение того же времени три восстания, и, кроме того, мы только что пережили шумное волнение и страстную войну с ним на бумаге из-за ссылок. В Вест-Индии господствует всеобщее недовольство. Из Ямайки нам пишут, что прекратились платежи сборов и действие государственной машины остановилось. Из Гвианы приходят такие же новости*. В одном месте ссоры из-за укреплений, в другом — мятежные собрания, и повсюду неудовольствие. Имя Цейлона напоминает нам дерзость титулованного губернатора и ожесточение оскорбленных поселенцев. Ссылнопоселенцы составляют горе австралийских колонистов, а в Новой Зеландии протестуют против деспотизма чиновников. Со всех сторон мы слышим одно и то же: небрежность, не обращающая внимания ни на какие жалобы, бесконечная дерзость, безрассудства, споры, проволочки и подкуп. В Канаде жалуются, что жителей побудили посредством обещания дать им привилегию употребить свои капиталы на устройство мельниц, которые затем благодаря последующему законодательству сделались излишними. Постоянно изменяющийся размер покровительства доводит сахарные плантации до того, что там не знают, как быть. Южная Африка представляет нам пример дурного управления, которое в одно время ставит нас во враждебные отношения к гриквасам**, а в другое — возбуждает войну с кафрами. Новозеландцы жалуются на нелепо избранное центральное место для управления — на деньги, брошенные для постройки ненужных дорог, тогда как существенные потребности остаются неудовлетворенными. Южную Австралию обанкротило самодурство ее губернатора; посредством распределения земель поселенцы так рассеиваются по стране, что грубеют в уединении;

работники высылаются в слишком большом числе и доходят до нищенства. Торговле с Китаем грозит опасность от оскорбительного обращения наших офицеров с туземцами. Лабуанские власти устроили первые поселения в заразительных болотах.

Эти жалкие результаты покровительства матушки-метрополии не должны нас удивлять, если мы обратим внимание на то, кем тут исполняются материнские обязанности. Сорок шесть общин, состоящих из различных рас, живущих в самых разнородных условиях, разбросаны там и сям по поверхности земли на расстоянии от тысячи до четырнадцати тысяч миль. Нужно не менее трех четвертей года, чтобы послать в некоторые из них запрос и получить ответ. На ком же лежит забота об этих многочисленных и отдаленных местностях? Где сосредотачиваются их коммерческие, социальные, политические и религиозные интересы? Все это в руках шести чиновников и двадцати трех канцеляристов, сидящих за своими конторками на Даунинг-стрит! Приходится 0,12 чиновника и полканцеляриста на каждое поселение!

Не справедливо ли после этого, что такую государственную колонизацию нельзя защищать ни с точки зрения благоденствия колоний, ни с точки зрения интересов метрополии? Неужели нет тут основания сомневаться в пользу управления народом, живущим на одном полушарии, посредством чиновников, помещающихся на другом? Неужели эти отдаленные общины не устроили бы сами свои дела лучше, чем мы их устраиваем? Во всяком случае, нашей исполненной любви заботливости можно бы, кажется, уже успокоиться насчет этих поселенцев, если бы оказалось, что они добровольно отказываются от нашего господства. Самое романтическое великодушие может потребовать от нас только предложения наших добрых услуг; если услуги эти отвергаются, то мы со спокойной совестью можем считать себя свободными от всяких обязанностей. Если мы предоставим жителям каждой колонии решить по большинству голосов, хотят они получать законы от Англии или нет, то можем быть уверены, что получим такой ответ: только бы вам это было все равно, для нас же гораздо удобнее самим давать себе законы.

§ 6. Велико зло, которое правительственная колонизация причиняет метрополии и поселенцам, но они ничтожны в сравнении

с тем, что приходится переносить первобытным жителям завоеванных стран. Жители Явы верят, что души европейцев переходят после смерти в тела тигров; один из туземных предводителей на Испаньоле* не пожелал попасть в рай, когда услышал, что там будут испанцы. Это знаменательные факты — это мрачные указания на многие ужасы, не сохранявшиеся в летописях. Впрочем, в них заключается намек на дела, которые отнюдь не хуже того, что повествует нам история. Кого не поражали рассказы об истреблении вест-индских племен, заморенных в рудниках, известия о том, как на мысе Доброй Надежды владельцы готтентотов наказывали их, стреляя дробью им в ноги, как голландцы в один день перебили девять тысяч китайцев в Батавии**, как французы душили еще недавно арабов в погребках Дары; а между тем это только отдельные примеры обыкновенного обращения так называемых христианских народов с покоренными племенами. Если бы кто-то стал льстить себе надеждою, что мы, англичане, не повинны в подобных варварствах, тому скоро пришлось бы устыдиться при рассказе о наших подвигах на Востоке. Англоиндийцы последнего столетия, эти «хищные и перелетные птицы», как их называл Берк, оказались только на самую незаметную величину менее жестокими, чем их прототипы в Перу и Мексике. Можно только представить, сколько тут было черных дел, когда даже директора компании должны были согласиться, что «огромные состояния, нажитые посредством внутренней торговли, были добыты путем тиранического и притеснительного поведения, не имеющего себе подобия ни в одном веке и ни в одной стране». Нетрудно себе составить понятие, в каком ужасном состоянии находилось общество, описанное Ванзитаром, когда он рассказывает, что англичане принуждали туземцев покупать и продавать по ценам, какие им угодно было назначить, *под страхом тюремного наказания и тюремного заключения*. Пусть всякий судит о том, до чего доходило дело, когда Уоррен Гастингс, описывая одно путешествие, говорит: «Множество маленьких городов и караван-сарав покинуты были жителями при нашем приближении». Хладнокровное вероломство составляло установившуюся политику властей. Владельцы вовлекались в войну между собою; одному помогали низвергнуть его противника и потом его самого лишали престола под предлогом несправедливых будто бы

поступков. Всегда был под руками какой-нибудь ручей, где буд-то бы мутилась вода, для того чтобы разыграть роль волка. Если земли зависимых владельцев казались соблазнительными, то их разоряли непомерной данью, и когда они наконец оказывались не в силах удовлетворять требования, тогда неплатеж объявляли изменой и наказывали лишением власти. Подобные несправедливости продолжаются и до настоящего времени¹. До сих пор продолжается тягостная монополия соли и безжалостное вымогательство поборов, которые отнимают у бедных туземцев приблизительно половину произведений земли. До сих пор существует система хитрого деспотизма, которая с помощью солдат из местных жителей держит туземцев под гнетом, постоянно распространяющимся все более и более. Еще несколько лет тому назад целый полк сипаев* был намеренно истреблен, потому что отказался выступить в поход без надлежащей одежды — вот каков этот деспотизм! До сих пор полицейские власти соединяются с богатыми мошенниками и употребляют закон для целей вымогательства. До сих пор так называемые джентльмены топчут своими слонами засеянные поля разоренных крестьян, набирают для себя запасы в деревнях туземцев и не платят за них. До сих пор жители внутренних стран убегают в леса при виде европейца!

Для всякого ясно, что государственная колонизация, колонизация с помощью государственных денег и государственной силы делается главным источником всех этих жестокостей, всего этого вероломства, кровавых дел и грабежей — словом, всего того, за что в этих случаях приходится краснеть европейским народам. Нет никакой надобности приводить здесь в доказательство последние происшествия в Веро, что в Новой Зеландии, войну с кафрами, наши постоянные задиранья на Востоке и всю историю колоний — дело очевидно само по себе. Школьник, сделавшийся нахальным потому, что у него есть старший брат, который всегда готов его защищать, — вот первообраз колониста, имеющего в метрополии страшилище, всегда готовое на его поддержку и охрану. Незащищенные эмигранты, поселившиеся среди чуждого им племени, будут чувствовать себя слабой стеной, и можно быть уверенным, что они поведут себя хорошо.

¹ См. депеши сэра Александра Бёрнса.

Подобная община, по всей вероятности, разрастется, оставаясь в дружественных отношениях с туземцами. Но лишь только за этими эмигрантами последуют полки солдат, лишь только они выстроят для себя форт и обставят его пушками, лишь только они почувствуют, что перевес на их стороне, они тотчас сделаются совершенно другими людьми. Грубость, которая сдерживалась на родине дисциплиной цивилизованной жизни, проявится со всей силой: нередко они окажутся более порочными, чем когда-нибудь могли себе это вообразить. К их собственным дурным наклонностям присоединятся различные зловередные влияния: военная сила, их охраняющая, имеет сильные поползновения к возбуждению ссор, так как война обещает добычу, гражданские чиновники не менее склонны к войне, потому что завоевание обещает им новые места и более быстрое повышение. Все поощряет склонность к задиранию. Склонность эта неизбежно проявится в действиях и доведет колонистов до тех жестокостей, которые позорят цивилизацию.

§ 7. Для окончательного разъяснения наших взглядов история представляет нам фактические доказательства, что правительственная колонизация постоянно сопровождалась бесконечными бедствиями и злодеяниями, а естественная была совершенно свободна от всех этих зол. Пример Вильяма Пенна показал людям, что кротость, справедливость и прямотушие жителей колонии служат для них несравненно лучшей защитой, чем войска, укрепления и храбрость губернаторов. Честь эта принадлежит ему несомненно. Пенсильвания во всех отношениях служит примером справедливой колонизации и представляет собой резкий контраст с поселениями, никогда не стеснявшимися тем, что называется правдивостью. Колония эта основана была частными людьми, а не государством. Ей не нужно было защиты метрополии, потому что она не нарушала нравственного закона. О трактатах ее с индейцами говорится, что это были «единственные трактаты, не утвержденные клятвой, и единственные, которые не были нарушены». Эти договоры служили лучшей защитой, чем гарнизоны. В течение семидесяти лет, пока власть находилась в руках квакеров, колония была свободна от зол, постигавших другие селения, от пограничных набегов с их неизбежными спутниками — страхом, потерями и

кровопролитиями. Жители поселений были в постоянно дружественных и обоюдовыгодных сношениях с туземцами. Эта полная безопасность привела к естественному своему последствию: материальное благосостояние колоний возросло необыкновенно быстро.

Можно не без основания предполагать, что подобная политика была бы столь же выгодна и в других случаях. Не подлежит, например, никакому сомнению, что если бы Ост-Индская компания не получала ни военной помощи, ни правительственных привилегий, то и дела этой компании, и дела Индостана были бы теперь в несравненно лучшем положении. Безумная страсть к власти никогда не обременила бы ее огромным долгом, который парализует теперь все ее действия. Энергия, растраченная в наступательных войнах, была бы обращена на развитие источников богатства в крае. Торговля шла бы гораздо успешнее, без расслабляющего влияния монополий. Туземные владельцы под влиянием дружественных сношений с племенем, одаренным более высокими качествами и развитием, облегчили бы всякие усовершенствования. Нам не представлялось бы современное зрелище рек, остающихся несудоходными, дорог без мостов и мостовых, земель, гложущих в пренебрежении, несмотря на доказанное их плодородие. Частная предприимчивость давно бы открыла эти источники богатства; она делает это даже и теперь, несмотря на все препятствия, какие власть, страстная до завоеваний, ставит на ее пути. Если бы поселенцы обратили все свое внимание на торговлю и вели себя мирно, к чему они вынуждены были бы беззащитным своим положением, то прямым следствием этого было бы несравненно лучшее снабжение Англии сырьем, размножение рынков для сбыта ее произведений и нечто действительно полезное для цивилизации Востока.

§ 8. Итак, опыт доказывает различными путями справедливость закона о государственных обязанностях, воспрещающего правительственную колонизацию. Оказывается, что распространение владычества не равняется увеличению благосостояния; напротив, нападения, порождаемые страстью к территориальным приобретениям, приводят к потерям. Уверенность, что мы будто бы обеспечиваем для себя торговые выгоды, сохраняя

законодательную связь с колониями, оказывается заблуждением: в самом счастливом случае мы напрасно тратим суммы, нужные для содержания колониального управления, чаще же несем еще дальнейшие убытки, устанавливая искусственную торговлю. Государственную колонизацию нельзя защищать и с точки зрения покровительства, оказываемого поселенцам, потому что это так называемое покровительство в действительности вырождается в притеснение. Поселенцы, которым в этом случае должно принадлежать право окончательного решения, весьма положительно выражают свое желание освободиться от такого покровительства. Что касается до туземцев, то жестокости, которые им пришлось переносить, обязаны своим происхождением всего более защите, ожидаемой переселенцами со стороны метрополии. Наконец, мы имеем убедительные доказательства, что добровольная колонизация не только возможна, но что она не сопровождается тем многообразным злом, которое сопряжено с колонизацией правительственной.

XXVIII | САНИТАРНАЯ ПОЛИЦИЯ

§ 1. Идеи, господствующие по отношению к законодательному вмешательству в дело народного здравоохранения, кажется, не имеют определенной теории. Восточная медицинская ассоциация в Шотландии утверждает, что государство настолько же обязано охранять здоровье подданных, насколько и собственность. «Times» недавно заявила, что государственный совет обязан охранять народное здоровье в государстве¹. Не существует, однако же, ни одной политической партии, которая бы открыто признавала это учение и внесла его в состав своего политического кодекса. Впрочем, подобный взгляд на дело выражается в весьма распространенных мнениях по вопросам об осушении улиц и почвы, о снабжении водой, о вентиляции и т.п.

Ясно, что в сферу деятельности государства входит ограждение всякого от вреда, причиняемого кем-либо его здоровью и собственности. Тот, кто заражает атмосферу, которой дышит его сосед, нарушает права этого соседа. Люди имеют равное право на свободное пользование естественными произведениями природы, так как обладают способностями, которые нуждаются в этом свободном пользовании для своей деятельности; пользование ограничивается более или менее всем тем, что делает эти произведения в известной степени негодными. Поэтому всякий человек, который без нужды портит произведения природы и делает их вредными для здоровья или неприятными для чувств, очевидно, нарушает права других. Правительство в качестве покровителя прав прямо обязано оказывать помощь тем, чьи права таким образом нарушаются.

Далее этого предела деятельность его нельзя признавать законной. Мы уже повторяли много раз, что отбирать у гражданина его собственность в большем размере, чем то необходимо для удовлетворительной защиты его прав, — значит нарушать его права. Государство в этом случае делает прямо противоположное своему назначению, другими словами — поступает несправедливо. Следовательно, всякое обложение сборами для

¹ См.: «Times», 17 октября 1848 г.

целей санитарной полиции должно быть отнесено в категорию поступков подобного рода и не имеет для себя оправдания.

§ 2. Учение о таком вмешательстве, для которого департамент народного здоровья и все учреждения в этом роде служат применением, не только вполне несогласно с нашим взглядом на государственные обязанности, но одинаково беззащитно против тех возражений, какие уже делались нами в аналогических случаях. Говоря об обязанности государства принимать меры для ограждения здоровья подданных, обыкновенно подразумевают под этим, что оно должно стать между шарлатанами и теми, которые их поддерживают, — между торговцем лекарственными снадобьями и ремесленником, которому нужно средство против простуды, что оно должно ограждать народ от эмпирического лечения и воспрещать всем, не имеющим диплома, прописывать лекарства. Такого мнения придерживается большинство медиков. Однако же поступать таким образом — значит прямо нарушать нравственный закон. Подобным вмешательством в дела торговли права людей нарушаются точно так же, как и всяким другим вмешательством. Больной имеет право покупать лекарство и искать совета, где пожелает; занимающийся практикой без диплома волен продавать и совет, и лекарство каждому, желающему их купить. Всякая преграда, поставленная в этом случае между продавцом и покупателем, будет нарушать закон равной свободы; такое нарушение менее всего простительно для правительства, т.е. учреждения, обязанность которого — хранить этот закон.

Кроме того, учение об обязанности государства охранять здоровье подданных не может быть признано основательным еще и по той причине, по которой мы отвергали все подобные теории: невозможно обозначить пределы такой обязанности. Здоровье зависит от выполнения самых разнородных условий; его можно охранять, лишь обеспечив все эти условия; следовательно, если на обязанности государства лежит охранение здоровья подданных, то оно обязано наблюдать, чтобы *все* условия, необходимые для этого, были исполнены. Спрашивается, должна ли такая обязанность выполняться последовательно? Если требовать последовательности, то законодательство должно установить правила национальной диеты, предписать, сколько каждое лицо должно потреблять ежедневно муки, определить количество и качество пищи как для женщин, так и для мужчин, назначить, сколько,

чего и когда каждый должен пить, издать точные правила о раз-
мере и свойствах деятельности граждан, установить формы для
платья, назначить часы сна, соразмерив их с полом и возрастом;
словом, в эту регламентацию должно входить все, что необходи-
мо для полного определения поступков и занятий народа в тече-
ние дня. Для наблюдения за исполнением всех этих правил долж-
но быть назначено надлежащее число чиновников, обладающих
необходимыми для того способностями, которым предоставле-
на будет власть управлять внутренней семейной жизнью каждо-
го. Если такое наблюдение за поведением человека в частной его
жизни не признается обязательным, то возникает вопрос, в ка-
кой же точке между ним и полным отсутствием надзора прове-
сти границу обязательной регламентации? На этот вопрос невоз-
можно дать никакого ответа.

§ 3. Мы встречаем явную аналогию между предоставлени-
ем правительству опеки над здоровьем народа в физическом
и в нравственном отношении. Опека в том и в другом случае
имеет основания и может быть защищаема лишь однородны-
ми аргументами. Если мы признаем ее основательной в одном
случае, то мы должны признать ее основательной и в другом,
и наоборот. Если удобно устраивать посредством парламент-
ских актов благосостояние человеческих душ, то не менее удоб-
но будет тем же способом устраивать и благосостояние чело-
веческих тел. Тот, кто находит государство призванным оказы-
вать гражданам духовную помощь, должен уж последовательно
считать его призванным и для помощи материальной. Очище-
ние общества от заразы порока может послужить прецедентом
для его очищения от всякой другой заразы. Тот, кто освобождает
жилища людей от вредных испарений, создает себе этим оди-
наково законное право и на удаление вредных элементов из их
нравственной атмосферы. Опасение, чтобы не имеющие разре-
шения проповедники не распространили ложных учений, име-
ет для себя полную аналогию в опасении, чтобы практики без
диплома не давали вредных лекарств или советов. Меры, сочи-
ненные для преследования одного зла, могут заключать в себе
наказания, удобные для уничтожения другого. Наоборот, все
аргументы, которые употребляются диссентером для доказа-
тельства, что государство не имеет права вмешиваться в дела,

касающиеся до нравственного здоровья народа, с небольшим изменением в выражениях могут иметь применение к здоровью физическому.

Пусть никто не думает, что эта аналогия — воображаемая. Оба явления имеют между собой не одно теоретическое сходство: есть факты, доказывающие, что и те и другие стремятся создавать для себя однородные учреждения. Медики обнаруживают явную склонность к такой же организации, какую мы встречаем среди духовенства. Хирурги и доктора сииются создать медицинские учреждения, однородные с духовными. В этом случае у них то же самое побуждение, как и у прожектеров, сочиняющих железные дороги: под влиянием тайной надежды на доходные места эти господа уверяют и себя, и других, что предположенная дорога будет благодетельна для публики; побуждение это похоже на стимул, руководящий всеми людьми в подобных положениях, — в нем девять долей эгоизма приукрашены одной долей филантропии. Публика мало знакома с деятельной агитацией, которая ведется специальными изданиями для достижения надзора за народным здоровьем. В «Lancet» помещаются статьи, в которых доказывается, что медицинских чиновников, содержимых за счет сбора для бедных, необходимо поставить в независимое положение от управления, заведующего этим сбором; их следует определить пожизненно и ставить в зависимость только от центрального управления, назначив большие жалования из консолидированного фонда. «Журнал общественного здоровья» предлагает, чтобы «каждый дом при выезде из него обитателей осматривался сведущими людьми, которые обязаны определить, могут ли безопасно жить в нем будущие жильцы». С этой целью нужно с владельцев земли собирать пошлины, которые и употребить на «содержание инспекторов с ежегодной платой по четыре или по пяти сот фунтов каждому». Неспециальное издание, вторя этой статье, говорит: «Ни один благоразумный человек не может сомневаться в том, что если бы домовладельцам предписана была надлежащая система вентиляции, то этим был бы положен предел не только для холеры, но и для других эпидемических болезней, и общий уровень народного здоровья значительно бы возвысился». «Medical Times» обнаруживает перед нами свои симпатии, заявляя с явной похвалой, что турецкое правительство недавно

опубликовало указ, которым назначались медики с жалованием от государства, обязанные безвозмездно лечить всех — и бедных, и богатых, и давать советы каждому, кто к ним обратится.

Во всех приведенных выписках с большей или меньшей ясностью, но несомненно высказывается желание, чтобы организован был класс людей, содержимых за счет государственных сборов, которому вверено было бы попечение о телесном здравии жителей точно так же, как духовенству вверено здравие духовное. Известно, как вырастают учреждения: их совершенно невинное с виду детство приводит мало-помалу к грозной зрелости, являются права на доходы, политическое влияние, сильный инстинкт самосохранения. Тот, кто знаком с этим ходом дела, поймет, что зародыш, который мы видим в настоящем случае, при благоприятных обстоятельствах может очень легко разрастись до подобной организации. Немудрено убедиться, что в подобных благоприятных обстоятельствах недостатка не будет; по большей части предложения об учреждении должностей инспекторов для наблюдения за общественным здоровьем, публичных хирургов и пр. истекают из среды медиков, слишком многочисленных для обеспечения своего существования; такая многочисленность будет встречаться постоянно, так как медиков всегда будет слишком много, то они постараются размножить число созданных ими должностей, и это размножение станет совершаться тем же самым путем, как чрезмерно многочисленное духовенство размножает церкви. Мало этого, следует предполагать, что распространение просвещения неизбежно должно производить свое давление на рынок, где конкурируют между собой интеллектуальные работники, и что такое давление будет постоянно усиливаться; с тем вместе постоянно будут усиливаться стимулы, побуждающие к учреждению новых мест; в то же время все те, которые чувствуют потребность в «благородных» занятиях для своих сыновей, будут поддерживать эту мануфактуру должностей — из всего этого выйдет постоянно возрастающая опасность от развития медицинских учреждений.

§ 4. Самое благовидное основание, по которому не считают возможным распространить принципы свободы промышленности на медицинскую помощь, заключается в том же, что

приводится для оправдания вмешательства в дело воспитания: суждение потребителя считается тут недостаточной гарантией достоинства товара. Нетерпимость, которую правоверные хирурги и медики обнаруживают по отношению к самозванным последователям их ремесла, объясняется желанием защитить общество против шарлатанства. «Невежественный народ, — говорят они, — не может отличить дурного лечения от хорошего, знающих свое дело советников от незнающих, следовательно, необходимо, чтобы кто-нибудь выбирал вместо него». Затем они идут по стопам духовенства, которое постоянно оправдывало свои преследования подобными же основаниями; они агитируют в пользу сильных мер против практиков без дипломов и распространяются об опасностях, которым подвергаются люди при отсутствии стеснений. Послушайте Уэклея. По случаю недавно возобновленного закона, относящегося до аптекарей и продавцов лекарств, он говорит: «Закон этот должен в значительной степени ограничить ужасное зло, называемое контрпрактикой. Медицинская практика людей, не обладающих надлежащими знаниями, уже с давних пор составляла позор для медицинских законов нашей страны и, безо всякого сомнения, сопровождалась страшным количеством жертв, поплатившихся жизнью» («Lancet». 11 сентября 1841 г.). Далее говорится: «Нет ни одного аптекаря, который бы отказался предписывать больным лекарство в своей собственной аптеке или затруднился ежедневно прописывать простые средства для больных младенцев и детей... Мы уже говорили выше об огромных размерах этого зла, однако же совершенно ясно, что мы еще слишком низко оценили опасность, которой подвергается общество» («Lancet». 16 октября 1841 г.).

В этих забавных преувеличениях всякому нетрудно узнать речь пристрастия, а не филантропии. Однако же допустим все это. Мы не будем останавливаться на интересном вопросе, каким образом могло случиться такое странное явление, что народ не обратил никакого внимания на «ужасное зло», сопровождавшееся страшным «количеством жертв, поплатившихся жизнью», не станем говорить и о том, почему здесь ни одним словом не упоминаются благодеяния, оказываемые «контрпрактикой», а благодеяния эти все-таки должны в значительной степени вознаграждать за «зло огромного объема»; мы

согласимся, что много бедных людей страдает от предписаний аптекарей и шарлатанов. Допустим в целях нашей аргументации, что все сказанное выше справедливо, и посмотрим, можно ли найти в этом достаточное основание для законного вмешательства.

Невежество и недостаточное суждение сопровождаются неудобствами, страданиями и смертью — вот наказания, которые предназначены для них природой; тут же заключаются и средства для их исправления. Человек, полагающий, что он может исправить дело, отделив невежество от наказаний, которыми это последнее сопровождается, изъявляет претензию более чем на божественную мудрость и хочет благостью превзойти божество. Суровым может показаться ход вещей, который с неизменной твердостью наказывает на нарушение закона; жестоким кажется порядок, где поскользнувшаяся нога наказывается переломом, где за неосторожным поглощением вредного растения следует продолжительная агония, где эпидемии от времени до времени уносят десятки тысяч болезненных жизней; но мы можем быть уверены, что жестокость тут лишь кажущаяся, а не действительная. Уничтожая наименее развитых и подчиняя остающихся вечно действующей дисциплине, природа обеспечивает развитие расы, способной понимать условия существования и сообразоваться с ними. Коль скоро мы в какой-либо степени ослабим эту дисциплину и станем между невежеством и его последствиями, то мы в том же размере ослабим и прогресс. Если бы невежество доставляло нам столько же безопасности, сколько и мудрость, то никто бы не сделался мудрым. Всякая мера, которая стремится поставить невежество на одну ногу с мудростью, неизбежно ограничивает рост этой последней. Именно таким образом действуют акты парламента, которые стараются спасти ограниченных людей от зол, причиняемых им верой в эмпириков, и поэтому они вредны. По-видимому, предоставлять ограниченного человека на произвол страданиям, сопряженным с его ограниченностью, безжалостно, а между тем это лучшее, что можно сделать. Глупец должен перенести страдание как умеет; он должен сохранить урок, данный ему опытом, и действовать на будущее время рациональнее. Случившееся с ним послужит предостережением и для него, и для других. Большое число подобных предостережений

непременно должно породить во всех людях предусмотрительность, соответствующую той опасности, которую следует устранить. Может статься, есть желающие облегчить процесс? Что ж, пусть уничтожают ложные взгляды, если они будут делать это законным путем, то чем усерднее станут действовать, тем лучше. Но, охраняя невежественного человека от дурных последствий его невежества, отрывая последствия от причины, с которой соединил их Бог, делая излишними интеллектуальные силы, вложенные в нас для того, чтобы они служили нам руководством, словом, выбивая из своей колеи механизм, созданный для обеспечения нашего существования, мы неизбежно должны породить одни бедствия.

Возможно ли, в самом деле, сняв с себя цветные очки предразсудка, окрашивающие наблюдаемые предметы в тот или другой цвет, и, отрешась от своих любимых проектов, не видеть всей нелепости покушений защищать людей от самих себя? Если бы нашим прожекторам удавалось постоянно выполнять свои планы, то они напомнили бы мир несчастным населением дураков. Из человека они сделали бы самое жалкое существо — существо, которое не имело бы силы поддерживать себя и для своей жизни постоянно нуждалось бы во внешней опеке, существо, которое вечно сбивалось бы с пути и не могло бы обойтись без того, чтобы его другие каждый раз направляли на истинную дорогу, — нечто, постоянно стремящееся к саморазрушению. Все усилия природы направлены к тому, чтобы освободить мир от подобных созданий и дать место лучшим. Природа требует, чтобы всякий индивид удовлетворял сам себя. Все, что неспособно к подобной жизни, постоянно удаляется посредством смерти. Ум, достаточный для того, чтобы устранять опасность, сила, достаточная для соблюдения всех нужных условий существования, ловкость для борьбы с ними — вот способности, требующиеся постоянно и неизменно. Обратите внимание, как тут поступает с болезненным. Чахоточные, т.е. субъекты с легкими, неспособными к отправлению обязанностей легких, люди с пищеварительными органами, которые не в состоянии принимать достаточно пищи, с пороком сердца, которое не выносит возбуждения при кровообращении, — словом, особи с каким бы то ни было недостатком в своем устройстве, который мешает им надлежащим

образом выполнять условия жизни, постоянно вымирают или остаются позади тех, которые приспособлены к климату, пище и жизненной обстановке, среди которой родились. Даже менее несовершенные организации, которые при обыкновенных обстоятельствах могут вести удовлетворительную жизнь, во время эпидемий делаются одними из первых жертв; остаются только организмы, достаточно сильные, чтобы противостоять и этому влиянию, т.е. те, которые достигли такого приспособления, что могут выносить и случайные, и обыкновенные условия существования. Таким способом раса освобождается от пороков. Подобное положение заключает в себе истинный ход дела, и невозможно себе представить другого порядка вещей. Это истина, на которую большинство людей обращает мало внимания. Они не замечают ее применения к телесному сложению и еще менее обращают внимания на ее отношение к душе. Она основательна, однако же, и в этом последнем случае. Природа настолько же требует гармонии в душевных свойствах с окружающими обстоятельствами, насколько и в телесных; радикальный недостаток и в том, и в другом случае приводит к смерти. При философском обобщении вопроса ясно, что люди, которых глупость, пороки и лень доводят до смерти, должны быть поставлены на одну ногу с жертвами слабых внутренностей и уродливых членов. В том и в другом случае существует гибельный недостаток приспособления; с отвлеченной точки зрения все равно, будет ли этот недостаток нравственный, интеллектуальный или телесный. Эти несовершенные существа — ошибки природы; как скоро они оказываются такими, они берутся назад ее законами. Они подвергаются испытанию вместе с другими. Если они окажутся достаточно совершенны для жизни, то останутся жить, и хорошо, если так. Если же они недостаточно совершенны, то умрут, и это — лучшее, что такие существа могут сделать. При строгом испытании, которому они подвергнутся, уже не будет обращать внимание на то, в чем заключается несовершенство: в недостатке ли силы, ловкости, понимания, предусмотрительности или самообладания. Если в какой-нибудь способности оказывается необыкновенный недостаток, то, по всей вероятности, с течением времени за этим последует бедственный, а в крайних случаях гибельный результат. Деятельность этого закона

представляется нам весьма неправильной: остается масса солом, которую следовало бы вывезать, уносится множество зерен, которым следовало бы остаться; но если мы рассмотрим дело внимательнее, то окажется, что в *среднем уровне* общество все-таки очищается действием этого закона от негодных в *каком-либо отношении* элементов.

Если строгость этого процесса умеряется самопроизвольным проявлением симпатии людей по отношению друг к другу, то облегчение это правильное, хотя и не подлежит сомнению, что симпатия, не обращающая внимания на окончательный результат своей деятельности, должна причинять зло. Но ретроградное движение, происходящее таким образом, ничтожно по сравнению с благодеяниями, которые порождаются тут в других отношениях. Чистое зло получается только тогда, когда симпатия нарушает естественную справедливость, порождает вмешательство, запрещаемое законом равной свободы, когда она таким образом в известных отраслях жизни разрывает связь между устройством человека и условиями его существования. В этом случае она не достигает своей цели. Вместо того, чтобы уменьшать страдания, она их увеличивает. Она поощряет размножение наименее приспособленных к условиям существования и таким образом мешает размножению наиболее приспособленных. Для последних остается менее места. Она стремится наполнить мир существами, которым жизнь приносит более страданий, чем удовольствий, и удалить из него тех, которым она, в общем выводе, улыбается. Она причиняет положительное бедствие и предупреждает положительное счастье.

§ 5. Что касается до нетерпеливой агитации, порождающей проекты об улучшении нашего здоровья посредством парламентской деятельности, то все они прежде всего бесполезны, потому что в природе существуют достаточные деятели, которыми достигается желаемая в этом случае цель.

Филантропы нашего времени похожи на слепорожденно-го, которому возвращено зрение: они смотрят на жизнь вновь раскрытыми у них глазами симпатии и составляют себе весьма грубое и преувеличенное понятие о зле, с которым приходится иметь дело. Одними овладевает забота о просвещении ближних, и вот они собирают статистические данные, указывающие

на огромные размеры невежества, публикуют их, и страх овладевает любителями в том же роде. Другие погружаются во мрак, в котором скрывается бедность, и наводят ужас на мир описанием того, что они там видят. Иные собирают сведения о преступлениях и омрачают расположение духа мягкосердечных людей посредством своих открытий. Ужас, наведенный подобными сведениями, заставляет людей легкомысленно предполагать, что зло увеличилось. Эти добродушные субъекты не догадываются, что сказанные сведения дошли до них не потому, что зло сделалось больше, а потому, что они стали внимательнее к нему. Если до настоящего дня слышно было мало жалоб на преступления, невежество и нищету, то это не оттого, что в прошлые времена такие бедствия были менее распространены — на деле было противное, но наши праотцы были равнодушнее нас в этом отношении: они мало думали и говорили о таких бедствиях. Все это проходит незамеченным; обыкновенно забывают, что социальное зло уменьшалось лишь постепенно, подобно движению прогресса, идущему с возрастающей быстротой. И вот начинают бить ненужную тревогу и пугают ужасными последствиями, если злу не будет оказана немедленная помощь, наводя таким образом на людей страх и поддерживая в них мечтательное убеждение, что немедленная помощь возможна.

Таково преобладающее теперь настроение по отношению к санитарной реформе. Мы имеем множество «синих книг», рапортов департамента народного здоровья, руководительных статей, памфлетов и лекций, описывающих дурное состояние дренажа, помойные ямы и сточные трубы, переполненные нечистотами, заражающие воздух, кладбища, нечистоту воды, грязь и сырость в квартирах подвальных этажей. Полагают, что факты, опубликованные таким образом, оправдывают или скорее даже требуют законодательного вмешательства. Кажется, никогда не делалось вопроса: не существует ли процесса, посредством которого зло это исправляется само собой? Всякому известно, что смертность постоянно уменьшалась у нас, что данные относительно продолжительности жизни в Англии более благоприятны, чем где-либо; что города наши теперь чище, чем когда-либо прежде, что самородные наши санитарные меры лучше, чем те, которые принимаются на материке; там кельнская вонь, парижские непокрытые канавы для спуска нечистот, берлинские

чаны с водой¹ и жалкие тротуары германских городов указывают на влияние государственного управления. Все это знают — и все-таки придерживаются превратного мнения, что лишь заботы правительства могут устранить остающиеся еще вредные влияния на состояние общественного здоровья. Причины, которые довели у нас водосточные трубы, мостовые, водопроводы и освещение городов до их современного положения, конечно, не прекратили внезапно своего действия. Можно, безо всякого сомнения, надеяться, что улучшения, которые в течение последних двух или трех столетий украсили Лондон, будут продолжаться. С тех пор, как закон об устройстве городских общин облегчил выполнение улучшений, настроение общества привело к стольким усовершенствованиям в городах, что дальнейший прогресс в этом направлении не подлежит никакому сомнению. Все, что было до сих пор сделано для здоровья городов, было сделано не только без помощи правительства, но, несмотря на препятствия с его стороны, несмотря на тягостные издержки, сопряженные с актами парламента, заключающими в себе местные распоряжения. После этого мы имеем полное основание предполагать, что все, что остается сделать, может быть сделано тем же самым путем, особенно если препятствия будут устранены. Следовало бы полагать, что в настоящее время вмешательство даже менее извинительно, чем когда-либо. Теперь, когда так много уже сделано, когда самородный прогресс достиг беспримерного развития, когда начинают повсеместно изучать условия здоровья, изменять свой образ жизни, заводить ванны, когда проявляются, наконец, заботы об умеренности, о вентиляции, об упражнении, — вступаться именно теперь — это такой необдуманный и ничем не вызванный шаг, который не имеет ничего себе равного.

Увлекаясь пламенным желанием добыть как можно скорее законодательным путем для народных масс более здоровые квартиры, люди не видят, что естественный процесс, который уже начал производить свое действие, есть единственный путь, способный привести к окончательному успеху. Столичное общество для улучшения жилищ рабочего класса делает все, что

¹ Для тушения пожаров в Берлине в различных местах города стоят открытые чаны с водой, которые перевозятся туда, где они нужны.

только возможно сделать в этом отношении. Оно стремится доказать, что при добросовестном управлении устройство здоровых помещений для бедных составляет выгодное употребление капитала. Как скоро оно это докажет, оно сделает все, что нужно сделать, потому что капитал в этом случае легко направится к употреблению, дающему хороший доход. Если оно не докажет этого, если после надлежащего испытания выяснится, что образцовые наемные квартиры не оплачиваются и что рабочий народ может получать лучшие помещения только тогда, когда дома, в которых он живет, будут приносить менее дохода — в таком случае никакие акты парламента, сколько бы их ни было издано от настоящего времени до последнего дня творения, не улучшат положения ни на одну йоту. Проекты для достижения хорошей вентиляции посредством законных предписаний, законы вроде билля лорда Морпеса, который настаивает на снабжении водой и определении для нее таксы, предписания о чистке свободных квартир прежде, чем они заняты будут снова, и наблюдении за ними хозяев, — словом, все планы, которые заставляют домохозяев доставлять жильцам более выгод за те же деньги, — все это повторения старого предложения об осуществлении законным путем невозможного. Как скоро они придут в действие, то первым их результатом будет уменьшение выгод домовладельцев. Как скоро дома не будут приносить прежних процентов, то капиталы будут искать для себя другого употребления. Постройка домов не будет идти одинаковым шагом с возрастанием населения. Число людей, занимающих один и тот же дом, будет постепенно увеличиваться. Такое изменение в отношении между числом домов и количеством населения будет продолжаться до тех пор, пока требование на квартиры доведет доходы домовладельцев до прежних размеров, и до тех пор, пока от чрезмерной тесноты не произойдет новый вред для здоровья, который сравняется с предыдущим¹. Если можно сделать экономию со стороны поземельной

¹ Подобные результаты породил закон о столичных постройках. Закон этот произвел в домах, принадлежащих к лучшим разрядам, некоторое преобразование (вовсе, впрочем, не соответствовавшее по размерам ожиданию, так как надсмотрщики подкупаются взятками, и, кроме того, пошлина, которую они собирают при осмотре всякой незначительной постройки, действует так же, как бы действовал

ренты, устраивая здание большего объема и высоты, если при этом можно уменьшить издержки на постройку внешних стен и крыши и таким образом на те же самые средства устраивать большие и лучшие квартиры (что, впрочем, весьма вероятно),

штраф за улучшение); но сколько зато причинил он зла именно там, где от него ожидали благотельного влияния! Один архитектор и надсмотрщик описывает его действие следующим образом: некоторые части Лондона состоят из небольших домов, плохо построенных, для улучшения которых издан был новый строительный закон. Дома эти дают ренту среднего уровня и достаточно вознаграждают тех владельцев, которые успели закончить постройку экономическим образом прежде, чем вышел означенный билль. Такой установившийся здесь средний уровень ренты определяет доход, который могут давать в этих частях города новые дома того же устройства, т.е. имеющие то же число комнат, потому что люди, для которых эти дома строятся, не придают цены безопасности, доставляемой им жизнью в стенах, скрепленных связками из крепкого железа. Теперь опыт показывает, что дома, построенные на основании новых правил и которые отдаются в найм по такой установившейся цене, не приносят достаточного дохода. Поэтому строители стали строиться в лучших частях города, где возможна для них выгодная конкуренция с домами уже существующими, что указывает достаточно солидную постройку этих последних). Они перестали строить дома для помещения масс во всех вообще предместьях, кроме тех, где здоровью не грозит особая опасность. Между тем в только что описанных частях города теснота в квартирах увеличилась: в одном доме помещается до полдюжины семейств — до двадцати жильцов в комнате. Этого мало: жалкое, разрушенное состояние, до которого доходит жилище бедных, производится отсутствием конкуренции со стороны новых построек. Жильцы не соблазняются более предложениями лучших помещений и не оставляют своих прежних хозяев. Поправки не нужны более для обеспечения хорошего дохода и потому не делаются. Если жильцы требуют постановки новой печи, то для владельца служат достаточным извинением пошрины, которые необходимо при этом заплатить надсмотрщику, и он ничего не делает. Таким образом, новый строительный закон произвел некоторые улучшения там, где они не особенно были необходимы; в тех же случаях, где они всего были нужнее, он не сделал ничего хорошего, а напротив, породил зло несравненно большее, чем то, которое должен был устранить. Оказывается, что большая часть тех ужасов, которые наши деятели в области общественной гигиены предполагали излечить путем законодательства, порождены были прежними деятелями той же самой школы!

то стоит только доказать этот факт, и конкуренция капиталов сделает все, чего в этом направлении можно достигнуть. Но если все это окажется невыполнимым, то, значит, более ничего нельзя и сделать; мнение, будто тут возможно помочь горю законодательными и принудительными мерами, будет достойным товарищем убеждения, что можно таксами устанавливать цены на хлеб и работу.

Те, которые так заботятся об улучшении здоровья бедного *посредственным* путем законодательной машины, сделали бы не дурно, если бы обратили свое усердие *непосредственно* на дело, которое тут ищет себе исполнителя. Что бы им обратиться к симпатиям и интересам людей! Пусть они докажут капиталистам, что улучшения в этом отношении окупятся. Пусть они разъяснят им, что производительная сила работника увеличится посредством улучшения его здоровья и что вместе с тем уменьшится подать для бедных. Но прежде всего им следует требовать, чтобы устранены были те препятствия, которые полагаются современным законодательством при выполнении всяких улучшений в санитарном отношении¹. Усилия их, направленные в эту сторону, действительно приведут к прогрессу. Теперешние же их старания или бесполезны, или вредны.

¹ До отмены сбора с кирпича «Строитель» писал: «Предполагают, что четвертая часть цены строений, которые отдаются в наем за два шиллинга шесть пенсов или за три шиллинга в неделю, употребляется на покрытие издержек для приобретения нужных документов и на уплату пошлин с употребленного на постройку дерева и кирпича. Владелец такой собственности, конечно, должен вознаградить себя, и он увеличивает наемную плату на семь с половиной или на девять пенсов в недешо для покрытия издержек». Г. Гатлиф, секретарь Общества для улучшения помещений рабочего класса, описывая влияние подати с окон, говорит: «С заведения св. Панкратия платится в настоящее время 162 фунта 16 шиллингов подати с окон, или один процент с первоначальной стоимости. Средняя плата квартирантов Общества составляет пять шиллингов и шесть пенсов в недешо; из этой суммы семь с четвертью пенсов в неделю идет на уплату оконной подати» (Депутация к лорду Эшли, см. «Times». 31 января 1850 г.). Г. В. Воллер, портной, говорит: «Недавно я устроил один из вентиляторов Арнота в печи мастерской и никак не думал, что мистер Беджер, надсмотрщик нашего округа, потребует с меня за это двадцать пять шиллингов пошлины» («Morning Cronicle». 4 февраля 1850 г.).

§ 6. Попытки сделать через посредство законодательства жизнь в городах более здоровой можно порицать не только потому, что они оказываются излишними, так как в этом направлении уже действуют силы естественные, но и потому, что они не достигают цели, к которой стремятся. Кроме того, парламентские акты, направляясь по этому пути, могут действовать лишь посредством орудий, которые сами по себе достойны порицания. В этом случае, как и во многих других, так называемые «практические меры» дали обычный результат: они заменили деятелей, хорошо выполняющих свое назначение, другими, вовсе не способными действовать столь же успешно. В Англии вообще и в Лондоне в особенности находят неудовлетворительными сточные трубы, помойные ямы, средства против зловоний и т.п. Собраны многочисленные и убедительные данные, устанавливается единогласное убеждение относительно упомянутой неудовлетворительности. Граждане озабочены и решаются обратиться с просьбой в парламент. Парламент обещает рассмотреть дело и, после обычных дебатов, постановляет: «Да будет департамент народного здравия!» Просители потирают себе руки и ожидают великих последствий. Простоваты же эти добрые люди! — простоваты до бесконечности... Законодательство разочаровывало их пятьдесят раз кряду и все-таки не уничтожило веру в действительность законодательных мероприятий. Они надеялись, что злоупотребления церкви будут исправлены духовной комиссией; бедные помощники священников могут сказать нам, осуществилась ли эта надежда. Опираясь на закон парламента, комиссия для рассмотрения закона о бедных должна была искоренить способное к труду нищенство, однако же сборы для бедных быстро возрастали до прежнего уровня, несмотря на ограничение этого роста благосостоянием последнего времени. Новый строительный закон должен был дать лондонскому населению лучшие квартиры, но мы видели, что он ухудшил те из них, которые более всего нуждались в усовершенствовании. Люди легкомысленные надеялись исправить преступников системой молчания или системой отделения; но если послушать споры защитников того и другого учения, то убедимся, что ни одно из них не оказалось особенно успешным. Посредством промышленного воспитания дети бедных должны были сделаться хорошими гражданами. Что же? Со всех сторон

мы получаем сведения, что большая часть из них идет в тюрьму, обращается к проституции или возвращается в рабочие дома. Меры, принятые законом 1840 г. об оспопрививании, должны были истребить натуральную оспу — рапорты же директора департамента народной переписи показывают, что смертность от упомянутой болезни усилилась. С каждым годом увеличивается число мертворожденных мер, и нам нетрудно было при первой надобности привести множество из них в настоящем сочинении (Утилитарная философия, § 3; лемма II, § 5; гл. XXII, § 6). Несмотря на это, в способности законодателей выполнять свои обещания едва только начинают сомневаться. С того времени, когда законодательство пыталось определять цену монеты, и до наших дней, когда оно только что отказалось от установления цен на хлеб, государственные люди принимали на себя всякого рода дела, начиная определением покроя сапожных носков и кончая приготовлением людей к загробной жизни; во всех этих случаях они терпели неудачу и достигали результатов, совершенно не похожих на ожидаемые. И все-таки вера людей неисчерпаема: они видят все это, они каждый день слышат о нелепостях, какие делаются в департаментах, об управлении адмиралтейства, которое растрчивает три миллиона в год на постройку дурных судов и потому должно их ломать, о лесной комиссии, которая даже не знает дохода с земель, ею управляемых, о невежественных акцизных химиках, заставляющих свое начальство начинать уголовное преследование по делам, которые оканчиваются в пользу ответчиков и за которые приходится потом платить вознаграждение, и после всего это правительству стоит только заявить о новом благовидном проекте, и люди тотчас начинают кричать «ура», бросают вверх шапки и вполне уверены, что все так и сделается, как обещано.

Убеждение, что департамент народного здоровья и всякое учреждение в этом роде никогда не может исполнить того, что от него ожидается, нет надобности основывать на отвлеченных рассуждениях или на опыте, сделанном вообще относительно орудий государственной власти. Ведь уже у нас действует одно подобное учреждение, и, насколько можно судить до настоящего времени, оно не сделало ничего, чтобы оправдать народные ожидания. Неблагоразумно было бы, может статься, осуждать его за то, что существуют по-прежнему водосточные

трубы, заражающие воздух, открытые желоба для стока нечистот, грязные улицы — для исправления такого распространенного зла необходимо время. Но мы имеем пробный камень, который дает возможность правильно оценить его деятельность. Это — поведение сказанного установления до и во время последней эпидемии. Уже более чем за год оно имело сведения, что холера направляется к нам. Между тем временем, когда можно было предвидеть вторичное появление этой болезни, и временем наибольшей смертности было целых два парламентских заседания. Департамент народного здоровья имел, следовательно, достаточно времени для принятия всех нужных мер или усиления своих средств, если бы это оказалось необходимым. Какого же первого шага следовало от него ожидать? Не следовало ли думать, что он прежде всего уничтожит погребение в стенах города? Понятен вред от погребения мертвых в среде живых; зло, происходящее от такого обыкновения, всеми признано, и чтобы его уничтожить, достаточно было простого применения власти. Если департамент народного здоровья полагал, что власть его в этом случае достаточна, почему он не употребил ее, когда получил известие о приближении эпидемии? Припомните его деятельность за последнее время, и едва ли вы признаете недостаточность его власти; если же такой недостаток существовал, почему же департамент не испросил себе большую? Вместо того чтобы действовать в этом направлении, он занимался проектами о будущем снабжении водой и сочинял системы труб для стока нечистот. В то время как приближалась холера, департамент народного здоровья рассуждал о реформах, от которых самая крайняя восторженность могла ожидать значительной пользы только в будущем. Когда, наконец, враг уже был у нас на носу, тогда эта стража, на которую люди возлагали всю свою надежду, вдруг зашевелилась и наделала таких вещей, от которых в то время зло ухудшилось, вместо того чтобы исправиться. На медицинском митинге, собравшемся в самый разгар холеры, один оратор утверждал, что «комиссия народного здоровья приняла именно те самые меры, которые, по всей вероятности, должны были произвести эту болезнь». Вместо того чтобы распорядиться год назад, она теперь вздумала пошевелить всякого рода нечистоты. Она начала свозить навозные кучи, очищать помойные ямы и т.д., чем только подливала масла

в огонь и удесятерила господствовавшее зло. Невозможно припомнить времена, когда бы существовало такое скопление зловредной вони, какое было произведено городскими комиссиями здоровья, пустившимися очищать атмосферу. Наконец, когда смертность продолжала увеличиваться, несмотря на все, что было сделано, а может быть, отчасти и *вследствие* этих мер, тогда было решено запретить кладбища. Следует предполагать, что это было сделано в надежде ограничить этим путем смертность. О, конечно, там были сотни тысяч разлагающихся тел, и если только к ним не прибавить еще нескольких, то это немедленно должно произвести значительное влияние!

Если ко всему этому прибавить, что холера похищала большее число жертв, чем прежде, после того, как даны были наставления о предохранительном лечении и устроена система посещений на дому, то мы будем иметь некоторое основание предполагать, что наша санитарная стража не сделала нам добра, а может быть, даже произвела еще и зло.

Если нам скажут, что департамент народного здоровья дурно устроен или не имеет достаточной власти и что при лучшей организации он дал бы другие результаты, то следует ответить, что подобные фатальные препятствия для успеха мы встречаем постоянно, и эти обстоятельства должны служить причиной для осуждения всякого вмешательства. Всегда становится на пути какое-нибудь неприятное *если бы*. *Если бы* духовенство господствующей церкви было тем, чем ему следует быть, тогда бы государственная церковь могла принести пользу. *Если бы* приходы добросовестно раздавали деньги бедным, тогда бы законы о бедных не имели таких дурных последствий. *Если бы* санитарная организация могла выполнить то, что на нее возлагается, тогда бы можно было сказать что-нибудь в ее пользу.

§ 7. Даже при существовании полной возможности водворить в наших городах самые лучшие условия для здоровья посредством агентов государства, в окончательном результате для нас все-таки было бы лучше остаться при том, что мы имеем, чем получить благодеяния таким путем. Совершенно невозможно приносить такие жертвы даже для достижения великой цели. Хотя телесное здоровье и великое благо, но мы слишком дорого за него заплатим, если променяем его на здоровье душевное.

Тот жестоко ошибается, кто полагает, что правительство может дать нам преимущества здоровья даром или что мы можем за них поплатиться только какими-нибудь сборами. Мы должны платить за них нашими свойствами настолько же, насколько и податями; за них придется отдать равные ценности иной монетой, чем золото, да еще невозможно будет отделаться равным вознаграждением.

Мы еще раз припомним здесь, что люди не могут создавать силу. Они могут только воспользоваться существующей силой и употребить ее для достижения той или другой цели. Они не могут ее увеличить, не могут заставить ее произвести большее усилие, чем то, к какому она способна; насколько они истратят ее для известного назначения, настолько она уменьшится в своем размере при всяком другом употреблении. Теперь уже всеми принято учение, что то, что мы называем химическом средством, теплотой, светом, электричеством, магнетизмом, двигательной силой, представляет различные проявления известной основной силы, из которых каждое может быть превращаемо в другое; какую бы форму, однако же, сила ни принимала, она может дать лишь столько, сколько дала бы, сохраняя прежний свой вид. То же самое верно и относительно сил, действующих в среде общественной. Силу, которая приводит теперь к известному результату, можно обратить для достижения какой-нибудь иной цели. Один род влияния можно превратить в другой. Но невозможно *усилить* такое влияние, нельзя получить его *даром*. Посредством законодательного маневра мы не можем увеличить нашу способность для достижения предметов наших желаний; мы можем достигнуть их в этом случае лишь за счет трат, сделанных в другом месте. Именно настолько, насколько в одном отношении сделано улучшение, в другом будет ухудшение.

Если мы обратимся к другой точке зрения и станем рассматривать общество как организм, то найдем, что жизненную силу этого организма нельзя искусственным образом обратить на увеличение деятельности одного отправления, не уменьшая размеров других. Пока общество предоставлено себе самому, до тех пор различные его органы будут развиваться надлежащим образом, подчиняясь друг другу. Если окажется, что некоторые его органы слишком несовершенны и развиваются

слишком слабо для достижения надлежащей силы и деятельности, то причина такого явления будет, безо всякого сомнения, заключаться в том, что несравненно более важные органы находятся в подобном же неразвитом состоянии; а так как жизненная сила общества имеет свои пределы, то слишком быстрый рост одних органов прекратил бы рост других. Можно вполне положиться на то, что природа сделает свое дело, как скоро явится необходимость в лучшем развитии какого-либо отправления или даже в создании новой функции. Доказательством может служить возрастание известных мануфактурных городов и морских портов, а также образование компаний различного рода. Как скоро возрастает требование на какой-либо предмет общего потребления, орган, занимающийся этим производством, тотчас же усиливает свою деятельность: занимает большее число людей, развивается и производит в большем изобилии. Точно таким же образом порождаются орудия для выполнения других социальных требований, удовлетворяются потребности религии, культуры, воспитания и т.д.; менее важные уступают место более важным. Этот процесс совершенно подобен росту зародыша, где отдельные части развиваются в том порядке, в котором они нужны для жизни. Вступаться в этот процесс и производить преждевременное развитие в каком-либо особом направлении — значит расстроить правильный ход организации и произвести соответствующую атрофию в другом месте. Никогда не следует забывать, что во всякое время общество владеет жизненной силой лишь в определенном размере. Эта жизненная сила зависит от степени приспособления, от степени, в какой люди приобрели способность соединяться в общество, от того, насколько успешна их деятельность в качестве единиц социального организма; мы можем быть в полной уверенности, что пока свойства людей остаются неизменными, до тех пор ничто не в состоянии увеличить общий размер их жизненной силы. Совершенно несомненно также, что этот общий размер силы может породить лишь определенные по количеству результаты и что никакое законодательство не добудет от него ничего лишнего; порождая произвольное потребление силы, она уменьшает ее действительность.

Разъясняя влияние законов о бедных и государственно-го воспитания, мы уже рассматривали во всех подробностях

реакцию, парализующую всякие попытки увеличить результаты силы. На такую же реакцию можно указать и в деле санитарной полиции. Реакция эта, между прочим, стесняет всякие улучшения в социальном быту, которые требуют предприимчивости и настойчивости со стороны народа. При естественном ходе вещей развитие интеллекта и самостоятельного характера должны идти равным шагом с усилиями в другом. Таким образом, человек в заботах об укреплении своего тела мало-помалу незаметно укрепляет и свой дух. Наоборот, если дело совершается за человека искусственным путем и через это уменьшается потребность в деятельности мысли и в силе воли, то этим самым замедляется развитие этих способностей и вместе с тем останавливаются зависящие от них улучшения в общественном быту.

Доказательство найти нетрудно; стоит только сравнить английскую энергию с континентальной беспомощностью. Английские техники (Мэнби, Вильсон и комп.) ввели газовое освещение в Париже после того, как французская компания потерпела неудачу; англичанами же устроены были газовые аппараты во многих других местах Европы. Английский инженер (Миллер) ввел пароходство на Роне*. Другой английский инженер (Притчард) проехал на пароходе вверх по Дунаю, после того как французам и немцам такая попытка не удалась. Первый пароход на Луаре был построен англичанами (Фосетом и Престоном); англичанин (Тирней Кларк) построил большой висячий мост в Пеште**; англичанин же (Виньоль) строит теперь еще больший висячий мост через Днепр; на многих континентальных железных дорогах английские инженеры служат советниками; несмотря на знаменитое Фрейбургское горное училище***, разработка многих рудников на Рейне была начата английскими капиталами, употреблявшими в дело английское знание и искусство. Что же это значит? Отчего наши дилижансы до такой степени лучше подобных же учреждений у наших соседей — французов и немцев? Почему у нас система железных дорог развивается гораздо быстрее? Почему наши города чище, лучше вымощены и лучше снабжаемы водой? Первоначально у нас не замечалось больших механических способностей и более сильной потребности прогресса, чем у других одноплеменных народов Северной Европы, скорее, наоборот. Усовершенствованное искусство завезено было к нам из-за границы. Зародыши шелковой и бумажной мануфактуры

заброшены к нам извне. Первые гидравлические сооружения сделаны были в Лондоне голландцем. Каким же образом произошла перемена в этих отношениях? Ясно, что перемена эта произошла от различия в дисциплине. В заведовании своими делами английский народ более всех других предоставлен был самому себе, вот почему он приобрел большую самостоятельность и долю практической ловкости. Сравнительная беспомощность европейских народов, обнаруживающаяся в вышеуказанных фактах и описанная Лэнгом в его «Заметках путешественника»* и другими наблюдателями, является естественным результатом государственной опеки — это реакция, неизбежно связанная с деятельностью официальных механизмов, это атрофия, соответствующая всякой искусственной гипертрофии.

§ 8. Остается обратить внимание еще на одно кажущееся затруднение, которое связано с изложенным здесь учением. Если государство не имеет права на санитарную полицию, потому что должно при этом отбирать у граждан собственность в больших размерах, чем это необходимо для ограждения их прав, то ведь общины также не должны иметь права на подобную деятельность и по той же самой причине. Если города осушаются, освещаются и мостятся посредством принудительных сборов, то кем бы ни делался этот сбор — центральной или местной властью — во всяком случае его нельзя допустить, потому что через это чрезмерно увеличивается ценность законной защиты, которая, таким образом, превращается в нарушение прав (гл. XXII, § 1). Выходит, что никакая система для обеспечения городов и селений не может считаться справедливой: ни та, которой держались в былое время, ни современная, ни предполагаемая в будущем.

Это, по-видимому, очень неудобное для нас заключение, тем не менее оно выходит из нашего общего принципа, и мы должны его принять. Остается только разъяснить себе справедливый прием для водворения порядка на улицах и во дворах. Сток нечистот не представляет затруднения. Дома можно очищать тем же самым коммерческим способом, посредством которого они теперь снабжаются водой. Весьма вероятно, что удобрение, которое можно получать таким образом, в руках частной компании не только вознаградит издержки его собирания, но еще

даст значительный барыш. Если бы не оказалось таких выгод, то капиталисты вознаградили бы себя платой от владельцев очищаемых домов; возможность закрыть в каждую данную минуту главную сточную трубу двора обеспечивала бы в этом случае своевременную уплату точно так же, как подобные же меры обеспечивают аккуратный взнос денег компаниям водопроводов и газового освещения со стороны людей, пользующихся их услугами. Мостовая и освещение могут быть оставлены на произвол домовладельцев. Если бы об удовлетворении этой потребности не позаботились общественные власти, то собственный интерес заставил бы *домовладельцев* найти к тому способ. Строительные общества, составившиеся со спекулятивной целью, подали бы пример улучшений в этом направлении, а конкуренция сделала бы остальное. Дома, перед которыми не было бы хороших тротуаров и фонарей для удобства жильцов, оставались бы пустыми вследствие соперничества лучше устроенных помещений. Так как хорошая мостовая и хорошее освещение сделаются необходимыми, то домовладельцы будут соединяться для достижения этой цели более экономическим способом.

Тут можно было бы возразить, что подобное устройство невыполнимо, так как встретит непреодолимое затруднение со стороны отдельных сварливых домовладельцев, и, кроме того, окажутся такие, которые будут стараться доставить себе несправедливые преимущества за счет остальных. Ответом на это могут служить новые улицы в предместьях, не взятые еще в свое распоряжение властями: там дела ведутся именно тем способом, который мы предлагаем, и они шли бы гораздо успешнее, если бы этому не мешало сознание домовладельцев, что такое положение лишь временное. Если бы даже возможно было доказать, что в настоящее время такое устройство невыполнимо, то и в таком случае нельзя бы вывести из этого заключения, опровергающего изложенный здесь взгляд на дело. Личная свобода так же когда-то была неприменима. Представительное правление не только было неприменимым, но и до сих пор не может приняться у многих народов. Мы уже много раз повторяли, что возможность признания человеческих прав соответствует степени нравственного развития людей. Если какая-нибудь организация, предписываемая законом равной свободы, не вполне осуществима в настоящее время, то это

не служит доказательством ее несовершенства; это доказывает только наше несовершенство. Уменьшая наши недостатки, процесс приспособления уже сделал для нас возможным применение учреждений, которые были *слишком* хороши; он приспособит нас и к другим, которые слишком для нас теперь.

§ 9. Итак, мы нашли, что учение, будто бы государство обязано ограждать здоровье своих подданных, несогласно с нравственным законом, что оно заключает в себе несообразности и что его можно с успехом опровергать соображениями здравой политики. Оказывается, что учение это почти однородно со старинным догматом об обязанности государства заботиться о нравственном благосостоянии подданных, что если его развивать последовательно, то неизбежно дать ему такую же организацию, как организация господствующего духовенства, и что оно приведет к аналогическим результатам. Страдания, которыми сопровождается неограниченное право эмпириков на лечение, вовсе не так значительны, как их изображают; эти страдания принадлежат к наказаниям, которые сопряжены природой с невежеством и глупостью; их нельзя разделять, не причиняя в окончательном результате еще больших страданий. Против стремления улучшать санитарное положение наших городов законодательными мерами как исходящего из опасений за будущее мы возражаем, что прогресс обеспечивается здесь естественными деятелями: эти последние настолько же обеспечивают дальнейшее развитие ремесел, мануфактур, торговли и распространение просвещения. Мало этого — оказывается, что меры, которые принимаются для улучшения жилищ, поставляют себе цель, недостижимую для законодательства, и берутся за дело, которое гораздо лучше исполняется помимо него. Что касается до прочих санитарных мер, то весьма невероятно, чтобы они могли выполнить свою задачу; мнение это основывается на результатах всех подобных законодательств и подтверждается даже тем кратковременным опытом, какой сделан был у нас в последнее время. Далее мы утверждали, что если бы ожидаемые преимущества нашли для себя полное осуществление, то они были бы куплены слишком дорогой ценой, потому что их можно было бы достигнуть только посредством равносильного замедления прогресса в несравненно более важных отраслях общественной жизни.

XXIX | МОНЕТНАЯ СИСТЕМА, ПОЧТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И Т.Д.

§ 1. Нераздельность идеи о денежных знаках от идеи о правительстве, контроль законодателей по отношению к монетной системе и привычка смотреть на этот контроль как на дело само собою разумеющееся до такой степени распространены и до такой степени укоренились, что едва ли кому приходило в голову спросить себя: каковы были бы результаты, если бы контроль этот уничтожился? Едва ли есть хоть один случай, в котором бы необходимость государственной опеки пользовалась таким всеобщим признанием; ничто не может показаться более поразительным, чем опровержение подобной необходимости. Несмотря на это, мы должны ее отвергать.

Очевидно, что всякие законы, вмешивающиеся в обращение денежных знаков, не могут быть издаваемы государством без нарушения своих обязанностей. Запрещать выпуск чеканных или бумажных денег или принуждать принимать подобные деньги в обмен за товары — значит нарушать право мены; значит мешать людям производить обмен, который при отсутствии запрещения был бы произведен, и принуждать их к обмену, на который бы они не изъявили своего согласия. Выходит, что и в этом случае нарушается закон равной свободы (гл. XXIII). Если в нашем общем принципе заключается истина, то поступать таким образом в этом частном случае будет настолько же несправедливо, насколько и неполитично. Люди, требующие от правительства подобной деятельности, должны разочароваться: всякие правительственные распоряжения в этом отношении не только излишни, но неизбежно несправедливы и вредны.

Система денежных знаков в каждом обществе в окончательных своих результатах зависит, подобно всяким другим учреждениям, от нравственного развития его членов. Среди народа совершенно бесчестного все коммерческие сделки должны производиться на наличные деньги или товары; платежные обязательства вовсе не могут иметь обращения, потому что уплата по ним совершенно невероятна. Наоборот, среди

совершенно честного народа будут обращаться только одни бумажные деньги; никто тут не будет делать обещаний, превышающих его средства, обещания уплаты будут приниматься во всех случаях без всякого колебания; металлическая монета делается излишней и будет служить только мерой цены. Во время переходного состояния, где люди не совершенно бесчестны и не вполне честны, должна, следовательно, существовать смешанная система обращения денежных знаков; отношение чеканенных денег к бумажным будет соотносываться со степенью доверия, которое люди питают друг к другу. Такого заключения, по-видимому, невозможно избежать. Чем более будет преобладать обман, тем в большем числе сделок продавец не будет уступать свои товары иначе, как за равноценное имущество, имеющее внутреннюю стоимость, тем значительнее будет количество металлической монеты, требующейся в обращении, тем более будет преобладать циркуляция металлических знаков. Наоборот, чем более будут люди питать друг к другу доверия, тем чаще они будут принимать при платежах бумажные знаки, векселя, банкирские документы, тем реже будет требоваться золото и серебро, и тем меньше его будет в обращении.

Таким образом, обращение монеты регулируется само собой, если предоставлено своему естественному течению. Законы ни в каком отношении не могут произвести здесь улучшения, но могут породить неурядицу и действительно постоянно ее порождают. Совершенно справедливо, что на обязанности государства лежит принуждение всякого к надлежащему исполнению данных обязательств, все равно, будет ли он купцом, или частным банкиром, или акционером в компании на акциях. Но ведь поступать таким образом — значит только охранять права людей, блюсти правосудие; это входит в состав нормальных обязанностей государства; тогда как идти далее — ограничивать выпуск, воспрещать бумажные знаки известного наименования — настолько же вредно, насколько и несправедливо. Как скоро обращение бумаг принимает меньшие размеры, чем оно могло бы принять, то через это неизбежно увеличивается обращение чеканенных денег. Так как звонкая монета заключает в себе капитал, от которого народ не получает процентов, то излишнее ее увеличение есть не что иное, как добавочный налог, равный процентам с капитала, помещенного в излишних деньгах.

При существовании законных ограничений, люди все-таки по-прежнему будут более всего в зависимости от господствующей в их среде степени добросовестности и просвещенного понимания своих интересов. В самом деле, владелец банковых билетов может считать свой капитал вполне верным только тогда, когда в сундуках банкира будет достаточно денег, чтобы произвести уплату *по всем* выпущенным им бумагам; но ведь соблюдение подобного условия равносильно уничтожению всякого основания к выпуску кредитных билетов. В настоящее время большая часть бумажных знаков, находящихся в обращении, остается безо всякой гарантии. Обращающиеся векселя¹ представляют собой сумму обязательств, в три раза превышающую бумажные знаки; однако же они не подвергаются никакому контролю. Для их обеспечения не принимается никаких особенных мер, их размножению не поставляется никаких границ, они имеют один естественный предел — кредит, который люди признают безопасным оказывать друг другу.

Мы недавно сделали совершенно убедительный в этом отношении опыт. В Англии банковские обороты подвергались постоянному контролю то посредством дарования привилегии *Английскому Банку*, то посредством ограничения числа банковых товариществ, то с помощью запрещения заводить в известном районе банки, занимающиеся выпуском билетов, то предписывая размеры выпуска этих последних; «не проходило нескольких лет без издания нового закона или новой регламентации, порожденных фантазерством или модной современной теорией»²; постоянным своим вмешательством мы предупреждали общественное мнение и старались увеличить опытность самих банкиров, приспособляя ход их дела к тому, чтобы дать им самое лучшее и безопасное направление³. В то же самое время в Шотландии почти в течение двух столетий существовала система банков, не подвергавшаяся никакому контролю, — там господствовало вполне свободное обращение денежных знаков.

¹ Вексель хотя не может быть назван в собственном смысле денежным знаком, но во многих случаях служит для коммерческих оборотов, которые без него совершались бы на деньги, и в этих случаях он заменяет денежный знак.

² Capital, Currency, and Banking, by James Wilson, Esq., M.P.

³ Там же.

Каковы же были относительные результаты? В Шотландии оказалось преимущество и на стороне безопасности, и на стороне экономии. Превосходство безопасности доказывается тем, что там было несравненно меньше банкротств, чем в Англии. В Шотландии никогда не существовало закона, который бы ограничивал чей бы то ни было выпуск банковых билетов, между тем на практике ни один нерасчетливо выпущенный или небезопасный билет не мог пойти в обращение¹. Естественная гарантия в этом случае оказалась более действительной, чем законодательная. Экономия доказывается тем, что Шотландия удовлетворяла своим потребностям в денежном обращении посредством 3 500 000 фунтов, тогда как в Англии циркулировало от 50 000 000 до 60 000 000 фунтов; по соразмерности с населением в Англии потребовалось втрое больше денежных знаков, чем в Шотландии.

Итак, *априористическим* путем мы пришли к убеждению, что надлежащее отношение между бумажными и чеканенными деньгами устанавливается в каждом обществе естественным путем; далее мы убедились, что три четверти обращающихся у нас бумаг сами регулируют свой курс и что ограничения, касающиеся остальной четверти, привели к бесполезной трате капитала; наконец, *факты* доказывают нам, что система денежных знаков, которая сама себя регулирует, оказывается и более безопасной, и более дешевой. После этого мы можем утверждать с полным основанием, что законодательное вмешательство не только бесполезно, но вредно.

Если государство порождает зло, принимая на себя управление системой денежных знаков, то оно делает еще более зла, прямо превращаясь в банкира. Правда, что нет никакого прямого нарушения своих обязанностей со стороны государства в том, что оно выпускает кредитные билеты. Предложение платежных обязательств людям, желающим их принять, не включает в себе ни нарушения человеческих прав, ни взимания сборов для незаконных целей. Если бы государство ограничивалось этим, то оно не производило бы никакого вреда, но, по существующему теперь обыкновению, государство обращает свои кредитные знаки, или, лучше сказать, банковые билеты

¹ Capital, Currency, and Banking, by James Wilson, Esq., M.P.

своих доверенных в законную платежную монету и этим не только нарушает закон равной свободы, но порождает злоупотребления, невозможные при других обстоятельствах. За постановлением, что кредитные знаки его агента должны быть принимаемы в уплату по всем взаимным требованиям, возникающим между частными лицами, следует, при первом удобном случае, дальнейший шаг по этому пути и постановляется, что те же кредитные знаки должны быть принимаемы от самого агента в уплату по всем его обязательствам. Как скоро это сделано, то он уже не затрудняется заключением обязательств, потому что по ним можно уплачивать бумагами. Бумаги выпускаются в неопределенном количестве и падают в цене; такое падение в цене по существу своему есть прибавочный налог, взимаемый без народного согласия; будь это налог прямой, он заставил бы граждан обратить внимание на чрезмерность государственных расходов и осудить ту войну, которая вынуждает его. Так как, с одной стороны, упадок денежных знаков и все сопряженное с ним зло не могли бы иметь места, если бы посредством законодательных распоряжений парламента обмен кредитных билетов на звонкую монету не объявлялся не обязательным для правительства, а с другой — признание кредитных билетов неразменными может иметь место только для целей государственных банковских оборотов, то и является достаточное основание для того, чтобы государственный банк считать вредным. Найдутся, может быть, люди, которые убеждены, что случайный вред, порождаемый государственным банком, вознаграждается более чем с избытком постоянным снабжением кредитными знаками на многие миллионы, так как знаки эти нельзя было бы заменить другими, пользующимися одинаковым доверием. На это следует возразить, что если бы Банк Англии не имел связи с государством¹, то его кредитные знаки обращались бы в таких же обширных размерах, как теперь, лишь бы владельцы Банка продолжали заботиться о том, чтобы его актив более чем на три миллиона пре-

¹ Связь тут состоит в том, что Банк имеет право, кроме всех кредитных знаков, выпускаемых им под разные обеспечения, выпускать их еще на 14 000 000 фунтов, т.е. в размере постоянного долга правительства Банку. Выпущенные таким образом знаки на деле, следовательно, гарантированы правительством.

вышал пассив, как это оказывалось до сих пор постоянно на полугодных собраниях.

Существует еще одно отношение государства к денежным знакам: оно чеканит монету. С теоретической точки зрения можно допустить, что государство может чеканить золото и серебро, не противодействуя истинным своим отправлениям. На деле, однако же, выходит, что монета никогда не чеканится без различных нарушений прав граждан. По тем же самым причинам, по которым государство не может с выгодой конкурировать с частными лицами в других отраслях промышленности, оно не может соперничать с ними и в этой — истина, очевидная для всякого, кто вникнет, как ведутся дела монетного двора. Если же государство не в силах выдерживать конкуренцию частной предприимчивости, то оно может чеканить монету без потери только тогда, когда запретит чеканку частным лицам. А поступая таким образом, государство уменьшает свободу человеческой деятельности точно так же, как и при всяких других ограничениях промышленности, т.е. совершает несправедливость. В окончательном результате нарушение закона равной свободы приводит такое общество к необходимости платить за металлические деньги более, чем необходимо.

Немало, вероятно, найдется людей, которые будут держаться того убеждения, что непомерное распространение фальшивой монеты можно предупредить только при существовании государственного монетного двора. Придерживаясь такого взгляда, они, однако же, упускают из виду, что при естественной системе будет существовать такого же рода ограждение от этого зла, как и теперь. Легкость, с которой можно отличить настоящую монету от фальшивой, служит в этом отношении во всяком случае окончательной гарантией, и гарантия эта была бы столь же действительна при свободном чекане, как и теперь. Безопасность, которую доставляет наказание «фальшивых монетчиков», существовала бы и тогда, потому что на обязанности государства лежит суд над платящими «под ложным предлогом» дурной монетой за хорошую. При отсутствии законодательной регламентации, конечно, ничто не мешает чеканящим монету выпускать деньги по новым монетным системам, самых разнородных наименований и самого различного содержания драгоценного металла, но ведь новая монетная система,

или какое бы то ни было изменение в чекане ходячей монеты будет вводиться занимающимися этим делом только тогда, когда общество приобретет от того какое-нибудь очевидное преимущество. Если бы дозволено было частным лицам чеканить монету, то владельцы монетных дворов должны были бы чеканить точно такие же деньги, какие теперь в обращении, потому что других не принимали бы. Что касается до ее размеров и веса, то ведь ту монету можно было бы мерить и взвешивать точно так же, как теперешнюю (и сначала это делалось бы, конечно, с большими предосторожностями). Что касается доброкачественности металла, то она всегда была бы обеспечена ревнивым наблюдением других монетчиков. Конкурирующие между собой фирмы стали бы пробовать монету своих конкурентов при первом подозрении, что она несогласна с установившейся пробой, и, оказись их подозрения основательными, они легко нашли бы способ для распространения этого известия. Одного случая подобного обличения с его неперменным последствием — разорением было бы достаточно, чтобы отучить пускать в оборот монету ненадлежащего достоинства¹.

Весьма вероятно, что многие читатели усомнятся в правильности этих рассуждений, хотя и не будут в состоянии сделать определенных возражений.

Убеждение, что настоящая монетная система, система самостоятельная и только с виду приводимая в действие государством, улучшилась бы, если бы освободилась от государственного контроля, принадлежит к числу таких взглядов на вещи, которые часто не удается распространить, несмотря на самые сильные доказательства. Привычка имеет в этом случае такое же влияние на людей, как и во многих других; во Франции уже с давних пор назначенные правительством власти определяют

¹ В то время, как печатались эти страницы, автору сообщены были факты, убедительно доказывающие, что частные лица чеканили бы монету более экономическим способом, чем правительство, но он не вправе их публиковать в настоящее время. К этому присовокупилась еще данная, доказывающая очевидную истину, что порча монеты, от которой так много страдали наши предки, была возможна только при помощи принудительных мер, принимаемых законодательством. Подобных зол никогда не могло бы быть, если бы монетная система предоставлена была самой себе.

время для сбора винограда, и люди, занимающиеся виноделием, до того к этому привыкли, что стали считать такое распоряжение полезным. Осуществленный факт имеет на нас несравненно большее влияние, чем такой, о котором можно составить себе только отвлеченное понятие. Если бы печением и сбытом хлеба занимались до настоящего времени правительственные агенты, то теперь, по всей вероятности, считалось бы невозможным, чтобы частные лица снабжали население этим продуктом первой необходимости; еще труднее было бы убедиться, что частная деятельность тут гораздо выгоднее. Философ, защищающий свободу промышленности, должен помнить о влиянии обычаев на убеждения, о бесчисленных случаях, в которых законодательная опека считалась необходимой, несмотря на всю ошибочность этого мнения — о том, что в этом самом вопросе, вопросе об обращении денежных знаков, когда-то считалось необходимым «употребление самых крайних мер для того, чтобы увеличить по возможности ввоз иностранных слитков в страну и предупредить их вывоз»; он не должен забывать и о том, как такое вмешательство, подобно всем другим, оказалось не только бесполезным, но вредным; после всего этого, говорим мы, человек, философски смотрящий на этот вопрос, придет к убеждению, что и в этом случае не надо желать законодательной опеки. Причины, по которым эта отрасль производства признается не подходящей под общее правило, будут иметь мало значения в его глазах, потому что подобные же причины приводились основанием для самых разнородных ограничений в промышленности, и каждый раз на деле оказывались неудовлетворительные результаты. Он примет в соображение, что полная свобода мены являлась благотворительной во всех других случаях, несмотря на все зловещие предсказания, и придет к заключению, что свобода эта принесет пользу и тут, несмотря на всю ее невероятность и предсказания противного.

§ 2. Относительно препровождения писем можно сказать то же самое, что мы заметили о монетном производстве: такая деятельность по существу своему не противоречит государственным обязанностям. Если смотреть на нее с отвлеченной точки зрения, то при ее отправлении нет никакой необходимости нарушать права людей: непосредственного нарушения тут нет

никакого; нет надобности и в нарушении посредством сборов, взимаемых для целей, не имеющих ничего общего с охранением прав. Но как прежде мы имели основание думать, что правительство не будет в состоянии чеканить монету, если не воспретит частным лицам заниматься этим делом, точно так же есть причины полагать, что правительство не в состоянии будет заниматься препровождением писем, если не воспретит конкуренции. При необходимости такого воспрещения правительство уже будет принимать на себя почтовое дело в противность существенному своему отпращиванию.

Частная предприимчивость, *если ей только представится к тому случай*, всегда возьмет верх над правительством, и это доказывается не одной общепризнанной неспособностью правительства к деятельности фабриканта, промышленника и комиссионера, но и фактами, прямо относящимися к этому предмету. Мы должны помнить, что наша почтовая организация достигла своего современного совершенства не потому, что была под управлением общественной власти, но потому, что на нее производилось давление извне. Изменения не вводились властями добровольно, а были вынуждаемы у них. Система малых постов* была учреждена и в течение долгого времени заведовалась частным лицом; она существовала, несмотря на официальную оппозицию. Реформа, предложенная мистером Роландом Хиллом, встретила сильное сопротивление; по всем сведениям оказывается, что бюрократическая испорченность до сих пор мешает надлежащему исполнению его плана. Мы видим, что дух спекуляции, господствующий в промышленности, не только легко удовлетворяет общественным потребностям, но относится к ним с особенной заботливостью; поэтому весьма вероятно, что при естественном ходе вещей современные усовершенствования в почтовом ведомстве не только были бы охотно приняты, но были бы предупреждены. Иной, пожалуй, усомнится в способности частной предприимчивости к выполнению такого обширного предприятия; но в таком случае стоит только вспомнить, что мы имеем уже в настоящее время обширные организации аналогического свойства. Заведения нашей обширной системы перевозки распространены по всему государству. *Компания для препровождения посылок* имеет такой же обширный круг деятельности, как и почтовое ведомство лондонского

округа, и в своей сфере действует совершенно так же успешно. Частные агентства для передачи известий там, где им дозволено конкурировать с публичными, берут над последними верх. Иностранные известия в наших ежедневных изданиях являются постоянно прежде известий правительственных. Копии с речи короля и важные парламентские известия распространяются в стране посредством прессы даже скорее, чем разносятся почтой. Если письма быстро штемпелюются и распределяются, то парламентские отчеты рассылаются еще быстрее. Сверх того, значительная часть почтовой деятельности выполняется частными лицами. Не только транспортирование внутренней, но почти и всей внешней нашей корреспонденции производится по подрядам, там же, где эта последняя экспедируется правительством, дело сопряжено с большими потерями. В доказательство можно привести предложение пароходного общества, которое называется «Восточным и Полуострова»: оно предлагает за ту же сумму, в которую правительству Великобритании и Индии обходятся сношения между Суэцем и Бомбеем, обеспечить ежемесячное регулярное сообщение между Саутгемптоном и Александрией, два раза между Суэцем, Цейлоном, Сингапуром и Китаем, два раза между Калькуттой, Сингапуром и Китаем и столько же между Суэцем и Бомбеем*.

Итак, если бы дозволено было частной промышленности развозить письма, то они транспортировались бы так же хорошо, если не лучше, чем в настоящее время. Такое заключение менее всего может показаться неосновательным после всего, что было объяснено выше: настоящее удовлетворительное состояние почтовой корреспонденции обязано своими достоинствами мысли, настоятельности и предприимчивости частных лиц; достоинства эти были приобретены наперекор официальному сопротивлению; частные организации, подобные почтовой, существуют и действуют успешно; частные учреждения для передачи новостей, распространяемых помимо почтового ведомства, постоянно превосходят государственную организацию; значительная часть дела при рассылке писем производится посредством частной предприимчивости; при этом дела ведутся в самых обширных размерах и с несравненно большей экономией. Правда, что есть много препятствий для достижения успеха, если дело будет в частных руках. Но если для нас

почти невозможно теперь же указать путь, которым они могут быть устранены, то из этого вовсе не следует, что препятствия эти неодолимы. В нравственной области возможны изобретения точно так же, как и в материальной. Часто случается, что учреждения, которыми удовлетворяются известные потребности общества, точно так же мало возможно предвидеть, как и механические приемы, которыми одно поколение отличается от другого. Примером может служить центральная контора железных дорог. Следует ожидать, что будут изобретены удовлетворительные способы для устранения всех подобных затруднений — к этому приведут давление общественной потребности и стимул личного интереса.

Впрочем, затруднения, которые могли бы возникнуть по этому предмету, не опровергают нашего общего принципа. Не подлежит сомнению, что ограничение свободы промышленности посредством воспрещения частных почтовых учреждений заключает в себе нарушение государственных обязанностей. Если бы это стеснение было уничтожено, то непременно явилась бы самородная система почт, как только оказалась бы возможность превзойти современное государственное учреждение. Если превзойти современную почту невозможно, то она будет продолжать свое существование на совершенно справедливом основании; потому что почтовая деятельность, как уже сказано было выше, по существу своему не противоречит главному назначению государства.

§ 3. Когда государство принимает на себя так называемые публичные работы — устраивает маяки, гавани и т.д., — то оно вынуждено через это налагать подати для иных целей, чем охранение прав. Следовательно, такой образ действий воспрещается нашим взглядом на государственные обязанности точно так же, как и государственное воспитание или господствующая церковь. Хотя с первого раза кажется, что невозможно обойтись без подобного вмешательства, но на самом деле это вовсе не так. Орудия, которыми удовлетворяются эти менее значительные потребности общества, вовсе не единственные способы для этого орудия. Там, где существует потребность, существует и стимул для ее выполнения, и этот стимул, наверно, приведет к необходимой деятельности. То, что полезно для целого

общества, породит в этом случае, как и во всяких других, частный интерес какой-либо части общества, который и заставит удовлетворить общественной потребности. Такого рода частный интерес привел к удовлетворительному состоянию дорог, каналов, железных путей, и нет никакой причины предполагать, что он не окажется столь же действительным по отношению к гаваням, маякам и всем тому подобным сооружениям. Наше заключение можно было бы защищать и тогда, когда бы не существовало классов общества, которые имеют очевидный частный интерес в выполнении этих работ. Но такие классы существуют. Судовладельцы и купцы обладают непосредственным и постоянным побуждением к уменьшению опасностей навигации; они и приняли бы немедленно необходимые охранительные меры, если бы, по обычаю, не привыкли ожидать в этом случае помощи от государства. Очень может быть, что они в этом случае были бы предупреждены соединившимися для этой цели обществами морского страхования, — охранительными учреждениями, также порожденными личным интересом. Заинтересованные тут лица так многочисленны, капиталы, которые могут пострадать, так обширны, что тем или другим путем, но непременно были бы приняты все нужные предосторожности. Предприимчивость, которая могла построить доки Лондона, Ливерпуля и Беркенгида, которая могла огородить Уош*, перекинуть посредством пара мост через Атлантический океан и проложить электрический телеграф через канал, — та же самая предприимчивость сможет принять меры против опасностей прибрежного плавания; на это можно вполне надеяться.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XXX | ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

§ 1. Социальную философию точно так же, как и политическую экономию, можно разделять на статику и динамику; первая обсуждает условия равновесия в совершенном обществе, вторая — силы, посредством которых общество приближается к совершенству. Первая занимается законами, которыми мы должны руководствоваться для достижения совершенного счастья; вторая рассматривает влияния, которые порождают в нас способность следовать этим законам. До сих пор мы занимались преимущественно статикой, касаясь динамики лишь при случае и для разных пояснений. Теперь же мы должны обратить особенное внимание на динамику. Некоторые из явлений прогресса, о которых мы говорили, требуют дальнейших разъяснений, а другие, состоящие в связи с первыми, должны быть исследованы в своем существе. Здесь же нужно изложить и различные общие соображения, о которых неудобно было говорить в предыдущих главах.

§ 2. Прежде всего, мы заметим здесь, что цивилизация непременно должна была идти именно тем путем, каким она шла. Нам нет надобности заниматься вопросами: могло ли сразу установиться совершенное общество, и если могло, то почему не установилось? Почему в течение бесчисленных веков мир был наполнен только одними созданиями низшего разряда? Почему человечество должно было приспособить мир к человеческой жизни, очищая его от этих созданий? Мы будем говорить только о том, что существует; при данных, какие представляет действительность, никакой другой порядок перемен не мог иметь места. Данные эти: дикая, неподчиненная земля, человек как существо, предназначенное распространиться по всей ее поверхности и занять ее, и, наконец, те законы жизни, которые при этом действуют; при этих данных, говорим мы, могло произойти только то, что произошло.

Окончательная цель создания, заключающаяся в порождении наибольших размеров счастья, может быть выполнена лишь при определенных условиях (гл. III, § 2). Каждый член человеческого рода, выполняющий эту задачу, должен обладать

способностью наслаждаться наибольшим благополучием во время жизни; все его желания должны быть удовлетворены таким образом, чтобы этим не стеснялась способность других получать точно такое же удовлетворение; мало этого, цель будет достигнута вполне только тогда, когда человек будет чувствовать удовольствие при виде благополучия других. Очевидно, невозможно, чтобы существа, таким образом устроенные, размножались на земле, занятой созданиями низшей породы, т.е., стало быть, такими, которые должны уступить им свое место. По понятию, которое мы себе составили об этих существах, в них невозможно желание истреблять породы, на место которых им придется стать. Они должны питать отвращение к истреблению, потому что способность чувствовать удовольствие при виде наслаждения других должна порождать страдание при виде чужих страданий; отправление симпатии, как способности, приводящей к тому и другому результату, заключается исключительно в воспроизведении ощущений, представляющихся наблюдению: она их воспроизведет во всяком случае, какого бы рода ни были эти ощущения. Существа эти не будут иметь никакого желания разрушать, напротив, разрушение будет доставлять им неприятные ощущения, поэтому вместо того, чтобы подчинить себе землю и расплодиться на ней, они сами должны будут сделаться добычей созданий, существовавших прежде, и в которых страсть к разрушению преобладает. Каким же образом можно избежать такого исхода? Очевидно, что первобытный человек должен быть так устроен, чтобы к свойствам, дающим ему возможность выполнить необходимую предварительную работу, присовокуплялись другие, скрытые способности, из которых мог бы развиваться совершенный человек, когда условия существования сделают возможным такое развитие. Чтобы приготовить землю для ее будущих обитателей — своих потомков, он должен обладать способностью очищать ее от пород, которые могли бы подвергнуть их жизнь опасности, и тех, которые занимают место, необходимое для человечества. Итак, он должен обладать страстью к убийству, ибо вследствие основного жизненного закона каждый поступок, требующийся от человека, должен удовлетворять какому-либо из его желаний, которое и должно служить для него стимулом («Учение о нравственном чувстве», § 2). Кроме того, он вовсе

не должен обладать симпатией или может иметь только зародыш этого чувства, в противном случае первобытный человек будет совершенно не способен для своей разрушительной деятельности. Другими словами, он должен быть дикарем и должен приобретать способность к общественной жизни лишь по мере подчинения себе земли, т.е. по мере накопления условий, делающих общественную жизнь возможной.

Нетрудно доказать фактами ошибку тех, которые полагают, будто вполне цивилизованное общество может состоять из людей, способных вести войну с первобытными обитателями земли; будто люди могут относиться сочувственно к своим ближним и не иметь сочувствия к существам низшей породы. Люди поступают жестоко друг с другом в том же самом размере, в каком преобладают в них хищнические наклонности. Индеец, который всю жизнь свою проводит на охоте, с таким же удовольствием тиранит своего брата-человека, с каким бьет дичь. Он обучает своего сына мужеству, подвергая его многочисленным мучениям, а его жена стареет преждевременно от жестокого обращения. Бесчестность и мстительность бушменов и жителей Австралии как относительно друг друга, так и относительно европейцев тесно связаны с вечно враждебным отношением этих дикарей к бессловесным обитателям степей и лесов. Среди народов отчасти цивилизованных свойства обоего рода всегда находились в известном взаимном отношении. В римском амфитеатре зрители с таким же наслаждением смотрели на бой гладиаторов, как и на предсмертные муки диких зверей. Время редкого населения в Европе и господства охоты как главного занятия было также временем феодального насилия, всеобщего грабежа, тюрьмы и пытки. Такие факты, как обезлюдение в Англии целой области для увеличения запасов дичи или издание закона, по которому крепостной, убивший оленя, подлежал смерти, указывают на совместное существование хищнических инстинктов и совершенного невнимания к человеческому счастью. В более близкие к нам времена бой быков и петухов составлял обыкновенное удовольствие, и в то же время уголовные законы отличались несравненно большей суровостью, тюрьмы были полны ужасов, народ оскорблял людей, стоявших у позорного столба, умалишенные в сумасшедших домах приковывались нагие к стенам, показывались за деньги, и их мучили для

удовольствия посетителей. Наоборот, желание уменьшать страдания людей, которое обнаруживается в наше время, сопровождается желанием улучшить положение существ низшей породы. Более мягкие чувства людей обнаруживаются в различных филантропических усилиях, в благотворительных обществах, товариществах для улучшения квартир рабочих, заботах о народном воспитании, попытках к уничтожению смертной казни, усердном распространении трезвости и умеренности, в школах для нищих, в усилиях охранять лазающих мальчиков, исследований, касающихся «работы и бедного», в учреждении фонда для переселений, более снисходительном обращении с детьми и т.п. С другой стороны, подобные же чувства обнаруживаются и в обществах для предупреждения жестокого обращения с животными, в постановлениях парламента, воспрещающих езду на собаках, в осуждении скачек и охоты, в исследованиях о том, не следует ли человека, преследующего оленя, подвергать тому же наказанию, что и извозчика, тиранящего свою лошадь, и, наконец, в вегетарианизме (учении о необходимости довольствоваться одной растительной пищей). Для окончательного нашего убеждения мы имеем еще сверх того факт, что люди, отчасти уже приспособленные к общественной жизни, дичают, когда поставлены в обстановку, вызывающую прежние наклонности. Все замечают загроубение колонистов, попавших в условия первобытной жизни. Это видно на поселенцах американских девственных лесов, между которыми безнаказанно совершаются убийства, дуэли на ружьях и господствует закон Линча, и еще яснее — на трапперах*, которые ведут дикую жизнь и вполне приобрели привычки дикарей: они скальпируют своих врагов и даже доходят до людоедства.

Нет надобности ходить на этот раз так далеко за доказательствами; постоянная связь между поведением людей в отношении друг к другу и по отношению к животным объясняется тем обстоятельством, что в обоих случаях они действуют под влиянием одного и того же стимула. Слепая страсть причинять страдания не делает различия между теми, кому их приходится переносить: она одинаково удовлетворяется агонией зверя и человека, она приходит в такой же восторг при виде терзаний животного, как и при виде пытки человека. Со своей стороны, симпатия, мешающая человеку причинять другому страдания,

которых он сам избегает, и заставляющая его порождать счастье, чтобы оно могло отразиться на него обратно, действует точно так же безразлично. Как уже было сказано, отправление этой способности состоит исключительно в том, что она в одном существе воспроизводит те же самые ощущения, какие обнаруживаются другим. Всякий мог заметить то удовольствие, которое ощущается при радостных прыжках собаки, только что спущенной с цепи, и страдание при виде дурного обращения с вьючным животным; эти чувства рождаются так же легко, как и сочувствие радостям и горестям наших ближних.

Таким образом, процесс цивилизации мог бы получить другое направление только в том случае, когда душа человека имела бы совершенно другое устройство. Если цель творения должна быть выполнена естественными средствами, то первобытный человек неизбежно должен искать себе счастья за счет счастья других существ. В то же время необходимо, чтобы совершенный человек мог находить себе полное счастье, ни в чем не уменьшая счастья других. Когда человек первобытный исполнит свое назначение, тогда он должен превратиться в человека совершенного. Многочисленные бедствия, которые наполняли мир в течение тысячелетий: убийства, порабощения, грабежи, тирания правителей, притеснения, которым подвергались разные классы общества, преследования, жертвами которых служили различные секты и партии, несправедливые законы, в которые облакался эгоизм, варварские обычаи, бесчестные поступки, привычки исключительности и т.д. — все это выражения первобытных свойств, когда-то необходимых. Теперь, когда человечество пришло к положению, при котором они более не нужны, их влияние сделалось гибельным; теперь это симптомы страданий, сопряженных с приспособлением людей к новым условиям их жизни.

§ 3. Может быть, спросят, почему же это приспособление подвигается так медленно? Если обратить внимание на быстроту, с какой отдельным человеком приобретаются привычки, которые, в свою очередь, обращаются в наследственные наклонности, то, казалось бы, необходимые изменения в природе человеческой уже давно должны были совершиться. Чем же объяснить такую проволочку?

Дело тут в том, что сами условия, к которым приходится приспособляться, развиваются лишь медленно и мало-помалу. Только тогда, когда в этих условиях произойдет определенное и постоянное преобразование, является изменение и в человеческих наклонностях. Если существует большая и постоянная потребность в развитии какой-нибудь способности, то развитие это совершается относительно весьма быстро. Наоборот, способность, лишенная всякой деятельности, будет заметно глоснуть. Но дело в том, что условия человеческой жизни никогда не подвергались переменам, достаточно быстрым для того, чтобы привести к таким немедленным результатам.

Прежде всего, мы заметим, что война между людьми и враждебными им существами не только продолжалась до настоящего времени, но ведется и теперь в значительной части земного шара. Далее мы видим, что там, где разрушительные наклонности уже выполнили окончательно свое назначение и должны перестать находить для себя удовлетворение, ими создается искусственная сфера для своей деятельности посредством сохранения дичи для охоты; этим путем поддерживаются способности, которые заглохли бы при других обстоятельствах. Но всего важнее то обстоятельство, что хищническая наклонность некоторым образом сама себя поддерживает. Она порождает между людьми такие же враждебные отношения, какие существуют между человеком и животными низших пород, чем обеспечивает себе постоянный источник возбуждения. Все это опять-таки неизбежно. Мы видели, что страсти дикого действуют безразлично как относительно животных, так и относительно себе подобных, заставляют его постоянно обижать своих ближних и приводят к бесконечному антагонизму. Антагонизм этот проявляется в ссорах отдельных лиц, в родовых битвах, во вражде между кланами и в войнах между народами. Сделавшись врагами между собой настолько же, насколько они были врагами низших пород, люди питают в себе прежние наклонности и тогда, когда потребность в них уже исчезла в значительной степени.

Итак, человеческие свойства изменяются медленно потому, что находятся под влиянием условий, которые тянут их в противоположные стороны. Воспитание, какое дает им общественная жизнь, развивает в них симпатические чувства,

а потребность защищаться при покушениях на их благосостояние со стороны зверей, других людей и целых обществ питает старые чувства, убивающие симпатию. Поэтому свойства человека совершенствуются только тогда, когда влияния первого рода преобладают, и притом лишь в размере такого преобладания. Между племенами, которые постоянной враждой поддерживают в своей среде антисоциальные свойства, никакой прогресс не возможен. Но там, где война людей между собой и с низшими породами перестала быть постоянной или сделалась назначением только части народа, там общественная жизнь перевешивает влияние стимулов, приводящих к одичанию, и по является прогресс.

При таком взгляде на дело цивилизация уже не будет представляться нам правильным процессом, действующим по определенному плану; мы увидим в ней скорее развитие скрытых в человеке способностей, проявляющихся наружу под влиянием благоприятных обстоятельств, возникновение которых от времени до времени, заметьте, неизбежно. Эти сложные влияния, на которых основывается высший порядок явлений природы, — особенно в мире органическом — действуют, подчиняясь закону вероятностей. Растение производит тысячи семян. Большая их часть разрушается существами, питающимися растительной пищей, или падает на места, где они не могут развиваться. Молодые растения, которые развились из принявшихся семян, в значительном числе заглушаются соседями; другие гибнут от насекомых или съедаются животными; *в среднем уровне* только одно из них производит вполне развившееся растение своего вида; избегнув всяких опасностей, оно опять-таки разовьет в себе достаточное количество зрелых семян для продолжения видовой жизни. То же самое мы найдем и у всяких других созданий. Кетле доказал, что это явление повторяется и в жизни человека. Наконец, тем же путем зарождаются и растут общества. Семена цивилизации, развившиеся при первобытном человеке и рассеиваемые по земле при его размножении, наверное, со временем там и сям попадут в условия, благоприятные для дальнейшего роста; несмотря ни на какие порчи и истребления, в случае развития будет довольно, чтобы наконец породить цивилизацию, которая переживет все разрушительные влияния и достигнет совершенства.

§ 4. Прежний хищнический инстинкт, продолжая существовать после выполнения своего первоначального назначения, задерживает цивилизацию, порождая условия, несогласные с общественной жизнью; но в то же время инстинкт этот служит ей, очищая землю от низших человеческих рас. Силы, которые создают великое дело совершенного счастья, не принимая в расчет никаких случайных страданий, истребляют те части человечества, которые стоят препятствием на их пути; эти силы совершают свое дело с той же непреклонностью, с какой они истребляют хищных животных и стада бесполезных жвачных. Препятствие устраняется — все равно, в чем бы оно ни состояло: в людях или животных. Дикий человек заступил место животных более низкой породы; когда же он остается слишком долго диким, то должен в свою очередь уступить форме более совершенной. В большей части случаев действительно так и бывает. В самом деле, какие свойства нужны завоевательному племени? Ему нужна или многочисленность, или усовершенствованное военное искусство: то и другое служит признаком прогресса. Многочисленность указывает на предшествующую цивилизацию; недостаточность пространства для охоты породила необходимость земледелия, а с тем вместе и возможность более многочисленного населения; отдаленность от других племен сделала войну менее частой и предупредила постоянное истребление родов; случайное превосходство над соседними племенами привело к их окончательному подчинению и порабощению. Во всех этих случаях мирные отношения между людьми принимают большие размеры, и начинается прогресс. Очевидно, что в первые времена завоеваний покорение одного народа другим, в сущности, заключало в себе победу человека, способного к общественной жизни, над неспособным, или, выражаясь точнее, человека более приспособленного над менее приспособленным.

Недостаток симпатических чувств, непосредственно мешавший развитию цивилизации, посредственно помогал этому развитию еще и в другом отношении. Именно — помощь была оказана введением рабства. Утверждают, что лишь такое сильное принуждение, какое порождено было крепостным владением, могло развить в человеке прилежание в необходимых для него размерах, и, по-видимому, это мнение близко к истине. Образ

жизни первобытного человека лишал его упомянутой способности, и, как видно из отдельных случаев, только самая строгая дисциплина, подчинявшая себе человека в течение многих поколений, была в состоянии довести его до того, что он добровольно покорился условиям своего нового существования. Если это справедливо, то варварский эгоизм, поддерживавший эту дисциплину, должен был иметь хорошее влияние, несмотря на сопряженное с ним радикальное зло.

Пусть читатель не приходит в ужас. Пусть он не опасается, что, согласившись с таким положением, мы будем извинять новые нарушения человеческих прав. Человек, который вздумает принять на себя роль природы в этом деле и захочет подвергнуть такой дисциплине ленивых негров и других людей, не должен воображать, что примеры подобных дел в прошедшем оправдывают его. При правильном понимании эти «примеры» никак не могут служить прецедентами. Существует период цивилизации, в течение которого сильный занимает место слабого путем насилия, где такие явления и принуждение к крепостному труду вообще полезны; но тогда подобные жизненные отношения порождаются самородно и неизбежно. Покоряя и поработывая своих ближних, люди не руководствовались в этих случаях холодно обдуманнными выводами о намерениях природы, они не подавляли своих хороших чувств для того, чтобы служить делу цивилизации. Они так были устроены, что мало заботились о страданиях, которые причиняли, обыскивая для себя удовлетворение; напротив, достижение господства и владение людьми казалось им почетным. Но раз является у людей способность понимать, что порабощение и тирания заключают в себе несправедливость, и как скоро чувства, которым они противны, будут достаточно сильны для их уничтожения, всякое насилие и рабство должны прекратиться. Вопрос этот находится в прямой зависимости от степени развития в людях нравственного чувства, т.е. от степени их приспособления к общественному состоянию. Неспособность понимать, что дурно истреблять и обращать в рабство низшие породы, предполагает грубое состояние человеческих симпатий и сознания своих прав. Притеснение, какое люди в этом случае причиняют и какому сами подвергаются, не вредит их свойствам, не замедляет рост чувств, необходимых для общественной жизни, потому что чувства эти не достигли еще достаточного развития,

и подобные поступки не в состоянии их оскорблять. Помощь, которая в этом случае оказывается цивилизации посредством очищения земли от наименее развитых ее обитателей и принуждения остальных к привычкам трудолюбия, нисколько не замедляет нравственного развития и приспособления. Но совершенно другой оборот принимает дело, когда начинают понимать преступность этой грубейшей из несправедливостей. Такое понимание показывает, что старый порядок уже перестал быть годным; и затем дальнейший прогресс невозможен до тех пор, пока это впервые понятое зло не будет устранено или по крайней мере уменьшено. При таком положении дел сохранение старинных учреждений и обычаев — вещь, к счастью, невозможная — действовало бы губительно на человеческое сознание. Чувства, без которых более совершенное общественное устройство немыслимо, постоянно подавлялись бы таким порядком; они были бы вынуждены оставаться на одном уровне с прежней обстановкой и останавливали бы всякий дальнейший прогресс. Люди, пережившие первобытный период культуры, прежде чем позволять себе вновь вводить подобные учреждения, должны подумать о низкой степени развития, которая необходима для того, чтобы эти последние представляли собой явление естественное. Прежде чем возможно было бы вновь ввести рабство для развития трудолюбия в восьмистах тысячах ямайских негров, нужно было бы тридцать миллионов англичан низвести во всех отношениях с их настоящего уровня развития; в них нужно было бы уничтожить благонадежность, верность, великодушие, честность; нужно было бы породить в их среде упадок благосостояния; ослабить же в людях нравственное чувство — значит уменьшить в них способность действовать сообща и сделать неприменимыми лучшие организации для производства и распределения. Итак, вот еще пример совершенства, до которого природа доводит экономию. В то время, когда несправедливость завоевания и порабощения не замечается, и то, и другое оказывается благотворным; но как скоро люди способны почувствовать, что насилие и рабство несогласны с нравственным законом, то дальнейшее существование такого порядка будет уже более замедлять приспособление в одном отношении, чем поощрять его в другом. На этот факт следовало бы обратить внимание нашим новым проповедникам старого учения, что «кто силен, тот и прав».

§ 5. Так как неделимые, из которых состоят первобытные общины, резко отличаются от тех, которые составляют общины развитые, то и сами общины должны иметь в основании своего устройства принципы совершенно различные. Общественный организм точно так же, как и всякий другой, в течение своего развития должен проходить через временные формы. При этом переходном состоянии многие из общественных отправлений совершаются орудиями, которые должны исчезнуть, когда настоящие, предназначенные для этих отправлений орудия приобретут способность действовать. Человеческие общества могут точно так же, как и отдельные люди, иметь способности в зародыше. У обыкновенного тритона, встречающегося в наших прудах, внешние легкие или жабры исчезают, когда внутренние достигают достаточного развития; у высших позвоночных в зародышевом состоянии являются временные органы, которые в течение определенного времени служат для известного отправления, потом снова абсорбируются и оставляют только признаки своего существования, точно таким же образом в политическом теле существуют учреждения, которые в течение известного времени исполняют свое назначение, а затем теряют свою силу и уничтожаются.

Переходные учреждения предполагают существование переходных чувств. Так как политические учреждения зависят от свойств народа, то не могут прекратить своего существования до тех пор, пока чувства, на которых они основываются, не исчезнут. Следовательно, пока человек приготавливается к общественной жизни, в нем должны преобладать известные стимулы, соответствующие требующимся учреждениям; стимулы эти ослабляются по мере того, как временные организации, созданные ими, перерождаются в другие, окончательные. На природу и деятельность этих стимулов мы обратим теперь наше внимание.

§ 6. «Я чувствовал такое глубокое уважение к памяти Генриха IV, — говорил знаменитый французский разбойник и убийца Картуш, — что, если бы жертва, которую я преследовал, укрылась под его статую на Новом мосту, я бы пощадил ее жизнь». Вот образец, каким образом обожание героев соединяется с крайней дикостью, и какие средства даются этим чувством

для дисциплинирования дикого человека. Выше была разъяснена необходимость подобного чувства для соединения людей, лишенных симпатических ощущений. Для того, чтобы первобытный человек превратился в существо, способное для общественной жизни, он должен жить в обществе. Но каким же образом может существовать общество, когда оно постоянно разрушается притязательными стремлениями? Ясно, что его члены должны обладать известной наклонностью, которая составляла бы противовес этим чувствам, удерживала бы в обществе, несмотря на их неспособность к такой жизни, заставляла бы их подчиняться условиям подобного существования и уменьшалась бы по мере того, как приспособление к новым обстоятельствам уничтожало бы потребность в ограничении. Такое чувство, служащее противовесом антиобщественности, заключается в обожании героев; это чувство заставляет людей преклоняться перед проявлениями силы и подчиняться ей, в ком бы она ни проявлялась, — в родоначальнике, феодальном владельце, короле или конституционном правительстве.

Мы уже приводили факты, доказывающие как соотношение между силой обожания героев и силой притязательных стремлений, так и одновременное уменьшение обеих наклонностей (гл. XVIII, § 3). Теперь мы подробнее рассмотрим это явление. Мы положили, что уважение к авторитету пропорционально варварству членов общины и соразмерно с недостатком нравственного чувства, со стремлением искать для себя удовлетворения за счет ближнего. По каким признакам узнаем мы недостаток нравственного чувства? На первом месте тут стоит невнимание к человеческой жизни; затем — частые покушения на человеческую свободу; далее — воровство и однородная с ним бесчестность. Если наше учение верно, то мы должны встречать все эти явления в самых значительных размерах именно там, где уважение к власти наиболее глубоко.

И что же? Не видим ли мы в самом деле, что низкопоклонное подчинение деспотическому правлению процветает бок о бок с обычаем человеческих жертв, детоубийством и частыми покушениями на человеческую жизнь? Сжигание вдов, тайные религиозные убийства (так называемые «туги») мы видим среди племени, которое всегда состояло из жалких рабов. На некоторых островах Тихого океана дети приносятся в жертву идолам,

а родители погребаются живыми; в то же время там существует такое уважение к наследственным начальникам, что им часто приписывается божественная власть. Среди людоедов везде господствует неограниченная власть. Нам повествуют о человеческих жертвах в связи с крайним раболепием подданных перед правителями. На острове Мадагаскаре, где людей убивают по самым ничтожным случаям, где берег установлен черепами, воткнутыми на палки, народ управляется на основаниях самого сурового феодального права владельцами с неограниченной властью, которые в свою очередь подчинены неограниченному же государю. Охотящиеся за головами даяки* острова Борнео управляются маленькими тиранами. Самые кровожадные из монгольских племен находятся под неограниченным управлением. У Грота мы находим и положительное, и отрицательное доказательство этой связи; вот что он говорит: «Ни в одном из городов Греции в исторические времена не было обычая человеческих жертв и умышленного изуродования, вроде обрезывания носов, ушей, рук, ног и т.п., кастрации, продажи детей в рабство, полигамии или *чувства безграничного повиновения по отношению к одному человеку*; напротив того, все эти явления можно было встретить у их современников — карфагенян, египтян, персиян, фракийцев и т.д.». Если мы обратимся к средневековой истории, то найдем там одновременно и самые сильные проявления преданности, и судебные поединки, право частных войн, постоянное ношение оружия, мучеников за веру, избиение людей по религиозным причинам и т.д.; все это — доказательства, что жизнь тогда ценилась гораздо менее, чем теперь. Ту же самую связь мы можем заметить и в современной Европе, если вспомним убийства, встречавшиеся в Италии, жестокости кроатов**, и чехов, и австрийские боины. В нашей среде уменьшение благоговения перед властью происходило одновременно с уменьшением жестокости наших уголовных законов.

Что нарушения свободы должны достигать наибольших размеров там, где уважение к власти всего значительнее, это само собой разумеется, так как рабство — учреждение, подающее повод к наибольшим нарушениям человеческой свободы — невозможно в среде, в которой обожание власти недостаточно сильно. Если бы влияние этого чувства не было крайне могущественно, то древние персияне не могли бы считать себя частной

собственностью своего государя. Всем известно, что готовность подчиняться всегда сопровождается страстью тиранизировать, и эта признанная истина служит лучшим доказательством связи раболепия с недостатком нравственного чувства. Сатрапы так же господствовали над народом, как их царь господствовал над ними. Спартанцы обращались со своими илотами с той же суровостью, с какой их олигархи обращались с ними*. Про рабопленных азиатских индийцев рассказывают, что «за свое безмолвное подчинение властителям они вознаграждают себя тиранией, жестокостью и насилием по отношению к людям, находящимся в их зависимости». В феодальные времена народ был в рабстве у дворянства, дворяне были вассалами королей, а короли зависели от папы. Если мы к этим фактам присовокупим знаменательные данные (гл. XVI, § 4 и гл. XVII, § 3) насчет суровости обращения мужей с женами и родителей с детьми, пропорциональной раболепию в отношении к правителям, то наше положение, что обожание героев всего значительнее там, где наименее обращается внимания на человеческую свободу, должно считаться доказанным.

Столь же многочисленны факты, убеждающие в том, что наклонность к воровству всегда связана с преобладанием чувства личной преданности.

Записки путешественников показывают, что у племен, стоящих на низкой ступени цивилизации, бесчестность и воровство существуют рядом с безотчетной властью начальников. Среди более развитых народов встречается та же самая связь между бесчестностью и раболепием. Явление это мы видим у индусов, у цейлонцев и у жителей Мадагаскара. Пиратство малайцев и китайцев, издавна существующие хищнические привычки арабских племен, которые грабят и на море и на суше, существуют совместно с безусловной покорностью деспотическим правителям. «Латыши, — говорит Коль, — обнаруживают свойство, общее всем поработленным племенам: они очень склонны к воровству». Русские, чувствуящие как бы потребность обожать своего императора, в то же время откровенно признаются, что они мошенники, и смеются над таким признанием. Поляки менее всего могут похвалиться честностью; вместе с тем их раболепие ясно видно из употребительного у них приветствия «падаю к вашим ногам»; евреи и среднее сословие

там преклоняются перед дворянами, а народ — перед евреями и средним сословием. Если мы обратимся к более совершенным народностям, то увидим, что все они прошли через ту же резко обозначающуюся цепь свойств. Время, когда низкопоклонство рабов по отношению к их феодальным баронам достигло высшей своей степени, было временем всеобщих грабежей. «В Германии значительная часть сельского дворянства жила грабежом», их замки были специально приспособлены к такому занятию, и подобные замки встречаются даже у духовенства¹. Обирание граждан, разорение от времени до времени городов и пытки жидов для вымогательства от них денег были делом обыкновенным. Короли были такими же ворами, как и все прочие. Подобно Иоанну Безземельному и Филиппу Августу, они силой обирали имущество у своих вассалов; обманывали своих кредиторов, подделывая монету; бесплатно отбирали чужих лошадей; захватывали товары купцов, продавали их и большую часть денег брали себе. В то время как на суше грабили мародеры, пираты рыскали по морям: так называемые «пять портов» и Сен-Мало* были главным пристанищем морских разбойников, свирепствовавших в Ла-Манше.

С того времени и до наших дней чувство преданности постоянно уменьшалось; этот упадок проявлялся в том, что феодальные отношения прекратились, учение о божественном праве королей было оставлено, монархическая власть ограничена, наказания за измену сделались более мягкими, в тех же самых размерах возрастали честность и внимание к жизни и свободе людей. И в настоящее время люди настолько же проникнуты уважением к авторитету, насколько в них недостает уважения к правам других людей. В существующих ныне партиях мы можем различить черты, указывающие на постоянную связь между этими характеристическими свойствами. Самый низкий разряд чернорабочих в столице не только не отличается крайними демократическими мнениями, но, по-видимому, не имеет вовсе никаких политических убеждений; если им приходится

¹ Один кельнский архиепископ выстроил замок подобного рода, и когда его управитель спросил, на какие средства станет он жить, так как на этот предмет не ассигновано никаких сумм, то прелат ограничился замечанием, что замок лежит невдалеке от соединения четырех пересекающихся дорог. (См.: Hallam. Middle Ages).

рассуждать о политике, то они всего скорее склоняются к консервативным взглядам и желают сохранить современный порядок. Часть из них, носильщики каменного угля, гордятся тем, что 10 апреля 1848 года вдруг появились на свет Божий все до единого и в день великой демонстрации чартистов сделаны были специальными констеблями для «охранения закона и порядка»; оказывается, что эти рабочие составляют самый безнравственный класс столичного населения: из уголовной статистики мы видим, что по сравнению с остальным населением они в девять раз бесчестнее, в пять раз более преданы пьянству и в девять раз более дики (судя по количеству совершенных ими насилий). То же самое видно из наблюдений над преступниками. Капитан Маконохи замечает, что «хороший узник (т.е. легко подчиняющийся) — обыкновенно дурной человек». Если мы обратимся к газетам, которые читаются в придворной среде и отражают в себе жизнь высшего тона, то найдем, что там народные бедствия приписываются пропуску в королевском титуле, сделанному на вновь отчеканенной монете; в тех же органах восхваляются европейские деспоты, извиняются война и постоянные армии, смеются над миротворцами, отстаивается смертная казнь, осуждаются народные права, проповедуют против свободы мены, радуются похищению территорий, защищают захваты из церковных сборов. Все это ясно показывает, что где всего долее коренится вера в святость власти, там всего менее развивается убеждение в святости человеческой жизни, свободы и собственности.

§ 7. При развитии цивилизации обожание «героизма» и нравственное чувство изменяются в противоположных направлениях, и общество возможно лишь до тех пор, пока будет существовать подобный ход дела. Там, где уважение к божественному закону недостаточно, оно должно быть заменено уважением к закону человеческому, иначе водворится совершенное беззаконие и варварство. Если люди должны жить вместе, несмотря на недостаток внутренней силы для сохранения справедливости во взаимных своих отношениях, то должна быть внешняя сила, которая бы принуждала их вести себя таким образом и делала бы жизнь в обществе сносной. Подобная внешняя сила может иметь действительное влияние только тогда, когда ее

почитают. Дикие племена, у которых недостает такого чувства благоговения, вовсе не могут достигать цивилизации и должны уступать свое место обладающим такими чувствами. Если в обществе чувство преданности уменьшается быстрее, чем растет чувство справедливости, то является наклонность к общественному распадению: население Парижа готовится дать нам пример такого состояния.

Постоянно можно наблюдать, как для дикого эгоизма необходим соответствующий размер обожания силы. Прислушайтесь к деловым разговорам людей, разберите приемы торговцев и промышленников, перечитайте деловую корреспонденцию, заставьте адвоката рассказать свои разговоры с клиентами — и вы найдете, что в своих поступках люди большей частью руководствуются не вопросом о справедливости, а вопросом о законности. Большинство людей мало стесняется соблюдением строгой правдивости, лишь бы ветер закона надувал их паруса. Светский человек не спрашивает: можно ли по справедливости предъявлять мне такое-то требование? Он спрашивает: что сказано в обязательстве? И коль скоро дело дойдет до взыскания, подобный человек будет стараться получить и то, чего ему по справедливости не следует. Как скоро закон будет на его стороне и суд решит в его пользу, он не стеснится положить в карман все, что возможно было добыть таким образом. Подобные поступки мы встречаем постоянно, и люди, которые их совершают, считаются достойными уважения — отсюда мы видим, что множество людей способны поступать справедливо со своими ближними только вследствие принуждения. После этого нетрудно понять, как необходимо то чувство, которое дает силу орудия принуждения.

Не подлежит никакому сомнению, что упомянутое чувство породило много гигантского зла и до сих пор продолжает плодить его. Ему мы обязаны различными предрассудками, которые господствуют до настоящего времени. К вредным последствиям из этого источника принадлежит убеждение, что законодательство способно совершать великие дела, и губительное вмешательство властей, сопровождающее это убеждение. Уважение, из которого выходит покорность правительству, непременно украшает это правительство соответствующими собственным своим размерам высокими качествами; так как оно

в существе своем есть обожание силы, то может значительно развиться только тогда, когда его предмет действительно обладает большей силой или когда сила эта приписывается ему по предрассудку. Отсюда выходят старинные иллюзии, что правители могут устанавливать ценность монеты, размер заработной платы и стоимость жизненных потребностей. Отсюда господствующие ныне убеждения, что правительства могут облегчить нищету, уменьшить страдания денежного рынка, излечить законом от чрезмерно густого населения. Отсюда чудовищное, хотя общераспространенное убеждение, что законодательство может, не нарушая справедливости, отбирать собственность народа в таких размерах и для таких целей, какие ему заблагорассудятся, например, для поддержания государственной церкви, для содержания бедных, на жалованье учителям, на основание колоний и т.п. Отсюда поразительное мнение, что актом парламента можно отменять предписания природы, можно, например, сделать преступление из поступка купца, который покупает товар во Франции и привозит его для продажи к нам, между тем как на основании нравственного закона, напротив, преступно мешать ему действовать таким образом! Точно решение нескольких человек, заседающих в одной из комнат Вестминстера, может сделать поступки какого-либо рода справедливыми или несправедливыми! Несмотря, однако, на все это, несмотря на все ложные учения и ошибочные взгляды, на бесчисленные притеснения, бедствия и страдания, которыми обожание силы так или иначе наделяло и наделяет мир, мы все-таки должны согласиться, что чувство это выполнило и до сих пор выполняет очень важную задачу; пусть же оно продолжает свое существование до тех пор, пока это для него возможно.

§ 8. Нетрудно доказать, что чувство, о котором идет речь, не может существовать долее, чем необходимо. Как скоро можно обходиться без него, оно ослабляется путем настолько же простым, насколько и совершенным в своем роде. Оно разрушается тем чувством, младенчество которого дает ему возможность управлять людьми. Между временным и окончательным законным руководителем наших действий происходит непрерывная борьба, во время которой постоянно уменьшающееся влияние одной стороны дает рост другой.

Выше было разъяснено (гл. V, § 5), что чувство справедливости, симпатическое возбуждение которого заставляет людей поступать должным образом по отношению к другим, есть то же самое чувство, которое заставляет их настаивать на своих собственных справедливых требованиях; оно побуждает их требовать свободы деятельности, свободы упражнять свои способности и понуждает их сопротивляться всякому нарушению в этом отношении. Этот стимул не терпит никаких ограничений, за исключением тех, которые налагаются сочувственными побуждениями; он оспаривает всякое притязание на излишнее преимущество, с какой бы стороны это последнее ни появлялось. Поэтому он находится в постоянной вражде с чувством, обуславливающим раболепие. «Уважайте эту власть», — говорит обожание силы. — «За что мне ее уважать? Кто поставил ее надо мной?» — спрашивает инстинкт свободы. — «Повинуйся», — нашептывает обожание. — «Возмущайся», — ворчит инстинкт. — «Я исполню все, что ваше величие изволит приказывать», — говорит один замирающим голосом. — «Позвольте, сэр, — возражает другой, — на каком основании вы изволите мне приказывать, кто вы такой?» — «Этот человек назначен Богом, чтобы управлять нами, и мы должны ему подчиняться», — утверждает обожание. — «Неправда, — возражает инстинкт, — мы имеем Богом установленные права на свободу, и наша обязанность — охранять их». В этом роде производится спор, и в течение каждого фазиса цивилизации исход его определяется относительной силой обоих чувств. Когда нравственное чувство слишком слабо и не в состоянии создать ограничений, необходимых для общественной жизни, тогда его протест едва слышен и не мешает преобладающему обожанию силы устанавливать самый суровый деспотизм. Мало-помалу, когда нравственное чувство окрепнет до того, что станет препятствовать людям совершать самое грубое насилие, оно будет уже достаточно могущественно для успешной борьбы с излишними теперь крайностями принуждения. Если оно, наконец, достигнет такой силы, что через посредство своего рефлексивного отправления внушит людям самое полное уважение к правам других и сделает правительство излишним, тогда непосредственная его деятельность породит столь бдительную ревность в охранении своих прав, что

правительство делается невозможным. Вот и еще один пример удивительной простоты в устройстве природы: мы делаемся свободными посредством того же самого чувства, которое приспособливает нас к свободе.

Учреждения каждой эпохи представляют компромисс между этими борющимися нравственными силами, подписанный ими во время последнего перемирия. Между обществом с неограниченным правительством, которое порождается господством одного чувства, и обществом безо всякого правительства, создаваемым преобладанием другого, существует целый ряд средних форм общественной организации. Формы эти начинаются с «деспотизма, умеряемого убийством», и кончаются высшим развитием представительного управления, где вполне признано право избирателей давать инструкции своим депутатам, где, таким образом, весь народ обращен в собрание, обсуждающее законодательные меры, а из законодательного собрания сделана исполнительная организация — форма, при которой самоуправление достигает наибольших размеров, возможных при существовании управляющей власти. Смешанные конституции, которыми характеризуется этот переходный период, должны, с отвлеченной точки зрения, неизбежно касаться нелепыми. Два чувства, соответствующие одно — народным, другое — монархическим взглядам, по природе своей противоположны, а потому рождают противоположные идеи. Предполагать, что между ними возможно логически последовательное соединение, так же нелепо, как предполагать возможность примирения между *да* и *нет*. Монархическое учение доказывает, что народ *обязан* подчиняться одному человеку с полным смирением, должен быть ему верен, показывать ему преданность и свою волю подчинять его воле. Напротив, демократическая теория утверждает, что народ *не обязан* подчиняться воле одной личности, а должен выполнять свою собственную волю; этот взгляд выражается и в нашей конституции в форме права отказывать в податях и в юридической фикции, на основании которой предполагается, что гражданин изъявил свое согласие на законы, которым он повинует. Эти взгляды до такой степени прямо противоречат друг другу, что никакая логика не может привести их в гармонию. Если король имеет справедливое право на

повиновение, то повиновение это должно быть полное, иначе является вопрос: почему повиновение должно быть оказано в одном случае и не должно иметь места в другом? Если же, напротив того, люди должны сами управлять собой, то им следует управлять собой вполне. В противном случае опять возбуждается вопрос: почему им дается самостоятельность в известных отношениях и отказывается в этом в других?

Несмотря на то, что в смешанных правлениях соединяются два взаимно исключающих друг друга начала и что такие системы поэтому совершенно нерациональны в принципе, однако же они необходимо должны существовать до тех пор, пока будут в гармонии со сложным устройством только отчасти приспособленного человека. Люди, по-видимому, не способны даже понять радикальную несообразность подобных учреждений, потому что в их собственной природе существует такая же несообразность. Это очень хороший пример для объяснения закона, на основании которого мнения людей окончательно устанавливаются их чувствами, а не интеллектуальными силами.

§ 9. Понятия людей о справедливом и несправедливом в этих отношениях вполне зависят от соразмерности существующих в них стимулов. Этот предмет стоит того, чтобы обратить на него внимание. Прежде всего, мы заметим, что окончательные результаты поступка — дурные или хорошие — сами по себе не в состоянии породить его одобрение или порицание. Если бы это было так, то степень совершенства нравственного кодекса людей зависела бы от свойств их анализа и сообразовывалась бы с их интеллектуальной проницательностью. Отсюда бы следовало, что во все времена и у всех народов люди с одинаковыми интеллектуальными способностями имели бы и одинаковые взгляды на нравственность; в то же время современники отличались бы различными взглядами, как скоро их умственные силы были бы различны. Но такое предположение не соответствует тому, что мы видим в действительности; напротив, факты указывают на изъясненный выше закон. История и ежедневный опыт убеждают нас, что понятия людей о справедливости соответствуют преобладающим в них чувствам и инстинктам (Учение о нравственном чувстве, § 5; гл. XVI, § 3; гл. XXVI, § 9). Мы постоянно читаем о тиранах, которые свое право на

неограниченную власть оправдывают божественным будто бы полномочием. «Права» соперничающих между собой владельцев постоянно защищались их приверженцами и до сих пор защищаются современными легитимистами с таким же жаром, с каким самый горячий демократ защищает права личности. Для людей, живших в феодальные времена, обязанность рабов повиноваться своим господам казалась столь несомненной, что Лютер убеждал баронов отомстить взбунтовавшимся крестьянам; он призывал всех и каждого обращаться «с этими людьми как с бешеными собаками, разбивать им череп, колотить и уничтожать их». Он, безо всякого сомнения, действовал в этом случае совершенно добросовестно. Сверх того, мы находим, что отсутствие нравственного чувства делает людей совершенно не способными понимать отвлеченное право человека на свободу. Несмотря на всю интеллектуальную силу Платона, лучший идеал республики, какой был для него доступен, состоял в системе деспотизма одного класса общества; в предшествовавшее ему время и еще долго после него не существовало людей, которые видели бы в рабстве несправедливость. Про полковника Олея, первого губернатора Ямайки, рассказывают, что он издал приказ «о раздаче войскам экземпляра Библии», а через несколько дней подписал другой приказ — «об уплате из податных сумм двадцати фунтов за пятнадцать собак, доставленных Джоном Гоем для охоты за неграми». Соответствующее этому явление мы видим в американских священниках, владеющих рабами. Китайцы не могут понять, почему с европейскими женщинами обращаются с уважением; уверяют, что они это обстоятельство приписывают колдовству, которым женщины приворожили мужчин. В нашей среде можно там и сям открыть подобные же явления. Например, мистер Моберли из Винчестерского университета написал книгу в защиту телесных наказаний в школах; он уверяет, что эта система «обеспечивает скорее всякой другой наибольшую доброкачественность детей». В одном недавнем памфлете, подписанном «сельский священник», говорится, что «людей, зараженных духом чартизма, нужно обращать на путь истинный точно так же, как и зараженных духом пьянства,— доказывая, что это возмущение против божеских законов». Но самая странная особенность людей, недостаточно одаренных чувством справедливости, заключается в их неспособности понимать

свои собственные права. Лейтенант Бернар¹, например, рассказывает нам, что в португальских поселениях на берегах Африки «рабы смеются над свободными неграми, попрекая их тем, что у них нет белого человека, который бы смотрел за ними; они возвышаются в собственных глазах, когда их притесняют». Говорят, что в Америке рабы смотрят на свободных белых сверху вниз и называют их «сором». Этот, по-видимому, ненормальный акт нам легко будет понять, если мы вспомним, что здесь у нас, в Англии, в XIX столетии множество женщин защищают то рабское положение, в котором их держат мужчины.

Едва ли возможно объяснить какой-либо из ходячих гипотез многочисленность и разнообразие взглядов людей на справедливость и неправду, чему мы здесь привели несколько примеров. Но смысл такого явления объяснится сам собой, если считать эти взгляды произведением нравственных сил, равновесие между которыми различно у каждого племени и в каждую эпоху, т.е. изменяется с каждым фазисом приспособления. При ближайшем анализе окажется, что общество непременно бы распалось, если бы его взгляды не были в такой зависимости от равновесия его чувств. Будь это иначе, племена, нуждающиеся в принудительном управлении, могли бы точно так же дойти до убеждения, что такое управление дурно, как до него доходят народы развитые. Русские могли бы понимать так же ясно, как и мы, несправедливость деспотизма и справедливость свободных учреждений. Если бы они это поняли, то это привело бы у них к общественному разложению, потому что нельзя себе представить, чтобы они после этого довольствовались суровым управлением, которое необходимо, чтобы удерживать их в состоянии общества.

§ 10. Когда несообразность между политическими учреждениями и народными свойствами делается достаточно велика, тогда происходит перемена; процесс такого изменения, со своей стороны, должен быть в гармонии с этими свойствами и, смотря по качествам народа, будет иметь или насильственный характер, или мирный. Нередко слышны возгласы против революций, произведенных силой оружия; но порицатели забывают

¹ Three year's cruise in the Mozambique Channel.

в этом случае, что характер революций точно так же, как и характер всех других учреждений, определяется свойствами людей, которые их производят. Нравственное убеждение — вещь прекрасная, оно хорошо для нас, хорошо для всех тех, кого можно до него довести. Но предполагать, что на первых ступенях общественного развития можно употреблять нравственное убеждение и достигнуть таким образом цели — значит не понимать условий положения. Выражаясь языком механики, мы можем сказать, что чем неспособнее люди к общественной жизни, тем сильнее должен быть механизм, сдерживающий их в обществе, и тем значительнее и конвульсивнее должно быть усилие, необходимое для того, чтобы его сломить, как скоро он приходит в негодность. Существование правительства, не подчиняющегося народной воле, т.е. правительства деспотического, предполагает такую обстановку, при которой возможна одна насильственная перемена. Для того, чтобы принудительное управление могло иметь практическое применение, в народе должно преобладать обожание силы, а это всегда указывает на сохранившуюся еще дикость. Когда чувство обожания силы могущественно, то деятельность его может прекратиться лишь после того, как зло дурного управления породит большое ожесточение. Излишняя сила чувства, обеспечивающего внешнее управление, указывает на недостаток чувства, порождающего управление внутреннее; при таком положении нет того внимания к жизни и правам людей, которое не допускает до крайностей. А где разрушительные наклонности сравнительно деятельнее, раздражение достигает крайних пределов, и чувство самообладания недостаточно, там насилия неизбежны. Мирные революции производятся при совершенно других обстоятельствах. Подобные революции возможны только тогда, когда общество не состоит более из резко враждебных членов, когда оно начинает сливаться и в нем порождается внутренняя организация, когда нет более надобности сдерживать его посредством могущественного внешнего стеснения и когда, следовательно, нужно несравненно менее силы, чтобы произвести перемену. Подобные перевороты возможны лишь при условии достижения людьми более значительной степени приспособления к общественной жизни, при которой они уже не способны ни причинять, ни переносить крайнего притеснения,

вследствие чего размеры народного негодования будут значительно уменьшены. Они возможны лишь тогда, когда симпатические чувства настолько развиты, что отчасти нейтрализуют наклонность к жестокой мести. Для того только, чтобы привилась идея, что реформы могут и должны происходить мирным путем, нужно уже в значительной степени обладать нравственным чувством. При недостатке этого последнего подобная идея не только невыполнима, но недоступна даже пониманию, но зато с его развитием делается возможным и то, и другое.

Таким образом, мы должны смотреть на судорожные общественные перевороты теми же глазами, что и на все другие естественные явления: они вырабатываются неизбежно и идут неизменным путем. Мы можем сожалеть о пролитии крови, мы можем желать, чтобы кровопролития не было, но безрассудно предполагать, что при тех же народных свойствах дела могли бы пойти иначе. «Не случись таких-то или вот этих обстоятельств, — говорят нам, — то результат был бы совершенно иной; если бы жив был такой-то человек, то он предупредил бы катастрофу». Но не следует поддаваться подобным заблуждениям. Перемены эти производятся силой, не зависящей от отдельной воли. Личности, кажущиеся в этом случае главными двигателями, в сущности не более как орудия этой силы; если бы их не было, то на их место явились бы другие. Несообразность между свойствами и учреждениями — вот сила, производящая волнение; революция есть процесс, приводящий к равновесию. Процесс этот видоизменяется случайными обстоятельствами, но окончательный результат выходит почти один и тот же. Можно ускорит или замедлить движение, усилить волнение или облегчить и улучшить исход, но через несколько лет дело придет к тому же результату, и происшествия переходного времени не имеют тут никакого значения.

Совершенно справедливо, что насильственные перевороты, низвергающие старый порядок, не осуществляют надежд тех, кем они производятся, и в окончательном результате порождают учреждения, превосходящие лишь немногим только что уничтоженные (гл. XX, § 2). Но так же справедливо, что произведенные изменения не могли произойти никаким иным путем. Недостаток приспособленности обуславливает как дурной процесс перемены, так и несовершенную политическую

организацию. Не только вызванное им постоянное управление будет отличаться суровостью, но даже самые незначительные улучшения будут достигнуты не иначе, как с большими страданиями. Наоборот, те же самые причины, которые делают возможным лучшее общественное состояние, облегчают и совершение последующих изменений. Изменения совершаются чаще при меньшем давлении и сопровождаются не столь значительным волнением; мало-помалу постепенное уменьшение размеров перемен и расстояния между ними приводит к процессу непрерывного роста.

§ 11. Можно рассматривать цивилизацию еще с другой точки зрения. Это процесс, которым вырабатывается устройство человека и общества, необходимое для полного проявления каждой индивидуальности. Для полного счастья каждого, а, следовательно, и для полного счастья всех необходимо, чтобы человек мог следовать всякому являющемуся в нем желанию, чтобы он всегда был тем, чем его создала природа. В силу закона приспособления мы должны подвигаться к такому состоянию, при котором возможно полное удовлетворение всякого желания, всестороннее выполнение всех задач индивидуальной жизни. Сначала такое положение невозможно. Предоставленные на произвол стремления первобытного человека приводят к анархии. Если его индивидуальная жизнь не будет стеснена, то общество должно разложиться. Даже в нашей среде необходимо стеснение, но отдельная воля гражданина имеет уже более простора, потому что не действует так разрушительно на порядок. Дальнейший прогресс должен состоять в возрастающем уважении к священным правам индивида и в упадке всего, что их ограничивает.

Можно привести бесчисленное множество фактов в доказательство того, что при первобытных правительствах личность стесняется всего более и что стеснение это уменьшается по мере развития общества. Сравнивая народы Египта, Ассирии, Китая и Индостана с греками, Грот говорит: «Религиозные и политические постановления то в совокупности, то отдельно определяли образ жизни каждого человека, его веру, обязанности и положение в обществе: они не оставляли никакого простора для деятельности воли и рассудка индивидуума». Начиная от

самой чистой формы права собственности правителя над народом, какую мы видим, например, в царствовании Дария, и проходя по всем его разнообразным видоизменениям до того времени, когда говорилось: «государство — это я»*, и даже до типического современного выражения «мои подданные», мы видим постоянное слияние и более или менее совершенное поглощение многих личностей одной. Параллельные этому отношения рабов и зависимых людей к своему господину и домохозяев к главе семейства носили тот же характер. Словом, всякий деспотизм, будет ли он политический, религиозный или обычный, будет ли он состоять во власти одного пола над другим или одной касты над другой, заключает в себе стеснение индивидуума, и цивилизация по самой своей природе должна его устранять.

Удаляясь от одной крайности, где государство — все, а личность — ничто, общество должно проходить через множество видоизменений. Аристократия и демократия неправильно назывались различными и противоположными принципами. Они и комбинации, составляющиеся из них, вместе с монархией, суть не более как различные степени прогресса на пути к полной индивидуальности. Возрастание частных прав, по сравнению с публичными, можно видеть не только при сравнении усовершенствований в формах управления. То же обнаруживается и в изменяемости добровольных союзов, например, политических партий: они постоянно идут к разложению вследствие внутренних разъединений, недостатка власти над своими членами; дело в том, что при постоянно возрастающей разнородности мнений распространяется гибельная для них личная независимость. Закон этот еще яснее обнаруживается в религиозных организациях. Количество сект в последнее время постоянно возрастало с увеличивающейся быстротой; примеры разделений бесчисленны: господствующая церковь разделилась на евангелическую, «высокую» и пюезитов; от нее отделилась Свободная церковь; явился раскол методистов, унитариян; размножились бесчисленные местные согласия, для которых классификация невозможна**; наконец, проповедуется, что однородность мнений еще не должна служить основанием для связи. Обнаруживающаяся таким образом всеобщая склонность разъединения есть не что иное, как путь, которым проявляется возрастание требований индивидуальности. В окончательном

результате должны исчезнуть эти постоянные подразделения, которые мы называем сектами. На место искусственного единообразия, какое создается путем выкраивания людей по известным признанным образцам, явится одно из тех единообразий, какие встречаются нами в природе: общее сходство с бесконечным количеством бесконечно малых различий.

§ 12. С точки зрения, до которой мы теперь дошли, нам уже нетрудно видеть, что ряд истин, называемых при нашей искусственной классификации *учением о нравственности*, в существе своем однороден с истинами мира физического; это род трансцендентальной физиологии. Порядок вещей, предписываемый законом равной свободы — порядок, при котором каждый индивидуум может развивать свои личные особенности неограниченно, с одним лишь условием равномерного взаимного развития индивидуальности со стороны других, порядок, к которому (как видно из предыдущего) стремится человечество, — это тот же самый порядок, к какому направляется и вся природа. Мы показали, что только полное применение нравственного закона может делать жизнь полной (гл. XVII, § 1); теперь мы увидим, что высшее проявление всякого рода жизни состоит в способности к выполнению того же закона.

Путь к этому обобщению указан учением Кольриджа. «Под словом *жизнь*, — говорит он, — я разумею истинную идею жизни, самую общую форму, в которой она проявляется и которая заключает в себе все другие формы. Я доказал, что такое общее проявление заключается в *наклонности к индивидуальности*; степени существования или различная сила проявления жизни состоят в прогрессивном осуществлении этого стремления». Чтобы сделать понятным такое определение, нужно привести некоторые из фактов, которым оно старалось дать общее выражение, и объяснить таким образом контраст между низкими и высокими типами органического строения и между низкими и высокими степенями жизненности.

Примеры наши мы будем брать из одного животного царства и начнем с форм, в которых проявления жизни наиболее незначительны. Возьмем для примера род *Porifera**. Эти существа состоят только из полужидкой слизи, сдерживаемой посредством роговой ткани (губки). Слизь эта не обладает

никакой чувствительностью, не имеет никаких органов, пищу же всасывает из воды, которая проникает в ее массу. Если ее разделить на части, то каждая часть продолжает жить, как жило прежде целое. Таким образом, эта так называемая «студенистая оболочка» обнаруживает индивидуальности немногим более, чем бесформенный кусок неодушевленной материи; подобно такому куску, она не имеет отдельных частей, и отдельные целое составляют только частички, из которых сложилась вся масса, подобно тому как это бывает в телах неорганических. В сложных полипах, с которых начинается Кольридж, проявляется первый шаг к индивидуальной жизни; в них мы уже различаем части. Кроме первоначального, единообразного студенистого вещества с прорезывающими их каналами, мы видим у *Alcyonidae** прибавочные к ним пищеварительные мешки со ртами и щупальцами. Тут уже есть отчасти разделение на индивидуумы, прогресс к сепаратизму. Питание остается общим; между тем каждый полип имеет до известной степени независимую способность ощущения и движения. Возвышаясь с этой ступени, можно идти различными путями. *Corallidae*** будут ближайшей ступенью на одном из этих путей: тут масса, образующая полипы, окружает известковую ось; этим путем мы доходим до *Tubiporidae****, где уже полипы не соединены вместе, а каждый имеет свою ячейку, помещенную в общей известковой массе. Проходя по этим ступеням, Кольридж упустил из виду гидр, или пресноводных полипов, встречающихся в наших прудах; тут мы видим замечательную переходную форму, посредством которой эти коммунистические полипы связываются с высшими индивидуальными организациями. Эти создания по устройству своему похожи на отдельные члены вышеописанного сложного животного. Они размножаются посредством почек; новые особи вырастают из тела родителей. «В первом периоде своего образования молодые полипы соединены с общим организмом, из которого они вырастают; даже по достижении ими известного развития, когда они имеют уже внутреннюю полость и щупальца, желудок их все-таки состоит в свободной связи с желудком родителей... Как скоро вновь образовавшаяся гидра способна хватать добычу, она начинает способствовать содержанию своих родителей. Пища, которую она захватывает, проходит через отверстие, находящееся у ее основания,

и входит в тело первоначального полипа. По мере того как молодое животное развивается и делается способным к отдельному существованию, соединение между полипами уменьшается и, наконец, делается столь незначительным, что достаточно легкого движения со стороны одного из них для того, чтобы произвести отделение. Этим и заканчивается процесс... Иногда шесть или семь ростков выходят одновременно из одной гидры. Весь процесс оканчивается в двадцать четыре часа, но нередко прежде, чем вновь образовавшиеся полипы отделятся от своих родителей, на них является уже третье поколение. Таким образом, наблюдаемо было до восемнадцати штук, соединенных в одну группу»¹. Вот создание, которое нельзя в строгом смысле назвать ни индивидуальным, ни сложным; номинально это особь, на деле оно никогда им не бывает. У этого полипа постоянно несколько индивидуумов соединены вместе. Если каждые два полипа рассматривать отдельно, то они соединены между собой лишь временно, но соединение нескольких особей тут постоянно: мы всегда видим группу, хотя неделимые этой группы постоянно переменяются. Здесь уже резко обозначается стремление к индивидуальности. Гидры постоянно, хотя безуспешно, стремятся стать настоящими неделимыми. Стремление к индивидуальности обнаруживается, далее, в том, что размножение путем почкования постепенно утрачивает свое значение, и рядом с ним является более совершенный способ воспроизведения — посредством яйца. Bryozoa* представляет нам подобный пример — где размножение яйцами существует одновременно со сравнительно слабым почкованием.

После того как достигнута полная отдельность организмов, закон этот обнаруживается в последовательных усовершенствованиях органического строения. Все высшие создания отличаются от низших большей индивидуальностью частей, большей определенностью их природы и их отправлений. Гидры, о которых мы только что говорили, суть простые мешки со щупальцами около внешнего отверстия, их совершенно безопасно можно вывернуть наизнанку; желудок делается тогда кожей, а кожа — желудком. Тут явное отсутствие специальных

¹ «A General Outline of the Animal Kingdom». By Professor T. R. Jones F. G. S.

особенностей: обязанности желудка и кожи исполняются одной и той же тканью, которая не *индивидуализирована* разделением на две части, с приспособлением каждой к достижению особой цели. Контраст между таким состоянием и тем, при котором существует подобное различие, достаточно объяснит значение индивидуализации органов. Эту последнюю можно отчетливо проследить через всю область животной жизни, наблюдая постепенное развитие форм нервной системы. *Acrita** — класс, к которому относятся все вышеупомянутые животные — «не имеют ни нервных масс, ни нитей, и предполагают, что нервное вещество распространено у них на мельчайших частицах по всему телу»¹. В следующем классе *Nematoneura* мы видим первую попытку индивидуализации в нервной системе. Нервное вещество явно скапливается в нити. У *Homogangliata* оно сосредоточивается в известном числе небольших равных масс — ганглиях. У *Heterogangliata* некоторые из этих небольших масс собраны вместе и составляют массы большего объема**. Наконец, у *Vertebrata**** большая часть нервных центров соединена и составляет мозг. Остальные составные части организма тем же самым путем соединяются в определенные системы: мускульную, дыхательную, пищеварительную, для выделения и всасывания, для обращения соков и т.д. Все эти системы опять разделены на части, имеющие специальные отправления.

Точно такой же смысл имеют и изменения в жизненных проявлениях, сопряженные с этими изменениями в устройстве. Обладать большим разнообразием чувств, инстинктов, сил и способностей, иметь более сложное устройство своих особенностей и принадлежностей — значит более резко отличаться от созданий всякого иного рода, обнаруживать более определенную индивидуальность. Все существа, органические и неорганические, имеют известные общие свойства: вес, подвижность, инерцию и т.д.; затем, есть добавочные свойства, которыми обладают только одни органические существа, а именно: способность расти и способность размножаться; далее, есть свойства, которыми обладают одни только высшие органические существа, например, слух, зрение и т.п. Итак, эти высшие органические существа, обладая характеристическими особенностями,

¹ Jones.

которых не имеют остальные, отличаются через это от большего числа созданий, чем все прочие, и отличаются в большем числе отношений; отдельность, индивидуальность в них сильнее. В то же время у существ более высокого типа замечается большая сила самосохранения, и эта способность принадлежит тому же самому стремлению к индивидуальности. Чем ниже организм, тем больше его зависимость от внешних условий. Ему постоянно грозит разрушение со стороны стихий, от недостатка пищи, от врагов; он почти во всех случаях кончает тем, что подвергается разрушению. Все это показывает, что в нем недостаточна сила для охранения своей индивидуальности: он ее теряет, возвращаясь в неорганической форме, или поглощается другим индивидуумом. Наоборот, там, где есть сила, проницательность и быстрота — все признаки высшего устройства — там существует и соответствующая этим качествам способность охранять свою жизнь; неделимое уже не так легко разрушить, потому что со стороны его предпринимается многое, чтобы предупредить разрушение; индивидуализация проявляется тут в более совершенном виде.

Самое сильное проявление этой склонности мы видим у человека. По сложности своего устройства он отстоит всего далее от неорганического мира, наименее отличающегося индивидуальностью. Его ум и приспособляемость обыкновенно дают ему возможности сохранить свою жизнь до старости, закончить весь цикл своего существования, то есть осуществить и расширить свою индивидуальность до крайних ее пределов. Кроме того, он обладает сознанием, способен понять свою индивидуальность. Мало этого, мы только что разъяснили, что и все преобразования в человеческих делах ведут к дальнейшему развитию той же способности: их можно назвать стремлениями к индивидуализации.

Наконец, мы должны обратить внимание на тот существенный факт, для которого предыдущий очерк служит введением. Означенный факт состоит в том, что то, что мы называем нравственным законом — закон равной свободы, — есть именно такой закон, при котором индивидуализация достигает своего совершенства, и что способность понимать и действовать на основании этого закона — самое совершенное свойство человека, свойство, которое теперь вырабатывается. Возрастающее

требование личных прав включает в себе возрастающую претензию на уважение внешних условий, необходимых для полного развития индивидуальности. В этом заключается не только сознание этой последней и понимание средств, которыми она может охраняться, но еще убеждение в том, что можно требовать для себя сферу деятельности, необходимую для надлежащего развития индивидуальности, и соответствующее такому убеждению желание делать такое требование. Как скоро довершится происходящая теперь перемена, как только каждый будет обладать деятельным инстинктом свободы и соответствующей ему симпатией, тотчас уничтожатся все теперь существующие ограничения индивидуальности: и правительственные стеснения, и притязательность одних людей по отношению к другим. Никто не будет встречать препятствия при развитии и упражнении своих способностей, ибо, охраняя собственные права, каждый будет в то же время уважать равные права других. Не будет более ни законодательных ограничений, ни законодательных тягостей; один и тот же процесс сделает их и ненужными, и невозможными. Тогда в первый раз в истории мира будут жить существа, личные особенности которых будут в состоянии находить себе полное удовлетворение во всех отношениях. Как уже сказано было выше, окончательно развившийся человек осуществит одновременно совершенную нравственность, совершенную индивидуализацию и совершенную жизнь.

§ 13. Эта высшая индивидуализация должна быть связана с наибольшей взаимной зависимостью. Несмотря на кажущуюся парадоксальность такого взгляда, прогресс ведет в одно и то же время и к полному сепаратизму, и к полному объединению. Сепаратизм тут такого рода, что он вполне согласен с самыми сложными комбинациями для удовлетворения общественных нужд; объединение, в свою очередь, таково, что ни в чем не мешает полному развитию каждой личности. Цивилизация порождает состояние и свойства, в которых примиряются противоположные, по-видимому, требования. Для выполнения цели творения, т.е. для создания наибольшей суммы счастья, должно существовать население настолько значительное, что оно могло бы содержаться лишь при системе, ведущей к наибольшему производству, т.е. при наибольшем разделении труда, другими словами,

при наибольшей взаимной зависимости. В то же время каждый индивидум должен иметь возможность делать все, к чему его побуждают его желания. Эти два условия могут быть приведены в гармонию только процессом приспособления, которому подвергается человечество. В течение сказанного процесса все желания, несогласные с самой совершенной общественной организацией, уничтожатся и разовьются другие, соответственные этой последней. Может быть, не совсем ясно, каким образом такой процесс должен когда-нибудь привести к совершенной индивидуализации и полной взаимной зависимости?

Но это можно объяснить примером. Мы имеем известные семейные склонности, которые могут быть удовлетворены только близостью других существ и известной с ними связью. В отсутствии этих существ, когда, следовательно, относящиеся сюда чувства бездействуют, индивидуальность не может получить надлежащих своих размеров; итак, нормальное развитие супружеских и родительских элементов зависит от обладания семейством. Точно таким же образом нормальное развитие всех других элементов индивидуальности при высшей степени цивилизации будет зависеть от существования цивилизованного общества. Личностью будет приобретен именно тот род индивидуальности, который находит самую удобную сферу для своих проявлений в обществе с самой совершенной организацией; каждое общественное учреждение будет составлять условие, соответствующее какой-либо из его способностей — при других обстоятельствах существо это будет лишено всякой возможности проявить себя. Окончательно развитой человек есть такой, у которого частные потребности совпадают с общественными. Он будет принадлежать к тому роду людей, которые, удовлетворяя требованиям собственной своей природы, вместе с тем выполняют и отправления общественной единицы; он будет способен вполне удовлетворить себя только тогда, когда и все остальные будут делать то же самое.

§ 14. Следует объяснить подробнее, каким образом прогресс ведет людей одновременно и к большей взаимной зависимости, и к большей индивидуализации, каким образом благосостояние каждого с каждым днем все теснее и теснее соединяется с благосостоянием всех, и почему, следовательно, интерес каждого

закljučается в том, чтобы уважать интересы всех. Многим факт этот, к несчастью, совершенно не известен. А между тем люди не могут нарушать жизненный закон общественного организма — закон равной свободы — без того, чтобы тем или другим путем не навлечь на себя наказаний. Так как они сами члены общества, то все, что действует на общество, отражается на них. От хорошего или дурного состояния общества зависит степень, в которой они могут удовлетворять своим потребностям, и большее или меньшее количество зла, какое им будет причинено. Дурные учреждения, ежечасно вносящие горечь в их жизнь, суть не что иное, как соединенный результат всех прегрешений против социального закона, включая сюда и их собственные грехи. За эти грехи они отвечают не только тем, что переносят излишние стеснения и неприятности, но и тем, что для достижения своих целей должны употреблять излишнюю работу и излишние издержки.

Во все времена обнаруживался с большей или меньшей ясностью тот факт, что всякое нарушение закона приводит к реакции, общей или частной; реакция же тем значительнее, чем больше нарушение. Уже во времена Фалеса сделано было наблюдение, что тираны редко умирают естественной смертью. С того времени и до наших дней престолы на Востоке постоянно обгагривались кровью тех, которые занимали их один за другим. Тот же самый факт виден в прежней истории всех европейских государств.

Люди, владеющие неограниченной властью, могут, по-видимому, делать все, что пожелают; в действительности они, однако же, не в состоянии поступать таким образом. Они ограничивают собственную свою свободу, ограничивая свободу других; их деспотизм отражается на них самих и держит их в рабстве. Мы узнаем, например, что римские императоры были игрушками своих солдат. «В византийском дворце, — говорит Гиббон, — император был первый раб церемоний, им самим установленных». Говоря о скучных церемониях этикета времен Людовика Великого, мадам де Ментенон замечает: «После лиц, занимавших самые высшие места, самыми несчастными были те, которые им завидовали. Право, вы и понятия не можете себе составить об этом положении!» То же самое отражение на себе собственных действий ощущают рабовладельцы. Многие плантаторы Вест-Индии сознавались, что до освобождения негров они были рабами из рабов в своих владениях. Американцы

во многих отношениях скованы были их собственной несправедливостью. На юге белые сами стесняют себя для того, чтобы быть в состоянии притеснять черных. Брак со смешанными расами запрещен; для того чтобы быть сенатором, нужно владеть известным количеством рабов; никто не может освобождать своих рабов без особого дозволения; лишь под страхом суда Линча можно осмелиться сказать слово в пользу освобождения.

Для многих ясно, что подобные великие нарушения человеческих прав обращаются на нарушителей — «беспристрастная справедливость подносит отравленную чашу к губам тех, кто сам ее приготовил». Но лишь немногие понимают, что то же самое правило можно применить к меньшим нарушениям, в которых люди оказываются виновными. Вероятно, современные защитники власти одного класса над другим понимают ясно, что их предки, феодалы, несколько дорого платили за порабощение масс. Они видят, что бароны пользовались за это весьма некомфортабельной жизнью в своем вооружении и скрытых кольчугах, со своими потаенными помещениями, тайными проходами, полусветом в комнатах, с предосторожностями против отравы, среди постоянного страха сделаться жертвой нечаянных нападений или измены. Они понимают, как велика была иллюзия людей, полагававших, будто, порабощая народ, можно приобрести всего более богатства. Жакерия*, галицийские убийства, где рабы насыщали свою месть, сжигая замки и избивая их обитателей, убеждают их, что бывают дни губительной расплаты за давнишние долги. И все же эти люди не в состоянии понять, что *их* собственные несправедливые дела — тем или другим путем — обращаются на *их* голову. Благородные феодалы не могли понять причину зла, которое переносили вследствие неизменных законов природы: им никогда и во сне не снилось, что эти страдания были рефлексивными результатами тирании. Потомки этих феодалов не понимают, что многие из источников их несчастий порождены тем же путем.

В некоторых случаях почти невозможно угадать тайные пути, которыми наши дурные поступки относительно других обращаются на нас самих; но есть также случаи, где эта реакция очевидна. Зрители кидаются из загоревшегося театра, они торопятся обогнать друг друга и запруживают дверь так, что никто не может сквозь нее пройти — вот хороший пример

несправедливого эгоизма, который вредит самому себе. Аналогический результат представляют американские дешевые общие обеды, где жадные посетители пытаются съесть более, чем им следует по справедливости: является конкуренция скорой еды, которая не только делает эти попытки бесполезными, но лишает всех удовольствия и порождает болезни. Тут довольно ясно, что люди, нарушая права других, вредят самим себе. Реакция тут прямая и непосредственная. Во всех других случаях существование обратного действия точно так же верно: оно придет или каким-нибудь окольным путем, или после истечения значительного времени, или в таком виде, что его трудно будет узнать. Сельский сквайр считает освобождение своих земель от жилищ рабочих дальновидным политическим расчетом; он полагает, что сваливает этим путем содержание своих бедных на других. Наш политик забывает, что землевладельцы соседних приходов уничтожат его расчеты, поступая с ним точно так же; если же его земля в такой местности, что он может поселить своих рабочих в городе, то, заставляя работника пройти лишнее пространство, отправляясь на работу и возвращаясь обратно, он тем самым уменьшает результат его дневного труда, т.е. возвышает издержки производства — уменьшает ренту. Он не понимает также, что переполненные спальни рабочих, пренебрежение сухостью и поправками в их жилищах — эти последствия его политики — порождают слабость и болезни, т.е. возвышают подать для бедных одним путем, в то время как уменьшают ее другим. Дорсетширский фермер, который платит за работу остатками пшеницы и выставляет за нее базарные цены, воображает, что соблюдает экономию. Ему и в голову не приходит, что при этом он теряет более, чем выигрывает, ибо прямыми последствиями его действий являются: мелкое воровство, разрушение его оград для топлива и порожденная этим необходимость держать скот постоянно запертым в хлевах, увеличение земских сборов в силу необходимости преследовать разбойников и браконьеров. Для торговца кажется очевидным, что всякий излишний барыш, который он получает посредством ухудшения достоинства товара, есть чистая выгода. Временно это может быть и справедливо. Скоро, однако же, его конкуренты будут поступать точно так же, как и он; они в известной степени даже *будут вынуждены* поступать таким образом, и барыш

придет к прежнему уровню. Между тем этим дано поощрение всеобщему обычаю ухудшать достоинство товаров, он распространяется и на другие отрасли, ухудшает произведения, которыми торгуют в лавках, и вот в качестве потребителя фальсификатор сам страдает от образа действий, развившегося с его помощью. Пока продолжалось временно обремененное состояние негров в Вест-Индии, были случаи, что рабы желали выкупиться до дня «королевского освобождения»; для этой цели плантаторы должны были определять стоимость этих рабов, и они полагали, что поступают очень хитро, показывая под присягой большую против действительного ценность дня. Через несколько времени, когда труд обратился в вольнонаемный, негры ссылались на собственную же их оценку рабочего дня и никак не хотели брать менее; тогда они, вероятно, раскаялись в своей бесчестности. Часто проходит много времени прежде, чем появиться возмездие; но оно все-таки явится. Посмотрите на ирландских землевладельцев: как жестоко они, наконец, наказаны за свои ренты, за отобрание собственности, за поощрение кулаков, снимавших землю в больших размерах и отдававших ее в аренду по частям, за крайнее свое равнодушие к народному благу. Посмотрите, как наказана Англия за то, что она поощряла людей, обижавших природных ирландцев: она вынуждена делать ссуды, которые не возвращаются; она наполняется толпами нищих переселенцев из Ирландии, которые стремятся низвести до собственного уровня население своего нового отечества. Нарушения естественной справедливости постоянно губительны для нарушителей — все равно, будут ли они произведены многими или немногими, будут ли они заключать в себе усилия ограбить иностранцев посредством воспретительных тарифов или мошенничество купца. Пока люди будут оставаться общественными единицами, до тех пор они не могут нарушать жизненных принципов общества без тех или других зловредных последствий для самих себя.

§ 15. Для достижения полного счастья гражданин не только должен сам сообразоваться с нравственным законом, но для него чрезвычайно важно, чтобы и всякий другой поступал точно так же. Эта взаимная зависимость, необходимо порождаемая общественным состоянием, более или менее посредственным

путем приводит к тому, что всякий человек получает личный интерес в делах всех остальных людей. Глазам, которые не видят далее своих счетных книг, кажется, что для них все равно, как бы ни шли дела человечества. Эти люди полагают, что гораздо умнее не мешаться в общественные дела, не делать себе этим врагов и не вредить своей торговле. Если они до того эгоистичны, что вовсе не заботятся о своих ближних, так как их собственный горшок с мясом достаточно полон, то пусть же они знают, что в этом деле у них есть интерес, который приносит фунты, шиллинги и пенсы. Если они не имеют высших побудительных причин, чтобы заботиться о дальнейшем развитии человеческого благосостояния, то к этому должно побуждать их благоразумие, охраняющее собственный свой карман. Водворение большей справедливости в человеческих делах вознаграждает тех, которые за это берутся. Распространение здоровых принципов и улучшения в общественной нравственности приводят, наконец, к тому, что уменьшают домашние издержки. Разве эти господа не видят, что, покупая мясо, хлеб и лакомства, они должны вместе с тем расходоваться и на содержание тюрем и полиции? Покупая платье, они должны дорого платить, чтобы вознаградить портного за убытки, причиняемые ему бесчестными должниками. Всякий оборот в их жизни до известной степени затрудняется общей безнравственностью. Они чувствуют это в проценте, который требуется с капитала: отвлекаясь от временных изменений, мы найдем, что он тем значительнее, чем хуже люди¹. Им дают это почувствовать счета ходатаев по делам: они вынуждены молча подвергаться грабежу для того, чтобы закон не подвергнул их грабежу еще большему. Им дает это почувствовать приходящаяся на них часть в двух с половиной миллионов ежегодной траты на металлические денежные знаки. Они чувствуют это и при упадке торговли, который следует за чрезмерно страстными спекуляциями. Этим господам кажется, что распространять между людьми чувство независимости есть нелепая трата времени; но им следовало бы вспомнить об акциях железных

¹ Там, где бесчестность и непредусмотрительность достигают крайних пределов, деньги можно получать не менее как за тридцать-сорок процентов, например, в Бирманской империи или в Англии во времена короля Джона. См. «Политическую экономию» Милля.

дорог, которые были куплены ими с премией и затем упали до разорительной для них цифры, потому что директора работствовали перед богатым самодуром; они бы научились из этого, что преобладание мужества может иметь для них денежную цену. Они полагают, что ссоры соседних наций вовсе до них не касаются, но, рассмотрев дело ближе, окажется, что подобные вещи будут отзываться более или менее чувствительно на их барышах, даже если бы они жили в самом отдаленном углу Англии: венгерская война, например, — посредством займов, которые ею вызваны, датская блокада — посредством своего влияния на нашу торговлю. По их мнению, им нет никакого интереса в хорошем управлении Индией; но самое непродолжительное размышление убедит их, что они постоянно страдают от неправильностей в торговле, для которых источником служит неверное и недостаточное снабжение рынков хлопком из Америки, а эта неправильная торговля, вероятно, прекратилась бы, не будь Индия истощена расточительностью своих правителей. Есть ли возможность сказать после этого, что они тут не заинтересованы? Для них важны даже улучшения в китайском воспитании — китайские предрассудки преграждают путь английским купцам. Кто же скажет, что они не заинтересованы? Они заинтересованы и в американских железных дорогах, и каналах, потому что в окончательном своем результате эти работы имеют влияние на цену хлеба в Англии. Что же, и это для них пустяки? Да их касаются размеры благосостояния каждого народа на земной поверхности! Закон капитала заставляет его постоянно переходить из тех мест, где он в изобилии, туда, где в нем чувствуется недостаток; поэтому богатые народы никогда не будут в состоянии вполне наслаждаться плодами своего труда до тех пор, пока все другие нации не будут столь же богаты. Хорошие порядки в самых отдаленных и незначительных общинах полезны для *всех* людей, а дурные на *всех* накликают бедствия. Каждое дурное и хорошее влияние, действующее в данной среде, может лишь слегка касаться отдельной личности; еще легче касается ее то, что происходит в других обществах; влияние на нее в обоих случаях может равняться бесконечно малой величине, но сложный результат myriad этих бесконечно малых влияний составляет именно то, от чего зависит и ее счастье, и ее бедствия.

§ 16. Окончательная тождественность личных и общественных интересов делается для нас еще яснее, если мы раскроем, какая существенная жизненная связь находится между каждым лицом и обществом, к которому оно принадлежит. Мы обыкновенно сравниваем нацию с живым организмом. Мы говорим о «политическом теле», об отправлениях различных его частей, о его росте, болезнях — точно будто это какое-нибудь создание. Но мы обыкновенно смотрим на эти выражения как на метафоры; мы мало обращаем внимания на то, до какой степени тут близка аналогия, и в какой мере она может найти свое осуществление в действительности. Сходство между организацией общества и индивидуума до такой степени полно, что в подобных выражениях заключается нечто большее, чем простая аналогия. Посмотрим на факты.

Рациональность этого сравнения значительно выиграет, если мы обратим внимание на несомненный факт, что человеческое тело также состоит из бесчисленного множества микроскопических организмов, которые имеют известного рода самостоятельную жизнь: они растут, питаются из окружающих их жидкостей, они mnoжатся, подобно инфузориям-монадам, через самопроизвольное деление. Весь процесс человеческого развития, начиная от первых перемен в яйце и кончая вполне развитым человеком, в существе своем есть только размножение этих клеток посредством такого рода зарождений. С другой стороны, постоянный упадок с наступлением старости заключается, по своему существу, лишь в прекращении такого размножения. В здоровом состоянии жизнь этих клеток подчинена жизненному процессу всей системы — существование клеток, не подчиняющихся этому условию, составляет болезнь. Так, оспа происходит от появления особого рода клеток, отличных от тех, из которых состоит тело. Клеточки эти поглощают питательное вещество крови и быстро размножаются посредством деления до тех пор, пока не распространяется по тканям. Если тело не обладает достаточной энергией, чтобы освободиться от этих чуждых ему элементов, то является смерть. При известных состояниях тела правильно устроенные клеточки принимают новые формы жизни и, порождая себе подобных, приводят к паразитным наростам: так происходит рак. Под микроскопом рак можно распознать по особому элементу,

известному под названием раковой клеточки. Кроме подобных клеточных изменений, производящих тяжкие болезни, мы встречаемся еще с другими: клеточки, не изменяясь в своем существе, перестают подчиняться силе, управляющей всей системой. Вместо того чтобы прекратить свой рост и оставаться незаметными для простого глаза, они значительно развиваются и иногда достигают в своем диаметре размера нескольких дюймов. Такие клеточки носят название серозных пузырьков, или *гидатид* и *Acephalocystis*¹; их до последнего времени принимали за внутренних паразитов (глисты *Entozoa**) . Тесная связь между клеточными тканями и низшими независимыми организмами делается для нас еще более ясной, если мы обратим внимание на грегарины**. Эти существа по устройству своему весьма похожи на гидатид, а между тем причисляются к *Entozoa*. Они состоят из клетчатой оболочки, заключающей жидкость, и ядра, или *nucleus*. Они размножаются посредством раздвоения ядра и последовательных разделений стенок клеточки. Грегарины отличаются от клеточек тканей исключительно своей величиной

¹ «Первоначальная форма тканей состоит из свободных клеточек, которые растут посредством всасывания и развивают себе подобных из стекловидного ядра (*nucleus*). Все животные ткани составляются путем преобразований в этих клеточках. *Acephalocystis* в своих физических, химических и жизненных свойствах совершенно аналогичны с такими клеточками. Едва ли мы удалимся от истины, если скажем, что человеческое тело первоначально составляется из *Acephalocystis*; в естественном и здоровом состоянии они имеют микроскопические размеры и преобразуются в хрящи, кости, нервы, мускулы и т.д. Если вместо этого клеточка разрастается до того, что ее можно различать простым глазом, то ее уже называют *Acephalocystis*, и развитие это обыкновенно сопровождается ослаблением производительной силы, управляющей в человеке образованием тканей; на слабых пунктах механизма она уже не в состоянии более управлять метаморфозой первоначальных клеточек и направлять по истинному пути так, чтобы из них выходили те ткани, для которых они предназначены: она позволяет им сохранять свое зародышевое состояние и расти посредством всасывания из окружающей жидкостей. Эти клеточки начинают вредно и разрушительно действовать на ткани, которые должны были бы поддерживать и восстанавливать. Поэтому я считаю различные роды *Acephalocystis* просто болезненными формами и водяночными видоизменениями клеточек» (Professor Owen's Hunterian Lectures).

и тем, что они не составляют часть того организма, в котором находятся¹. В одном и том же организме могут существовать рядом клетки, составляющие его субстанцию, клетки, которые способствовали его построению, но вовсе не входят в организацию или отчасти имеют отдельное существование, наконец, клетки совершенно отдельные. На основании всего вышеизложенного мы имеем право рассматривать тело человеческое как общество монад, из которых каждая живет, растет и воспроизводится независимо, из которых каждая соединяется с известным числом других для известного отправления, необходимого для обеспечения как ее собственного существования, так и существования всех остальных, и каждая из которых получает свою долю питания из крови. С этой точки зрения, аналогия между отдельным человеком и целым обществом совершенно понятна. В обществе каждый человек точно так же помогает удовлетворять общественным нуждам и за это потребляет

¹ «Шлейден считает грегарины по существу своему отдельными органическими клеточками и относит их к самому низкому разряду растений. Эти существа представляют собой прекрасный пример существенного единства в органическом делении материи. Грегарины признаны животными только потому, что их ткани способны произвольно сжиматься и разлагаются в уксусной кислоте. Рот и желудок обыкновенно считались самой характеристической чертой животного — грегарины не имеют ни того, ни другого.

В 1846 году Генле и другие ученые оспаривали правильность причисления грегарины к органическим существам и даже вовсе не признавали их неделимыми; они считали грегарины просто огромной клеточкой. Таким образом, они применяли к ней мою идею об истинной природе ацефаллоциста, опубликованную в 1843 году.

В 1848 году Келлиker написал об этом предмете мемуар и доказал основательным и убедительным образом, что грегарины не только похожи на клеточку, но есть не что иное, как одушевленная клеточка. Она принадлежит к самой низкой ступени животных существ и должна быть сопоставлена с одноклеточными особами растительного царства. Шлейден и другие правильно разъяснили, что грегарины состоят из клетчатной оболочки, из жидкого и зернистого содержимого и ядра (nucleus), иногда содержащего еще ядрышки (nucleoli). Ядро (nucleus) составляет самую твердую часть и представляет наиболее сопротивления при давлении, подобно ядру Pokigastrian'a. Оно разделяется, и за разделением следует самопроизвольное отделение» (Professor Owen's Hunterian Lectures).

выпадающую на его долю часть из произведений, которые образуются в общественном организме.

Аналогия эта представится нам еще более замечательной, если мы обратим внимание на то, что различные роды организации, встречающиеся в обществе в то время, когда оно прогрессирует от самого низшего до самого высшего фазиса своего развития, совершенно схожи с различными видоизменениями животной организации. Создания низшего типа представляют не более как собрание многих равных частей; по выражению профессора Оуэна, они соединены между собой по принципу повторяющихся растительных форм. Если мы затем будем постепенно восходить к более совершенным формам, то заметим постоянное уменьшение симметричных частей и размножение несимметричных. Одна крайность отличается тем, что у нее мало отправлений и много однородных агентов для каждого отправления, другая имеет много отправлений и мало однородных исполнителей для каждого дела. Зрительный аппарат мухи состоит из двух групп неподвижных хрусталиков, насчитывающих до 20 000 однородных частей. Каждый из этих двадцати тысяч хрусталиков воспроизводит образ, но его поле зрения чрезвычайно ограничено, и сам он не имеет никакого приспособления к различным расстояниям; поэтому образы, полученные при таких условиях, должны быть очень несовершенны. В то же время млекопитающее имеет всего два глаза, но каждый из них обладает многочисленными принадлежностями. Он снабжен хрусталиком, составленным из соединенных вместе разнородных слоев, из которых каждый имеет особую форму и особое отправление. Эти слои способны изменять фокус зрения. Существуют мускулы, которые способны направлять глаза направо и налево, опускать вниз и поднимать вверх. Существует занавеска (зрачок, или радужная оболочка), соразмеряющая количество света, какое следует впускать в глаз. Существует железа для отделения слез. Существует канал, слезный мешок и слезные протоки для орошения глаза смягчающей жидкостью и для истока слез. Существует веко для обтирания глаза и ресницы для его защиты при приближении постороннего тела. Контраст этих двух родов зрительного аппарата указывает на различие между высшим и низшим типом организации. Если мы рассмотрим тот остов, какой необходим для поддержания тканей

организма, то найдем, что *Annelida** (например, обыкновенный червяк) имеет для этого многочисленный ряд колец. *Mugiapoda*** , следующая непосредственно за *Annelida*, имеют кольца менее многочисленные и более твердые. У *Mugiapoda* высших рядов они составляют уже небольшое число твердых сегментов. У *насекомых* сплочение это пошло еще далее. Подобные же изменения можно заметить в *черепокожных*: низшие их формы устроены по типу стоножки; высшие (краб) покрыты почти одной сплошной массой. Говоря об этих переменах, профессор Джонс прибавляет: «Если мы будем рассматривать прогрессивное развитие этого класса, то найдем тут, по-видимому, повторение даже тех переходных форм — скорпиона и паука, — которые составляли звенья между *Annelida* и *Mugiapoda* и между этими последними и *насекомыми*». Такие изменения внешнего скелета совершенно параллельны изменениям скелета внутреннего. Позвонки многочисленны у рыб и у змееобразных пресмыкающихся. Их менее у высших пресмыкающихся, еще менее у четвероногих и всего менее у человека. В то время как число позвонков уменьшается, их отправления и принадлежности делаются более разнообразными, тогда как у угря, например, они приблизительно все равны. То же самое можно сказать об органах перемещения. Оконечности у морского ежа и присоски морской звезды многочисленны, точно так же как и оконечности стоножки. У ракообразных число ног уменьшается до четырнадцати, двенадцати и десяти; у паукообразных и насекомых — до восьми и шести; у низших млекопитающих оно доходит до четырех и, наконец, у человека — до двух. Аналогические свойства имеет и постепенное изменение пищеварительной полости. На самых низших ступенях она представляет простой мешок с одним отверстием. Затем следует форма трубки с двумя отверстиями, имеющими различное назначение. У низших животных эта трубка состоит от начала до конца из одного всасывающего аппарата, это соединение равных частей; у более высших она видоизменяется и состоит уже из частей неодинаковых; отправление пищеварения подразделено здесь на несколько степеней, и части пищеварительного аппарата имеют уже разное устройство, приспособленное к различным встречающимся при этом отправлениям. Даже классификация, на основании которой человек составляет отряд двуруких и отличается от ближайших

к нему четырехруких, указывает на такое уменьшение числа органов с одинаковыми формами и отправлениями.

В развитии общества мы видим точно такой же переход от единения однородных частей к подразделениям на разнородные, точно такое же постоянное возрастание в распределении отправлений. Первобытный общественный организм весь состоит из повторений одного и того же элемента. Каждый человек в одно и то же время — и воин, и охотник, и рыбак, и строитель, и земледелец, и ремесленник. Каждая часть общества несет те же самые обязанности, что и всякая другая; тут дела идут точно так же, как и в теле полипа, где каждая часть есть в одно и то же время и желудок, и кожа, и легкие. Даже начальники, у которых впервые является склонность к разделению занятий, в экономическом отношении сохраняют свое сходство с прочими. На следующей степени социальные единицы разделяются на незначительное число классов — солдат, священников и земледельцев. Дальнейший прогресс разделяет земледельцев на различные касты с разнородными занятиями, как у индийцев. Едва ли есть надобность в дальнейших примерах: читателю самому известно, что переход от этих низших типов общества к нашему более сложному и совершенному типу носит на себе тот же самый характер. Читатель также сам заметит, как до сих пор продолжается собрание однородных частей в известных центрах, например, известного рода производства в известных местностях, как размножаются агенты с отдельными отправлениями и все дальше и дальше идет разделение труда.

Знаменательный для этой аналогии факт представляет то обстоятельство, что общества низшего и высшего устройства точно так же различаются друг от друга степенью своей чувствительности, как и животные, отличающиеся большим или меньшим совершенством организации. Отличительная способность низших организмов, дающая им возможность жить после того, как они разрезаны на части, вытекает именно из единообразия и несложности их состава. Если полипа разрезать на несколько частей, то каждая часть разрастается снова до целого полипа. Этим, очевидно, доказывается, что каждая из этих частей имеет все органы, необходимые для жизни; подобное же устройство каждой части возможно лишь под условием воспроизводимости таких органов во всех местах первоначального организма. Наоборот, отдельный член более высшего существа не может жить, потому

что не включает в себе всех условий, необходимых для жизни. Он по отношению к питанию, к нервной энергии, к окислению и т.п. зависит от всех прочих частей того тела, от которого его отделили. Первобытные и позднейшие формы общества точно так же отличаются друг от друга как в своем устройстве, так и в отношении чувствительности к повреждениям. Дикое племя может разделяться и подразделяться с незначительными неудобствами или даже вовсе без всяких неудобств для каждой отдельной части. Каждая из этих частей, заключая в себе все элементы целого, может точно так же вполне удовлетворять своим потребностям и очень скоро принимает простую организацию независимого племени. Напротив, в обществе, подобном нашему, ни одна часть не может быть отрезана или повреждена без того, чтобы от этого не пострадали все остальные. Уничтожьте орган, назначенный для распределения предметов потребления, и значительная часть остальных подвергнется смерти прежде, чем другой подобный же орган будет в состоянии развиваться. Отделите внезапно фабричное население от земледельческого — одно тотчас же погибнет, а другое будет долго влачить бедственное существование. Эту взаимную зависимость можно видеть каждый день в коммерческих оборотах: тяжелое положение фабричных рабочих, хотя и временное, тотчас же отзывается стеснениями на торговом рынке колониальных произведений в Лондоне и Ливерпуле; торговля лавочников является тихой или оживленной, смотря по урожаю пшеницы; болезнь картофеля может разорить известные отрасли промышленности.

Таким образом, мы приходим к убеждению, что аналогия между обществом и живым существом не только вполне оправдывается, но к ним применяется один и тот же закон жизни. Соединение многих людей в одно общество: постоянно возрастающая взаимная зависимость отдельных членов, которые сначала были совершенно самостоятельны, постепенное разделение граждан на отдельные части с различными помогающими друг другу отправлениями, составление одного целого, со многими существенными для его жизненной деятельности частями, — развитие организма, в котором нельзя повредить одной части без того, чтобы не нанести чувствительного удара всем остальным, — вот явления закона индивидуализации. Развитие общества точно так же, как и развитие человека и всякого рода

живых созданий, направляется к индивидуализации — к тому, чтобы представлять нечто целое, отдельное и законченное. При правильном понимании разнородных форм совершающегося кругом нас прогресса, мы увидим, что он единообразно характеризуется *этим* именно направлением.

Если мы снова обратимся к нашей исходной точке — к положению, что общественные и частные интересы по существу своему однородны, то должны прийти к следующему убеждению: они только тогда могут найти для себя наиболее полное удовлетворение, когда существует самая тесная жизненная связь между обществом и его членами. Если бы заключения относительно этой аналогии, построенные на только что изложенных основаниях, показались неудовлетворительными, то их можно подкрепить указаниями на гармонию, в которой они находятся с заключениями, выведенными из ежедневного опыта. Если человек станет наблюдать реакции, которыми сопровождаются нарушения справедливости, и затем обдумает отношения, в которых он находится к политическому телу, если он поймет, что тело это имеет известного рода жизнь и подвергается таким же законам роста, организации и чувствительности, как и всякие другие организмы, если он убедится, что одно и то же жизненное начало проникает как его существо, так и существо общества, что, с одной стороны, здоровье общества зависит от того, как он выполняет свои отправления, а с другой — его личное счастье находится в зависимости от правильности, с которой действует каждый орган социального тела, в таком случае, говорим мы, человек неизбежно должен убедиться, что его собственное благосостояние и благосостояние всех вообще людей — нераздельны. Он тогда увидит, что все то, что доводит до болезненного состояния одну какую-либо составную часть общества, неизбежно вредит всем другим частям. Он поймет, что его собственная жизнь делается тем, чем ей следует быть, только тогда, когда все общество придет к нормальному устройству. Он проникнется благотворной истиной, что *никто* не может пользоваться полной свободой до тех пор, пока не будут свободны все, никто не может быть вполне нравственным, пока *все* не будут нравственны, и что ни для кого не доступно полное счастье до тех пор, пока *все* не будут счастливы.

XXXI | ОБЩИЙ ИТОГ

§ 1. Подведя итог тем доводам, какие приведены в этом сочинении в пользу нашего учения о естественной справедливости, читатель будет в состоянии прийти к окончательному заключению.

С какой бы стороны мы ни начали наше исследование, всеми путями мы приходим к тому принципу, из которого развивается настоящее учение — этот факт имеет первенствующее значение и всего более говорит в пользу нашей теории. Если мы обратимся к априористическому исследованию единственных условий, при которых возможно осуществление божественной идеи наибольшего счастья, то найдем, что первое из них состоит в необходимости сообразоваться с законом равной свободы (гл. III). Обращаясь к устройству человека и рассматривая средства, которыми он может достигнуть наибольшего счастья, мы скоро придем к тому же самому условию: пользуясь этими средствами, человек не может достигнуть своей цели, пока не будет соблюдать закона равной свободы (гл. IV). При дальнейшем анализе мы находим, что выполнение закона равной свободы обеспечивается известными способностями, предназначенными именно для этой цели (гл. V). Наконец, вникая в явления цивилизации, мы видим, что она заключается в процессе приспособления, который может прекратиться только тогда, когда люди будут инстинктивно следовать закону равной свободы (гл. II). К этим положительным доказательствам присоединяются отрицательные: отрицать закон равной свободы — значит впадать в нелепости (гл. VI).

§ 2. Далее наш взгляд подтверждается еще тем обстоятельством, что прежние теории, оказывающиеся несостоятельными, поглощаются этим учением, так как часть истины, которая в них заключалась, входит в настоящее наше воззрение. Достижение наибольшего счастья, хотя и не может почитаться руководительным началом для человеческой деятельности, но все-таки составляет настоящую цель нравственности, если ее рассматривать с божеской точки зрения. В таком виде истина эта вошла в нашу систему (гл. III). Принцип нравственного чувства

также основан на явлении действительности, хотя те, которые его защищали, и не умели сделать из него надлежащего применения; он, при правильном истолковании, приводит в гармонию, по-видимому, противоположные убеждения и соединяется с ними для произведения полного целого. Прибавьте к этому, что философия, излагаемая в настоящем трактате, принимает в себя и дает дальнейшее приложение учению Адама Смита о симпатии (гл. V, § 5) и, наконец, вполне развивает учение Кольриджа об «идее жизни» (гл. XXX, § 12).

§ 3. В пользу этого учения говорит также то обстоятельство, что оно придает научный вид различным руководительным принципам ходячей морали и обобщает их со многими менее распространенными учениями в одно общее целое. Мы должны руководиться несомненными выводами из доказанного основного принципа, а не рассуждениями о том, производит ли убийство вообще несчастье или нет? Полезно или вредно воровство? Какое влияние на общественное благосостояние имеет рабство? Мы не можем довольствоваться результатами таких сложных и неточных исследований, как не можем руководиться спорными решениями нравственного чувства, предоставленного самому себе. Такими выводами из основного принципа устанавливаются не только главные правила справедливого порядка и надлежащего поведения в отношениях супружеских и родительских; основной принцип дает косвенным образом ясные ответы относительно надлежащего устройства правительства, его обязанностей и пределов его деятельности. Он указывает на кратчайшие и легко распознаваемые пути для выхода из бесконечного лабиринта спорных вопросов, касающихся политики и различных общественных мер. Заключение, к которым оно приводит, подтверждаются обильными данными, взятыми из опыта. Опыт этот доказывает ошибочность решений, основанных на утилитарных соображениях, а многочисленные аргументы, подтверждающие выводы из основного принципа по поводу каждого отдельного вопроса, показывают его превосходство. Система этики, синтетическим путем развитая из этого основного принципа, имеет все свойства точной науки. Она применяется к обширному кругу человеческих обязанностей, причем употребляет процесс измерения, весьма схожий с геометрическим:

процесс этот состоит в определении равенства и неравенства нравственных величин (гл. VII, § 1 и 2). Такая точность дает ей еще большее право на наше доверие.

§ 4. Предписания нравственного закона, которые здесь разъяснены, совпадают с законами политической экономии и предвосхищают их. Политическая экономия учит нас, что всякие ограничения вредны для промышленности; нравственный закон объявляет их несправедливыми (гл. XXIII). Политическая экономия объясняет нам, что насильственная торговля с колониями приводит к убытку; нравственный закон не позволяет такой торговли (гл. XXVII). Политическая экономия утверждает, что спекуляторам следует давать полную свободу действия на рынке, где производится торг предметами первой необходимости; закон равной свободы точно так же вооружается против ходячего мнения о необходимости в этом случае ограничений, утверждая, что они вправе распоряжаться по своему усмотрению, и признает всякое вмешательство в их действия несправедливым. Политическая экономия считает вредным наказывать ростовщиков; закон равной свободы признает подобные наказания нарушением прав и воспрещает их. Политическая экономия доказывает, что машины приносят народу более пользы, чем вреда; закон равной свободы воспрещает всякие покушения к ограничению их употребления. Политическая экономия приходит к положительному выводу, что заработную плату и цены на товары нельзя регулировать искусственным образом; из закона равной свободы выводится прямое заключение, что всякая искусственная регламентация в этом отношении недозволительна с нравственной точки зрения. Политическая экономия учит нас, что наименее вредная подать есть прямая; вместе с тем закон равной свободы не протестует безусловно против одних только прямых налогов (гл. XIX, § 2). Заключение политической экономии совпадают с предписаниями этого закона и во многих других случаях; например, относительно вреда всякого вмешательства в обращение денежных знаков, относительно бесполезности попыток постоянного поощрения какого-либо занятия за счет других, относительно неуместности законодательного вмешательства в способы и приемы фабричного производства. Более простые

выводы из основных начал нравственности предупредили и сделали излишними для практических целей тщательно выработанные аргументы Адама Смита и его последователей. Факт этот нам невозможно будет оценить надлежащим образом до тех пор, пока мы не убедимся, что выводы политической экономии справедливы только потому, что заключают в себе предписания нравственного закона, до которых ученые дошли окольным путем.

§ 5. Наше учение, сверх того, заключает в себе еще философию цивилизации. С научно-нравственной точки зрения оно игнорирует зло, но с психологической оно показывает путь исчезновения зла. Постановляя отвлеченные правила человеческого поведения, оно предполагает людей совершенными, заключает в себе закон этого совершенства; в то же время, разъясняя смысл нравственных явлений, это учение показывает, почему люди ведут себя именно так, как мы это видим в действительности, и почему процесс, через который прошло человечество, был необходим.

Мы показали, что если бы первобытный человек по устройству своему был способен оценить принципы истинной справедливости и сообразоваться с ними, то способность эта не только принесла бы вред, но даже оказалась бы губительной (гл. XXX, § 2). Мы разъяснили, что в силу закона приспособления способности, соответствующие этим принципам, начинают развиваться тотчас, как только вызываются условиями существования. Самые выдающиеся явления прогресса указывают на постоянное развитие таких способностей. Во многих местах мы показали, что господство этих последних должно предшествовать осуществлению совершенного состояния общества. Указано было также влияние, которое обеспечит за ними окончательное господство (гл. II).

Одна сторона учения выясняет единственные условия, при которых возможно осуществление божественной идеи и не обращает внимания на недостатки человечества; другая — указывает на душевные способности, необходимые для выполнения этих условий, объясняет, в чем заключается существо цивилизации, почему она была необходима, и приводит самые крупные ее черты.

§ 6. В заключение были приведены доказательства того, что нравственная истина — лишь дальнейшее развитие истины физиологической, и нравственный закон — просто закон всеобщей, совершенной жизни. Неоднократно было указано, что смерть есть окончательное прекращение упражнения способностей; все, что прекращает их деятельность *отчасти*, производит *страдание или частную смерть*; только простор для полной деятельности делает жизнь полной. Таким образом, первое условие жизни есть свобода упражнять свои способности; развитие этой свободы до крайних пределов возможного представляет условие наибольшей жизни; отсюда следует, что свобода каждого, ограниченная *только* равной свободой всех остальных, есть условие полной жизни в применении ко всему человечеству.

Все это справедливо не только по отношению к отдельным личностям, из которых состоит род человеческий, но и по отношению к целым обществам. Жизненная сила, какая обнаруживается в обществе, носит на себе высокий или низкий тип, смотря по тому, насколько в нем выполняются только что упомянутые условия. Читатель мог из нашего последнего анализа сам вывести заключение, что высшие типы социальной организации, которые характеризуются взаимной зависимостью отдельных частей, возможны только в том случае, когда между этими последними существует взаимное доверие; они возможны, следовательно, только тогда, когда люди поступают друг с другом справедливо, т.е. когда они повинуются закону равной свободы.

При широком обобщении закон равной свободы можно признать существенным законом природы, основным требованием для существования личного и общественного; это закон, при котором отдельный гражданин может достигнуть полной жизни и в то же время жизненная основа общественного организма в буквальном, а не в иносказательном смысле этого слова; это закон, которым завершается индивидуализация человека и общества, закон того состояния, к которому стремится мир.

§ 7. Припомнив весь ход аргументации, читатель соберет в одном фокусе те лучи, которые должны разъяснить ему настоящий вид дела и рассеять все сомнения, сохранившиеся в его

душе. До нашего основного принципа мы доходим различными, независимыми друг от друга путями. Принцип этот создает одну систему и соединяет в одно целое теории, по-видимому, противоположные или независимые друг от друга. Он не только придает научное значение руководящим началам нравственности, но соединяет их в одном обобщении с законами о государственных обязанностях. Его предписания оказываются согласными с учениями политической экономии. Цивилизация представляется с этой точки зрения развитием существа, способного сообразоваться с нашим принципом. В качестве закона совершенной жизни он связан с теми физическими законами, высшим проявлением которых служит жизнь. Наконец, оказывается, что он отличается таким многосложным средством именно *потому*, что лежит в основании жизненных проявлений.

XXXII | ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 1. Необходимо сказать еще несколько слов для того, чтобы пояснить то положение, в которое нам следует стать по отношению к изложенному учению. Найдется, вероятно, немало людей, которые будут усердно изыскивать «уважительные причины» для избежания стеснений, постановляемых нашим нравственным законом. Старинная привычка возвращаться к утилитарным соображениям покажет свое влияние. Привычка эта существовала у людей задолго до хвалебных ей гимнов Палея. Мы доказали, что в поступках своих нельзя руководствоваться расчетом могущих из них произойти последствий; мы объяснили всю ничтожность уверений, будто всякое правило, как бы оно хорошо ни было, должно иметь случайные исключения (лемма II); а все-таки можно ожидать дальнейшего восхваления неповиновения основному закону с точки зрения «политики». В числе других предлогов для сложения с себя нравственных обязанностей, безо всякого сомнения, будет приводиться и то обстоятельство, что совершенный нравственный кодекс, по нашему собственному сознанию, невыполним для несовершенного человека и что, следовательно, в настоящее время нужно руководиться каким-нибудь другим кодексом. По всей вероятности, будут утверждать, что в настоящее время нужно направлять свою деятельность не к тому, что справедливо с теоретической точки зрения, но к тому, что при современной обстановке наиболее удобоисполнимо. Не обойдется и без таких уверений, что поведение, которое при настоящих обстоятельствах производит всего более добра, правильно, если не *безусловно*, то, по крайней мере, *относительно* и, стало быть, с этой точки зрения, для нашего времени так же обязательно, как и выполнение отвлеченного закона. Может быть, скажут еще, что внезапное преобразование общества на основании принципов чистой этики должно породить бедственные результаты, пока природа человека такова, какой мы ее видим теперь; и, следовательно, нужно соблюдать некоторую осторожность в применении нравственных правил. Этим путем утилитарные взгляды возвратятся, если не в качестве безусловного основного закона, то по крайней мере как временные руководящие правила. Рассмотрим все это подробнее.

§ 2. По-видимому, вполне основательно утверждать, что для несовершенного человека необходим нравственный кодекс, который бы признавал его несовершенство. На деле это, однако же, не так. Ведь такой кодекс должен отличаться от совершенного только тем, что предписания его будут менее строги. Цель заключается в изменении совершенных правил таким образом, чтобы выполнение их сделалось возможным для существующих людей; другими словами, нужно выпустить самые строгие предписания. Вместо того чтобы говорить: «Не нарушайте вовсе закона», предполагается примениться к человеческой слабости и сказать: «Нарушайте его только в таких-то и таких-то случаях». В таком виде это предложение осуждает само себя: оно хочет сделать нравственными поступки, которые, по его собственному сознанию, безнравственны.

Оставляя это в стороне, рассмотрим преимущества, которые могли бы произойти от такого послабления. Можно ли предполагать, что люди будут вполне придерживаться своих обязанностей, если мы отбросим самую трудную их часть? Едва ли. Обыкновенно никакое выполнение не доходит до предположенной цели. Следовательно, поставить цель на один уровень с возможностью — значит сделать действительное выполнение ниже возможного. Разве может произойти зло от усилий достигнуть вполне той нравственности, которая в настоящее время доступна нам только отчасти? Конечно, нет; ведь и самый прогресс есть только результат постоянных усилий к достижению того, что лежит за пределами нашей возможности. Где необходимость предлагаемых изменений? Наша неспособность сама даст о себе знать, и в действительной жизни наш нравственный кодекс будет ослаблен именно настолько, насколько велика эта неспособность. Если люди в настоящее время не могут следовать закону, то, значит, они не в силах так поступать — вот и все тут; из этого, однако, не следует, будто мы должны сделать сколок с их неспособности и определить, что для них возможно и что нет. Мы не были бы в состоянии сделать ничего подобного даже и тогда, когда бы это было желательно. Только опыт может показать, в какой степени каждая личность в состоянии сообразоваться с законом. Степень возможности в этом случае для каждого человека иная, и определения, сделанные для одного, не будут годиться для всех вообще. Если бы можно было

установить средний уровень для известного времени, то он оказался бы негодным для времени, непосредственно за тем следующего. Ясно, что невозможно создать систему нравственности, которая принимала бы в соображение современное несовершенство: а если бы такая возможность и представлялась, то подобная система была бы бесполезна.

§ 3. Люди, которые в видах «политики» дозволяют себе небольшое отступление от закона, нередко утверждают, что их побудило к тому желание действовать практично. Таким людям следовало бы внимательнее взвешивать свои слова. Под словом «практично» нужно подразумевать образ действия, который приводит к полезным результатам; предполагается, что план, который характеризуется этим словом, вообще по своим последствиям более полезен, чем те, которым он противопоставляется. Но ведь то, что мы называем *нравственным законом*, включает в себе постановление *условий для полезных действий*. Закон этот вытекает из основной сущности вещей; он указывает ряд тех ограничений, с которыми необходимо соотноситься для достижения наибольшего счастья. Переступить за эти границы — значит не обращать внимания на естественную необходимость, значит бороться против устройства природы. Предположение, будто возможно нарушать нравственный закон для того, чтобы следовать практическому образу действия, равносильно утверждению, что ради пользы мы должны переступить за те пределы, в которых исключительно возможно достижение этой пользы.

Предполагать, будто мы в состоянии что-нибудь основательно придумать, устроить или и вовсе переделать, не понимая существенных условий успеха, или пренебрегая этими последними, когда они нам известны, — это такая нелепая мысль, что хуже трудно что-нибудь себе представить! В поле и мастерской мы обнаруживаем гораздо более здравого смысла. В этого рода делах мы не игнорируем свойства предметов, с которыми имеем дело. Вес, подвижность, инерция, сцепление — все это силы, всеми признанные; они признаются существенными принадлежностями материи и в тех случаях, когда о них не имеют научного понятия. Пренебрегать ими способен только самый безнадежный дурак. В области же нравственности

и законодательства мы действуем так, как будто вещи не имеют никаких определенных свойств и принадлежностей. Мы не стараемся обобщить разнородные явления человеческой природы и определить законы, по которым она действует, и мы не пытаемся применяться к ним в своих поступках. Мы не спрашиваем о том, в чем заключается жизнь, из чего, собственно, должно состоять счастье и не стараемся направить наши меры согласно с правильными взглядами на эти предметы. А между тем разве может быть какое-либо сомнение в том, что существуют касательно человека, его жизни и счастья известные элементарные истины, которые, само собой разумеется, должны лечь в основание всякого справедливого образа действий? Разве мы не видим, что надлежащее отправление всякой способности постоянно доставляет удовлетворение? Разве каждая способность не развивается от упражнения и не чахнет от бездеятельности? Разве результат всякого законодательства и всякой культуры не зависит прежде всего от степени внимания, которое обращается на эти факты? Не подлежит никакому сомнению, что нужно сперва узнать, из чего состоит общество, и потом уже предлагать меры для его блага. Этого требует благоразумие. Природа человека постоянна или нет? Почему она постоянна и почему не постоянна? Всегда ли она одинакова в своем существе? Если так, то в чем заключаются ее постоянные свойства? Или, быть может, она изменчива? В таком случае, в чем заключается существо изменений, которым она подвергается? Что из них выходит и почему? Ясно, что прежде чем мы примем какую-либо практическую меру, следует дать себе определенные ответы на эти вопросы. Результат таких мер не может быть делом случайности. Их успех или неуспех будет зависеть от степени их согласия с известными постоянными законами существования. Не безумие ли после этого игнорировать эти законы? Начать с двенадцатой книги, еще не познакомившись с аксиомами, неужели это «практично»?

§ 4. Но ведь мы в настоящее время не способны вполне выполнять совершенный закон, наша неспособность порождает необходимость известных добавочных правил; не оправдываются ли эти добавочные правила с нравственной точки зрения, во имя их благодетельного влияния? Отменить эти правила на

том основании, что они не согласны с отвлеченной нравственностью, было бы вредно; не следует ли им поэтому придавать в настоящее время более значения, чем самому нравственному закону? Не следует ли предпочитать *относительную* справедливость *безусловной*?

Вопросы эти самоуверенно требуют для себя утвердительных ответов — требование, не лишенное дерзости. Совершенно несправедливо, будто наибольшая приспособленность учреждений к известному времени придает им авторитетность во имя этого приспособления. Авторитетность таких учреждений не самостоятельная, а случайная и зависимая. Если им следует оказывать какое-либо уважение, то уважением этим они обязаны только тому, что отчасти выражают собой нравственный закон. Вся пользу, какую они приносят, следует приписать тому, что они, хотя далеко не в надлежащем размере, но все же вынуждают выполнение нравственного закона. Рассмотрите в существе преимущества, доставляемые подобным учреждением. Польза каждого установления состоит в том, что оно помогает людям достигать счастья. Счастье состоит в надлежащей деятельности способностей. Следовательно, установление, приуроченное к известному времени, должно тем или другим путем обеспечивать людям возможно большие удобства при упражнении своих способностей, давать им возможно большую свободу в этом отношении, т.е. такое преимущество, какого невозможно было бы достигнуть без подобного учреждения. Если, например, говорится, что для известного народа деспотизм в данное время представляет лучшую политическую форму, то это значит, что при деспотическом правительстве деятельность его способностей менее ограничена, чем она была бы при анархическом состоянии, порожденном всяким другим образом правления. Следовательно, деспотизм дает такому народу большую свободу для упражнения способностей, чем какая могла бы существовать в его среде без такого начала. На том же самом предположении основаны все похвалы, расточаемые ограничениям по отношению к праву на подачу голоса, учреждению цензуры, установлению паспортов и т.п. Во всех подобных случаях дело сводится к тому, что ограничения эти необходимы для сохранения общественного порядка, что с их уничтожением начнется разложение общества и всеобщее нарушение всяких

человеческих прав, словом, к убеждению, что закон равной свободы менее нарушается при этих ограничениях, чем он нарушался бы без них.

Итак, если единственным извинением для всех этих временно полезных мер служит то обстоятельство, что они более всяких других способствуют выполнению нравственного закона, то меры эти ни в каком случае не могут быть поставлены выше такого закона; авторитет этого последнего относится к авторитету точно так же, как авторитет господина — к авторитету слуги. Учреждение, которое служит целям известного закона, настолько же должно быть ниже его, насколько проводник силы ниже источника этой последней, насколько орудие ниже того, кто им управляет. Учреждение это должно покоряться закону точно так же, как агент — своему доверителю.

Здесь мы должны заметить, что избегнем многих недоразумений, если станем употреблять слова «так следует», «справедливо» только в настоящем их смысле, т.е. лишь для обозначения поведения, согласного с чистой нравственностью. *Справедливость*, *прямота* по отношению к поступкам — то же, что *прямота* по отношению к линиям: не может быть двух родов справедливых поступков, как не может быть двух родов прямых линий. Если мы хотим избегнуть двусмысленности в наших заключениях, то должны употреблять термин, обозначающий абсолютную нравственную состоятельность, только в одном этом смысле. Если же мы хотим говорить о несовершенных, хотя и полезных учреждениях, то не должны называть их «относительно справедливыми» или «справедливыми для настоящего времени», но должны сказать, что это учреждения *наименее несправедливые* из возможных при нашей обстановке.

§ 5. Так как мы допустили, что социальные учреждения могут сообразоваться с нравственным законом только в тех размерах, в каких нравственность распространена среди народа, то иной на этом основании, быть может, сочтет вправе решать, насколько нравственный закон может получить безопасное применение. Коль скоро между политической организацией и народными свойствами должна быть сообразность, то политический строй должен постепенно изменяться, чтобы приспособляться к обстоятельствам времени. Процесс такого приспособления

необходимо сопровождается неудобствами и даже страданиями. Отсюда, по-видимому, следует, что для избежания таких зол мы должны стараться применить организацию к требованиям времени, другими словами, благоразумные соображения должны ограничивать честолюбивые стремления людей к осуществлению идеального совершенства.

«Прогресс и в то же время противодействие ему», — вот знаменитое изречение Гизо, которое по существу своему тождественно с вышеприведенным положением. В этих словах заключается несомненная истина, но вовсе не так, какую в них предполагают. Смотреть на общество издалека и указывать принципы его развития — дело совсем другого рода, чем применять эти принципы к ежедневной жизни и управлению. В этом убедит ближайшее рассмотрение. Мы видели, что достижение наибольшего счастья следует с известной точки зрения признавать целью нравственности, но что вместе с тем это правило вовсе не может быть нашим руководителем (гл. III); точно в таком же смысле «прогресс и в то же время противодействие ему» есть закон общественной жизни, но вовсе не такой закон, которым отдельные граждане могли бы руководствоваться в своих действиях.

Мы вполне согласны, что стремление к тому, чему следует быть, должно быть ограничено *привязанностью к современному состоянию*. Эти два чувства соответствуют двум сторонам нашей сложной теперь природы: с одной стороны, в нас еще существует приспособление к прежним условиям существования, а с другой — мы приспосаблиемся к новым. *Консерватизм* защищает принудительные учреждения, которые требуются еще живущей в нас дикостью. *Радикализм* стремится осуществить состояние, более гармонирующее со свойствами идеального человека. Сила этих чувств пропорциональна необходимости тех учреждений, для осуществления которых они существуют. Социальная организация, удовлетворяющая данный народ в данное время, будет носить на себе печать подобных чувств в тех самых размерах, в каких они преобладают в это время в народе. Отсюда проистекает необходимость энергического и постоянного проявления обоего рода стремлений. Нас должна радовать любовь к отвлеченной справедливости, негодование против всякого рода притязательности, энтузиазм в стремлении к реформам; но в то же время мы должны терпеть проявления

противоположного направления, потому что они необходимы. Мы должны терпеть их все равно, как бы ни обнаружились эти проявления: будут ли они состоять в частной оппозиции против каждого улучшения, или в детской сентиментальности «молодой Англии»*, или в отчаянных попытках возвратиться к временам обожания героев. До тех пор пока эти силы искренни в своих убеждениях, они необходимы по естественному ходу вещей. От времени до времени борьба приводит к перемене; действие противоположных сил приводит к движению в надлежащих размерах. *В этом смысле* учение о прогрессе, соединенном с противодействием, справедливо.

Подобное сопротивление может быть действительно полезно лишь в том случае, когда оно исходит из среды людей, убежденных в том, что учреждения, защищаемые ими, лучше всяких других и что предложенные нововведения абсолютно вредны. Но за это дело отнюдь не должны браться люди, втайне одобряющие перемену и лишь полагающие, что некоторое сопротивление в этом случае полезно. Истинная цель борьбы состоит в том, чтобы создать гармонию между социальными учреждениями и народными свойствами, и так как за исключением известного рода преходящих мнений, создаваемых в разгаре революционных страстей, всякое *честное* мнение об известном общественном порядке создается не интеллектуальной случайностью, а указывает на приспособленность или неприспособленность этого порядка к нравственному настроению того, кому принадлежит мнение (гл. XX, § 10 и гл. XXX, § 7), то ясно, что гармония между социальными учреждениями и народными свойствами может установиться только тогда, когда всеми заявляются *честные* мнения. Если какая-нибудь часть партии движения будет скрывать истинные свои симпатии и присоединится к партии застоя, единственно с той целью, чтобы предупредить слишком быстрый прогресс, то, поступая таким образом, она неизбежно должна разрушить правильное отношение между обществом и его учреждениями. Дела идут правильно лишь до тех пор, пока прогрессивные стремления ограничиваются *естественным* консерватизмом, всегда присущим обществу. Но едва к нему присоединяется консерватизм *искусственный* — не тот, который основан на искренней любви к старому, действующий во имя теории, что чувство это необходимо,

как правильное отношение между силами нарушается: результат борьбы не поведет более по истинной дороге, ее влияние на народную жизнь будет искажено. «Прогресс и в то же время противодействие ему» есть закон общественных перемен и в *этом смысле* заключает в себе несомненную истину; но вывод, будто противодействие следует создавать *искусственно*, есть гибельная ошибка. Ошибочно предполагать, что сопротивление должно быть вызываемо искусственным образом, и собственный опыт Гизо показывает, что никто не может сказать, до каких пределов должно доходить консервативное сопротивление.

Для нравственного человека нет надобности входить в подобного рода исследование; ему и без того будет совершенно ясно, что такое поведение, противоречащее самому себе, не может привести ни к каким хорошим результатам. Известный образ действия может привести к действительному успеху только тогда, когда он естественный, искренний. Мировые дела не делаются по системе великодушной двуличности. В природе всякая вещь обнаруживает истинные свои свойства; влияние, которое она производит, вытекает из действительного ее существа. Ясно, что небесное тело, которого часть состояла бы из призрачного, а не из реального вещества, недолго оставалось бы по эту сторону хаоса; точно так же непрочно и общество, которое состоит из людей, не действующих согласно с искренними своими убеждениями. Если мы чувствуем в нашем сердце, что известная мера в существе своем справедлива, а поступаем так, как будто считаем ее несправедливой, то никогда не сможем принести истинную пользу. Общество не может процветать путем лжи.

§ 6. Несмотря на все это, будет все-таки казаться неблагоприятным отрицать необходимость осторожности в этом деле; конечно, пренебрежение «соображениями благоразумия» с целью установить общество на чисто справедливом основании будет объявлено невозможным; нельзя, скажут нам, не обращать внимания на обсуждение этого вопроса с точки зрения каждой отдельной личности. Надобно сознаться, что здесь действительно отрицается такое обсуждение. Но тот, кто делает подобное возражение, должен сначала спросить себя: какую цену может иметь взгляд на подобное дело с этой частной точки зрения?

Какой вопрос предлагается тут на разрешение? Вопрос: наступило ли время для произведения известной перемены? Способен или не способен народ к более совершенной форме по сравнению с той, при которой он живет? Теперь спрашивается, может ли частный человек считаться способным ответить на эти вопросы? Видел ли он когда-нибудь эти миллионы, за которые хочет отвечать? Хорошо, если он видел какую-нибудь десятую их часть. Многих ли из них он знает? Едва ли он в состоянии назвать каких-нибудь две тысячи имен и обозначить их занятия. Со сколькими из них он ближе знаком? Быть может, с несколькими сотнями. Скольких он знает так хорошо, чтобы определить их личный характер? Таких не более нескольких десятков. Ему остается, следовательно, судить по тому, что он читает в книгах и газетах, видит на митингах или слышит в разговорах. По выдающимся чертам характера, которые таким образом доходят до его сведения, он судит об остальном. Неужели же он признает такие заключения достойными доверия? Стоит ему очутиться среди людей, о которых он читал или слышал, он должен убедиться, что получил от них самое ложное понятие. Приводит ли источник, из которого он почерпает свои суждения, всех к одинаковым убеждениям? Нисколько; на основании тех же данных другие люди составляют себе о народе совершенно иные понятия. Неизменны ли его собственные убеждения? Вовсе нет: он постоянно встречается с фактами, которые убеждают его, что обобщения сделаны им на основании недостаточных данных, и это заставляет его поверять свои суждения. Но, может статься, он может составить себе сносно правильное понятие о людях, ему неизвестных, по среднему уровню характеров, с которыми знаком лично? Едва ли, потому что об этих личных своих знакомых он имеет вообще неверное понятие. Самые близкие друзья при случае удивляют его совершенно неожиданным поведением. То же самое случается даже с теми, с кем он находится в ближайших отношениях: с братьями, сестрами, детьми. Мало этого, он имеет лишь весьма ограниченные понятия о самом себе. Часто человек совершенно ясно представляет себе, как он будет поступать при известных новых обстоятельствах; обыкновенно, однако, случается, что когда такие обстоятельства возникнут, то он начинает действовать вовсе не так, как предполагал.

Какую же цену может иметь суждение такого ограниченного ума по вопросу: способна или не способна нация к произведению известных реформ? Вот человек, который утверждает, что может сказать, как поведут себя тридцать миллионов людей при учреждениях несколько более свободных, чем современные. Девять десятых из них он даже не видал; признать может он из них лишь несколько тысяч; лично знаком он только с бесконечно малой частью, да и эту часть знает так недостаточно, что почти относительно каждого из них ошибается либо в том, либо в другом отношении; этот человек не может угадать, как будет поступать *сам* под влиянием не испытанных еще обстоятельств, а предлагает, что может сказать, как при таких условиях поступит *целая нация*! Что же это, если не самая нелепая несообразность между претензиями и способностями?

Если разница между современными и предполагаемыми учреждениями слишком велика, если предполагается, например, от чистого деспотизма перейти к совершенной свободе, то мы можем предсказать, наверное, что результат не будет соответствовать ожиданиям. Успех учреждений зависит от их приспособленности к народным свойствам, а эти последние не могут вдруг сильно измениться; поэтому внезапная замена существующих учреждений учреждениями совершенно противоположными необходимо породит несоответствие порядков жизни и характера и приведет к неудаче. Но вопрос о возможности произносить в этих случаях свое суждение вовсе не касается таких исключительных обстоятельств. Здесь говорится о том, следует ли гражданину опасаться защищать реформы в то время, когда они производятся посредством мирного выражения своего мнения; а выше было показано (гл. XXX, § 10), что такие крайние изменения никогда не производятся мирным путем. Это результаты революционных страстей, стоящих вне пределов каких бы то ни было политических соображений. О предполагаемой осторожности можно говорить только тогда, когда усовершенствование обсуждается и пропагандируется мирным путем, т.е. когда время для наступления перемены определяется обстоятельствами. Надлежащее употребление осторожности возможно в этих случаях лишь при таком точном знакомстве с народом, чтобы можно было прямо сказать: «он еще не созрел» или «теперь он созрел».

Но предполагать в себе такое знакомство нелепо: для этого нужно обладать всеведением.

Каким же образом можем мы определить, когда наступило время для известной перемены? Мы не имеем для этого никаких средств — оно само определит себя. Запутываться в подобных вопросах для нас бесполезно и нелепо. Без нас приняты меры, чтобы каждая истина появилась в свое надлежащее время. Та же самая перемена в человеческой природе, которая приспособляет ее к более совершенным социальным формам, производит и убеждение в справедливости этих форм (гл. XXX, § 8), а порождая такое убеждение, она вызывает к жизни и сами формы. Мнения людей порождаются их свойствами (Учение о нравственном чувстве, § 5; гл. XVI, § 3) и, следовательно, должны быть в гармонии с этими последними. Вследствие этого учреждения, гармонирующие с мнениями, должны соответствовать и свойствам.

§ 7. Чистосердечный читатель теперь сам видит путь для выхода из затруднения, в которое он был поставлен, с одной стороны, убеждением, что совершенный закон есть единственный верный руководитель, а с другой — сознанием, что совершенный закон не может быть выполняем несовершенным человеком. Пусть он надлежащим образом проникнется убеждением, что мнения представляют орудие, посредством которого человек приспособляет внешние обстоятельства к своим свойствам — что его, читателя, мнения в частности по справедливости составляют часть этого орудия, единицу той силы, которая вместе с другими единицами производит социальные перемены. Тогда он поймет, что ему нужно вполне проявить свои искренние убеждения и затем предоставить на произвол судьбы то влияние, которое они произведут. Недаром он обладает симпатиями к известным принципам и отвращением к другим. Со всеми своими способностями, желаниями и убеждениями он не составляет в природе случайность, но произведение своего времени. Для того чтобы сделать из него то, что он есть, нужны были влияния, действовавшие на предыдущие поколения, влияния, развивавшие его самого; нужны были — воспитание, которое он получил в детстве, и обстоятельства, среди которых он жил потом. Результат, к которому все это в нем

привело, имеет свою цель. Читатель не должен забывать, что он настолько же дитя прошедшего, насколько отец будущего. Развитое в нем нравственное чувство должно быть орудием для произведения дальнейшего прогресса. Мешать его проявлению, скрывать те мысли, которые это чувство в нем порождает — значит противодействовать намерениям творческой мировой силы. Он должен считать себя наравне со всяким другим человеком, одним из орудий, посредством которых действует природа. Если природа порождает в нем какое-либо убеждение, то она через это уполномочивает его открыто признавать и действовать на основании такого убеждения. «Природу мы не можем улучшить никакими средствами — средства эти в ее руках; выше искусства, которое мы прилагаем к природе, стоит искусство, рожденное самой же природой».

Поэтому рассудительный человек не станет смотреть на поселенные в нем убеждения как на случайность; не взглянет на них как на вещь, которую можно презирать и подчинять политическим расчетам; он будет смотреть на них как на высший авторитет, которому он должен подчинять все свои поступки. Он станет бесстрашно высказывать самую глубокую истину, до которой только был в состоянии додуматься, и будет стремиться обратить в действительность самый чистый из своих идеалов. Какова бы ни была судьба его мысли, он знает, что сделал свое дело в жизни; а там — достигнет он своей — прекрасно, нет — и то хорошо, хотя, конечно, не настолько хорошо, как первое.

§ 8. Проповедуя единообразное, безусловное повиновение, чисто отвлеченная философия совпадает со всякой истинной религией. Будьте верны своей совести — вот чему учат и та и другая. Мы, безусловно, должны подчиняться тому, что считаем предписанным для нас законом, без колебаний, без уклонений под предлогом вероятных результатов. Мы не должны проповедовать принципов, которые добровольно нарушаются нашим поведением. Мы не должны следовать примеру тех, которые объявляют своим девизом: «Боже, управляй нами!» и затем пренебрегают тем направлением, которое им дается, а стараются сами направлять себя. Мы не должны впадать в тот практический атеизм, который признает в человеческих делах одного руководителя, свою собственную ограниченную

предусмотрительность и старается разыгрывать роль Бога, принимая на себя решение вопроса, что хорошо или дурно для человечества. Напротив, мы с искренним смирением должны отыскивать правила, предписанные для нас; мы без всякого колебания должны следовать тому, чего они требуют, не рассуждая о последствиях; мы должны поступать таким образом в том убеждении, что только тогда повсюду разовьется процветание, когда всякий будет поступать совершенно искренно, всегда останется верен самому себе и постарается осуществить то, что считает идеалом справедливости.

КОММЕНТАРИИ¹

с. 4*

его преемник... — Людовик XVIII.

с. 8*

фата-моргана — мираж, при котором оказываются видимыми предметы, скрытые за горизонтом.

с. 9*

один фут и шесть дюймов — около 46 см.

с. 14*

Лига против хлебных законов — организация, основанная Ричардом Кобденом и Джоном Братом в 1839 г. для пропаганды идеи отмены «хлебных законов» — ключевого элемента протекционистской системы тогдашней Великобритании. Отмена «злебных законов» в 1846 г. ознаменовала начало политики свободы торговли в Великобритании и Европе.

с. 24*

Великая хартия [вольностей] (*Magna Carta Libertatum*) — грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г., ставшая в последующем одним из основных конституционных актов Великобритании.

с. 25*

Гугеноты — название французских протестантов (кальвинистов). *Пресвитериане* — последователи протестантского вероучения, возникшего в Англии в 16 в. *Моравы* — народ, проживающий и ныне на территории современной Чехии, претендовавший на национальную независимость в разные времена; *отстаивать свободу суждения в делах веры...* — видимо, имеется в виду революционное движение 1848—1849 гг. в Богемии и Моравии (Австро-Венгрия), на волне которого высказывались идеи о равенстве всех национальностей в данной империи.

с. 25**

его «опыт о свободе печати» — имеется в виду «Ареопагитика» (1644), памфлет английского поэта Джона Мильтона (1608—1674), направленный против цензуры.

с. 25***

Конскрипция — система комплектования армии на основе всеобщей воинской повинности, но с допущением замены ее денежным выкупом.

¹ Комментарии составлены Александрой Смирновой.

с. 35*

раковины инфузорий — Спенсер имеет в виду моллюсков; инфузории, как и другие простейшие, раковин не имеют.

с. 37*

караибы (карибы) — воинственный индейский народ, в период открытия Америки населявший остров Гаити, Малые Антильские острова и всю северную часть Южной Америки (бассейн реки Ориноко).

с. 37**

илоты — в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.

с. 50*

Ост-Индская компания — акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 г. указом Елизаветы I и получившие обширные привилегии для торговых операций в Индии. Фактически королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии.

с. 69*

флагелланты — радикальное христианское движение XIII—XIV вв. Практиковали крайние формы умерщвления плоти путем бичевания себя с помощью различных орудий. Каждый флагеллант был обязан дважды в сутки бичеваться публично и дважды в уединении, по ночам.

с. 96*

См.: Локк Дж. Два трактата о правлении. Книга II. §4. М.; Челябинск: Социум, 2014.

с. 104*

«Братство друзей» — или «Общество друзей», самоназвание квакеров, религиозной христианской общины, основанной в середине XVII в. в Англии. Квакеры отвергают институт священников, церковного таинства, проповедуют пацифизм, занимаются благотворительностью.

с. 108*

кардинал Юлиан — видимо, имеется в виду кардинал Юлиан Чезарини, папский легат и участник крестовых походов.

с. 112*

первоначального изобретателя железных дорог — Джордж Стефенсон (1781—1848).

с. 112**

Фрон де Бёф — персонаж романа Вальтера Скотта «Айвенго».

с. 125*

Бен-Макду — гора (1310 м) в южной Шотландии, на территории современного заповедника Кернгорм.

Герцоги Атольские (Шотландия) владели островом Мэн до его приобретения Англией в 1765 г.

Свободная церковь Шотландии была образована в 1843 г. в результате раскола в шотландской церкви.

Горцы — шотландцы.

с. 126*

Джерси и Гернси — два самых крупных из Нормандских островов в проливе Ламанш. Находятся под юрисдикцией Великобритании, не входя в ее состав.

с. 126**

учение крайних тори... — в Англии исторически сложилась двухпартийная система. Тори — партия, выражавшая интересы земельной аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. В середине XIX в. на ее основе сложилась Консервативная партия. Виги — партия, выражавшая интересы обуржуазившейся дворянской аристократии и крупной торговой и финансовой буржуазии. В середине XIX в. на ее основе сложилась Либеральная партия.

с. 153*

...новую «*Ареопагитику*» — см. комм. к с. 25.

с. 154*

«*Книга мучеников*» (1559) — агиографический (житийный) труд Джона Фокса (1516—1587) — английского религиозного писателя-протестанта.

с. 155*

Чартизм — политическое и социальное движение в Англии с конца 1830-х до конца 1840-х годов, получившее имя от поданной в 1839 г. парламенту петиции, называвшейся хартией, или народной хартией.

с. 163*

Te Deum (лат.; *Te Deum laudamus* — «Тебя, Бога, хвалим») — гимн св. Амвросия Медиоланского; ранний христианский гимн, созданный в конце IV в., самый известный гимн латинской церкви. Регулярно используется в католическом богослужении

с. 166*

Итон — английская частная школа-пансион для мальчиков 13—18 лет. Известна своими строгими правилами.

с. 173*

Павнии, сиуксы (сиу) — племена североамериканских индейцев, жившие в долинах рек Миссисипи и Миссури; сиу живут в США и Канаде и сейчас.

с. 178*

сто двадцать пять фунтов — около 57 кг.

с. 203*

Вакх (или Бахус) — одно из имен Диониса, в греческой мифологии бог растений, виноградарства и виноделия.

Геркулес — римское имя героя древнегреческих мифов Геракла.

Геракл в древнегреческой мифологии — величайший герой, сын бога Зевса и Алкмены — жены фиванского царя Амфитриона.

Тор — в германо-скандинавской мифологии один из асов, бог грома и молнии, «триждырожденный» старший сын Одина и богини земли Ёрд, сын Одина и Фьёргюн, а также Одина и Фригт.

Один — верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец асов. Бог войны и победы.

с. 208*

Мальволио — персонаж пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь».

с. 216*

мальтузианских теорий — согласно теории английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса (1766—1834), темпы роста народонаселения значительно превышают темпы увеличения производства средств существования, а войны и катастрофы являются естественным регулятором численности людей.

с. 221*

диссентеры — распространенное в Англии XVI—XVII вв. название лиц, не согласных с вероучением и культом англиканской церкви.

с. 221**

фартинг — самая мелкая английская монета, в настоящее время вышла из обращения.

с. 221***

индепенденты — приверженцы одного из течений протестантизма в Англии и ряде других стран. Оформились в конце XVI в. как левое крыло пуритан.

с. 229*

в старинные времена нормандского владычества... — власть нормандской знати после нормандского завоевания Англии (1066) нормандцами во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом, ставшим королем Англии (Вильгельм I Завоеватель, 1027—1087, правил в 1066—1087 гг.).

с. 240*

оранжисты — Оранжевый орден (осн. в 1795 г.) назван в честь Уильяма, принца Оранского (Вильгельм III; 1650—1702, король Англии и Шотландии в 1689—1702 гг.). Он утвердил протестантизм в Северной Ирландии, победив в 1690 г. католика Иакова II (1633—1701, король Англии и Шотландии в 1685—1688 гг.). Марши оранжистов проводятся с 1813 г. по сей день и часто приводят к кровопролитию.

с. 240**

кавалеры — прозвище сторонников короля во время Английской буржуазной революции XVII в.

круглоголовые — прозвище сторонников парламента.

с. 243*

Милль во введении к своему последнему сочинению... — имеются в виду «Основания политической экономии» (1848) английского философа и экономиста Джона Стюарта Милля (1806—1873).

с. 245*

Tu quoque — доказательство, базирующееся не на основе фактов, приводимых оппонентом, а на основе его личных качеств. От *Tu quoque*,

Brute, fili mi! (лат., «и ты, Брут, сын мой!») — предсмертных слов, приписываемых древнеримскому императору Гаю Юлию Цезарю (100—41 до н. э.).

с. 268*

in forma pauperis (лат.) — как неимущему, т.е. бесплатно.

с. 268**

Аргус — в древнегреческой мифологии — многоглазый великан-сторож.

Бриарей (Эгеон) и его братья — в древнегреческой мифологии — сторукие сторожа титанов, низверженных в Тартар Зевсом.

с. 285*

триба — от трибализма (приверженность к племенной обособленности, гл. обр. в Африке). *Сатрапия* — провинция в древней и раннесредневековой Персии; перен.: государство, учреждение, управляемое деспотом.

с. 298*

... компешевое дерево — дерево семейства бобовых, также наз. сийный сандал; используется для изготовления мебели и паркета.

с. 298**

объярь — старинная плотная шелковая ткань.

камлот — старинная грубая бумажная ткань.

с. 299*

план Юарта... — возможно, имеется в виду Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — английский государственный деятель.

с. 302*

тутингская трагедия — Спенсер имеет в виду вспышку холеры на одной из ферм Тутинга, где воспитывались дети из нескольких окрестных работных домов.

с. 302**

Синие книги (по цвету обложки) — официальные публикации материалов парламента и дипломатических документов МИДа, выпускаемые в Англии с XVII в.

с. 320*

дом св. Стефана — имеется в виду построенный уже в XIX в. портал (зал) св. Стефана. Он соединяет Вестминстер-холл (уцелевшую при пожаре 1834 г. часть средневекового Вестминстерского дворца (1097)) со зданием парламента (1840—1860). В Вестминстерском дворце заседает английский парламент.

с. 321*

тиара — тройная корона, головной убор папы римского. Парламент Великобритании возглавляется английским *монархом*.

Верхняя палата — *палата лордов* — не избирается; она состоит из лордов духовных (высшее духовенство) и лордов светских (членов пэрства). *Палата общин* избирается демократически.

с. 321**

высокой и евангелической церковью — «Высокая церковь» — одно из ответвлений англиканства, настаивающее на священном авторитете церкви и строгой церковной иерархии. Под евангелической церковью Спенсер, видимо, понимает пресвитерианство — ответвление протестантизма, характерное для Шотландии.

с. 321***

унитарии — представители протестантизма, полагающие Бога единым и отрицающие, в отличие от *тринитариев*, один из важнейших христианских догматов — догмат о Троице; появились в Англии в XVI—XVII вв.

с. 322*

конфирмация — у католиков — миропомазание, совершаемое над детьми 7—12 лет; у протестантов — обряд приобщения к церкви девушек и юношей 14—16 лет.

с. 354*

непотизм — служебное покровительство родственникам и «своим людям»; кумовство.

с. 356*

знаменитое изречение императрицы Екатерины... — по-видимому, имеется в виду следующее высказывание российской императрицы Екатерины II (1729—1796; правила в 1762—1796): «Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучше есть приведение в совершенство воспитания».

с. 356**

иезуиты — неофициальное название членов Общества Иисуса, одного из крупнейших мужских монашеских орденов Римско-католической церкви.

с. 359*

пара квадратных ярдов — меньше 2 кв. м.

с. 360*

на один или два фута... — на 30—60 см.

с. 374*

Синд, Пенджаб — провинции современного Пакистана; во времена Спенсера были индийскими территориями, завоеванными Англией в 1843 и в 1849 г. соответственно.

с. 377*

Ионические острова — группа островов в западной и юго-западной части Греции. В 1809—1864 гг. — колония Англии. *Бермудские острова* находятся в северо-западной части Атлантического океана, с 1684 г. — английская колония, ныне заморская территория Великобритании.

Остров Святой Елены расположен в Атлантическом океане к западу от Африки, с 1659 г. — английская колония, ныне заморская территория Великобритании.

Гонконг — территория в Восточной Азии, на юго-востоке Китая. На момент написания книги Англии принадлежала только часть Гонконга, отторгнутая у Китая (1842); сейчас Гонконг принадлежит Китаю (1997).

Гельголанд — небольшой остров в Северном море, в 1807—1890 — английская колония, ныне принадлежит Германии.

с. 377**

Цейлон (Шри-Ланка) — остров к юго-востоку от Индии, английская колония (1802—1948), в настоящее время Республика Шри-Ланка.

с. 377***

Борнео (Калимантан) — остров Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии, покрытый тропическими лесами. С 1841 г. частично принадлежал Англии, ныне поделен между Брунеем (незав. с 1984 г.), Малайзией (обр. в 1963 г.) и Индонезией (незав. с 1945 г.).

кафры (коса) — народ на территории современной ЮАР и Ботсваны.

Фолклендские (Мальвинские) острова — острова к юго-востоку от Южной Америки, в Атлантическом океане; английская колония с 1833, ныне спорная территория Великобритании и Аргентины.

с. 380*

Кап Берс — видимо, имеется в виду английская колония на Мысе Доброй Надежды (южная оконечность Африки).

Вест-Индия — общее название островов в Атлантическом океане между Северной и Южной Америкой (Багамские, Большие Антильские, Малые Антильские и др.). В Вест-Индии и ныне есть английские владения. Ямайка — остров и государство в Вест-Индии, бывшая английская колония (1655—1962).

Британская Гвиана — государство на северо-востоке Южной Америки, английская колония (1814—1966), ныне Гайана.

с. 380*

зриквасы — народ в южной Африке, происшедший от потомков голландцев, готтентотов (народа на территории современных Намибии, Ботсваны и ЮАР) и привозных рабов из северо-западной Африки и островов Индийского океана.

с. 382*

Испаньола — ныне остров Гаити; в 1697 г. разделен между Францией и Испанией, с 1844 г. — государства Гаити и Доминиканская Республика.

с. 382**

Батавия — латинское название Голландии. Джакарта, столица современной Индонезии, называлась Батавией в 1619—1949 гг. (остров Ява — голландская колония в 1619—1945 гг.).

с. 383*

сипаи — индийские солдаты, состоявшие на службе Ост-Индской компании.

с. 408*

ввел пароходство на Роне... — пароходство появилось на Роне в 1817 г.

с. 408**

Английский архитектор Вильям Тирней Кларк спроектировал Цепной мост — первый постоянный мост, соединивший Пешт и Буду — части современного Будапешта (объединены в 1872 г., столица Венгрии с 1867 г.). Мост был построен шотландским инженером Адамом Кларком в 1839—1849 гг.

с. 408***

знаменитое Фрейбургское горное училище — Фрейбургская горная академия, первая в мире высшая школа в области горного дела и металлургии (осн. в 1765 г., Фрейбург, Саксония).

с. 409*

Лэнгом в его «Заметках путешественника» — по-видимому, имеются в виду «Записки о пребывании в Норвегии» шотландского публициста Сэмюэла Лэнга (1780—1868).

с. 420*

Мальпост — почтовая карета (до появления железных дорог).

с. 421*

Суэц — город и порт в Египте, давший название Суэцкому каналу (открыт в 1869 г.).

Бомбей — город и порт в Индии.

Саунтгемптон (Саутхемптон) — английский город и порт.

Александрия — город и порт в современном Египте.

Сингапур — столица одноименного государства в Юго-Восточной Азии.

Калькутта — город и порт в Индии.

с. 423*

Биркенхед — город и порт в Англии. *Уош* — залив Северного моря, омывающий Великобританию.

с. 430*

трапперы — охотники на пушного зверя в Северной Америке.

с. 439*

даяки — группа народов в современной Индонезии, Малайзии, Брунее. Коренное население острова Борнео.

с. 439**

кроаты — хорваты.

с. 440*

спартанцы — свободные жители Спарты, древнегреческого города-государства.

илоты — в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.

олигархи — правители в Спарте.

с. 441*

«*нять портов*» — в средневековой Англии ассоциация портов, сотрудничавшая с королем; позже — название галеры, на которой плывал Александр Селькирк, прототип Робинзона Крузо.

Сен-Мало — французская морская крепость, позже — город на Атлантическом побережье; в XVII—XVIII вв. важная отправная точка для мореплавателей и купцов, направлявшихся в Индию, Китай, Африку, Южную и Северную Америку.

с. 453*

Государство — это я — приписывается Людовику XIV (1638—1715), королю Франции с 1643 г.

с. 453**

В современных источниках англиканство делят на «высокую церковь», «низкую» и «широкую»; они оформились в конце XVII в. Свободная церковь Шотландии образовалась в 1843 в результате раскола в шотландской церкви. Методистская церковь — разновидность протестантизма, возникла в XVIII в.; требовала строгого соблюдения религиозных предписаний. Унитариянство — разновидность протестантизма, в Англии с XVII—XVIII вв.; отрицает догмат о Троице. См. также комм.** к с. 321.

с. 454*

Porifera (биол.) — тип губок.

с. 455*

Alcyonidae (биол.) — семейство мясистых кораллов.

с. 455**

Corallidae (биол.) — семейство полипов (кораллы).

с. 455***

Tubiporidae (биол.) — органчики; семейство отряда восьмилучевых кораллов.

с. 456*

Bryozoa (биол.) — тип мшанок (водные сидячие животные).

с. 457*

Acrita (биол.) — тип беспозвоночных.

с. 457**

Nematoneura, *Homogangliata*, *Heterogangliata* (биол.) — устаревшие названия. Современная систематика животных отличается от той, что была принята во времена Спенсера. Видимо, речь идет о двух подтипах морских животных типа хордовых — туникатах (оболочниках) и бесчерепных (ланцетник).

с. 457***

Verebrata (биол.) — подтип позвоночных.

с. 462*

Жакерия — крестьянское восстание во Франции (1358).

с. 468*

Entozoa (биол.) — внутренние паразиты животных и растений (эндопаразиты).

с. 468**

грегарины (биол.) — отряд споровиков; паразиты червей, насекомых и других беспозвоночных.

с. 471*

Annelida (биол.) — тип кольчатых червей.

с. 471*

Myriapoda (биол.) — класс многоножек типа членистоногих.

с. 488*

«Молодая Англия» — кружок консервативных литераторов и политических деятелей Великобритании, составивших в 1841—1845 гг. политическую группировку в палате общин.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр VI** (Родриго Борджиа; 1442—1503), папа римский (1492—1503), отличавшийся жестокостью (отравитель) и склонностью к роскоши и разврату. — 374
- Анаксагор** (ок. 500—428 до н.э.), древнегреческий философ. — 37
- Аристотель** (384—322 гг. до н.э.), великий греческий философ, систематически разработавший все отрасли знания своего времени. — 108
- Аркрайт, Ричард** (1732—1792), английский предприниматель и изобретатель, усовершенствовал паровую машину. — 112
- Архелай** (413—399 гг. — до н.э.), царь Македонии. — 202
- Аттила** (ум. 452), вождь племени гуннов (с 434 г.). — 37
- Балли, Иоанна** (1762—1851), шотландская поэтесса и драматург. — 161
- Баррет-Браунина, Элизабет** (1806—1861), английская поэтесса, сочувствовавшая чартистам. — 161
- Белл, Эндрю** (1753—1832), англиканский священник, развивавший систему взаимного обучения детей. — 357
- Бентам, Иеремия** (1748—1832), британский философ, социолог, юрист. — 5, 16, 23, 24, 30, 69
- Бёрк, Эдмунд** (1729—1797), английский мыслитель, публицист и политический деятель, идеолог консерватизма. — 102, 112, 255, 382
- Бёрнс, Александр** (1805—1841), английский дипломат, путешественник и исследователь, специалист по Востоку. — 383
- Блан, Жан Жозеф Луи** (1811—1882), французский социалист, публицист и историк. — 127, 298, 305
- Блэкстон, Уильям** (1723—1780), английский юрист и писатель, оказавший значительное влияние на юридическую практику Англии и США. — 96, 214, 220
- Бособ,р Исаак де** (1659—1738), французский просветитель, гугенот. — 301
- Бремер, Фредерика** (1801—1865), шведская писательница. — 161
- Брюстер, Дэвид** (1781—1868), английский физик. — 299
- Бэкон, Фрэнсис** (1561—1626), английский философ и политический деятель. В 1618 — лорд-канцлер. В 1621 г. был обвинен во взяточничестве и на несколько дней заключен в тюрьму; оправдан, но к политике больше не возвращался. — 112, 275, 307, 365
- Веллингтон, Артур Уэлсли** (1769—1852), герцог, английский фельдмаршал. — 112
- Винтрон Джон** (1587—1649), один из лидеров пуритан в Англии; в Америке — первый губернатор Массачусетса. — 374
- Вильд, Ионафан** (?—1725), знаменитый английский скупщик краденого, ведший при этом жизнь благонамеренного буржуа. Описан английским просветителем Генри Филдингом (1707—1754) в романе «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (рус. пер. с нем.; 1773). — 276
- Виньоль, Чарльз Блэкет** (1793—1875), английский инженер, автор висячего (цепного) моста через Днепр (1848—1853). — 408
- Гастингс, Уоррен** (1732—1818), генерал-губернатор британской Индии (1773—1785). — 382
- Гаукинс, Джон** (1532—1595), английский адмирал. Положил начало английской торговле рабами. В 1595 г. вместе с адмиралом Дрейком участвовал в экспедиции в Вест-Индию. — 39
- Генрих IV Бурбон** (Генрих Наваррский, Генрих Великий, 1553—1610), лидер гугенотов в конце Религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572,

- король Франции с 1589, основатель французской королевской династии Бурбонов. — 437
- Генрих VII* (1458—1509), английский король (1485—1509). — 298
- Георг I* (1660—1727), английский король (1714—1727). — 226
- Георг III* (1738—1820), английский король (1760—1820). — 303
- Гершель, Каролина Локвуд* (1750—1848), сестра английского астронома Уильяма Гершеля (1738—1822), помогала брату в астрономической работе, сама открыла 8 комет. — 161
- Гиббон, Эдуард* (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788). — 461
- Гиберт, Ножанский* (1053—1124), французский церковный хронист. — 108, 109
- Гизо, Франсуа* (1787—1874), французский политик и историк. — 304, 487, 489
- Гладстон, Уильям Юарт* (1809—1898), английский государственный деятель. — 299
- Гор, Кэтрин Грейс Фрэнсис* (1799—1861), английская романистка. — 161
- Гранвилль-Шарль* (1735—1818), английский филантроп, посвятивший всю свою жизнь делу освобождения негров. — 96
- Гукер, Ричард* (1554—1600), англиканский теолог. — 96
- Гус, Ян* (1371—1415), идеолог чешской Реформации. — 24
- Дарий* — персидский царь (522—486 до н.э.). — 453
- Дей, Томас* (1748—1789) — английский писатель, автор популярной в XVIII в. «Истории Сэндфорда и Мертона», первой «школьной повести» в истории английской литературы. — 4
- Джефрис* — английский судья при короле Иакове II, отличавшийся жестокими приговорами. — 275
- Джизберт, Хэмфри* (1539—1583), английский мореплаватель, один из пионеров английской колонизации. — 374
- Джонс, Томас Раймер* (1810—1880), английский зоолог. — 471
- Джонсон, Бенджамин (Бен)* (1573—1637), английский драматург. — 112
- Дюпен, Шарль* (1784—1873), французский математик и экономист. — 364
- Екатерина II Алексеевна* (1729—1796), российская императрица (1762—1796). — 161
- Елизавета I* (1533—1603), английская королева (1558—1603). — 374
- Жорж Санд (Аврора Дюдеван)* (1801—1876), французская писательница, поборница утопического социализма. — 161
- Зеновия Септимия* (III в. н.э.), в 267—268 гг., после смерти мужа, Одената Пальмирского, правительница г. Пальмира (Римская империя, совр. северо-восток Сирии) и завоевательница Египта. — 161
- Зороастр (Заратустра)* (ок. 10—7 вв. до н.э.), реформатор древнеиранской религии, основатель зороастризма. — 204
- Иоанн Безземельный* (1167—1216), король Англии в 1199—1216 гг. — 441
- Кабэ, Этьенн* (1788—1856), французский утопический социалист. — 305
- Кавеньяк, Луи Эжен* (1802—1857), французский генерал. — 157
- Кант, Иммануил* (1724—1804), немецкий философ. Родоначальник немецкой классической философии. — 32
- Карл I* (1600—1649), король Англии, Шотландии и Ирландии с 27 марта 1625 г. — 104
- Карл II* (1630—1685), английский и шотландский король (1660—1685). — 300, 374
- Карлейль, Томас* (1795—1881), английский историк и публицист. — 203, 299
- Кетле, Адольф* (1796—1874), бельгийский ученый, один из основоположников статистики. — 433
- Кларк, Вильям Тирней*, английский архитектор, спроектировавший Цепной мост — первый постоянный мост, соединивший Пешт и Буду — части современного Будапешта (объединены в 1872, столица Венгрии с 1867). Мост был построен шотландским инженером Адамом Кларком в 1839—1849 гг. — 408
- Кнокс, Джон* (1513—1572), шотландский проповедник и религиозный реформатор. — 24

- Коббет, Уильям* (1762—1835), английский публицист и историк. — 327, 356
- Кобден, Ричард* (1804—1865), английский политический деятель, лидер движения за свободу торговли в Англии в середине XIX в. — 299
- Коль, Иоганн Гёрге* (1808—1878), немецкий географ, в 1830-х годах объездил Европу, бывал в России. — 440
- Кольридж, Сэмюэл Тейлор* (1772—1834), английский поэт, представитель так. наз. «озерной школы». — 454, 455, 476
- Конфуций* (ок. 551—479 до н.э.), древнекитайский мыслитель. — 204
- Кортес, Эрнан* (1485—1547), один из вождей испанских конкистадоров, завоеватель индейских государств на территории современной Мексики и Центральной Америки. — 375
- Кромвель, Оливер* (1599—1658), деятель Английской буржуазной революции XVII в. После казни Карла I в 1649 году возложил на себя титул лорда-протектора и стал единоличным военным диктатором Англии. — 38
- Ландон, Летиция Элизабет* (1802—1838), английская писательница. — 161
- Ланкастер, Джозеф* (1771—1838), английский педагог, занимался бесплатным обучением бедных детей; выработал систему обучения детей, получившую широкое распространение. — 357
- Ликург* (XI в. до н. э.), легендарный законодатель древнегреческого государства Спарта; считается, что именно он ввел военную организацию и суровое воспитание юношества. — 4
- Локк, Джон* (1632—1704), английский философ и политический мыслитель. — 31, 96, 130, 131, 133, 137, 323, 357
- Луи-Филипп* (1773—1850), король Франции в 1830—1848 гг. — 157, 306
- Лэнг, Сэмюэл* (1780—1868), шотландский публицист, автор «Записок о пребывании в Норвегии». — 409
- Людвиг XIV де Бурбон*, получивший при рождении имя Луи-Дьёдонне («Богоданный»), также известный как «король-солнце», также Людовик Великий (1638—1715), король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года — дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. — 461
- Людвиг XVI* (1754—1793), французский король (1774—1792), был низложен в ходе Французской революции и казнен. — 4
- Людвиг XVIII* (1755—1824), французский король (1814—1824), младший брат Людовика XVI. — 4
- Лютер, Мартин* (1483—1546), деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства. — 24
- Магомет* (Мухаммед) (ок. 570—632), основатель ислама. — 204
- Макиавелли, Никколо* (1469—1527), итальянский политический мыслитель. Признавал ради упрочения государства допустимыми любые средства. — 156
- Макинтош, Джеймс* (1765—1832), публицист, историк, представитель шотландской философской школы. — 275
- Мак-Куллох, Джон Рэмси* (1789—1864), английский экономист. — 378
- Маколей, Томас Бабингтон* (1800—1859), английский историк, поэт, литературный критик, оратор, общественный и политический деятель. — 360
- Мальтус, Томас Роберт* (1766—1834), священник, экономист и демограф. — 216
- Мария-Терезия* (1717—1780), эрцгерцогиня австрийская, королева Венгрии и Чехии (1740—1780), преуспевающая не только в военном деле, но и на ниве административных реформ и народного просвещения. — 161
- Маркиза де Ментенон* (Франсуаза д'Обинье; 1635—1719), в 1683—1715 — жена французского короля Людовика XIV (1638—1715; правил в 1643—1715). — 462
- Мартино, Гарриет* (1802—1876), английская женщина-экономист. — 161
- Мейсон, Джон* — английский капитан, основатель штата Нью-Гемпшир (1629). — 374
- Молесворт, сэр Вильям* (1810—1855), английский государственный деятель. Основал в 1835 г. «London Review», орган «философских радикалов». Пользовался в конце 40-х — начале 50-х гг. большим влиянием в палате общин; целью его было сокращение колониальных расходов и улучшение управления колониями. — 377

- Наполеон III** (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император в 1852—1870 гг. — 52, 157, 365
- Ньютон, Исаак** (1643—1727), английский физик и математик, создатель теоретических основ механики и астрономии. — 13, 36, 112, 357
- Олей, Эдвард** — первый губернатор Ямайки (1661—1662). — 448
- Остин, Джейн** (1775—1817), английская писательница, автор популярного романа «Гордость и предубеждение» (1813). — 161
- Отс, Тип** (1619—1705), английский авантюрист, обвинивший католиков в заговоре против короля и династии, что привело к многочисленным казням и тюремным заключениям. — 155
- Оуэн, Ричард** (1804—1892), английский зоолог и палеонтолог. — 470
- Оуэн, Роберт** (1771—1858), английский социалист-утопист. — 112
- Палей, Уильям** (1743—1805), английский философ и моралист. — 15
- Пенн, Вильям** (1644—1718), квакер, законодатель Пенсильвании. — 104
- Песталоцци, Иоганн Генрих** (1746—1827), знаменитый педагог, родом из Цюриха, сын глазного врача. — 190
- Писарро, Франсиско** (между 1470 и 1475—1541), испанский конкистадор, завоеватель Панамы и Перу, основатель г. Лима (Перу). — 375
- Платон** (428/427—348/347 до н.э.), древнегреческий философ. — 448
- Плотин** (204—269), древнегреческий философ, главный представитель неоплатонизма. — 4
- Притчард, Джозеф**, английский инженер, построивший (совместно с Джоном Андреусом) первый пароход для судоходства по Дунаю (1830). — 408
- Прудон, Пьер Жозеф** (1809—1865), французский публицист, экономист и социолог, один из основоположников анархизма. — 137
- Пьюзей (ум. 1882)**, доктор Оксфордского университета, считал англиканскую церковь частью вселенского христианства, выступал за объединение церквей. Вышедшее из «высокой церкви», его движение стоит на грани католичества и православия. — 321
- Ролан, Манон Жанна** (1754—1793), деятель Французской революции, казнена. — 161
- Ротшильды** — финансовая группа в Западной Европе, основанная в XVIII в. во Франции. — 112
- Симеон Столпник** (ок. 390—459), христианский отшельник; стоял на площадке на столпе, окруженном стенами, возле Антиохии (город в Римской империи). — 69
- Смит, Адам** (1723—1790), выдающийся английский философ и экономист, теоретик рыночной экономики. — 101, 102, 103, 107, 243
- Солон** (ок. 648 — ок. 559 до н.э.), афинский законодатель и политический деятель. — 319
- Соммервилль, Мэри** (1780—1872), английская женщина-математик. — 161
- Сталь, Жермена** (1766—1817), французская писательница. — 161
- Стаффорд, Томас Уэнтворт, граф Стаффорд** (1593—1641), английский политический деятель времен Карла I, казненный Карлом по настоянию парламента. — 38
- Стефенсон, Джордж** (1781—1848), главный изобретатель железных дорог в Англии. — 112
- Сюлли, Максимилиан де Бетюн** (1560—1641), французский государственный деятель. — 255
- Тацит** (ок. 58 — ок. 117), древнеримский историк. — 4
- Уатт, Джеймс** (1736—1819), английский физик. — 112
- Уиклиф (Виклеф), Джон** (ок. 1330—1384), английский религиозный мыслитель, предшественник Реформации. — 24
- Фалес** (ок. 625 — ок. 545 до н.э.), древнегреческий философ. — 317, 461
- Фарадей, Майкл** (1791—1867), английский физик и химик. — 112
- Филипп II Август** (1165—1223), король Франции в 1180—1223 гг. — 441
- Филипп VI Валуа** (1294—1348), король Франции (1328—1350). — 49
- Филмер, Роберт** (1604—1688), английский политический писатель XVII в., развивавший теорию божественного

- происхождения королевской власти. — 96
- Флетчер, Эндрю* (1655—1716), шотландский политический деятель. — 299
- Фокс, Гюорг* (1624—1691), основатель секты квакеров. — 25
- Франц* (1768—1835), император Австрии (1804—1835). — 356
- Фурье, Шарль* (1772—1837), французский утопический социалист. — 127
- Хатчесон, Френсис* (1694—1747), шотландский философ, сторонник деизма. Систематизировал и развивал этические и эстетические идеи Э. Шефтсбери. Один из отцов-основателей Шотландского просвещения. — 29
- Хеманс, Фелиция Доротея* (1793—1835), английская поэтесса. — 161
- Хилл, Роланд* (1795—1879), сельский учитель, реформатор почтовой системы, генеральный почтмейстер Великобритании. Разработал основные принципы современного почтового дела, изобрел почтовую марку. — 420
- Чаммерс, политэконом*. — 243
- Чингисхан* (собственное имя — Тэмучин) (1155 или 1162—1227), полководец и создатель первого объединенного монгольского государства. — 37, 204
- Шарп, Гранвиль*. — 29
- Шамиль* (1799—1871), имам Дагестана и Чечни (1834—1859), руководитель борьбы горцев Кавказа против русских войск. — 204
- Шелли, Перси Биши* (1792—1822), английский поэт-романтик. — 357
- Шефтсбери, Энтони Эшли Купер* (1671—1713), английский философ, писатель и политик, деятель просвещения. Третий граф Шефтсбери. Автор работ, собранных в трёх томах «Характеристики людей, нравов, мнений, времен», посвященных этическим, эстетическим, религиозным и политическим проблемам. — 29
- Эдуард I* (Длинноногий) (1239—1307), король Англии в 1272—1307, в эпоху подъема национального самосознания. — 96
- Эдуард III Исповедник* (?—1066), английский король (1042—1066). — 313
- Эдуард IV* (1442—1483), английский король (1461—1470, 1471—1483). — 300
- Эдуард VI* (1537—1553), английский король (1547—1553). — 298
- Эмерсон, Ральф Уолдо* (1803—1882), американский философ. — 276
- Юлиан Отступник* (Флавий Клавдий, 331—363), римский император (361—363). — 356
- Юлиан, кардинал* (Джулиано Чезарини) (1398—1444), папский легат, участник крестовых походов. — 108
- Яков (Иаков) I* (1566—1625), шотландский (1567—1625) и английский король (1603—1625). — 298

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Американская революция, как этический образец 49

Англия

- английская любовь к свободе 104
- английская энергия и континентальная беспомощность 408

Аренда, как истинная основа землевладения 127

Банковская система, вред государственной 415, 416

Безумие, приюты и лечение без принуждения 104

Бедные

- законы о бедных 326–344
- несправедливость беспорядочного вспомоществования 331
- государственная помощь, ее вред 294

Благотворительность государственная 326, 327

Богачи, самодовольство 235

Божественная идея 69–75

Большинство, предрассудок о его всеили 216

Братство друзей 104

Братство народов 285

Варварские обычаи 239

Варвары, желание повелевать 166

Власть, стремление к 166

Воспитание

- возбуждением сочувствия 187
- и преступность 361
- и противостоящие ему интересы государства 355
- идеал английских высших классов 353
- истинная задача 348
- Маколей о 360
- не исцеляет преступности 362, 363
- необходимость воспитания чувств 367
- понятие государства о воспитании 347
- принудительное 185
- проблема воспитания 359

См. тж Государственное воспитание

Государственная банковская система, ее вред 415, 416

Государственная медицина 387, 388

Государственная помощь, ее вред 294

Государственная колонизация, благо и зло 380–386

Государственная церковь

- как папистская по своей сути 322, 323
- политический институт 323, 324, 325

Государственное воспитание

- качество 352
- Милль о, 350
- отказ государству в праве воспитывать 345
- отказ от права государства воспитывать 346
- проблема устанавливаемых им ограничений 347, 348
- склонность к стеснению и инерция 357

См. тж Воспитание

Государство

- безнравственность 214
- главная обязанность 296
- и колонизация 372–386
- народное, проблема применимости 254
- настоящая функция 281
- и обуздание дикости, 429
- обязанности 261–286
- пределы обязанностей 287–310
- первая функция 288
- подчинение его власти 216
- политическая машина 304
- понятие государства о воспитании 347
- пренебрежение настоящими обязанностями 267
- теория всемогущества государственной власти 304
- устройство, 225–248

Действие, право на его свободу 80, 81, 177

Демократия

- гарантия устойчивости 254
- как высшее общественное устройство 253
- практические вопросы 251–253

- развитие 250
- Денежная система
 - в Шотландии, 414, 415
 - и почтовые учреждения, 412–422
- Деньги
 - последствия порчи, 49
 - частная чеканка, 417, 418
- Дисциплина
 - вред дисциплины по принуждению 188
 - естественного хода вещей 368
- Женщины
 - их умственное несовершенство 160, 161
 - отношение к женщинам как показатель нравственного состояния народа 165
 - права женщин 159–176
 - сфера деятельности 173, 174
- Жестокость, общее происхождение 429
- Жизнь, простейшие формы 454–457
- Жилища для трудящихся классов 398–400
- Закон, его понятие и развитие 316, 317
- Законодательство, не добавляет нравственности 280
- Законы о бедных 326–344
 - несправедливость беспорядочного вспомоществования 331
 - последствия 334
 - государственная помощь, ее вред 294
- Защита
 - от нападения извне, 281
 - рынка, 50
- Землевладельцы
 - обоснование притязаний 120
 - последствия притязаний 125
- Землевладение
 - аренда как его истинная основа 127
 - феодальное 119
- Земля
 - возражение идеологии крупных землевладельцев 126
 - и ее аренда 127
 - наследственное владение, феодальное 119
 - поземельная собственность 118, 119
- Зло
 - исчезновение зла 61–67
 - определение 61
- Идеи, право собственности на идею 140–146
- Изобретатели, их права 140–144
- Индивидуальность, склонность к
 - закон наклонности к индивидуальности, 454–459
 - и взаимная зависимость, 459
- Инстинкт хищнический, его полезность 434
- Институты (учреждения)
 - закон их изменений, 411
 - их назначение, 485
 - определяются качествами людей 276, 277
 - подчиненность свойствам общества, 249, 250
 - политические 264
 - создаются из людей, 273
 - соответствуют качествам людей, 437
 - соотношение с человеческой природой, 262, 263
- Интересы человеческие, единство 460
- Истина, единство физиологической и нравственной 479
- История, текущая концепция 52
- Китай
 - представление об образовании 356
- Колонизация
 - влияние колонизации на аборигенов 380
 - жестокость к туземцам 382
 - преступления под маской колонизации 374
 - государственная 372–386
- Колонии, дурное управление 380, 381
- Коммунистическая теория, заблуждения 136, 137
- Конкуренция, в доставке писем 419, 421
- Консерватизм
 - и радикализм 487
 - искусственный 488
 - функции 487
- Личность, ее прогресс 452
- Медицина, государственная 387, 388
- Медицинские учреждения, их развитие 391
- Международное посредничество 285
- Мечтатели, их взгляд на реформу 397
- Мнения
 - их соответствие условиям жизни 182
 - серединные 125
- Монархия неограниченная, Филмер о 96

Моральные критерии 52

Налогообложение, Блэкстон об ограничении 219

Народные свойства, единообразие 241

Национальный характер, и суд 274, 275

Невежество

– и предоставление политических прав 242, 245

– и преступность 361

– среди высших классов 243, 244

Непогрешимость, притязание на 321

Непротивление злу, ошибочность 284

Нравственная истина, и физиология 479

Нравственное чувство, развитие 435

Нравственность

– Адам Смит о нравственных чувствах 101

– безнравственность титулованных классов 229

– и денежная ценность высокой нравственности 465

– изменчивость 63

– наука о 74, 75

– нравственные стандарты не должны снижаться 482

– определение 57–60

– и политическая экономия 477

Облаготворение

– отрицательное 85

– положительное 72

Образование

– представление китайцев

Образование народное, ханжеский консерватизм 347

Общественные обязанности, разделение 472

Общественный договор 206

Общественный организм, аналогия с физическим организмом 389, 467

Общество

– его развитие, направление 473

– естественное развитие 406, 407

– как истинный владелец земли 127

– общественный организм 467

– первобытное, отталкивающие силы 203, 204

– переход от дикости 339, 340

– условия жизни в 71

Обычаи, варварские 239

Ограничения торговые 312, 313, 314

Орган и функция 287

Организации закон 287

Ост-Индская компания 50

Первобытное общество, отталкивающие силы 203, 204

Поведение, ложные понятия 243, 244

Повелевание, губительно для привязанностей 169

Политика внутренняя, несогласованность 229, 230

Политическая машина 304

Политическая экономия

– всеобщее невежество 246

– и нравственный закон 477, 478

– Чаммерс о 243

Политические права 201–212

Политические представления, несообразность 220

Политические институты 264

Политический фетишизм 317

Польза, как руководящий принцип 86

Порождения законодательства, неудачи 304

Порча денег, последствия 49

Посредничество международное 285

Почта, конкуренция в доставке писем 419, 421

Права

– детей, 177–197

– женщин 159–176

– изобретателя, 140, 141, 142, 144

– личные, их инстинктивность 98

– личные, Локк о 130

– на жизнь и личную свободу 116–117

– на землю, их происхождение, 119

– недостаток чувства справедливости, 447, 448

– от прав не отрекаются, 211, 212

– отрицание их существования, 98

– равенство 97

– собственности 130–139

– теория неравенства 111

Правление народное, проблема его применимости 254

Правители, эгоизм 228

Правительство, неисчерпаемая вера в его проекты правительства 403

Право

– игнорировать государство 212–224

– меня, 150–151

– на труд 329

– пользования землей, 118–129

– поселенца на землю, 120

– свободного слова 152–157

– собственности на идею 140–146

Преданность личная 440

Предметы, их приспособление к существующим условиям, 61

- Предрассудок политический, самый распространенный 249
- Принцип основной
 - вторичный источник 95–107
 - первичный источник 79–93
 - применение 114, 115
- Природа, дисциплинирующая суровость 393
- Приспособляемость
 - единственно возможным для человека закон, 64, 395
 - человека к обстоятельствам, 62
- Приюты для умиленных
 - лечение без принуждения, 104
- Прогресс
 - проявляется в стремлении к индивидуальности, 454
 - растет из веры в способность к усовершенствованию, 65
- Раб и тиран, взаимно обратимые состояния, 105
- Рабство
 - в США, 247
 - состояние дикости 436
- Равновесие общественных сил 273
- Радикализм, функции 487
- Разрушительность, склонность к 432
- Революция (общественные перевороты) 451, 452
- Революция, американская, 49
- Революция, политическая, причины 306
- Регламентация торговли и промышленности 311–319
- Реформаторы 260
- Родители, любовь к господству 195
- Самообладание, воспитание 191
- Самоограничение, воспитание 368
- Санитарная полиция 387–411
- Свобода
 - договоров 150, 151
 - закон равной свободы 81, 264
 - право на свободу действия 80, 81, 177
 - и право 264
 - пределы свободы действия 80 81, 82
 - слова 152–157
- Свободные учреждения, условия существования 253, 254
- Сила, и цивилизация 204
- Симпатия
 - ее вредные влияния 338
 - ее проявления 102
 - и справедливость, различие 73
 - отрицательная 85
 - положительная 72
- Собственность
 - на репутацию 147–179
 - поземельная 119
 - право 130–139
 - Прудон о 137
- Способности
 - удовлетворение способностей 83
 - упражнение способностей 79
- Справедливость
 - как руководство к действию 51
 - в отправлениях суда 266
 - и отрицательное облагораживание 85
 - последствия нарушения 464
- Средства для существования, претензия на необходимые 327
- Статистика криминальная, Флетчер о 363
- Страдание, может быть необходимо для счастья 89
- Стремления к пище, различающиеся 89
- Суд, и национальный характер 274, 275
- Судьба, благодетельность суровой 338
- Суждения, трудность вынесения 82–85
- Счастье
 - анализ 79
 - необходимые страдания 89
 - условие наибольшего счастья 69, 70
- США, рабство 247
- Творение, его цель 69
- Тиран и раб, взаимно обратимые состояния 105
- Титулованные классы, их безнравственность 229
- Торговые ограничения 312, 313, 314
- Трудящиеся классы
 - жилища для них 398–400
 - их безнравственность 231
 - несправедливое порицание рабочего населения 233, 234
- Убеждения, как продукт характера 162
- Улучшения, их взаимосвязь 432, 433
- Уравновешивающее начало, неотъемлемо присущее 308
- Учреждения. См. Институты
- Физиология, ее границы 60
- Функция и орган 287
- Характер национальный, и мера правосудия 274, 275
- Хищнический инстинкт, его полезность 434

Церковь государственная

- Локк о ее служителях 323
- как папизм по своей сути 322, 323
- как политический институт 324, 325

Человек, способность меняться 64, 65, 395

Человечество, его самое совершенное свойство 458, 459

Чувства

- неизбежные и случайные 91
- условные 90, 91

Чувство, обожание героев 437, 438

Эгоизм

- и обожание силы, 443
- показатели всеобщего эгоизма, 228
- правителей, 228

Этика

- закон равной свободы, 81
- логические границы, 57

Юстиция, ее опора, 267

В Москве книги издательства «Социум»
можно купить в магазине

«Фаланстер»

Пн-Вс 11⁰⁰—20⁰⁰

м. Тверская, Пушкинская, Чеховская
Малый Гнезниковский пер., 12/27

Вход в арке, над аркой вывеска "КНИГИ", 2-й этаж.

Тел.: (495) 749-57-21



ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

II том

Подписано в печать 9.06.2014. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Minion Pro». Усл. печ. л. 33.
Тираж 500 экз.

ООО «ИД «Социум»,
e-mail: info@sotsium.ru ; (495) 330-51-98

Людвиг фон Мизес
ЛИБЕРАЛИЗМ

(М.; Челябинск: Социум, 2014. 300 с.)

Единственное систематическое изложение принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять множество сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины.

Дэвид Боуз
ЛИБЕРТАРИАНСТВО

(Челябинск: Социум, 2014. 408 с., 32 илл.)

Либертарианство — это политическая философия, выводящая принципы устройства общества из аксиомы самопринадлежности права собственности человека на собственное тело. Исходя из убеждения, что человек сам должен распоряжаться своей жизнью и имуществом и имеет право самостоятельно решать, как ему жить, при условии, что он признает такое же право за другими людьми, либертарианцы отстаивают максимально широкие права личности и требуют сведения роли государства к необходимому минимуму защите жизни и собственности граждан. Автору удалось в популярной форме представить весь комплекс либертарианских идей в области философии, экономики и права в их историческом развитии. В книгу включены 32 цветные иллюстрации, освещающие основные вехи развития либертарианской традиции и выделяющие наиболее важные идеи.